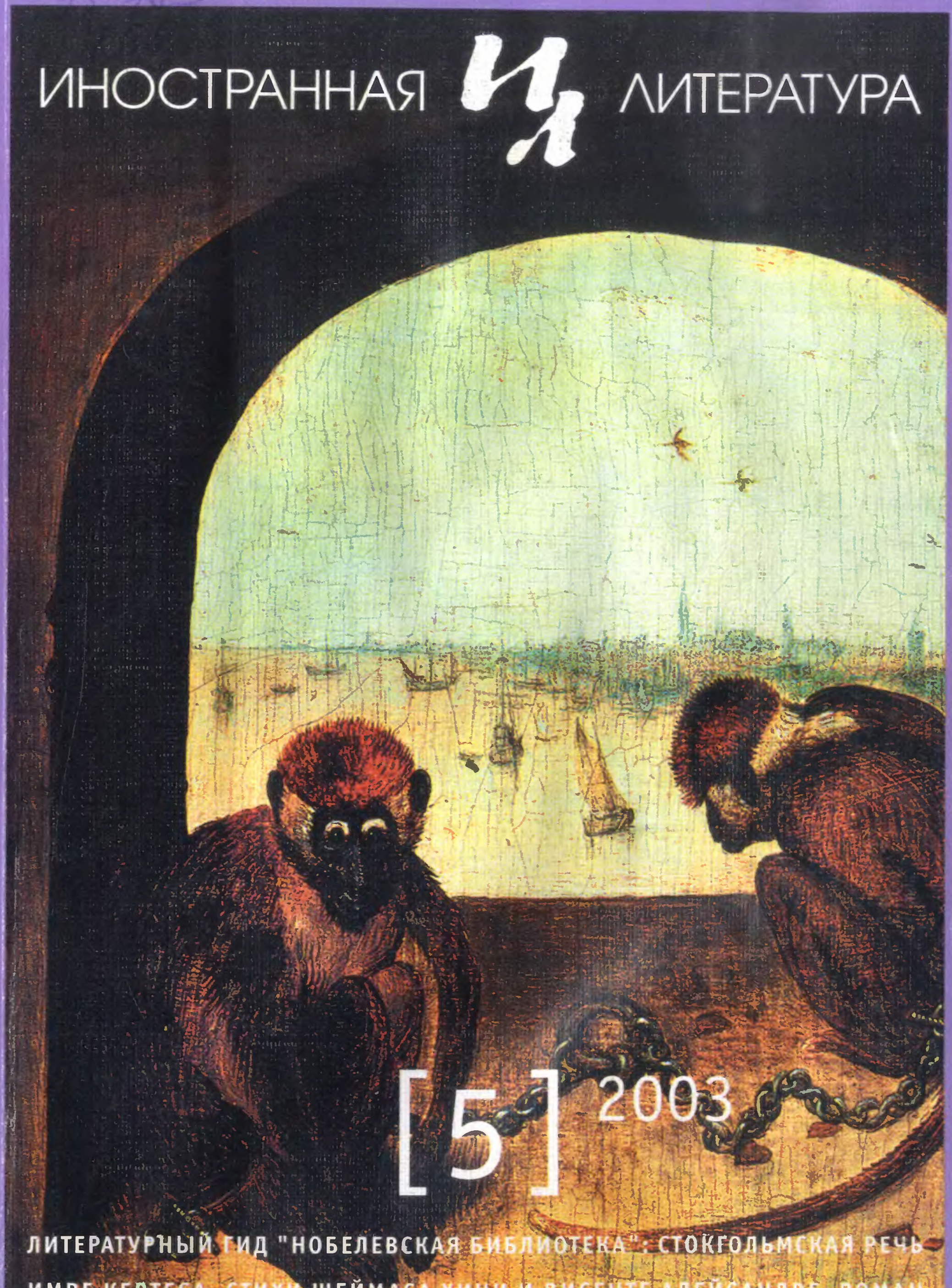
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[5] 2003

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "НОБЕЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА": СТОКГОЛЬМСКАЯ РЕЧЬ ИМРЕ КЕРТЕСА, СТИХИ ШЕЙМАСА ХИНИ И ВИСЕНТЕ АЛЕЙСАНДРЕ, РОМАН В.С.НАЙПОЛА "ПОЛУЖИЗНЬ", РАССКАЗЫ ИСААКА БАШЕВИСА ЗИНГЕРА, ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ В РУБРИКЕ "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ", ГЛАВА ИЗ КНИГИ ОКТАВИО ПАСА "СЫНЫ ПРАХА" / "ПАМФЛЕТ НА САМОГО СЕБЯ" ТАДЕУША КОНВИЦКОГО / КОММЕНТАРИЙ А. ЗВЕРЕВА "ШУТОВСТВО С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ"

Основан в 1891 году

Престиж Нобелевской премии в последние годы все чаще ставится под сомнение. Принципы, которыми руководствуется Шведская академия, присуждающая эту награду, часто выглядят неубедительными, выносимые ею решения – по меньшей мере, спорными. Приводятся имена многих выдающихся писателей, от Пруста до Борхеса и Набокова, которые так и не стали Нобелевскими лауреатами. Называют и другие имена – теперь практически забытых писателей, – которые, не имея серьезных творческих заслуг, тем не менее получили заветный диплом. И все-таки никто не спорит с тем, что из всех литературных премий в мире Нобелевская была и остается самой почетной и что история этой премии неотделима от истории литературы.

В этом номере "ИЛ" представлены несколько Нобелевских лауреатов, удостоенных такой чести в последние 25 лет: от испанца Висенте Алейсандре, получившего премию в 1977 году, до венгра Имре Кертеса, которому премия была присуждена прошлой осенью. Давние читатели журнала хорошо знают почти все эти имена. Зингер, Найпол были открыты "ИЛ" для русской аудитории, Шимборская и Хини наши постоянные авторы. Сегодняшняя их репутация современных классиков вряд ли может вызвать серьезные возражения. Этот статус, конечно, не изменился бы и в том случае, если бы он не был удостоверен стокгольмской наградой. Но нам хотелось показать, что критерии, на которых основан выбор шведских академиков, чаще всего действительно остаются литературными, а не диктуются, как утверждают скептики, соображениями политкорректности, и что этот выбор достаточно полно учитывает реалии литературного процесса. Нобелевская премия и поныне является в литературе своего рода знаком качества, хотя лишь очень простодушные люди могут полагать, что она – еще и пропуск в пантеон бессмертных.

[5]

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2003

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

Литературный гид "Нобелевская библиотека"

3 Шеймас Хини. *Стихи. Эссе.* Перевод с английского и вступление Григория Кружкова

17 В. С. Найпол. *Полужизнь.* Роман. Перевод с английского В. Бабкова

140 Висенте Алейсандре. *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Бориса Дубина

144 Исаак Башевис Зингер. *Рассказы.* Перевод с английского Д. Веденяпина

167 Октавио Пас. *Сыны праха.* Глава из книги. Перевод с испанского Татьяны Ильинской

179 Имре Кертес. *Эврика!* Стокгольмская речь. *Два эссе.* Перевод с венгерского Вячеслава Середы и Елены Малыхиной

Вглубь стихотворения

193 Вислава Шимборская. *Две обезьяны Брейгеля. Утопия. Тень.* Переводы с польского

Документальная проза

208 Тадеуш Конвицкий. *Памфлет на самого себя.* Фрагменты книги. Перевод с польского и вступление К. Старосельской

Комментарий

229 Алексей Зверев. *Шутовство с петлей на шее*

"ИЛ": истоки и история

234 *Вестник иностранной литературы, 1901–1908*

Среди книг

274 Алиса Романова. *"Невидимый город" Алессандро Барикко.* Андрей Ермонский *...и Африка нам не нужна?*

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

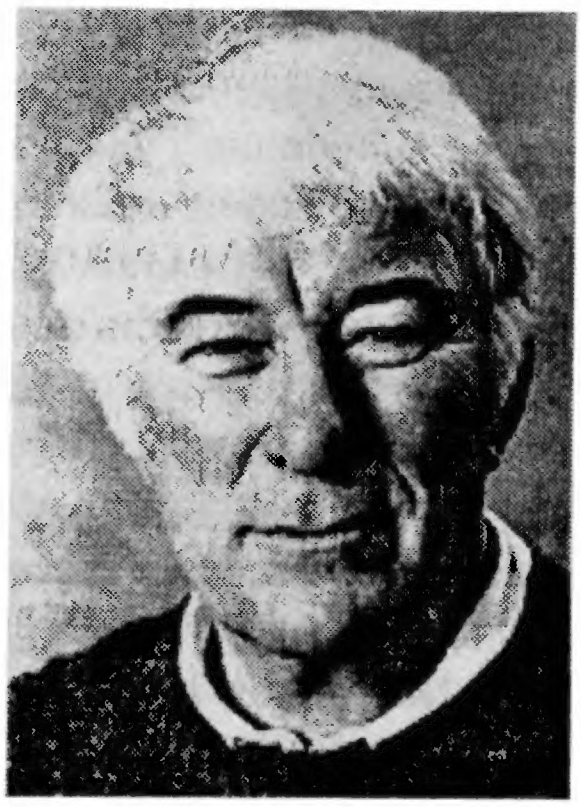
Редакция :

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

Шеймас Хини



Нобелевская премия 1995 года

Стихи, эссе

Перевод с английского и вступление Григория Кружкова

Путем Энея

Начиная со сборника "Прозрачность" ("Seeing Things", 1991) тематика поэзии Шеймаса Хини круто изменилась: он почти перестал писать стихи о насилии в Ольстере и перешел к вечным темам. Не то чтобы проблема себя исчерпала в жизни — она исчерпала себя в поэзии: по собственному признанию Хини, "заклишировалась". Собственно, поворот наметился уже в "Боярышниковом фонаре" (1987), но новое направление взято в "Прозрачности" и двух последних сборниках: "Ватерпас" (1996) и "В электрическом свете" (2001).

Надо сознаться, название сборника "Seeing Things" доставило переводчику немало хлопот. "Зримые вещи" или что-нибудь в таком роде здесь не подходит: слово "things" вообще редко переводится на русский впрямую, к тому же акцент в данной фразе сделан на глаголе "seeing", а не на существительном. Но как это перевести? "Зрение" — мало, "прозрение" — явный перебор. Множество других вариантов было рассмотрено и отброшено. Следовало обратиться к тексту — прежде всего к тексту заглавного стихотворения. В нем же речь идет не просто о зрении, а пришедшем к поэту новом, более глубоком, видении, обозначенном им латинским словом "claritas" (ясность). Критики отмечают, что тот "общий сумрачный фон", который превалировал раньше у Хини, в этом сборнике сменился ощущением "ясности и прозрачности". Это дает ключ к переводу названия: вынести из-за скобок подразумеваемое и сделать его русским названием и стихотворения, и книги.

Но как определить по-русски это подразумеваемое? Здесь уже авторского текста недостаточно; важен тот интертекст, который Хини, как мне кажется, имел в виду, а именно — рассуждение Джойса в "Портрете художника в юности" о термине "claritas" у Фомы Аквинского. Здесь мы имеем целую цепочку толкований.

© Seamus Heaney, 1991, 2000, 2001
© Г. Кружков. Перевод, вступление, 2003

Это и "свет, исходящий из какого-то другого мира, для которого реальность — лишь тень", и "миг, когда высшее качество красоты, яркое сияние эстетического образа отчетливо познается сознанием, очарованным его целостностью и гармонией" (Шелли), — и, наконец, просто "завороженность". Нужно было передать все это, не теряя смысла seeing, "зрения", и я выбрал "прозрачность" за отсутствием лучшего варианта.

Скажу заодно и о заголовке публикуемой здесь лекции поэта. С ним у переводчика были тоже проблемы: все названия Хини, как правило, изощренно многозначны. В оригинале стоит "Time and Again: Poetry and The Millennium". Английская идиома "time and again" означает "много раз", "снова и снова". Но не один из русских эквивалентов не передает особой вескости, которую обретает слово "time" в одном ряду с "millenium". Самое близкое по музыкальному тону, что есть в нашем языке, это фраза Пимена: "На старости я сызнова живу". Ею я и воспользовался, чтобы передать изумление перед новым — уже не веком, а тысячелетием, — которое читается в названии Хини. Воспользовался, не убоявшись анахронизма, ибо ничего сильнее не нашел. Получилось — "Сызнова живем: поэзия и тысячелетие".

Многие стихи в последних сборниках Хини воскрешают образы его умерших родных и друзей. Мотив нового зрения в сборнике "Прозрачность", по собственному признанию поэта, связан с ощущением, как будто внезапно сорвали крышу и сверху льются волны какого-то зыбкого "узывного" света, — чувством, не оставляющим его после смерти родителей.

Как я уже однажды писал (в статье "Глазок ватерпаса"), нетрудно проследить связь поздней лирики Хини с поэзией английского барокко (Марвелл, Воэн, Траэрн), пронизанной сходным мистическим сиянием. "Они ушли туда, где вечный свет" (Воэн) — скрытый лейтмотив всех трех обсуждаемых сборников. Метафоричность родоначальника английского барокко Джона Донна (поэта и проповедника!) чувствуется и в прозе Хини, в частности в его лекциях о поэзии — своего рода проповедях о поэзии. Хини напоминает нам о простейшем приспособлении, позволяющем наблюдать солнечное затмение, не повредив зрения: о картонке с маленькой дыркой (проколом), с помощью которой наблюдатель проецирует солнечный диск на белый экран или просто на стену, повернувшись при этом спиной к солнцу. Именно с такой картонкой ("пинкартой") сравнивает Хини поэзию в нынешнем переинформированном мире. Вспоминается четверостишье Йейтса:

> Весь этот бурный бытия поток
> Сперва в ушко игольное протек.
> Все, что на свет рождается из тьмы,
> Должно прорваться сквозь ушко иглы.

Сопоставление огромной вселенной и крохотного отверстия, фокусирующего зрение поэта, вызывает в памяти и знаменитый концепт Донна: слезу, равновеликую вселенной, — и символ плотницкого ватерпаса (у самого Хини), вечно глядящего вверх своим "зрачком" и тем самым устанавливающего равновесие в мире.

Если принять и развить предлагаемую поэтом метафору "стихотворение есть пинкарта", то из нее логически следует, что разные стихотворения отличаются друг от друга прежде всего местоположением и формой отверстия (прокола). В последних сборниках Хини прокол зачастую эквивалентен утрате. Сквозь такой прокол смотрит поэт, вспоминая ушедших близких и друзей, — и видит мир в преображенном свете, в невероятно резкой оптике очищенного потерями взгляда. Среди его стихов-прощаний есть посвященные Теду Хьюзу, Иосифу Бродскому, Збигневу Херберту... Есть там, между прочим, и перевод пушкинского "Ариона" — "лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою..."; только "я гимны прежние пою" у Хини переведено смиренней — "все еще пою" (still singing).

Хини сам называет себя вечным школяром, зараженным классическим образованием (невольно аукаясь при этом с Бродским: "Я заражен нормальным классицизмом"). "Как все живущие в наше время, — говорит он в одном из интервью, — я чувствую силы, раскачивающие нашу цивилизацию, и сознаю, что культура всегда была принадлежностью элиты, враждебной варварству. Но несмотря ни на что я верю в будущее и полагаю, что ради этого будущего мы должны идти дальше — как Эней, посадивший к себе на плечи отца своего и прихвативший в путь сколько удастся из домашней утвари".

Воздушный корабль

В анналах Клонмакнойса[1] есть рассказ:
Однажды братья собрались в молельне,
Как вдруг явился в воздухе корабль.

Он плыл над ними высоко; но якорь,
Влачась на длинном тросе, зацепился
За створки алтаря, и судно встало.

Один смельчак спустился по канату,
Чтоб якорь высвободить... да куда там!
"Не подсобим — он здесь у нас утонет", —

Сказал аббат. Монахи подсобили.
Корабль поплыл; матрос полез обратно —
Рассказывать о чудесах глубин.

Прозрачность

I

Инишбофин[2]. Воскресенье. Утро.
Солнце, чайки, гарь и стук мотора.
Нас по одному передавали
По шатучим сходням в чрево лодки,
Нервно дергавшейся раз за разом
Под прибавкой груза. Мы сидели
По двое, по трое на скамейках,
Плотно стиснутые, как овечки,
Рта не смея отворить от страха.
До отказа нагрузился катер —
Вот сейчас черпнет планширом воду.
Штиль стоял на море. И однако
В тот момент, когда мотор взревел
И матрос, качнувшись, ухватился

1. Монастырь в графстве Оффали в центре Ирландии. Основан св. Киараном в VI веке. (*Здесь и далее — прим. перев.*)
2. Маленький остров вблизи северо-западного побережья Ирландии, известный своими памятниками христианства. Св. Кольман основал здесь монастырь в 664 г.

За борт, помню, как упало в пятки
Сердце. Эта чуткая подвижность,
Живость катера — меня пугали
До смерти. Все время переезда
Через неподвижную прозрачность
Было мукой. Словно я глядел
Сверху, из другой какой-то лодки,
В небесах плывущей, ясно видя
Нашу беззащитность, уязвимость, —
И жалел людей, плывущих в море.

II

Claritas. Прозрачная латынь
Идеально выражала смысл
Барельефа над фасадом церкви,
Освещенной солнцем. Иисус
На коленях. Иоанн Креститель
Выливает каменную струйку
На главу Христа. Река под ними
Изображена чредой волнистых
Черточек на камне. Между ними
Плавают в воде смешные рыбки.
Больше ничего. Но эта ясность
Под собой незримое таила:
Колыхание подводных трав,
Шевеленье медленных песчинок,
Тусклое сиянье глубины.
В мареве полдневном пред глазами
Зыбился, раскачивался, плыл
Тайный иероглиф этой жизни.

III

Давным-давно когда-то мой отец
Отправился опрыскивать картошку
На поле у реки, меня не взяв
С собою: дескать, медный купорос
Мог мне обжечь глаза, а распылитель
Был нов и не опробован и лошадь
Пуглива. В общем, я остался дома,
Обстреливая камушками сдуру
Сидевших на сарае воробьев.
Но в тот момент, когда отец вернулся,
Я был на кухне. Сквозь окно я видел,
Как он вошел во двор — один, без шляпы,
С блуждающим ошеломленно взором,
Шатаясь, точно призрак... Оказалось,
Когда он разворачивал телегу

На крутояре, лошадь вдруг взбрыкнула,
Попятилась, колеса занесло,
И всё — телега, распылитель, лошадь,
Оглобли, цепь, колеса и копыта, —
Всё ухнуло с обрыва кувырком
И кануло в реке. Минутой позже
Поодаль бойко вынырнула шляпа
И поплыла куда-то вдаль... В тот день
Я словно сквозь рассеявшийся морок
Увидел заново отца. Он вышел
Ко мне стопами мокрыми на брег:
И что могло нас разлучить отныне?

Памяти Теда Хьюза
и о том, что он оставил английской поэзии

1

Пост то, пост сё... Что значит этот пост,
Когда ни покаянья, ни прощенья,
А только умерщвление души,
В которую, как в берег, бьет печаль
Тяжелыми и хлесткими словами?

2

Перечитал их — словно оглянулся,
Проехав на машине под мостом
Однопролетным, железнодорожным,
В котором гул и сотрясенье сводов,
Как в ухе, внемлющем земному шуму —
И сквозняку — и трепету души,
Несущейся сужденной ей дорогой...
Я словно оглянулся и увидел
Над аркой круглый глаз, и мрак туннеля,
И поверху — бегущих рельсов блеск,
Скрепленных костылями и болтами;
И все мои сомненья вдруг исчезли —
Как будто я из горницы высокой
Сошел, высоким словом укреплен.

3

Сокрытое страданье... кто сказал,
Что это для поэзии не тема?
Когда тот королевич в “Беовульфе”
Случайно убивает брата, разве

Он не захлопывает западню
На Гретеле, который ныне должен,
Ошеломленный скорбью и любовью,
Тая в себе неслыханную боль,
Предать на казнь единственного сына?

Так, вспоминая древнее сказанье,
Рассказывал поэт; и ночь была,
И вздрагивала в Дартморе земля
Под нашими ногами, и гудели
Турбины генераторов внизу,
На глубине, как будто нас тропа
Вела не на обещанную гору
Вдали, а в некий сумрачный подвал,
Где спящие вповал храпят и стонут.

4

"Только представь: старик несчастный
Видит, как тело казненного сына
Качает ветер в петле. Он плачет,
Горестно плачет, а черный ворон,
Радуясь алчно, каркает с дуба.
Что тут поделать? Мудрость бессильна.
Каждое утро он, просыпаясь,
Вновь вспоминает: нет больше сына.
Жить для чего же, если наследник
В смертные двери вышел навеки?
Это дитя его было последним.
Смотрит, скорбя, на спальню сына.
В шумных пирах ему нету потехи,
Стынет очаг, уснули слуги,
Герои гибнут, былое минует,
Арфы молчат, подворье пустое,
С тоской вдвоем лежит он на ложе,
Жалуясь горько; стали чужими
Стены и крыша.
Такое горе
Владыке этому выпало. Вынул
Такой он жребий. Смертный бессилен
Его исправить: судьба сурова".

5

Есть *нескazуемое* — то, что стыдно
Выказывать, что заставляет нас
Лежать во тьме с открытыми глазами
Без сна, что открывается лишь Богу
Да иногда стихам. "Наш дивиденд",
Как Милош говорит. Барыш поэта.

Строки для Валентины

“Наша цель, — сказала она, — немного
Развлечь утомленного Бога. Богу
Претит повторенье одних и тех же
Молитв. Рутина его не тешит”.
Она была русской, мой друг рисковый,
И верила истово в силу слова —
Способного, как рычаг архимедов,
Придвинуть землю поближе к небу.
Стихи сильнее молитвы, ибо
Они обновляют молитвы либо
Творят их заново. Бог желает
Стихов, чтоб музыка их живая
Давала ритм и слова могли бы
Плясать, как под пенье Орфея глыбы”.

“И в самые трудные дни России, —
Она продолжала, — не обессиля,
Звучала в мертвящей тени кумира
Завещанная Пушкиным лира.
Она звенела еще свободней
Во мраке сталинской преисподней,
Где правду, как Эвридику, скрывали
Подальше от света, в глухом подвале..
Но ямбы пеньем своим петушьим
От сна пробудили русские души!”

Признаюсь, внимая пафоса полным
Речам Валентины, я вдруг припомнил
Оглядку Орфея — и впал в сомненье:
И вправду ль способно стихотворенье
Или даже *избранное в одном томе*
Спасти кого-то? Кукольный домик —
Вот что поэзия. Фрост недаром
Сравнил ее с “настоящим домом”,
Игрушечные разбранив забавы.
А может быть, все же поэты правы —
И сам Всевышний игру одобрил?

У старого сплетника Джона Обри
В “Жизнеописаниях” говорится,
Шекспир был смолоду сын мясницкий,
И когда его звали забить теленка,
Он рубил лишь воздух руками, звонко
Декламируя монолог перед казнью...
И Господь проникся к нему приязнью:
“Наконец-то слышу дивные речи!
Подарю-ка поэту на память — вечность”.

Сент. 2001

Сызнова живем: поэзия и тысячелетие

Лекция, прочитанная в Ливерпульском университете
22 марта 2000 года

Когда мы слышим слово "тысячелетие", мы не думаем сразу о его математическом или историографическом значении. То, что мы таким образом отмечаем двухтысячную годовщину рождения Христа, отнюдь не первое, что приходит нам в голову. Для кого-то это — название нового сооружения в Гринвиче, для другого — просто смутное ощущение какого-то перевала. Вообще, это слово заставляет нас насторожиться, чтобы уловить некий важный, но ускользающий смысл; это частица того лексикона, с помощью которого мы пытаемся сладить с тайной времени, одно из тех слов, которые помогают нам противостоять бесконечности; и оно же заставляет нас сожалеть, что мы не способны воспринимать реальность более удовлетворительным способом, не умеем яснее выражать ее и понимать.

Очевидно, что именно в надежде отметить канун нового тысячелетия чем-то более существенным, чем бутылка шампанского, университет организовал эти лекции. Оттого, я полагаю, и пригласили поэта прочесть одну из них, что поэзия есть искусство, которое как раз и стремится ухватить эти ускользающие смыслы и соединить их с нашим повседневным опытом. Позвольте же мне сразу начать со стихов, процитировав короткий отрывок из Шекспира, в котором присутствует нечто в духе переживаемого нами конца тысячелетия. Я выучил эти строки наизусть в шестом классе, когда мы только начинали проходить "Гамлета". Это отрывок из монолога Горацио, и хотя его тема — не смена календарных вех как таковая, но речь в нем идет о временах, когда история подошла к сходному поворотному моменту и мир, казалось, балансировал на краю пропасти. Речь Горацио относится к началу пьесы, когда Призрак отца Гамлета в первый раз появился на бастионе Эльсинорского замка, и Горацио с друзьями размышляют, что бы это явление могло означать. Говорит ли оно о трещине в устоях Датского королевства? Горацио напоминает о тех призраках, кометах, затмениях и прочих зловещих знаках, возбудивших тревогу в Риме накануне убийства Юлия Цезаря. Вот эти слова:

> В высоком Риме, городе побед,
> В дни перед тем, как пал могучий Юлий,
> Покинув гробы, в саванах вдоль улиц
> Визжали и гнусили мертвецы;
> Кровавый дождь, косматые светила,
> Смущенья в солнце, влажная звезда,
> В чьей области Сатурнова держава,
> Болела тьмой, почти как в Судный день;
> Такие же предвестья злых событий,
> Спешащие гонцами пред судьбой
> И возвещающие о грядущем,
> Явили вместе небо и земля
> И нашим соплеменникам и странам[1].

1. Перев. М. Лозинского.

"Такие же предвестья злых событий... / Явили вместе небо и земля / И нашим соплеменникам и странам". Это значит: в наши дни и в наших краях появились те же зловещие предзнаменования, что некогда в Риме. Иными словами, Горацио старается истолковать признаки надвигающихся бед, которые он ощущает в Дании, с помощью исторических и художественных параллелей в античности. Он и его товарищи угадывают, что происходящее вокруг имеет какой-то смысл, но смысл этот нужно еще обнаружить и понять, и тут-то истории о знаменьях и чудесах, предшествовавших убийству Цезаря, оказываются средством понимания и предсказания.

Я неожиданно вспомнил эти строки в прошлом августе на лужайке Тинтернского аббатства, под внушительными стенами и сводами этого давно обращенного в руины цистерцианского монастыря. Я был со своей женой и другом; мы давно планировали некое литературное паломничество[1] и, конечно, оказались в этом месте не случайно. Было одиннадцать часов 10 августа, через семь-восемь минут должно было начаться солнечное затмение. Темнело на глазах, долина реки Уай погружалась в тишину, и территория аббатства превратилась в зону сосредоточенного ожидания, в огромную антенну-тарелку, обращенную к солнцу. Несмотря на все наши мудрые познания о движении планет, несмотря на изученные нами диаграммы и газетные инструкции, мы ощущали благоговение и страх. Мы ждали и смотрели в небо, как какие-то философы-досократики. И в этот момент моя память шестого класса вдруг сработала, и я продекламировал вслух: "В высоком Риме, городе побед, / В дни перед тем, как пал могучий Юлий, / Покинув гробы, в саванах вдоль улиц / Визжали и гнусили мертвецы..."

Я не мог вспомнить продолжения монолога — того места, где говорится про "смущенья в солнце", но это было уже не важно. Та пара строк, которые я помнил, сразу установила перспективу и поместила свершающееся событие в некую систему координат. Цитата помогла понять и истолковать то, что мы переживали. Она пришла к нам на помощь так же, как первоначальное предание о римских пророчествах, которое вспомнилось Горацио. Тем самым она исполнила одну из важнейших функций, которую постоянно и неукоснительно выполняет наше культурное наследие. Чтобы попытаться определить, какова эта функция, я хочу прибегнуть к еще одной цитате — на этот раз из польского поэта Станислава Баранчака, взятой из его предисловия к антологии польской поэзии: "Как правило, — пишет Баранчак, — между опытом человеческого сообщества и индивидуальным сознанием существует промежуточное звено, некий посредник, который называется культурой. Если бы не этот посредник, внешний мир фактов и внутренний мир наших слов, чувств и мыслей напоминали бы двух собеседников, говорящих на разных языках. Именно культура позволяет установить контакт между ними, она служит переводчиком, который помогает понять, что нам говорит реальность и о чем она нас спрашивает, — одновременно помогая нам самим сформулировать свои вопросы на внятном языке символов".

1. Автор имеет в виду паломничество в места, описанные в знаменитом стихотворении Вордсворта "Строки, сочиненные в нескольких милях от Тинтернского аббатства, при вторичном посещении берегов реки Уай 13 июля 1798 года".

В этом как раз и состоит моя сегодняшняя тема: поэзия как расширительница и углубительница смыслов — как челнок в ткацком станке сознания, винтовая лестница, ведущая от того, что Т. С. Элиот назвал "недвижным центром мирового коловращения", к историческим обстоятельствам нашей жизни. Я попытаюсь рассмотреть эту тему на примере двух очень разных стихотворений.

Взятое как таковое, слово "поэзия" одновременно излучающее и неподатливое. Для разных людей оно означает столь разные вещи, что является скорее намеком на некое значение, чем точно определенной лексической единицей. Но это не должно нас смущать, когда мы утверждаем его ноуменальную ценность для одного человека в отдельности или для всех вместе. С одной стороны, это слово означает совокупность всех уже существующих стихотворений, тайный запас нашего родного языка, а также всех прочих языков. В этом смысле поэзия подобна арфе в темной комнате, ждущей, чтобы ее коснулись и пробудили ото сна. Тот, кто тронет ее струну, услышит нечто более или менее приятное и замысловатое, в зависимости от искусства исполнителя и от чуткости его уха. С другой стороны, поэзия — это возможность нового. Это существительное, стремящееся стать глаголом: существительное — потому что, как произведение искусства, стихотворение должно сохранять некую существенность, — но с характером глагола, потому что оно представляет собой акт мысли и акт творения.

Поэзия важна, в частности, потому, что она — сокровищница образов такой внутренней непреложности, что постигающему разуму невозможно пройти мимо этого потенциального источника смыслов. Несколько ключевых слов в вышеприведенной фразе взяты мной из книги Итало Кальвино — пяти его блестящих эссе, озаглавленных "Шесть памяток для следующего тысячелетия". Расхождение цифр объясняется тем, что Кальвино умер, не закончив свой труд, задуманный как серия из шести лекций, которые он должен был прочесть в Гарвардском университете. Это в основном его размышления о литературе, цитаты из любимых произведений и комментарии к ним. Целью всей работы было представить читателю шесть свойств, которые, как думал Кальвино, будут более всего цениться в следующем тысячелетии, — свойств, которые он определил как легкость, живость, точность, наглядность, множественность...

Процитирую один абзац из главы о "Точности":

> Рассмотрим, например, визуальные образы. Мы живем под непрерывным, нескончаемым ливнем образов. Средства массовой информации превращают мир в картинки, размножая их в фантасмагорическом множесте зеркал. Однако эти мелькающие картинки лишены той внутренней непреложности, которая отмечает всякий образ, претендующий на наше внимание в качестве потенциального источника смыслов. Большая часть этого визуального ливня бесследно уходит в песок подобно снам, не оставляя в сознании никакого следа, остается лишь чувство отчуждения и неудовлетворенности... ибо отсутствует суть.
>
> Эта неудовлетворенность проистекает от потери порядка и формы, которую я наблюдаю в жизни, каковой потере я могу противопоставить единственное возможное для меня оружие — идею литературы.

Иначе говоря, если календарное исчисление, как я предположил выше, есть способ сопротивления бесконечности, то подлинный образ — стихотворение, литературное произведение — наш способ противостоять случайности и иллюзорности. Самой своей формой поэзия борется с тем распадом, о котором говорит Кальвино. Безусловно, все течет, и даже самый сосредоточенный ум, быть может, всего лишь "водомерка над глубиной"; но мы не сумели бы осознать реальность ни в какой сколько-нибудь удовлетворительной мере, если бы Гераклит не высказал мысль о жизни как о потоке явлений и Йейтс не сравнил разум с долгоногим жучком, скользящим по поверхности этого потока, — если бы, иначе говоря, они не мыслили образами и если бы другие ученые люди не оценили, не сберегли и не донесли до нас эти образы.

Поэзия есть способ вернуться и пережить сызнова то, что уже однажды было. Вернуться не в обычном воспоминательно-ностальгическом плане, а в форме нового актуального переживания и переосмысления. В рамках стихотворения мы временно освобождены от императивов долга, морали, политики, даже религии. Это не значит, что они полностью забыты; мы освобождены не вчистую, а как бы условно; но на то время, пока длится стихотворение, наше отношение к своему жизненному опыту и своим обязанностям имеет право на разные своевольные капризы и уклоны. Поэзия создает пространство, на котором, говоря словами Йейтса, дух может "втайне торжествовать"[1].

В этом, безусловно, одно из вечных благодеяний искусства. Тон, которым оно обращается к нам и наводит на размышление, глубоко интимен. Когда я читаю что-нибудь вроде стихотворения Филипа Ларкина "Разговор в постели", я словно просыпаюсь, мой интерес к жизни и к миру получает новый толчок. Работает не только интуитивная, но и рациональная, познавательная часть моего сознания.

В постели лежа, глядя в темноту,
Быть откровенным легче с тем, кто рядом,
Тут можно говорить начистоту.
Но мы молчим все дольше, все труднее...
Там, в небе, ветер строит на лету
И рушит облачные мавзолеи,
Не успокаиваясь ни на́ миг.
А мы лежим немея — не умея
Покинуть одиночества тупик,
Найти в душе, пока еще мы живы,
Слова, что милосердны и не лживы —
Или почти добры, почти правдивы.

Кто бы вы ни были, святой или грешник, эти строки обращаются напрямик к вашему растревоженному сознанию, они переносят вас в этот "час истины" — три ноль-ноль пополуночи. Женаты вы или нет, молоды или стары, — читая это стихотворение, вы словно оказываетесь на перекрестке, где пересекаются две разные правды. Стихотворение говорит о том, что какая-то доля закрытости неизбежна в любых, даже самых идеальных отношениях; но оно также говорит о тяге человеческих душ

1. Букв. по-английски: "be secret and exult" — из стихотворения Йейтса "To a Friend Whose Work Came to Nothing".

к искренности и преданности; два этих непримиримых вывода, казалось бы, должны столкнуться, но им все-таки удается разъехаться. Эти стихи очень просты, современны и, на первый взгляд, лишены каких-либо классических аллюзий и "культурного багажа". В конце концов, именно Ларкин говорил, что не видит смысла в чтении зарубежной поэзии, и насмехался над тем, что он смолоду называл "мифологическими бирюльками", а я только что поименовал "культурным багажом". И все-таки, когда дело доходило до сочинения стихов, Ларкин был слишком поэтом, связанным двусмысленными законами своего искусства, чтобы следовать тем правилам голого высказывания, которые он рекомендовал другим, прикрываясь маской простака-деревенщины. "Разговор в постели", например, восходит к величайшему иностранному поэту второго тысячелетия Данте Алигьери, к строфике его "Божественной комедии". Он построен на терцинах – особым способом зарифмованных трехстишиях, – изобретенных Дантом и уже неразрывно связанных с его именем. Нет нужды утомлять вас техническими деталями, показывая, как Ларкин ловко "въезжает" в схему терцин и "выезжает" из нее под конец; достаточно обратить ваше внимание на рифмы "темноту" – "начистоту" – "на лету" и "труднее" – "мавзолеи" – "не умея", которыми он скрепляет свои строки, устремляясь к завершающему тройственному аккорду.

Другое стихотворение Ларкина, "В церкви", демонстрирует, как случайное посещение пустой церкви или кладбища может произвести глубокое впечатление на человека, заставить его остановиться и задуматься. Ларкин показывает, как пробуждается в нем глубинная серьезность, осознание мимолетности и вместе с тем значительности жизни, меняется плоскость зрения и открывается новая перспектива, позволяющая человеку увидеть свою жизнь в свете бесконечности и бессмертия. Обобщая, я бы сказал, что любое стихотворение, прочитанное в подходящий момент, дарит нам возможность как бы сызнова пережить то, что уже прожито. Более того, чтобы возникло чувство узнавания, не обязательно, чтобы стихи говорили о знакомых предметах или о близких временах. Важна только та "внутренняя непреложность", которая, по словам Кальвино, дает право на внимание читателя и делает стихи потенциальным источником смыслов.

Серьезность, вескость и эмоциональная мощь, способность затронуть в нас то, что Тед Хьюз называл центром страдания и решимости, – вот те свойства, которые привлекли меня к англосаксонской поэме "Беовульф" и удерживали все последние пять лет, которые я посвятил ее переводу. "Беовульф" часто называют эпической поэмой, и для этого есть основания, так как она рассказывает о воине-герое, который сперва сражается ради личной славы, а кончает жизнь в бою, спасая других людей. Но есть и такое мнение, что поэма скорее траурно-элегическая, чем эпическая, что весь рассказ о бранных подвигах Беовульфа подводит к кульминации, в которой певца вдохновляет скорее смерть героя, чем его победы, и что на всем колорите поэмы лежит ощущение не столько мироустроения, сколько конца и гибели мира.

Действительно, в поэме ощущается какая-то глубоко скорбная нота, которая и сообщает ей роковую непреложность и делает потенциальным источником смыслов. В мощном финале, например, когда тело героя предается погребальному костру, внимание неожиданно фокусируется на какой-то безутешно плачущей женщине. Она появляется как

скандинавский вестник смерти, как некая сивилла железного века в экстазе трагического пророчества, но эффект создается удивительно современный. Вся эта сцена, как я пишу в предисловии к своему переводу, "одновременно незабываема и странно нам знакома". Женщина, рыдающая в ужасе, пока огонь пожирает тело ее господина, как будто взята из телевизионного репортажа конца XX века из Руанды или Косова, ее причитание над мертвым — обрывок кошмарного сна, напоминающего нам, что должны переживать люди, испытавшие столь трагические, даже чудовищные события и предвидящие впереди только горе. И мы неожиданно осознаем глубину ее скорби, выраженной с такой точностью, достоинством и неумолимой силой:

> На голой горе огонь огромный
> они разложили; дым древесный
> взвился высоко, плач заглушило
> пламени ревом; жар ужасный
> разрушил, прожег костяные стены
> до основанья. Люди стенали,
> горюя о гибели господина.
> И плакала женщина племени гитов,
> терзая волосы, выла в голос,
> страшась грядущего, в грезах провидя
> своих сородичей слезы и гибель,
> груды убитых, горькую участь
> рабов... Небеса задохнулись дымом.

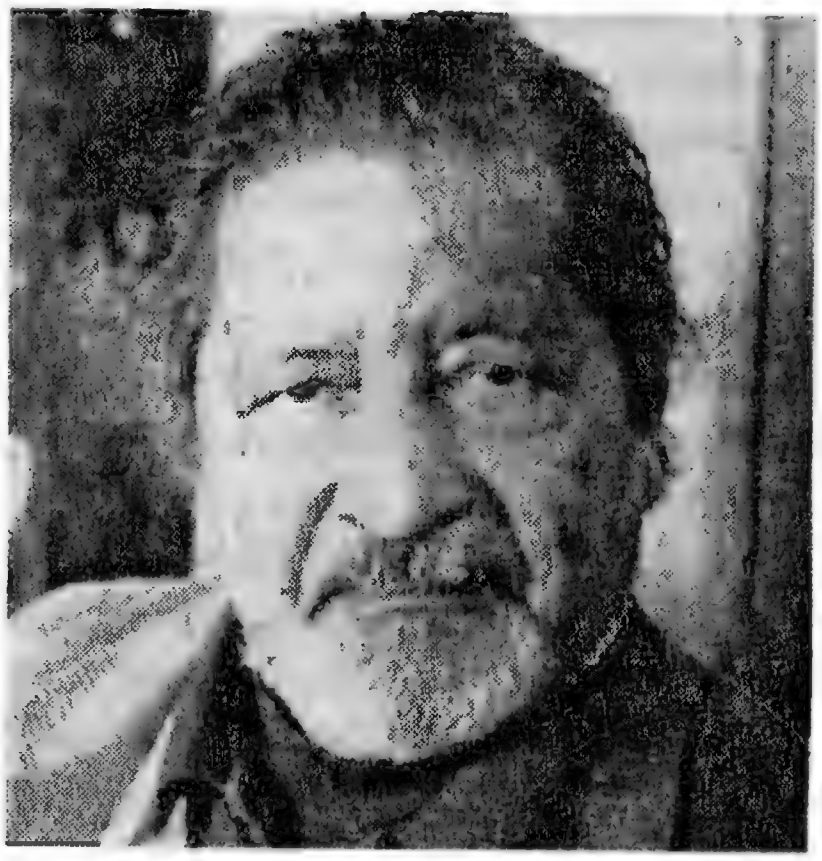
Подобные образы изливаются на нас каждый день по информационным каналам — час за часом, эпизод за эпизодом. Но эти новости прежде, чем достичь нас, были тщательно просеяны и приглажены, их саундтреки отредактированы, и все вместе ловко увязано с рекламными паузами. В таком виде они легко проглатываются и так же легко вылетают наружу. Для людей по ту сторону экрана эти катастрофы, горе и гибель — их подлинная жизнь, но для человека перед телевизором это всего лишь хроника, мелкая рябь на поверхности того потока образов, о котором говорит Кальвино, — образов, которые, при всей своей конкретности, лишены сути и потому оставляют в нас чувство отчуждения и неудовлетворенности. Новости побывали у вас дома, но до вас они не дошли. Образы "Беовульфа", наоборот, вплетают момент скорби в цельную систему унаследованных человечеством смыслов. Погребальный костер, холм, продутый ветром, возвышенная суровость метрических стихов — все это производит глубокое и неизгладимое впечатление; мы читаем эти строки, и наш сегодняшний опыт образует основу для понимания событий, сызнова совершающихся в поэме.

Где бы они ни жили — в Гуле, как Ларкин, или в древней Скандинавии, — людям нужна опора, чтобы выстоять в борении с внешним миром фактов и внутренним миром наших чувств и мыслей, и в этой лекции, надеюсь, я дал некоторое представление о том, каким образом поэзия помогает им обрести такую опору. Само собой разумеется, что новая жизнь может притечь к нам из старых источников, только если русла текущих от них ручьев очищены и свободны, и здесь университеты играют свою выдающуюся гуманистическую роль. Если культурное наследие не оберегается, если не проводится непрерывная работа по его осмыс-

лению и переосмыслению, то общий язык культуры будет в скором времени утрачен. Мне думается, что в начале нового тысячелетия, на рубеже новой эры, когда ослепительные вспышки новых технологий грозят сжечь тонкий озоновый слой культурной традиции, работа гуманитарных факультетов важна и необходима как никогда прежде.

Объем и разнообразие новых информационных технологий поистине ошеломляют. Смотреть на экран интернета – все равно что незащищенным взором смотреть на затмение солнца. Он может скорее ослепить, чем просветить. В этом случае требуется какой-то эквивалент "пинкарты" – картонки с проколотой дырочкой, которую можно держать перед собой, повернувшись спиной к солнцу, – нечто, что пропускает сквозь себя картину происходящего, одновременно оберегая нас от опасности быть ослепленным. Стихотворение, вообще культурное наследие в целом и есть такой эквивалент "пинкарты". Держите его перед реальностью, и оно спроецирует вам все новые и новые образы, позволяющие увидеть мир, в котором мы живем, в доступном постижению свете.

В. С. Найпол



Нобелевская премия 2001 года

Полужизнь

Роман

Перевод с английского В. Бабкова

Эта книга — вымысел. Описанные в ней страны, эпохи и события не являются точной копией настоящих.

Н. К. Н.

I
Визит Сомерсета Моэма

ОДНАЖДЫ Вилли Чандран спросил отца:

— Почему мое второе имя — Сомерсет? Ребята в школе только что узнали об этом и теперь смеются надо мной.

Отец ответил ему без улыбки:

— Тебе дали это имя в честь великого английского писателя. Ты наверняка видел у нас в доме его книги.

— Видел, но не читал. Ты что, так им восхищался?

— Не сказал бы. Вот послушай и суди сам.

И отец Вилли Чандрана начал рассказывать. Это заняло много времени. По мере того как Вилли подрастал, история менялась. К ней по-

© V. S. Naipaul, 2001
© В. Бабков. Перевод, 2003
Права на публикацию перевода переданы издательством "Росмэн-Пресс", где роман будет выпущен отдельной книгой.

стоянно добавлялось что-то новое, и когда Вилли собрался уезжать из Индии в Англию, она приняла следующий вид.

Знаменитый писатель, о котором идет речь (рассказывал отец Вилли Чандрана), приехал в Индию за материалом для своего нового романа о духовном совершенствовании. Случилось это в 1930-х. Ко мне его привел директор колледжа махараджи. Я тогда наложил на себя покаяние за то, что сделал, и жил как нищий во дворе перед большим храмом. Место там было очень оживленное, поэтому я его и выбрал. Меня преследовали мои враги из числа приближенных махараджи, и во дворе храма, на глазах у людей, которые все время ходили туда-сюда, мне было спокойнее, чем на работе. Из-за этих преследований у меня совсем расстроились нервы, и чтобы восстановить душевное равновесие, я принял обет молчания. Этим я заслужил среди местных некоторое уважение, даже известность. Они приходили посмотреть, как я молчу, и иногда приносили мне подарки. Власти волей-неволей терпели это, и, едва завидев директора с маленьким светлокожим стариком, я сразу подумал, что это заговор с целью вынудить меня нарушить обет. Тогда я разозлился. Люди почувствовали что-то необычное и собрались рядом, чтобы на нас поглазеть. Я знал: они на моей стороне. И не сказал ни слова. Говорили только директор с писателем. Они обсуждали меня, глядя мне в лицо, а я сидел и смотрел сквозь них, точно был слепым и глухим, а народ вокруг смотрел на всю нашу троицу.

С этого все и началось. Я ничего не сказал великому человеку. Сейчас в это трудно поверить, но, по-моему, до нашей встречи я ничего о нем даже не слышал. Из всей английской литературы я знал только Браунинга, Шелли и им подобных, тех, кого успел пройти за год своей учебы в университете, потому что я по глупости отказался от английского образования, послушавшись призыва махатмы, и сразу испортил себе всю жизнь – дальше мне оставалось только смотреть, как мои друзья и враги делают карьеру и богатеют. Но это уже другая история. Ее я расскажу как-нибудь потом.

А теперь вернемся к писателю. Пожалуйста, не забудь, что я не сказал ему ни одного слова. Но потом – года через полтора – он опубликовал свои путевые заметки, в которых были две-три страницы и обо мне. Там было еще много чего о храме, о толпах людей, и о том, как они были одеты, и о рисе, муке и кокосах, которые они приносили в дар богам, и о вечерних лучах солнца на старых камнях двора. Там было все, что сообщил ему чиновник махараджи, и даже кое-что сверх того. Очевидно, директор хотел заинтриговать писателя красочным рассказом о жертвах, на которые я пошел. Еще там было несколько строк, а то и целый абзац, где описывались – примерно в том же духе, что камни и вечерний свет, – гладкость и чистота моей кожи.

Вот как я прославился. Не в Индии, где очень много зависти, а за границей. А во время войны, когда вышел знаменитый роман "Острие бритвы" и иностранные критики увидели во мне его духовный источник, эта зависть превратилась в ярость.

Но преследовать меня перестали. В своей первой индийской книжке, путевом дневнике, писатель – оказавшийся, ко всеобщему удивлению, антиимпериалистом – в лестных тонах изобразил махараджу, его государственный аппарат и чиновников, включая директора колледжа. Так что отношение ко мне изменилось. На меня стали смотреть как бы глазами писателя, видя во мне человека из высшей касты, потомка знат-

ных священнослужителей, который отказался от высокого поста в налоговой службе, пренебрег блестящей карьерой и живет на скудные подаяния, как последний нищий.

Оказалось, что выйти из этой роли нелегко. Как-то раз сам махараджа передал мне добрые пожелания через одного из своих секретарей. Это меня сильно встревожило. Раньше я надеялся, что через некоторое время в городе вспыхнет другое религиозное увлечение, меня оставят в покое и я смогу жить по-своему. Но когда в день большого религиозного праздника к храму явился сам махараджа в облике кающегося грешника — солнце пекло его обнаженную спину — и своей рукой преподнес мне кокосы и ткань, заранее приготовленные для этой цели придворным в ливрее, которого я знал как отпетого мошенника, мне стало ясно, что освобождение уже невозможно, и я покорился судьбе, уготовившей мне такой странный жребий.

Меня стали посещать гости из-за границы. В основном это были друзья знаменитого писателя. Они приезжали из Англии в расчете найти то же, что нашел он. Нередко они привозили с собой его письма. Иногда приходили с письмами от крупных чиновников махараджи. Иногда — с письмами от людей, побывавших у меня раньше. Некоторые из них тоже были писателями, и через недели или месяцы после их посещений в лондонских журналах появлялись статейки об этих визитах. Благодаря заграничным гостям я так часто входил в отведенную мне роль, что совсем свыкся с этой новой версией своей жизни. Иногда мы беседовали о тех, кто уже побывал у меня, и очередной гость с удовлетворением говорил что-нибудь вроде: "Я его знаю. Он очень хороший друг". Так что в течение пяти месяцев, с ноября по март — то есть зимой, или "в холодный период", как говорят англичане, чтобы отличать этот сезон в Индии от английской зимы, — я чувствовал себя заметной общественной фигурой на периферии небольшой иностранной паутины из сплетен и знакомств.

Иногда бывает, что оговоришься, а поправляться не хочешь. Ты делаешь вид, будто сказал именно то, что хотел. А потом вдруг обнаруживаешь в своей ошибке какой-то правильный смысл. Например, замечаешь, что вместо "подмочить репутацию" вполне можно сказать и "подкосить репутацию". Примерно таким образом размышляя о странной жизни, навязанной мне в результате встречи с великим английским писателем, я стал убеждаться, что это и есть спасение, о котором я мечтал не один год: мне ведь давно хотелось отречься, спрятаться, сбежать от того, во что я превратил свою жизнь.

Тут надо вернуться назад. Наши предки были жрецами. Мы жили при храме. Я не знаю, когда этот храм построили, какой правитель велел построить его и долго ли мы при нем жили: это не те сведения, которые нам полагалось знать. Мы были служителями храма, и наши семьи объединялись в клан. Мне думается, что когда-то мы были очень богатым и процветающим кланом и пользовались многочисленными услугами людей, которым служили сами. Но потом нашу землю завоевали мусульмане, и мы все обеднели. Люди, которым мы служили, больше не могли нас обеспечивать. Когда появились англичане, дела пошли еще хуже. Закон соблюдался, но население выросло. Нас, служителей храма, стало слишком много. Так мне рассказывал мой дед. Внутри нашего сообщества по-прежнему действовали те же мудреные правила, что и раньше, но есть было почти нечего. Люди худели, слабели и стали часто болеть. Какая печальная судьба для жреческого клана! Я не любил слушать истории, которые дед рассказывал о том времени, о 1890-х годах.

Когда от деда остались кожа да кости, он решил покинуть наш храм и тех, кто при нем жил. У него был план — поехать в большой город, где находились дворец махараджи и знаменитый храм. Он готовился к этому как мог, потихоньку запасая рис, муку и масло и откладывая одну мелкую монетку за другой. Никто ничего не знал. В намеченный день он встал пораньше, еще до рассвета, и отправился на железнодорожную станцию. До нее было много миль. Он шел три дня. Шел по местам, где жили очень бедные люди. Большинство из них были такими же нищими, как он, но некоторые, увидев исхудавшего молодого жреца, предлагали ему подаяние и крышу над головой. Наконец он добрался до станции. Он говорил мне, что к тому времени у него почти не осталось сил и мужества. Он был так растерян и напуган, что не замечал ничего вокруг. Под вечер пришел поезд. Дед запомнил только шум и толпу, а потом наступила ночь. Раньше он никогда не путешествовал поездом и всю дорогу провел, погрузившись в себя.

Утром они прибыли в большой город. Он спросил, как пройти к главному храму, и остался перед ним, перебираясь по двору вслед за тенью. Вечером, после службы, священники стали раздавать еду из приношений. Его тоже не обошли. Ему досталось не так уж много, но больше того, к чему он привык. Он притворился паломником. Никто не задавал ему вопросов, и он прожил так первые несколько дней. Но потом его заметили. Расспросили. Он все рассказал. Служители храма не стали его прогонять. Именно один из этих служителей, добрый человек, предложил деду сделаться писцом. Он снабдил его всем, что было для этого нужно, — ручкой, перьями, чернилами и бумагой, — и дед пошел и сел вместе с другими писцами на мостовой перед дворцом махараджи.

Большинство тех, кто сидел рядом с дедом, писали на английском. Они составляли для людей разные прошения и помогали им заполнять официальные бумаги. Мой дед не знал английского. Он знал хинди и язык своего родного края. В городе было много людей, которые приехали оттуда же, откуда и он, спасаясь от голода, и теперь хотели связаться с родственниками, так что работы деду хватало и у других писцов он ее не отнимал. Кроме того, людей привлекала одежда жреца, которую он носил. Вскоре он стал неплохо зарабатывать и уже не ютился по ночам во дворе перед храмом. Он снял хорошую комнату и вызвал к себе семью. Благодаря своей работе и знакомствам среди служителей храма он узнавал все больше и больше новых людей и вскоре получил выгодное место писца во дворце махараджи.

Эта работа была надежной. Платили за нее не очень много, зато можно было не бояться, что тебя уволят, да и народ относился к писцам махараджи с почтением. Мой отец легко перенял этот образ жизни. Он выучил английский, закончил школу и вскоре поднялся по служебной лестнице гораздо выше своего отца. Он стал одним из секретарей махараджи. Таких чиновников было много. Они носили красивые ливреи, и в городе к ним относились как к маленьким божкам. Думаю, отец хотел, чтобы я тоже выбрал этот путь и продолжил начатое им восхождение. Ведь он как будто вернулся к той спокойной жизни, какую вели при храме наши предки до тех пор, пока деду не пришлось бежать из родных мест.

Но во мне была какая-то бунтарская жилка. Может быть, я слишком часто слушал, как дед рассказывал о своем побеге и о своем страхе перед неизвестным, о тех ужасных днях, когда он погрузился в себя и не видел, что происходит вокруг. С возрастом мой дед стал чаще сердиться. Тогда

он говорил, что члены нашего древнего клана вели себя очень глупо. Они видели приближение беды, но не сделали ничего, чтобы спастись. Он и сам, говорил дед, откладывал свой побег до последнего момента; вот почему, приехав в большой город, он был вынужден прятаться во дворе храма, как подыхающее с голоду животное. Для него это было очень сильное выражение. Слушая его, я забеспокоился. У меня появилось смутное подозрение, что жизнь, которую все мы ведем в большом городе, при дворе махараджи, не продлится долго, что эта безопасность тоже кажущаяся. Такие мысли нагоняли на меня ужас, потому что я не знал, как мне защитить себя от грозящего краха.

Видимо, я созрел для политической деятельности. Тогда вся Индия кишела политиками. Но в штате махараджи не существовало движения за независимость. Оно находилось под запретом. И хотя нам были известны громкие имена и громкие события, мы наблюдали за всем этим как бы со стороны.

Я поступил в университет. Предполагалось, что я получу степень бакалавра гуманитарных наук, а потом, если повезет, стипендию махараджи, которая позволит мне заниматься дальше техникой или медициной. Потом я должен был жениться на дочери директора колледжа. Все распланировали за меня. Я плыл по течению, и мне было все равно. В университете я ленился все больше и больше. Я не понимал курса гуманитарных наук. Я не понимал "Мэра Кастербриджа"[1] — ни поведения персонажей, ни того, в какое время происходит действие романа. С Шекспиром было лучше, но я не знал, что делать с Шелли, Китсом и Вордсвортом. Когда я читал этих поэтов, мне хотелось сказать: "Но это же просто ложь. Никто так не чувствует". Профессор заставлял нас записывать свои лекции. Он диктовал их, страницу за страницей, и поскольку он старался сделать их покороче, а от нас требовал, чтобы мы записывали все слово в слово, мы никогда не слышали от него фамилии "Вордсворт" целиком. Это почти все, что я запомнил из его лекций, — он всегда говорил только первую букву, "В" вместо "Вордсворт". "В" сделал то-то, "В" написал то-то.

В общем, я очутился в тупике: чувствовал, что надежность нашего положения обманчива, не хотел ничего делать, ненавидел учебу и знал, что в стране происходят большие события. Я обожал великие имена борцов за независимость. Мне было стыдно за свое бездействие и за то, что меня готовят к такой рабской жизни. И году в 1931-м или в 1932-м, когда махатма призвал студентов бойкотировать высшие учебные заведения, я решил последовать этому призыву. И сделал даже больше. Я устроил во дворе перед университетом маленький костер из "Мэра Кастербриджа", Шелли, Китса и профессорских лекций и ушел домой ждать бури, которая должна была обрушиться на мою голову.

Но ничего не случилось. Похоже, моему отцу никто ничего не сообщил. Даже декан — и тот смолчал. Наверное, мой костер потух раньше времени. Книги ведь не так легко сжечь: для этого надо, чтобы огонь как следует разгорелся. Кроме того, перед университетом была вечная толкотня, а рядом проходила шумная улица, так что моей возне в дальнем углу могли попросту не придать значения.

Я стал чувствовать свою бесполезность острее, чем когда бы то ни было. В других областях Индии действовали великие люди. Последовать за этими великими людьми, даже увидеть их хотя бы мельком было бы для меня блаженством. Ради того, чтобы приобщиться к их величию,

1. "Мэр Кастербриджа" — роман Томаса Гарди (1840—1928). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

я отдал бы все что угодно. А здесь была только рабская жизнь при дворе махараджи. Ночь за ночью я размышлял о том, что мне следует сделать. Я знал, что всего годом-двумя раньше сам махатма в своем ашраме прошел через подобный кризис. Очевидно, живя там спокойной, будничной жизнью, окруженный всеобщим восхищением, он на самом деле испытывал глубокую тревогу и гадал, как поднять страну в едином порыве. И его осенило: ему в голову пришла чудесная идея "соляного похода", долгого марша от его ашрама к морю за даровой солью.

Так, оставаясь в безопасности у себя дома, при отце — придворном в ливрее, и ради спокойствия делая вид, что моя учеба в университете продолжается, я наконец почувствовал прилив вдохновения. Я абсолютно не сомневался в том, что найденное мною решение правильно, и готов был выполнить его любой ценой. А решил я ни больше ни меньше как принести себя в жертву. Причем это должна была быть не бессмысленная жертва под влиянием момента — любой дурак может прыгнуть с моста или броситься под поезд, — а нечто более продолжительное, жертва, которую одобрил бы сам махатма. Он часто говорил о том, что деление на касты — это зло. Никто не возражал ему, но очень немногие сделали из его слов практические выводы.

Мое решение было простым. Я решил повернуться спиной ко всем своим предкам, этим оголодавшим под чужеземным гнетом глупцам-священникам, о которых мне рассказывал дед, опровергнуть все глупые надежды моего отца на то, что я дослужусь до высокого чина при дворе махараджи, все глупые надежды директора колледжа на то, что он выдаст за меня свою дочь. Я решил повернуться спиной ко всем этим видам смерти, растоптать их и совершить единственный благородный поступок, который был в моей власти, — а именно найти девушку как можно более низкого происхождения и взять ее в жены.

Одна такая уже была у меня на примете. Она училась там, откуда я ушел, но кто она, я не знал. Раньше я никогда с ней не разговаривал. Я едва замечал ее. Она была маленькая, с грубыми чертами лица — почти дикарка на вид, совсем черная, а два ее больших верхних зуба выделялись своей белизной. Иногда она носила что-то очень яркое, а иногда — очень темное и некрасивое, почти сливающееся по цвету с ее черной кожей. Она наверняка принадлежала к самой низшей касте. Махараджа выделил людям из этой касты — их называли "неполноценными" — несколько стипендий. Он славился своей набожностью, и назначение этих стипендий было одним из его благочестивых поступков. Об этом я, собственно, и подумал, когда впервые увидел эту девушку в лекционном зале с ее книгами и тетрадями. На нее смотрели многие. Она не смотрела ни на кого. Потом я видел ее часто. Она держала ручку как-то неумело и по-детски старательно записывала лекции профессора о Шелли и о том самом "В", о Браунинге, Арнольде и значении монолога в "Гамлете".

Это слово — монолог — вообще доставило нам много неприятностей. Профессор произносил его тремя или четырьмя разными способами, в зависимости от настроения, и, когда он проверял, хорошо ли мы знаем его лекции, каждый из нас употреблял тот вариант, который ему казался правильным, — получалось, как говорится, "кто в лес, кто по дрова". Для многих из нас литература была полна трудностей такого рода. Я почему-то думал, что девушка, которая учится на стипендию (она ведь училась на стипендию), должна понимать больше других. Но однажды профессор задал ей вопрос — обычно он не обращал на нее особенного внимания, — и я убедился, что она понимает намного меньше.

Она практически не знала, в чем состоит сюжет "Гамлета". Все, что она оттуда помнила, — это слова. Она считала, что действие пьесы происходит в Индии. Профессор с легкостью высмеял ее, и те, кто был в зале, тоже стали смеяться, точно сами понимали гораздо больше.

После того случая на лекции я начал внимательнее присматриваться к этой девушке. Она и притягивала меня, и отталкивала. Безусловно, она происходила из самых низов. Разбираться в том, кто ее близкие, ее родня и чем они занимаются, было бы невыносимо. Когда подобные люди являлись в храм, их не пускали в святилище — во внутреннее помещение со статуей божества. Жрец, отправляющий службу, никогда не подумал бы дотронуться до этих людей. Он бросал им священный пепел, как бросают еду собакам. Разные мысли такого рода приходили мне в голову, когда я размышлял об этой девушке, которая чувствовала на себе чужие взгляды и никогда не отвечала на них своим. Она держалась как могла, но сокрушить ее ничего не стоило. И постепенно мой интерес к ней стал сопровождаться едва заметным сочувствием, желанием посмотреть на мир ее глазами.

Этой девушке я и решил сделать предложение, а потом прожить жизнь в ее обществе и таким образом принести свою жертву.

В нашем городе была чайная, или кафе, которую часто посещали студенты. Мы называли ее гостиницей. Она находилась в переулке неподалеку от главной улицы, и цены там были очень низкие. Если ты просил официанта принести сигареты, он клал на столик открытую пачку, где было пять штук; ты брал сколько хотел и платил только за них. Там я однажды и увидел ту девушку в темной, некрасивой одежде — она сидела одна за столиком, покрытым круглыми пятнами от стаканов, под потолочным вентилятором. Я подошел и сел за ее столик. Я думал, что ей это польстит, но она почему-то испугалась. И тогда я сообразил, что она может и не знать, кто я такой: я ведь ничем не выделялся среди своих сокурсников, и она могла меня не запомнить.

Так что с самого начала я получил своего рода предостережение. Но я ему не внял и сказал ей:

— Я видел тебя в английской группе.

Может быть, мне не стоило говорить именно это. Она могла подумать, что я был свидетелем ее унижения в тот раз, когда профессор пытался заставить ее рассказать о "Гамлете". Она ничего не ответила. Худой официант с лоснящимся лицом, в очень грязной белой куртке, которую он носил много дней подряд, подошел к нам, поставил перед девушкой мокрый стакан воды и спросил, чего я хочу. Это помогло справиться со смущением мне, но не ей. Она очутилась в странном положении, да еще при свидетелях. Ее очень темная верхняя губа медленно и влажно — как улитка, подумал я, — скользнула по крупным белым зубам. Впервые я заметил, что эта девушка пользуется пудрой. Ее лоб и щеки были покрыты тонким белым налетом; из-за этого ее черное лицо казалось матовым, и было видно, где кончается пудра и снова начинается блестящая кожа. Я почувствовал отвращение, стыд, жалость.

Я не знал, о чем с ней беседовать. Я не мог сказать: "Где ты живешь? Кто твой отец? Есть ли у тебя братья? А они чем занимаются?" Все эти вопросы породили бы неловкость, и к тому же мне, честно говоря, вовсе не хотелось знать ответы. Эти ответы столкнули бы меня в яму, а я туда не хотел. Так что я сидел, потягивал кофе, курил тонкую дешевую сигарету из пачки, положенной передо мной официантом, и просто молчал. Случайно посмотрев вниз, я наткнулся взглядом на ее худые черные но-

ги в дешевых тапочках и снова удивился тому, как тронуло меня это зрелище.

Потом я стал ходить в чайную как можно чаще. Всякий раз, увидев там эту девушку, я садился за ее столик. Мы не разговаривали. Однажды она вошла позже меня. Она ко мне не подсела. Я не знал, как быть. Я подумал об остальных посетителях чайной, о том, что впереди у этих людей обычная, спокойная жизнь, и, честно говоря, слегка испугался — минуту-другую я даже размышлял, не отказаться ли мне от идеи пожертвовать своей жизнью. Для этого достаточно было никуда не пересаживаться. Но потом, подстегнутый смутным желанием довести дело до конца и раздраженный равнодушием девушки, я встал и пересел за ее столик. По-видимому, она ждала этого и, кажется, даже чуть подвинулась, точно освобождая мне место.

Так прошел целый семестр. Мы не говорили друг с другом, не встречались за пределами чайной, но между нами возникла какая-то особенная связь. На нас стали косо посматривать в чайной, и я начал ловить на себе эти взгляды, даже когда бывал там один. Девушка отчаянно робела. Я видел, что она не знает, как вести себя под этими осуждающими взглядами. Но то, что нагоняло на нее робость, вызывало у меня какое-то странное удовлетворение. Я воспринимал осуждение со стороны всех этих людей — официантов, студентов, обычных посетителей — как первый сладкий плод своего самоотречения. И это был только первый плод. Я знал, что впереди меня ждут еще более жестокие битвы, еще более суровые испытания и еще более сладостные награды.

Первая серьезная битва не заставила себя ждать. Однажды в чайной девушка сама заговорила со мной. Я привык к молчанию между нами — оно казалось самым безупречным способом общения, — и такая решимость со стороны человека, которого я считал неполноценным, сбила меня с толку. Вдобавок меня неприятно поразил ее голос. Только теперь я понял, что на занятиях — даже в тот раз, когда профессор пытал ее насчет "Гамлета", — я слышал от нее лишь невнятное бормотание. В этой же интимной обстановке, за чайным столиком, ее голос оказался не мягким, тихим и приятным для слуха, как того можно было ожидать от существа столь маленького, хрупкого и застенчивого, а, наоборот, громким, хриплым и резким. Именно такой голос связывался в моем представлении с людьми ее сорта. Но я думал, что она как студентка университета могла бы и избавиться от этого недостатка.

Я возненавидел ее голос сразу же, как только его услышал. Уже не в первый раз я почувствовал, что тону. Но этот страх был непременным спутником жизни, на которую я себя обрек, и мне было ясно, что сдаваться нельзя.

Я был так занят этими мыслями — ее решительностью, ее отталкивающим голосом (он подействовал на меня так же, как вид ее крупных белых зубов и напудренной черной кожи), страхом за себя, — что мне пришлось попросить ее повторить то, что она сказала.

— Кто-то сообщил моему дяде, — повторила она.

Дяде? Я чувствовал, что она не имеет права увлекать меня в эти зловонные глубины. Кто этот ее дядя? В какой дыре он живет? Даже произносить само слово "дядя", которое прочие люди употребляют, говоря о тех, кто, возможно, дорог их сердцу, было с ее стороны бесцеремонностью.

— Кто твой дядя? — спросил я.

— Он в профсоюзе рабочих. Он *подстрекатель*.

Она употребила английское слово, прозвучавшее в ее устах очень странно и как-то язвительно. В нашем штате не велась пропаганда откровенного национализма — махараджа наложил на нее запрет, — однако и у нас были в ходу эти полунационалистические уловки, когда взамен обычных грубых определений пользуются другими словами, более приятными на слух, вроде "рабочих" или "трудящихся". Тогда я сразу понял, кем она может быть. Ее родство с профсоюзным лидером объясняло, почему она получила стипендию от махараджи. В своих собственных глазах она была важной и влиятельной личностью, имела хорошие перспективы.

— Он говорит, что соберет против тебя демонстрацию, — сказала она. — Кастовое угнетение.

Это устроило бы меня как нельзя лучше. Таким образом все узнали бы о том, что я отверг старые ценности. Это доказало бы всем мою приверженность идеям махатмы, мою готовность к самопожертвованию.

— Он говорит, что соберет против тебя демонстрацию и сожжет твой дом, — продолжала она. — Весь народ видит, как ты садишься со мной в этой чайной уже которую неделю. Что ты собираешься делать?

Я по-настоящему испугался. Я знал, как ведут себя эти подстрекатели. И сказал:

— А что, по-твоему, я должен делать?

— Ты должен где-нибудь меня спрятать, пока все не уляжется.

Я возразил:

— Но это значит похитить тебя.

— Ты должен это сделать.

Она была спокойна. Я походил на утопающего.

Всего каких-нибудь несколько месяцев тому назад я был обыкновенным ленивым студентом университета, сыном придворного, жившим вместе с отцом в государственном доме средней категории, восхищался великими деятелями нашей страны и сам мечтал стать великим, не видя из-за убожества окружающей жизни никакого способа начать свое восхождение к величию; я был способен только на то, чтобы слушать песни из фильмов и поддаваться вызванным ими эмоциям, да вдобавок ослаблен известным стыдным пороком (о нем я больше ничего не скажу, ибо такие вещи распространены повсюду) и вообще угнетен ничтожностью нашего мира и рабским характером нашего существования. Теперь же моя жизнь изменилась практически во всех отношениях. Я был похож на ребенка, после дождя увидевшего отражение неба в луже: чтобы пощекотать нервы, зная при этом, что мне ничего не грозит, я тронул эту лужу ногой, а она вдруг превратилась в бурный поток, который закружил меня и понес прочь. Вот что я почувствовал всего через несколько минут. И за эти же несколько минут преобразилось мое видение мира: он перестал быть скучным, заурядным местом, где ходят и работают заурядные люди, и превратился в место, изобилующее невидимыми потоками, которые в любой момент могут смыть неосторожного. Вот что пришло мне на ум, когда я смотрел на эту девушку. И все в ней стало выглядеть по-другому: худые черные ноги, крупные зубы, очень темная кожа.

Мне нужно было сообразить, где ее спрятать. Это была ее идея. Ни гостиница, ни пансион, конечно, не годились. Я стал думать о знакомых. Друзей семьи и университетских приятелей пришлось отмести сразу. Наконец я вспомнил о владельце одной скульптурной мастерской. Она издавна была связующим звеном между городской фабрикой и храмом

моих предков. Я часто посещал эту мастерскую и был знаком с ее владельцем — маленьким пыльным человечком в очках. Он казался слепым, но лишь потому, что и очки его всегда покрывал слой каменной пыли. Во дворе мастерской постоянно трудились десять-двенадцать рабочих — низкорослые, голые до пояса, самые обыкновенные на вид, они долбили молотками по резцам, а резцами по камню, издавая одновременно двадцать или двадцать четыре разных звука. Среди такого шума нелегко было находиться. Но я подумал, что моя девушка вряд ли обратит на это внимание.

Резчики по камню принадлежали к средней касте — они не считались людьми низкого происхождения, но аристократы смотрели на них сверху вниз, — и для моей цели это было как раз то что надо. Многие из них жили в домиках при мастерской вместе со своими семьями.

Когда я пришел, владелец мастерской трудился над сложным чертежом храмовой колонны. Как всегда, он был рад меня видеть. Я посмотрел его чертеж, он показал мне другие, и я, улучив момент, заговорил о девушке из неполноценных, которую родные выгнали из дому с угрозами, так что теперь ей некуда деться. Я старался говорить как можно увереннее. Мастер знал о моем происхождении. Он никогда не заподозрил бы связи между мной и такой девушкой, а я еще намекнул, что действую по поручению одной очень важной персоны. Всем было известно, что махараджа благоволит к неполноценным. И хозяин повел себя как человек, понимающий, что к чему в этом мире.

В задней части его склада, где хранились разные каменные фигуры, статуи и бюсты, была маленькая комнатка. Этот пыльный коротышка в слепых очках был талантливым скульптором. Он делал не только изваяния божеств — сложная работа, требующая большой точности, — но и статуи реальных людей, живых и умерших. Он сделал множество махатм и других героев патриотического движения и изготовил по фотографиям множество бюстов чьих-то отцов и дедов. Некоторые из этих бюстов были в настоящих очках, которые раньше носили усопшие. В окружении всех этих каменных лиц мне всегда становилось не по себе. Правда, меня успокаивало сознание того, что у каждого божества есть какой-нибудь изъян, так что их страшное могущество не может стать реальностью и сокрушить нас всех.

Мне очень хотелось поселить девушку в мастерской насовсем, но я по-прежнему боялся подстрекателя, ее дяди. И чем дольше она там жила, тем труднее мне становилось отослать ее прочь; тем сильнее казалось, что мы связаны на всю жизнь, хотя я и пальцем до нее не дотронулся.

Сам я жил дома. Я ходил в университет и делал вид, что посещаю занятия, а потом иногда отправлялся в мастерскую. Я никогда не задерживался там надолго, иначе ее владелец мог бы что-нибудь заподозрить.

Наверное, моей девушке было нелегко там жить. Однажды, когда я пришел в ее каморку без света, где на всем лежал слой пыли, проникающей сюда со двора, — даже кожа девушки была припорошена ею, точно пудрой, — она показалась мне совсем печальной.

— Что случилось? — спросил я.

— Я думаю, как изменилась моя жизнь, — ответила она своим ужасным грубым голосом.

— А о моей ты подумала? — спросил я.

— Если бы я не сидела здесь, то сейчас сдавала бы экзамены, — сказала она. — Как по-твоему, они трудные?

— Я бойкотирую университет, — сказал я.

— А где ты найдешь работу? Кто станет тебе платить? Иди и сдавай экзамены.

— Я не учился. Теперь мне уже не подготовиться. Поздно.

— Тебя они не выгонят. Ты же знаешь этих людей.

Когда объявили результаты, мой отец сказал:

— Ничего не понимаю. Мне сообщили, что ты совсем ничего не знаешь о романтизме и о "Мэре Кастербриджа". Тебе собирались поставить "неудовлетворительно". Пришлось директору колледжа употребить свое влияние.

Мне надо было бы ответить: "Я давным-давно сжег свои книги. К этому призывал махатма. Я бойкотирую английское образование". Но я оказался слишком слаб. В решающий момент мне не хватило смелости. И я сказал только:

— В экзаменационной все мои знания куда-то улетучились, — хотя готов был заплакать от досады на самого себя.

Отец сказал:

— Если у тебя трудности с Гарди, Уэссексом[1] и всем прочим, надо было обратиться ко мне. У меня до сих пор лежат старые конспекты.

В тот день он был свободен от службы и сидел в маленькой жаркой гостиной нашего казенного дома. Он был без тюрбана и ливреи, в одной только нижней рубашке и дхоти. Несмотря на все их тюрбаны и ливреи, на дневные и вечерние костюмы, придворные махараджи никогда не носили обуви, и подошвы ног у моего отца были черные и задубевшие, с мозолями не меньше чем в полдюйма толщиной. Он сказал:

— Так что, думаю, тебе остается только Департамент земельных налогов.

И я пошел служить в аппарат махараджи. Департамент сбора земельных налогов был очень велик. Каждому, кто имел хотя бы клочок земли, вменялось в обязанность платить за него годовой налог. По всему штату были рассеяны налоговые служащие, которые регистрировали владельцев, собирали налоги и вели счета. Я работал в центральном отделении. Оно находилось в красивом доме из белого мрамора, с высоким куполом. Комнат там было не счесть. Я сидел в просторной высокой комнате с двадцатью другими работниками. Все наши столы и полки вдоль стен, глубокие, как в камере хранения на железнодорожном вокзале, были забиты бумагами. Эти бумаги лежали в картонных папках с завязками; попадались и большие кипы, обернутые материей. Папки на верхних полках, которые никто не снимал уже много лет, побурели от пыли и сигаретного дыма. Потолок тоже был коричневым от этого дыма. Сверху наша комната была коричневой от никотина, а ниже все было из красного дерева — двери, столы, пол.

Мне было жаль себя. Задумывая свою жертву, я никак не рассчитывал оказаться в роли мелкого прислужника власть имущих. Но теперь я радовался тому, что у меня есть работа. Мне нужны были деньги — хотя бы это скромное жалованье. Я наделал кучу долгов. Пользуясь именем моего отца и его положением во дворце, я занимал деньги у всех подряд, чтобы обеспечить девушку, жившую на складе около мастерской.

Она обустроила свою каморку. Это стоило денег, так же как ее одежда и кухонная утварь. Так что я нес все расходы женатого человека, а сам жил аскетом в казенном доме отца.

1. Зд.: Уэссекс — вымышленное графство, где происходит действие многих романов Гарди.

Девушка упорно не хотела верить, что у меня нет денег. Она считала, что у людей моего происхождения есть тайные запасы. Это было частью пропаганды, ведущейся против нашей касты, и я сносил все ее выпады без возражений. Когда я вручал ей очередную небольшую сумму, взятую у ростовщика, она не проявляла никакого удивления. И даже говорила с иронией (или сарказмом — не знаю, как назвал бы это наш профессор): "Ты очень расстроен. Но люди из вашей касты всегда расстраиваются, если им приходится отдавать деньги". Иногда она вела себя как ее дядя, подстрекатель неполноценных.

Я очень горевал. Но она была довольна моей новой работой. Как-то раз она заметила:

— Должна тебе сказать, что для разнообразия не мешало бы иметь регулярный доход.

— Но я не знаю, сколько мне удастся продержаться на этой работе, — ответил я.

— Я уже достаточно натерпелась, — сказала она. — И больше терпеть не желаю. Между прочим, я могла бы стать бакалавром. Если бы ты не забрал меня из университета, я сдала бы экзамены. Моим родным на многое пришлось пойти, чтобы устроить меня в университет.

Я чуть не заплакал от злости. Даже не из-за ее слов, а при мысли о той тюрьме, в которой я теперь был вынужден жить. День за днем я покидал отцовский дом и отправлялся на работу. Я снова чувствовал себя ребенком. Была такая история, которую мои отец и мать любили рассказывать знакомым, когда я был маленьким. Как-то раз они сказали мне: "Сегодня мы поведем тебя в школу". А вечером спросили: "Ну что, понравилась тебе школа?" Я ответил: "Очень!" На следующий день они разбудили меня пораньше. Я спросил, что случилось, и они ответили: "Тебе пора в школу". А я заплакал и сказал: "Но ведь я уже ходил в школу вчера!" То же самое я чувствовал теперь, идя на работу в Департамент земельных налогов, и меня пугала мысль о том, что я должен буду ходить туда ежедневно, год за годом, пока не умру.

Однажды, когда я был на службе, ко мне подошел начальник и сказал:

— Тебя переводят в ревизионный отдел.

Этот отдел занимался проблемой коррупции среди землемеров и сборщиков налогов. Иногда служащие нашего Департамента брали земельный налог у бедняков, не умеющих читать, и не выдавали им квитанций, а потом этим бедным крестьянам приходилось платить за свои три-четыре акра земли еще раз. Иногда крестьяне получали свои квитанции за взятку. Мелкому жульничеству среди бедных не было конца. Наши служащие были ненамного богаче крестьян. Кто терпел убытки, если налог оставался неуплаченным? Чем дольше я смотрел на эти грязные клочки бумаги, тем больше убеждался, что мои симпатии на стороне мошенников. Я начал уничтожать или выбрасывать эти проклятые маленькие листочки. Это был своего рода саботаж, и мне доставляла огромное удовольствие мысль о том, что я, сидя у себя на работе, все же нашел способ без лишнего шума проявлять гражданское неповиновение.

Как-то раз начальник сказал мне:

— Тебя вызывает главный инспектор.

Вся моя смелость испарилась. Я вспомнил о долгах, о ростовщике, о девушке, живущей на складе.

Главный инспектор сидел за столом, заваленным папками — это были дела о злоупотреблениях, побывавшие на десятках других столов, прошедшие сложный отбор и наконец попавшие сюда, где этот человек должен был вынести по ним свой страшный приговор.

Он откинулся на спинку стула, посмотрел на меня сквозь толстые очки и сказал:

— Как вам нравится ваша работа?

Я повесил голову и ничего не ответил. Тогда он сказал:

— Со следующей недели вы будете младшим инспектором.

Это было крупное повышение. Я почувствовал, что угодил в ловушку. Я сказал:

— Не знаю, сэр. Мне кажется, у меня нет достаточной квалификации.

— Но мы же не назначаем вас на должность старшего инспектора, — ответил он. — Вы будете только младшим.

Так началось мое продвижение по службе. Как бы плохо я ни работал, сколько бы ни саботировал, меня все равно продвигали наверх. Это было что-то вроде гражданского неповиновения наоборот.

Я встревожился. Однажды вечером я заговорил об этом с отцом. Он сказал:

— Директор колледжа рассчитывает, что его зять будет не последним человеком.

— Но я не могу стать его зятем. Я уже женат, — ответил я.

Не знаю, почему мне пришло в голову это сказать. Конечно, строго говоря, это не было правдой. Но я уже начал смотреть на свою связь с девушкой, живущей в мастерской, как на настоящий брак.

Отец разъярился. От всей его мягкости и терпеливости не осталось и следа. Он был просто вне себя. Прошло много времени, прежде чем он смог задавать вопросы.

— Кто эта девушка?

Я ответил. У него отнялся язык. Мне показалось, что он сейчас упадет в обморок. Я захотел его успокоить и рассказал ему о ее дяде, подстрекателе неполноценных. Это было глупо и противоречило всей моей идее жертвы, но я пытался объяснить ему, что у девушки все же есть какая-то родня и она не совсем уж пустое место. Однако вышло только хуже. Он не желал ничего слышать о подстрекателе. Он лег плашмя на старую бамбуковую циновку, которой был покрыт бетонный пол нашей маленькой гостиной, и принялся звать мать. Я очень хорошо видел его толстые, заскорузлые подошвы. Они были грязные и потрескавшиеся, а по краям от них отслаивались узенькие полоски кожи. Как придворному, моему отцу было запрещено носить обувь. Но мне он ее покупал.

Наконец он сказал:

— Ты опозорил нас всех. А теперь нам придется еще вынести гнев директора колледжа. Ты обесчестил его дочь, потому что люди считали тебя практически ее мужем.

Вот так — хотя я не тронул ни ту, ни другую и не заключал ни с одной из них официального союза, оказалось, что я обесчестил уже целых двух девушек.

Утром у отца были запавшие глаза. Он плохо спал. Он сказал мне:

— Много веков мы оставались такими, какими были. Даже когда пришли мусульмане. Даже когда мы голодали. А теперь ты загубил все наше наследие.

— Настала пора приносить жертвы, — сказал я.

— Жертвы. Какие еще жертвы?

— Я следую призыву махатмы.

Тут отец замолчал, и я добавил:

— Я пожертвовал единственным, что у меня было. — Этот аргумент пришел мне в голову вчера вечером.

Отец ответил:

— Директор колледжа — очень влиятельный человек, и я уверен, что он найдет способ нас покарать. Не знаю, как я ему скажу. Не знаю, как мне смотреть ему в глаза. Тебе легко говорить о жертвах. Ты можешь уехать. Ты еще молод. А мне и твоей матери придется расплачиваться. Вообще-то тебе действительно лучше уехать. Здесь тебе не дадут жить с такой женой. Об этом ты подумал?

Мой отец был прав. До сих пор все было для меня довольно просто. Пока я еще не жил с этой женщиной. С каждым днем эта перспектива становилась все более реальной и все больше меня отталкивала. Так что я очутился в странном положении.

Несколько недель жизнь текла по-старому. Как и раньше, я жил в доме отца и время от времени навещал девушку в мастерской. Ходил на службу в Департамент земельных налогов. Отец по-прежнему боялся мести директора колледжа, но ничего не происходило.

Однажды мне сказали:

— Тебя вызывает главный инспектор.

На столе перед главным инспектором лежала стопка папок. Некоторые из них я узнал. Он спросил меня:

— Если я скажу, что вас снова выдвинули на повышение, вы будете удивлены?

— Нет. Да. Но у меня нет нужной квалификации. Я не справляюсь со всеми этими повышениями.

— Вот и мне так кажется. Я посмотрел кое-что из вашей работы. И удивился. Некоторые документы уничтожены, расписки выброшены.

— Не знаю, — сказал я. — Какое-то хулиганство.

— Думаю, я должен сказать вам сразу. Вас проверяют на коррупцию. Были жалобы от вышестоящих сотрудников. Это серьезное обвинение, в коррупции. Вы можете сесть в тюрьму. Вам грозит СЗ — строгое заключение. В этих папках хватит улик, чтобы осудить вас.

Я пошел в мастерскую, к девушке. Она была единственной, с кем я мог поговорить.

— Значит, ты помогал мошенникам? — спросила она. Похоже, ей это понравилось.

— Ну да. Я не думал, что начальство когда-нибудь узнает. В этой конторе столько бумаг. Можно состряпать любое дело против кого угодно. Между прочим, у директора колледжа на меня зуб. Он хотел, чтобы я женился на его дочери.

Девушка сразу поняла, что к чему. Мне не пришлось больше ничего объяснять: она сама сделала необходимые выводы. И сказала:

— Я попрошу дядю устроить демонстрацию.

Дядя, демонстрация — толпа неполноценных, размахивающих своими грубыми флагами и выкрикивающих мое имя перед дворцом и секретариатом. Я сказал:

— Нет-нет. Пожалуйста, не надо демонстрации.

Она принялась настаивать. Мой рассказ задел ее за живое. Она сказала:

— Он умеет *завести* народ. — Она употребила английское слово.

Мысль о том, что меня будет защищать подстрекатель неполноценных, была невыносима. К тому же я знал, что после всех страданий, которые я причинил отцу, этот удар убьет его. Именно тогда, зажатый между девушкой и директором колледжа, между подстрекателем и угрозой тюремного заключения — очутившись, как говорится, меж двух огней, — я и начал думать о побеге. Я подумал, что могу найти убежище в знаменитом городском храме. Как дед. В этот момент наивысшего самоотречения я бессознательно вернулся к образу действий своих предков.

Я стал тайком готовиться к уходу. Особых приготовлений мне не потребовалось. Труднее всего было наголо обрить голову. И вот однажды, встав спозаранку, как принц Будда, задумавший покинуть отцовский дворец после очередного кутежа, я вышел из дома отца и, одетый как представитель своей касты, босиком и голый до пояса, отправился в храм. Мой отец никогда не носил обуви. Я же всегда носил ботинки, снимая их только по случаю, в дни религиозных праздников, и кожа на подошвах моих ног была мягкой и тонкой, не то что у отца. Скоро мои подошвы стали очень чувствительными, и я с тревогой подумал о том, что будет, когда взойдет солнце и булыжники, которыми вымощен двор перед храмом, накалятся как следует.

Как и мой дед много лет назад, в течение дня я перемещался по двору вслед за тенью. После вечерней молитвы мне предложили еды. Потом, дождавшись удобного момента, я объявил себя нищенствующим монахом и попросил у браминов убежища, заодно сообщив им о своем происхождении. Я не пытался скрыться. Двор перед храмом был таким же людным местом, как главная улица. Я думал, что чем больше народу меня увидит, чем громче я заявлю о своей жертве, тем меньшая опасность будет мне грозить. Но меня знали немногие, и прошло некоторое время, дня три или четыре, прежде чем о моем побеге в храм стало известно и разразился скандал.

Директор колледжа и чиновники из налогового департамента уже собирались атаковать меня, но тут дядя девушки устроил демонстрацию. Это всех очень напугало. Меня никто не тронул. Вот как, к огромному моему огорчению, преследуемый грустными мыслями об отце и о нашем прошлом, я сделался своего рода знаменем неполноценных.

Это продолжалось недели две-три. Я не знал, куда мне деваться, и не имел ни малейшего представления о том, к чему все идет. Я не представлял себе, долго ли еще пробуду в этом странном положении. Государственные юристы делали свое дело, и я знал, что, если бы не подстрекатель, никакие убежища не спасли бы меня от суда. Тогда у меня появилась идея поступить так же, как когда-то поступил махатма: дать обет молчания. Это соответствовало моему темпераменту и к тому же казалось самым простым выходом. Вскоре слухи о моем обете распространились по всей округе. Бедняки, приходившие в храм издалека, чтобы поклониться божеству, стали задерживаться во дворе, чтобы поклониться мне. Я превратился в святого и одновременно, благодаря подстрекателю, в политическую фигуру.

Моя история стала известна почти так же широко, как история одного юриста из другого штата, выбившегося из низов мерзавца по фамилии Мадхаван. Этот негодяй, вопреки всем традициям и приличиям, настаивал на своем праве ходить мимо храма, когда священники выполняли длинную череду сложных религиозных обрядов. Если при выполнении этих обрядов кто-нибудь совершал даже маленькую ошибку, приходилось начинать все заново. В такие часы неполноценные могли

помешать священникам своей болтовней, и их обычно не пускали на улицу, ведущую к храму.

По всей стране только и говорили что о Ганди, Неру и британцах. Здесь же, в штате махараджи, все это мало кого волновало. Наши неполноценные были националистами только наполовину, или на четверть, или еще того меньше. Они боролись главным образом за отмену каст. Довольно долго они устраивали шествия и однодневные забастовки, отстаивая право юриста ходить мимо храма и мое право жениться на дочери их лидера или ее право выйти за меня замуж.

Благодаря этой кампании гражданского неповиновения я мог некоторое время не опасаться директора колледжа и суда, а заодно не встречаться с девушкой. Но я очень страдал от того, что меня поставили на одну доску с этим юристом. Мне казалось несправедливым, что моя жизнь, основанная на честной жертве, приняла такой оборот. В конце концов, я хотел просто следовать советам великих людей, моих земляков. А капризы судьбы превратили меня в героя тех, кто желал свергнуть моих любимых героев, защищая свои мелкие кастовые интересы.

Три месяца или около того я жил таким образом — принимая дань уважения от посетителей храма, не замечая их подношений и, конечно, ни разу не открыв рта. В общем, это был не самый плохой способ убивать время — во всяком случае, вполне подходящий для меня. Кроме того, в моем положении обет молчания оказался как нельзя более кстати. Я не представлял себе, чем все кончится, но вскоре это перестало меня волновать. Добровольно лишившийся дара речи, порой я даже испытывал приятное чувство отстраненности от мира — я точно парил в воздухе, не привязанный ни к кому и ни к чему. Иногда минут на десять-пятнадцать или больше я забывал обо всех своих бедах. Иногда я вообще забывал, где нахожусь.

И тут во дворе храма появились знаменитый писатель со своим другом в сопровождении директора колледжа, и моя жизнь снова круто переменилась.

Директор колледжа был еще и главой издательства, выпускавшего туристическую литературу, и потому иногда показывал самым уважаемым гостям местные достопримечательности. Он бросил на меня взгляд, полный ненависти, — во мне сразу ожили все прежние тревоги, — и хотел было пройти мимо, но друг писателя, мистер Хакстон, спросил, кто я такой. Раздраженно и пренебрежительно махнув рукой, директор ответил: "Никто, никто". Но мистер Хакстон не удовлетворился этим и спросил, почему люди делают мне подношения. Директор сказал, что я дал обет молчания и не нарушаю его уже около ста дней. Писателя это очень заинтересовало. Директор заметил интерес именитого гостя и, как это свойственно людям его типа (и как полагалось хорошему работнику туристической службы махараджи), начал говорить вещи, которые старому писателю и его другу хотелось услышать. Он уперся в меня своим тяжелым ненавидящим взглядом и стал распространяться о моем знатном происхождении и о моих предках-священниках. Потом он стал распространяться о моих собственных ранних успехах и блестящих перспективах, которые передо мной открывались. И от всего этого я якобы отказался, чтобы жить аскетом во дворе храма, питаясь только от щедрот паломников.

Меня напугал этот неожиданный панегирик. Мне показалось, что директор задумал какую-то пакость, и во время его речи я смотрел в сторону с таким видом, будто не понимаю языка, на котором он говорит.

Четко произнося каждое слово, директор сказал:

— Он боится суровой кары в этой жизни и в следующей. И у него есть на то причины.

— Что вы имеете в виду? — спросил писатель. Он сильно заикался.

— Разве все мы не расплачиваемся ежедневно за свои прошлые грехи и не зарабатываем себе наказание на будущее? — ответил директор. — Разве в эту ловушку не попадает каждый человек? Во всяком случае, свои собственные неприятности я могу объяснить только этим.

Я слышал обвинение в его голосе, но не повернулся, боясь встретиться с ним глазами.

На следующий день писатель и его друг пришли снова, теперь уже без директора. Писатель сказал:

— Я знаю, что вы поклялись молчать. Но не могли бы вы написать ответы на несколько вопросов, которые я задам? — Я не кивнул и не сделал никакого другого жеста, выражающего согласие, но он попросил у своего друга блокнот и написал в нем карандашом: "Вы счастливы?" Этот вопрос имел для меня смысл, и я взял блокнот с карандашом и написал с абсолютной искренностью: "Внутри моего молчания я чувствую себя свободным. Это и есть счастье".

Было еще несколько подобных вопросов. В общем, дело пошло легко, стоило только начать. Ответы сами приходили мне в голову, и я даже стал получать от нашего общения удовольствие. Я видел, что писатель тоже доволен. Он сказал своему другу громким голосом, словно мое молчание означало, что я вдобавок еще и глухой: "По-моему, это немного напоминает случай с Александром и брамином. Ты знаешь эту историю?" Мистер Хакстон сердито ответил: "Нет, не знаю". В то утро у него были красные глаза и раздраженный вид — может быть, из-за погоды. Солнце палило вовсю, и от выбеленных камней двора поднимался жар. Писатель сказал с легким злорадством, совсем не заикаясь: "Ну и ладно". Потом повернулся ко мне, и мы еще немного побеседовали с помощью блокнота.

Под конец беседы я почувствовал, что сдал экзамен. Я знал, что молва о нашей встрече разойдется достаточно широко и что внимание, проявленное к моей особе великим писателем, не позволит директору и остальным чиновникам причинить мне вред. Так оно и вышло. Собственно говоря, писатель еще не успел уехать, а меня уже начали превозносить. Как и невезучему директору колледжа, им всем пришлось сказать обо мне по нескольку хвалебных слов.

Спустя какое-то время писатель выпустил свою книгу. Потом стали появляться другие заграничные гости. Вот каким образом, пока за пределами нашего штата все сильнее разгоралась борьба за независимость, у меня сложилась своего рода репутация — скромная, но тем не менее вполне реальная — в среде иностранцев, занимавшихся интеллектуальными и духовными исканиями.

Я уже говорил, что выйти из своей новой роли мне так и не удалось. Сначала мне казалось, что я сам поймал себя в сеть. Но очень скоро я убедился в том, что эта роль мне подходит. Я все больше и больше сживался с нею и в один прекрасный день понял, что благодаря цепочке случайностей, попадая, точно во сне, из одной немыслимой ситуации в другую, всегда действуя лишь под влиянием момента и желая только перестать быть рабом без всякого ясного представления о том, к чему это может привести, я вернулся к образу жизни своих предков. Это открытие поразило меня и исполнило благоговения. Я почувствовал, что

тут не обошлось без вмешательства высшей силы и она указала мне истинный путь.

Мой отец и директор колледжа думали иначе. Для них — несмотря на то, что директору приходилось постоянно восхвалять меня по официальным причинам, — я был навеки опороченным, падшим аристократом, а моя жизнь — насмешкой над жизнью подлинных святых. Но мне не хотелось перед ними оправдываться. Они с их осуждением были далеки от меня.

Через некоторое время я понял, что мне пора как-то упорядочить свою жизнь. Я не мог больше оставаться при храме. Надо было каким-то образом наладить самостоятельное существование и разобраться в своих отношениях с девушкой. Избавиться от нее было не проще, чем избавиться от моей новой роли. Бросить ее значило усугубить свою вину перед ней; к тому же я по-прежнему вынужден был считаться с ее дядей. Я не мог попросту извиниться перед всеми и вернуться к своему старому образу жизни.

Все последние месяцы она так и жила при мастерской, в маленькой комнатке на складе, забитом изваяниями божеств и белыми мраморными двойниками местных знаменитостей. С каждым днем наша связь, о которой знал уже весь город, становилась все более прочной, и с каждым днем я все больше стыдился ее. Я стыдился этой девушки так же сильно, как мои отец с матерью, директор и вообще люди нашего слоя стыдились меня. Этот стыд всегда был со мной, он маячил маленьким облачком где-то на границе моего сознания как неизлечимая болезнь, мешал мне радоваться жизни и получать удовольствие от своих маленьких побед (еще одно упоминание в книге, еще одна журнальная статья, еще один титулованный гость). Я начал — хотя это звучит довольно странно — находить утешение в собственной меланхолии. Я лелеял ее и растворялся в ней. Меланхолия стала такой неотъемлемой частью моего характера, что порой я надолго забывал о ее причине.

И так наконец я обзавелся своим домом и своей семьей. В одном отношении мне повезло. Все считали, что я уже женат на той девушке, поэтому дело обошлось без брачной церемонии. Не думаю, что я смог бы через это пройти. Моя душа не вынесла бы такого кощунства. Втайне от всех, в глубине души я дал себе клятву полового воздержания, *брахмачарьи*. Как махатма. Но, в отличие от него, не сдержал ее. Мне было очень стыдно. И наказание не заставило себя ждать. Скоро я заметил, что моя сожительница беременна. Ее беременность, разбухший живот, это изменение и без того непривлекательного тела мучили меня, и я отчаянно не хотел признавать очевидное.

Когда родился малыш Вилли, меня беспокоило только одно: насколько он окажется похож на неполноценного. Любой, глядя, как я склоняюсь над младенцем, решил бы, что я смотрю на это крохотное существо с гордостью. На самом же деле все мои мысли были обращены внутрь, и сердце мое падало.

Позже, когда он стал подрастать, я иногда наблюдал за ним, не говоря ни слова, и чувствовал, что вот-вот заплачу. Я думал: "Бедный, бедный Вилли, что я с тобой сделал! За что я наложил на тебя это пятно?" А потом я думал: "Не глупи. Он — не ты и не из таких, как ты. Достаточно взглянуть на его лицо. Ты не наложил на него никакого пятна. То, что он получил от тебя, растворилось в его более обширном наследии". Но какая-то маленькая надежда на него жила во мне всегда. Например, иногда я видел кого-нибудь из нашего слоя и думал: "Он ведь похож на Вилли.

Прямо копия маленького Вилли". И с надеждой, стучащей в сердце, я возвращался домой, чтобы посмотреть на него, и с первого же взгляда убеждался, что обманул себя в очередной раз.

Все это были мои личные переживания. Я прятал их за своей меланхолией и ни с кем ими не делился. Даже не знаю, что сказала бы мать Вилли, узнай она о них. После рождения сына она вступила в пору какого-то отталкивающего расцвета. Она словно забыла о сути моей жертвы и стала гордиться своим домом. Жена одного английского офицера учила ее составлять букеты (это было до провозглашения независимости, и у нас в городе еще стоял британский гарнизон); кроме того, она брала уроки кулинарии и домоводства у своей знакомой из парсов. Она пыталась развлекать моих гостей. Я сгорал со стыда. Помню один ужасный случай. Она накрыла стол новым способом: на дополнительную тарелочку рядом с прибором каждого гостя положила полотенце. Мне показалось, что это неправильно. Я никогда не читал о полотенцах на обеденном столе и не видел их ни в одном иностранном фильме. Она уперлась. Она твердила какое-то слово вроде "serviette". К тому времени она уже отвыкла защищаться в наших спорах и вскоре начала говорить всякие глупости о моих предках, которые-де ничего не понимали в современном домоводстве. Все это тянулось до прихода первого гостя (француза, писавшего книгу о Ромене Роллане, которого в Индии все обожали, потому что он, по слухам, восхищался махатмой), и я был вынужден спрятаться за свою меланхолию и просидеть весь вечер с этими полотенцами на столе.

Вот какой, в общих чертах, была моя жизнь. Представь, какое глубочайшее отчаяние, какое отвращение к себе охватили меня, когда — при всем том, о чем я уже говорил, и несмотря на мои попытки соблюсти обет *брахмачарьи*, который я считал чрезвычайно важным, — мать Вилли забеременела во второй раз. Теперь она родила девочку, и теперь я уже не мог обманывать себя. Девочка оказалась вылитой матерью. Это было словно наказание свыше. Я назвал девочку Сароджини в честь поэтессы, боровшейся за национальную независимость. Я надеялся, что судьба моей дочери хотя бы отчасти повторит судьбу этой поэтессы — знаменитой патриотки, которая сумела заслужить у людей восхищение, несмотря на свое общепризнанное уродство.

* * *

Вот какую историю поведал Вилли Чандрану его отец. Это заняло примерно десять лет. Разные вещи нужно было говорить в разное время. Вилли Чандран успел вырасти, пока рассказывалась эта история.

Его отец сказал:

— Много лет назад, прежде чем услышать от меня эту историю, ты спросил, действительно ли я восхищался писателем, в честь которого тебя назвали. Я ответил, что не уверен в этом и что тебе придется судить самому. Теперь, когда ты услышал все, что я хотел тебе рассказать, что ты думаешь?

— Я презираю тебя, — ответил Вилли Чандран.

— Ты говоришь как твоя мать.

— Что мне проку в твоих историях? — сказал Вилли Чандран. — Ты не даешь мне ничего.

— Я пожертвовал многим, — сказал его отец. — У меня нет сокровищ, которые я мог бы тебе дать. Все, что у меня есть, — это мои знакомства. Вот мое сокровище.

— А как же несчастная Сароджини?

— Я буду с тобой откровенен. По-моему, она была послана сюда ради того, чтобы испытать нас. Я не могу сказать тебе о ее внешности ничего такого, чего ты не знал бы сам. В этой стране перспективы у нее не блестящие. Но у тех, кто живет за границей, свои представления о красоте и кое о чем другом, и я очень надеюсь, что Сароджини выйдет замуж за иностранца.

II
Первая глава

Вилли Чандран и его сестра Сароджини посещали благотворительную школу при миссии. Как-то раз один учитель, канадец, с дружелюбной улыбкой спросил Вилли: "Кто твой отец?" Этот вопрос он в разное время задавал и другим мальчикам, и все они с готовностью называли незавидные профессии своих отцов. Вилли удивлялся, отчего им не стыдно. Но теперь, когда ему задали тот же вопрос, он вдруг понял, что не может объяснить, чем, собственно, занимается его отец. Еще он почувствовал стыд. Учитель по-прежнему улыбался в ожидании ответа, и наконец Вилли Чандран раздраженно сказал: "Вы все знаете, кто мой отец". В классе засмеялись. Ребят рассмешило его раздражение, а не его слова. С этого дня Вилли Чандран начал презирать своего отца.

Мать Вилли Чандрана тоже когда-то обучалась в миссионерской школе, и именно она захотела отправить туда своих детей. Большинство тех, кто там учился, были неполноценными, которых не взяли бы в местные школы для детей из приличных каст, а если бы и взяли, им пришлось бы там тяжело. Сама она сначала тоже пошла в одну из таких местных школ. Это была пыльная, полуразвалившаяся лачуга в пригороде, вдали от дворца махараджи и всех его благих намерений. Несмотря на всю неприглядность школы, ее учителя и слуги не желали видеть там мать Вилли Чандрана. Слуги были настроены еще более непримиримо, чем учителя. Они говорили, что лучше умрут с голоду, чем будут работать в школе, куда принимают неполноценных. Они грозили устроить забастовку. Но в конце концов они проглотили свою гордость, перестали грозить забастовкой, и девочку взяли в класс. Первый же день ее учебы оказался последним. На перемене девочка вместе с остальными детьми выбежала во двор, где изможденный, одетый в лохмотья слуга раздавал школьникам воду из бочки. У него был черпак на длинной бамбуковой ручке, и этим черпаком он наливал каждому школьнику воду в медную или алюминиевую кружку. Матери Вилли Чандрана стало по-детски любопытно, какую кружку ей дадут — медную или алюминиевую. Но когда она подошла к бочке, ей не предложили ни той, ни другой. Оборванный и изможденный слуга страшно рассердился и стал издавать такие звуки, какими обычно отгоняют приблудных собак. Несколько детей заступились за девочку, и тогда слуга сделал вид, будто что-то ищет, а потом поднял с земли грязную, ржавую банку с зазубренными от консервного ножа краями. Это была синяя жестянка из-под австралийского масла компании "Вуд-Данн". Туда он и налил воду для девочки. Так мать Вилли Чандрана узнала, что в большом мире алюминий предназначен

для мусульман, христиан и им подобных, медь — для людей из приличных каст, а ржавая старая банка — для нее. Она плюнула в банку. Изможденный слуга замахнулся на нее бамбуковым черпаком, и она убежала со школьного двора, испугавшись за свою жизнь, а вдогонку ей летели проклятия слуги. Через несколько недель она пошла в школу при миссии. Она могла бы пойти туда с самого начала, но ее семья и те, кто ее окружал, не знали ничего и ни о чем. Они ничего не знали ни о религии людей из других каст, ни о мусульманстве, ни о христианстве. Они не знали, что делается в стране и в мире. Они жили в неведении, оторванные от мира, с незапамятных времен.

Стоило Вилли Чандрану в очередной раз услышать эту историю о банке из-под австралийского масла, как у него кровь закипала в жилах. Он любил свою мать и в раннем детстве, если ему перепадали какие-нибудь мелкие деньги, тратил их на вещи для нее и для дома: на зеркальце в бамбуковой рамочке, бамбуковую подставку для горшка, отрез недорогой ткани, медную вазочку, раскрашенную кашмирскую шкатулку из папье-маше, цветы из гофрированной бумаги. Но постепенно, подрастая, он стал лучше понимать, что такое школа при миссии и как к ней относятся в штате. Он стал лучше понимать, что там за ученики. Он понял, что ходить в школу при миссии значит носить клеймо, и начал все больше отстраняться от матери. Чем больше хороших отметок он получал — а учеба давалась ему легче, чем другим, — тем заметнее становилась эта отстраненность.

У него появилась горячая мечта уехать в Канаду, откуда прибыли его учителя. Он даже стал мечтать о том, что перейдет в их религию и когда-нибудь, как они, будет разъезжать по свету и учить детей. И однажды, когда ему велели написать по-английски сочинение о том, как он провел каникулы, Вилли изобразил себя канадцем, родителей которого зовут "ма" и "па", на заграничный манер. Однажды "ма" и "па" решили отправиться с детьми на пляж. Рано утром они поднялись в детскую на втором этаже, разбудили детей, велели им надеть свои лучшие праздничные костюмы, усадили в машину и повезли на пляж. На пляже было полно отдыхающих, и они, то есть члены семьи Вилли, ели всякие праздничные сласти, которые захватили с собой, а вечером, загорелые и уставшие, вернулись домой. Все отличительные признаки заграничной жизни — двухэтажный дом, детская комната — были взяты из американских комиксов, которые передавались в миссионерской школе из рук в руки. Эти характерные детали сочетались с местными, вроде праздничных костюмов и праздничных сластей, которыми щедрые "ма" и "па" в какой-то момент даже поделились с полуголыми нищими. Учитель поставил Вилли высший балл, десять из десяти возможных, и попросил его прочесть это сочинение в классе. Другие дети — многие из них жили очень бедно — не знали, о чем писать, и не могли даже ничего придумать, поскольку ничего не знали о мире. Они слушали историю Вилли с восхищением. Потом он отнес свою тетрадь матери, и она похвалила его, явно очень довольная. "Покажи это отцу. Литература была его специальностью", — добавила она.

Вилли не стал отдавать сочинение прямо отцу в руки. Он пошел на веранду, выходящую во внутренний дворик ашрама, и положил тетрадь на стол, за которым отец пил по утрам кофе.

Отец прочел сочинение. Ему стало стыдно. "Ложь, ложь, — подумал он. — Откуда он набрался этой лжи?" Потом он подумал: "Но разве это хуже, чем Шелли, 'В' и все прочие? У них ведь тоже сплошная ложь". Он

снова прочитал сочинение. Огорчился из-за его чуждости и подумал: "Бедный Вилли, что я с тобой сделал!" Потом допил кофе. Он слышал, как на главном дворе его маленького храма собираются первые посетители. Он подумал: "Да нет, ничего я ему не сделал. Он — не я. Он сын своей матери. Все эти 'ма' и 'па' от нее. Она, конечно, не виновата. Происхождение есть происхождение. Миссионерская школа для нее счастье. Может быть, после сотни-другой перевоплощений она хоть немного разовьется. Но она не хочет ждать, как все приличные люди. Сейчас многие из этих неполноценных норовят догнать нас одним прыжком".

Он ни слова не сказал Вилли о его сочинении, и Вилли о нем не спросил. Он стал презирать отца еще больше, чем прежде.

Как-то утром, через неделю или около того, когда его отец принимал посетителей в ашраме на другой стороне дома, Вилли Чандран снова оставил свою школьную тетрадь на веранде, которая выходила во внутренний двор. В полдень, придя перекусить, его отец увидел тетрадь и почувствовал досаду. Его первой мыслью было, что сын принес ему новое оскорбительное сочинение с этими лживыми "ма" и "па". Ему показалось, что мальчик, достойный сын своей матери, хочет уязвить его исподтишка, как истинный неполноценный, и он слегка растерялся. Он спросил себя: "А как на моем месте поступил бы махатма?" И решил, что махатма ответил бы на этот коварный выпад обычной демонстрацией своего любимого гражданского неповиновения: он не сделал бы ничего. Так он и поступил. Он не дотронулся до тетради сына и оставил ее лежать на столе. Там Вилли и увидел ее, когда пришел из школы в обеденный перерыв.

Вилли подумал про себя по-английски: "Он не просто обманщик, но еще и трус". Эта фраза ему не понравилась; где-то была нарушена логическая связь. Тогда он переделал ее. "Не просто обманщик он, но также и трус". Инверсия в начале фразы казалась неуместной; странно выглядели и "но", и "также". А потом, по дороге обратно в миссионерскую школу, на урок английского, грамматика вытеснила у него из головы все прочее. Он так и этак комбинировал слова в своей фразе и позабыл об оставленной на веранде тетради и об отце.

Но отец Вилли Чандрана не забыл о Вилли. Молчание и самодовольный вид мальчика за обедом встревожили его. Он подозревал, что в школьной тетради кроется очередная насмешка, а после обеда его подозрение быстро превратилось в уверенность. Он покинул очередного посетителя с его глупыми вопросами и вышел на веранду по другую сторону дома. Открыл тетрадь и увидел сочинение, написанное Вилли на этой неделе. Оно называлось "Король Кофетуа и нищенка".

В давние времена, когда в стране свирепствовали голод и нужда, ко двору короля Кофетуа, отважно преодолев по дороге множество препятствий, явилась одна нищенка и попросила подаяния. Ее допустили к королю. Она вошла к нему с покрытой головой, потупив взор, и говорила так вежливо и с таким смирением, что король попросил ее снять покрывало. Она оказалась редкой красавицей. Король влюбился в нее и тут же, не сходя с места, поклялся перед всеми придворными, что эта нищенка станет его супругой. Он сдержал слово. Но счастье королевы длилось недолго. Никто не относился к ней как к настоящей королеве: все знали, что она нищенка. С родными она больше не виделась. Иногда они приходили к воротам дворца и звали ее, но ей не позволяли выйти к ним. Вскоре родичи короля и придворные начали оскорблять ее открыто. Кофетуа словно бы не замечал этого, а королеве было стыдно жа-

ловаться ему. Со временем у королевской четы родился сын. Но и тогда придворные продолжали оскорблять бывшую нищенку, а ее нищие родственники слали ей проклятия. Когда сын подрос, ему стало очень жаль свою мать. Он поклялся, что расквитается со всеми, а когда стал мужчиной, выполнил свою клятву: он убил Кофетуа. Все были счастливы — и придворные, и нищие у дворцовых ворот.

На этом история заканчивалась. Все поля тетради были испещрены одобрительными пометками учителя-миссионера.

"Мы произвели на свет чудовище, — подумал отец Вилли Чандрана. — Он по-настоящему ненавидит свою мать и ее родных, а она ни о чем не догадывается. Не зря дядя его матери был подстрекателем неполноценных. Я не должен об этом забывать. Этот мальчик испортит мне всю оставшуюся жизнь. Надо отправить его куда-нибудь подальше отсюда".

Прошло не так уж много времени после этого случая, и однажды отец Вилли сказал ему, стараясь, чтобы его голос звучал как можно ласковее (ему непросто было говорить ласково с этим мальчиком):

— Пора нам подумать о том, где тебе учиться дальше, Вилли. Ты не должен стать таким же, как я.

— Зачем ты это говоришь? — спросил Вилли. — Ты же вполне доволен тем, что ты делаешь.

Его отец не откликнулся на эту провокацию. Он сказал:

— Я последовал призыву махатмы. Я сжег свои английские книги во дворе перед университетом.

— Немногие это заметили, — вставила мать Вилли Чандрана.

— Можешь говорить что тебе вздумается. Я сжег мои английские книги и не получил диплома. А теперь, если мне позволят, я хочу сказать только, что Вилли должен получить диплом.

— Я хочу уехать в Канаду, — сказал Вилли.

— Вся моя жизнь — жертва, — сказал отец. — Я не нажил себе состояния. Я могу отправить тебя в Бенарес, в Бомбей, в Калькутту и даже в Дели. Но я не могу отправить тебя в Канаду.

— Тогда меня отправят туда святые отцы из школы.

— Эту глупую идею вбила тебе в голову твоя мать. С чего это святым отцам отправлять тебя в Канаду?

— Они сделают из меня миссионера.

— Они сделают из тебя маленькую обезьяну и отправят тебя назад, работать с семьей твоей матери и другими неполноценными. Ты дурак.

— Ты так думаешь? — спросил Вилли Чандран. И на этом положил разговору конец.

Через несколько дней тетрадь снова очутилась на веранде. На сей раз отец Вилли Чандрана не стал мешкать. Он быстро перелистал пестрящие красными пометками страницы и нашел последнее сочинение.

Это была притча со сказочным сюжетом — самая обширная работа во всей тетради, выполнявшаяся, похоже, в большой спешке. Написанные мелким, торопливым почерком строчки теснились на страницах, почти упираясь в их края, и учителю с красной ручкой понравилось все: он отметил красной вертикальной чертой с восклицательным знаком где абзац, а где и целую страницу.

Как и в других придуманных Вилли историях или сказках, действие этой притчи происходило неведомо где и неведомо когда. Оно начиналось в голодную пору. Даже браминам было нечего есть. Один изголодавшийся брамин, кожа да кости, принимает решение покинуть людей

и уйти куда-нибудь в раскаленную гористую пустыню, чтобы умереть там с достоинством, вдали от чужих глаз. Когда силы его почти иссякают, он находит низкую темную пещеру и решает умереть там. Совершив очищение со всей возможной тщательностью, брамин ложится спать в последний раз. Он кладет свою измученную голову на камень. Но что-то не дает ему заснуть, мешает его голове и шее. Он касается скалы рукой и замечает, что это вовсе не скала. Это какой-то плотный, задубевший от времени мешок с жесткими складками, и когда брамин поднимается, он обнаруживает, что этот мешок, очень старый, набит сокровищами.

Едва он успевает это обнаружить, как к нему обращается неизвестный дух. Он говорит: "Этот клад ждал тебя долгие века. Ты можешь взять его и оставить себе, но при одном условии: ты должен будешь кое-что для меня сделать. Согласен ли ты?" Трепеща, брамин спрашивает: "Что я должен для тебя сделать?" Дух отвечает: "Каждый год ты будешь приносить мне в жертву маленького ребенка. Пока ты не перестанешь это делать, клад будет принадлежать тебе. Если же перестанешь — он исчезнет и вернется сюда. За долгие века у тебя было много предшественников, но никому из них не удалось сохранить клад". Брамин не знает, что сказать. Дух повторяет с раздражением: "Эй, умирающий, ты согласен?" Тогда брамин говорит: "Но где я возьму детей?" Дух отвечает: "Тут я не стану тебе помогать. Если проявишь достаточно решимости, дети найдутся. Так согласен ты или нет?" И брамин отвечает: "Согласен". Дух говорит: "Спи, богатый человек. Проснувшись, ты окажешься в своем старом храме, и мир будет у твоих ног. Но никогда не забывай о данном тобой обещании".

Брамин просыпается у себя дома и видит, что он стал здоровым и упитанным. Потом он обнаруживает, что в его распоряжении находятся несметные богатства. И почти сразу же, прежде чем он успевает насладиться своим достоянием, его начинает мучить мысль о том, что он должен сделать. Брамин не может избавиться от этих мук. Они отравляют ему час за часом, каждую минуту каждого часа.

Однажды он замечает проходящую перед храмом группу дикарей. Они маленькие и черные, костлявые от голода и почти нагие. Голод согнал этих туземцев с родных земель и заставил их позабыть древние правила. Они не должны были так близко подходить к храму, потому что тени этих людей, самый их вид, даже звуки их голосов оскверняют священное место. Брамина осеняет блестящая идея. Он узнает, где расположен лагерь дикарей. Ночью, закутав лицо шарфом, он отправляется туда. Находит вождя племени и во имя милосердия и религии предлагает ему продать одного из их полумертвых детей. Он заключает с вождем такой договор: ребенка следует усыпить, отнести в указанную брамином пещеру в безлюдных горах и оставить там. Если все будет сделано честь по чести, то через несколько дней вождь найдет в этой пещере долю древних сокровищ, которой хватит, чтобы вызволить из беды все его племя.

Жертва принесена, часть сокровищ оставлена; и этот обмен между дикарями и брамином совершается из года в год.

Проходит немало лет, и вот однажды в храм брамина является вождь племени — теперь он уже не так худ и лучше одет, а его волосы лоснятся, смазанные маслом. Брамин рассержен. "Кто ты такой?" — спрашивает он. "Ты меня знаешь. И я тебя знаю, — отвечает вождь. — Я знаю, зачем ты покупаешь детей. Я знал это с самого начала. В ту первую ночь я выследил тебя и все понял. Отдай мне половину своих сокровищ". — "Ты

ничего не знаешь, — говорит брамин. — Зато я знаю, что вот уже пятнадцать лет вы, дикари, приносите в жертву младенцев в известной мне пещере. Таковы обычаи вашего племени. Теперь, когда ваша жизнь изменилась к лучшему и вы переселились в город, вам стало стыдно и страшно. Поэтому ты пришел ко мне, во всем признался и попросил меня о снисхождении. Я пожалел тебя, потому что понимаю силу древних обычаев, но все же твое признание глубоко потрясло меня, и я могу в любой момент отвести людей в пещеру, полную детских костей. А теперь вон отсюда. Твои волосы смазаны маслом, но даже твоя тень оскверняет это священное место". Вождь испуганно съеживается и отступает. "Прости, прости", — бормочет он. "И не забывай о нашем договоре", — напоминает брамин.

Наступает день ежегодного жертвоприношения брамина. Ночью он пробирается в пещеру с костями. По дороге он обдумывает во всех подробностях, как объяснить свое появление в этой глуши, если вождь все-таки донес на него и он будет схвачен. Но никто его не ждет. Брамин не удивлен. В темной пещере лежат два одурманенных ребенка. Значит, вождь действительно внял его угрозам. Привычной рукой брамин приносит эту пару в жертву духу пещеры. Потом зажигает факел, чтобы предать маленькие тела огню, и видит, что это его собственные дети.

Тут история кончалась. Отец Вилли прочел ее, ничего не пропуская. Затем он механически вернулся к началу и увидел то, что успел забыть, поглощенный чтением: история называлась "Жизнь, полная жертв".

"Его ум отравлен, — подумал отец Вилли Чандрана. — Он ненавидит меня и ненавидит свою мать, а теперь он обратил эту ненависть на себя самого. Вот что натворили миссионеры со своими 'ма' и 'па', Диком Трейси и другими американскими комиксами, со своими фильмами про муки Христовы на Страстной неделе и фильмами с Богартом, Кэгни и Джорджем Рафтом во все остальное время. Я не могу бороться с такой ненавистью разумными доводами. С ней можно справиться только методом махатмы. Я буду ее игнорировать. По отношению к нему я буду соблюдать обет молчания".

Через две или три недели мать Вилли пришла к его отцу и сказала:

— Лучше бы ты отменил свой обет молчания. Вилли очень переживает.

— Этот мальчик пропащий. Я уже ничего не могу для него сделать.

— Ты должен ему помочь, — сказала она. — Больше никто не сможет. Два дня назад я наткнулась на него: он сидел в темноте. Я включила свет и увидела, что он плачет. Спросила, почему. Он сказал: "Я просто чувствую, что все в мире так грустно. А больше у нас ничего нет. Я не знаю, что делать". Тогда я растерялась. Наверное, он унаследовал это от тебя и твоих предков. Я пыталась его утешить. Сказала, что все будет хорошо и он поедет в Канаду. А он сказал, что не хочет ехать в Канаду. Не хочет быть миссионером. Он не хотел даже возвращаться в школу.

— Может, что-то случилось в школе.

— Я спросила. Он сказал, что зашел зачем-то в директорский кабинет. На столе у директора лежал журнал. Миссионерский. На его обложке была цветная картинка. Священник в очках и с наручными часами стоял одной ногой на статуе Будды. Он только что срубил ее топором и улыбался, опираясь на топор, как дровосек. Когда я ходила в школу, я тоже видела там журналы с такими картинками. Меня они не волновали. Но когда Вилли увидел эту картинку, ему стало стыдно за себя. Он почувствовал, что святые отцы дурачили его все эти годы. Ему стало стыдно,

что он хотел сделаться миссионером. На самом деле он хотел уехать в Канаду только для того, чтобы вырваться отсюда. Пока он не увидел эту картинку, он не знал, что такое работа миссионера.

– Если он не хочет туда ходить, пусть не ходит.

– Каков отец, таков и сын.

– А кто отправил его к миссионерам? Это была твоя идея.

Так Вилли Чандран бросил учиться в школе при миссии. Он стал бездельничать дома.

Отец увидел его однажды спящим: он лежал ничком рядом с закрытой книгой – это было школьное издание "Векфильдского священника"[1], – ноги скрещены, красные подошвы намного светлее всего остального тела. В этой позе он казался таким несчастным и таким полным жизни, что его отца захлестнула жалость. Он подумал: "Раньше я считал, что ты – это я, и сокрушался из-за того, что я с тобой сделал. Но теперь я знаю, что ты – не я. Того, что есть в моей голове, нет в твоей. Ты – кто-то другой, кто-то, кого я не знаю, и я беспокоюсь за тебя, потому что ты отправился в путь, о котором мне ничего не известно".

Несколько дней спустя он нашел Вилли и сказал:

– Ты знаешь, что состояния у меня нет. Но если хочешь, я напишу кое-кому из своих знакомых в Англии, и мы посмотрим, что они могут для тебя сделать.

Вилли обрадовался, хотя и не подал виду.

Знаменитый писатель, в честь которого Вилли получил свое второе имя, был уже очень стар. Примерно через месяц от него пришло письмо с юга Франции. Кто-то профессионально напечатал его на машинке узкими строчками с большим количеством свободного места. *"Уважаемый Чандран, было очень приятно получить Ваше письмо. Я с удовольствием вспоминаю Вашу страну, и мне всегда бывает очень приятно получить весточку от своих индийских друзей. Искренне Ваш..."* О Вилли в письме не было ни слова. Складывалось впечатление, что старый писатель не понял, о чем его просят. Наверное, винить в этом следовало секретарей, которые ведали его перепиской. Но отец Вилли Чандрана все равно был разочарован и пристыжен. Он решил ничего не говорить Вилли, но Вилли и сам мог догадаться, что произошло: он видел в доме письмо с французской маркой.

Никакого ответа не было получено от известного военного корреспондента, который приезжал в Индию снимать репортажи о борьбе за независимость, о разделе страны и об убийстве махатмы, – тогда он вел себя чрезвычайно дружелюбно. Некоторые из тех, кому написал отец Вилли, ответили прямо. Они сказали, что ничего не могут сделать. Другие прислали длинные благодушные письма, в которых, как в ответе писателя, не было даже упоминания о полученной просьбе.

Отец Вилли пытался смотреть на все философски, но это удавалось ему с трудом. Хотя его правилом было держать свои огорчения при себе, он сказал жене:

– Когда они приезжали сюда, я столько для них сделал. Показывал им ашрам. Со всеми знакомил.

– Они тоже много для тебя сделали, – ответила жена. – Они дали тебе твое занятие. Ты не можешь этого отрицать.

1. "Векфильдский священник" (1766) – роман Оливера Голдсмита (1728–1774).

"Никогда больше не стану говорить с ней об этих вещах, — подумал он. — Напрасно я нарушил свое правило. У нее совсем нет стыда. Она дикарка до мозга костей. Ест мой хлеб и оскорбляет меня".

Он колебался, не зная, как сообщить Вилли плохие новости. Теперь, поняв слабость мальчика, он стал равнодушен к его презрению. Но, хотя это по-прежнему слегка удивляло его, он не хотел усугублять страдания сына. Он не мог забыть того зрелища: честолюбивый, обманутый в своих надеждах мальчик спит лицом вниз рядом с мертвым школьным текстом, "Векфильдским священником", ноги его скрещены, темные, как у матери.

Но в этот раз ему, к счастью, не довелось испытать полное унижение: один человек все же не остался глух к его просьбам. Из Лондона пришло письмо в голубом конверте — его прислал член Палаты лордов, известный политический деятель, посетивший ашрам отца Вилли сразу после того, как страна получила независимость. Отец Вилли Чандрана хорошо запомнил этого человека благодаря его славе и титулу. Крупный размашистый почерк, голубая гербовая бумага Палаты лордов говорили о власти и влиянии, и содержание письма подтвердило надежды, внушенные его видом. Большому человеку было приятно продемонстрировать отцу Вилли свою силу, заслужить благодарность и уважение в этом далеком уголке, взмахнуть волшебной палочкой, шевельнуть, так сказать, мизинцем (поскольку все остальные пальцы были заняты более важными делами) и заставить похлопотать множество маленьких людей. В письме содержался клочок золотой парчи, сотканной этими маленькими людьми: для Вилли Чандрана нашлись место и стипендия в Лондонском педагогическом колледже, куда принимали только совершеннолетних.

Вот как сложилось, что двадцатилетний Вилли Чандран — недоучившийся ученик миссионерской школы, не имеющий ни малейшего представления о том, чего ему хочется (если не считать желания покинуть то, что он знал), однако очень плохо представляющий себе мир, расположенный за пределами того, что он знал (все эти представления сводились к фантазиям, навеянным голливудскими фильмами тридцатых и сороковых, которые показывали в школе при миссии), — отправился в далекий европейский город.

* * *

Он отправился туда морем. И все в этом путешествии так пугало Вилли — размеры его собственной страны, толкотня в порту, количество судов в гавани, уверенность людей на корабле, — что он почти ничего не говорил, поначалу из робости, а потом, заметив, что это придает ему сил, уже сознательно. Так он смотрел не видя и слышал не слушая; и год спустя (как это бывает с человеком, оправившимся от болезни и вспоминающим виденное тогда лишь вполглаза) обнаружил, что в его памяти сохранились все подробности этого ошеломляющего первого путешествия.

Он знал, что Лондон — большой город. Раньше ему казалось, что большой город — это волшебное место, полное блеска и великолепия, но, попав в Лондон и впервые прогулявшись по его улицам, он почувствовал разочарование. Он не понимал, на что смотрит. Буклеты и проспекты, которые он собирал на разных углах или покупал в метро, не по-

могали ему: их авторы считали, что здешние достопримечательности известны и привычны всему миру, а Вилли едва ли знал о Лондоне что-нибудь, кроме названия.

В Лондоне было только два места, про которые он что-то знал, — Букингемский дворец и Уголок ораторов. Букингемский дворец разочаровал Вилли. Он подумал, что дворец махараджи в его родном штате гораздо более величествен и гораздо больше похож на дворец, и где-то в глубине души у него зародилось смутное впечатление, что английские короли и королевы — самозванцы, а вся их страна немного смахивает на подделку. А когда он посетил Уголок ораторов, его разочарование обратилось в нечто вроде стыда — это был стыд за себя, за свое легковерие. Вилли узнал об этом месте из общеобразовательного курса в миссионерской школе и со знанием дела написал о нем не одну экзаменационную работу. Он ожидал увидеть огромные толпы сердитых, скандирующих лозунги людей — что-то вроде демонстраций, которые организовывал дядя его матери, подстрекатель неполноценных. Он не думал, что увидит там лишь кучки ленивых зевак вокруг полудюжины выступающих, а мимо будут равнодушно ездить большие автобусы и автомобили. Многие ораторы защищали весьма оригинальные религиозные идеи, и Вилли, вспомнивший свою жизнь на родине, подумал, что родственники этих людей, наверное, бывают рады их частым отлучкам.

Он отвернулся от этого угнетающего зрелища и побрел по одной из тропинок вдоль Бейсуотер-роуд. Он шел, не глядя по сторонам, размышляя о безнадежности жизни на родине и о своих туманных перспективах. И вдруг, самым что ни на есть волшебным образом, его выдернули из себя. Он увидел, что навстречу ему по тропинке, небрежно опираясь на тросточку, шагает человек, снискавший себе невероятно громкую славу, а теперь скромный, одинокий и величественный среди вечерних гуляющих. Вилли смотрел во все глаза. В нем сразу пробудились все прежние представления — те самые представления, с которыми люди порой приходили в ашрам, чтобы просто поглядеть на его отца, — и он почувствовал себя облагороженным одним только видом и присутствием великого человека.

Человек был высок и строен, очень смугл и внушителен, в официальном черном двубортном костюме, подчеркивавшем его стройность. Его волнистые волосы были гладко зачесаны назад над длинным узким лицом с поразительным ястребиным носом. Каждую черточку приближающегося человека Вилли хорошо знал по фотографиям. Это был Кришна Менон, близкий друг Неру, представитель Индии на международных форумах. Он шагал, опустив глаза, поглощенный своими мыслями. Потом поднял взгляд, увидел Вилли, и на его хмуром лице сверкнула дружелюбная сатаническая улыбка. Вилли и подумать не мог, что великий человек способен его заметить. А потом, прежде чем он успел сообразить, что делать, они с Кришной Меноном разошлись и ошеломительный миг канул в прошлое.

Через день-другой, сидя в маленькой комнате отдыха для студентов, он прочел в газете, что Кришна Менон задержался в Лондоне по дороге в Нью-Йорк, на совещание в ООН. Он останавливался в отеле "Клариджез". Вилли изучил схемы и путеводители и сообразил, что в тот день Кришна Менон мог выйти из отеля в парк, чтобы обдумать речь, с которой ему вскоре предстояло выступить. Он должен был говорить о вторжении Британии, Франции и других стран в Египет.

Вилли ничего не знал об этом вторжении. Причиной его якобы послужила национализация Суэцкого канала, но и об этом Вилли ничего не знал. На школьных уроках географии им объясняли, где находится Суэцкий канал, а один из фильмов, которые показывали в школе при миссии, назывался "Суэц". Но в сознании Вилли ни школьная география, ни "Суэц" не были реальными в строгом смысле слова. Ни то, ни другое не имело отношения к происходящему здесь и теперь; ни то, ни другое не касалось ни его самого, ни его семьи или родного города; и он не имел никакого понятия об истории Египта и Суэцкого канала. Ему было знакомо имя полковника Насера, египетского лидера, но лишь в том же смысле, что и имя Кришны Менона: он знал, что Насер большой человек, но не знал почему. Дома он читал газеты, но делал это довольно необычным способом. Он научился пропускать главные сообщения об избирательных кампаниях в Соединенных Штатах и далеких войнах: эти события ничего для него не значили, но тягучие отчеты о них повторялись из недели в неделю, а потом обрывались, зачастую очень неуклюже, оставляя, подобно плохой книге или фильму, впечатление, что потраченные на них время и усилия пропали зря. Точно так же, как на корабле Вилли удавалось смотреть не видя и слышать не слушая, он и дома много лет читал газеты, не воспринимая новостей. Он знал громкие имена и от случая к случаю проглядывал крупные заголовки, но и только.

Теперь, после внезапной встречи с Кришной Меноном, он был потрясен тем, как мало ему известно об окружающем мире. Он сказал себе: "Эта привычка не видеть досталась мне от отца". Он начал читать в газетах о египетском кризисе, но не понимал, что читает. Он слишком плохо представлял себе фон происходящего, а газетные статьи напоминали сериалы: нужно было знать, что случилось раньше. Тогда он стал читать о Египте в библиотеке колледжа и растерялся. Это было похоже на очень быстрое движение без надежных ориентиров, по которым можно было бы судить о своем местоположении и скорости. Его невежество словно росло с каждым прочитанным отрывком. В конце концов он взялся за дешевую историю мира, изданную во время войны. Ее он едва мог понять. Это было как с туристскими проспектами из лондонского метро: предполагалось, что читатель уже знаком с основными событиями. Вилли казалось, что он тонет в неведении, что он до сих пор жил без всякого понятия о времени. Он вспомнил одно из высказываний дяди его матери: тот говорил, что неполноценные слишком долго были отрезаны от общества и потому не знали ничего ни об Индии, ни о других религиях, ни даже о религии людей приличного происхождения, которым они прислуживали. И он подумал: "Эту пустоту я унаследовал от матери".

Его отец дал ему имена людей, с которыми нужно было связаться. Вилли не собирался этого делать. Очень немногие из этих имен что-то ему говорили, а он хотел, попав в Лондон, освободиться от отца и начать самостоятельную жизнь. Но это не мешало ему хвастаться своими знакомствами в колледже. Он упоминал то или другое имя как бы мимоходом, невзначай, проверяя, какое впечатление оно производит на его товарищей. И теперь, охваченный стыдом за свое невежество, чувствуя, что мир вокруг становится слишком велик для него, Вилли написал знаменитому пожилому писателю, в честь которого он был назван, и журналисту, чье имя, набранное крупным шрифтом, он видел в одной из газет.

Первым откликнулся журналист. "*Уважаемый Чандран, конечно, я помню Вашего отца. Мой любимый бабу...*" Слово "бабу", означающее "англизированный индиец", было ошибкой; автор явно хотел сказать "садху",

то есть "отшельник". Но Вилли не расстроился. Тон письма был дружелюбным. Журналист предлагал Вилли заглянуть в редакцию своей газеты, и однажды после полудня, примерно неделю спустя, Вилли отправился на Флит-стрит. Было тепло, ярко светило солнце, но Вилли приучили считать, что в Англии всегда льет дождь, и он надел плащ. В этом плаще, сделанном из тонкой прорезиненной ткани, очень гладкой изнутри, мгновенно становилось жарко, и когда Вилли добрался до большого черного здания, где размещалась редакция, его бока, спина и шея под воротником успели как следует взмокнуть. Когда он снял влажный, прилипающий к рубашке плащ, у него был такой вид, словно он шел сюда под мелким дождем.

Он назвал свое имя охраннику в форме, и вскоре журналист, немолодой человек в темном костюме, спустился в вестибюль, чтобы поговорить с Вилли. Но беседа не клеилась. Им не о чем было говорить. Журналист спросил про "бабу"; Вилли не стал поправлять его; а когда эта тема была исчерпана, оба они начали озираться по сторонам. Журналист завел речь о своей газете; он говорил, словно защищаясь, и Вилли понял, что его газета не одобряет независимости Индии, относится к этой стране недружелюбно и что сам журналист, посетив ее, написал несколько довольно злых статей.

— Это все Бивербрук, — сказал журналист. — У него нет времени на индийцев. В некоторых отношениях он похож на Черчилля.

— Кто такой Бивербрук? — спросил Вилли.

Журналист понизил голос.

— Наш владелец[1]. — Его явно удивило, что Вилли незнаком с фактом, имеющим столь колоссальное значение.

Вилли заметил его удивление и подумал: "Я рад, что не знал. Рад, что это не произвело на меня впечатления".

Кто-то вошел в главную дверь — Вилли стоял к ней спиной. Журналист заглянул за него и проводил новоприбывшего взглядом. Потом сказал с благоговением:

— Наш редактор.

Вилли увидел человека средних лет, в темном костюме, с порозовевшим после ланча лицом, который поднимался по ступеням в дальнем конце вестибюля. Не отрывая от него глаз, журналист сказал:

— Его зовут Артур Кристиансен. Многие считают его лучшим редактором в мире. — Затем, словно говоря с самим собой, добавил: — Не так это просто, туда забраться.

Вилли вместе с журналистом смотрел, как великий человек поднимается по лестнице. Потом, точно прогоняя охватившее его настроение, журналист шутливо сказал:

— Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы попроситься на его место.

Вилли не засмеялся. Он ответил:

— Я студент. Живу на стипендию. Я не ищу работы.

— Где вы учитесь?

Вилли назвал колледж. Журналист такого не знал. Вилли подумал: "Он хочет меня оскорбить. Мой колледж довольно большой и вполне реальный". Не меняя своего нового шутливого тона, журналист сказал:

1. Лорд Бивербрук (1879–1964) — крупный английский издатель, владелец газет "Дейли экспресс", "Санди экспресс" и "Ивнинг стандард", выступавший за сохранение Британской империи.

— У вас случайно нет астмы? Я спрашиваю только потому, что наш владелец страдает ею и явно питает симпатию к астматикам. Если бы вы хотели получить работу, эта болезнь сыграла бы вам на руку.

На том их беседа и кончилась. Вилли стало стыдно за отца, которого журналист, должно быть, высмеял в своих статьях, и он пожалел, что нарушил данное себе обещание держаться подальше от отцовских знакомых.

Еще через несколько дней пришло письмо от великого писателя, в честь которого Вилли получил свое второе имя. В конверте оказался маленький листок бумаги с гербом отеля "Клариджез" — того самого, откуда Кришна Менон отправился на свою короткую прогулку в парк с несомненной целью обдумать речь о Суэцком канале, которую ему предстояло произнести в ООН. Письмо было напечатано на машинке через два интервала, с широкими полями. *"Дорогой Вилли Чандран, мне было приятно получить Ваше письмо. Я с удовольствием вспоминаю Индию, и мне всегда бывает приятно получить весточку от своих индийских друзей. Искренне Ваш..."* Внизу стояла тщательно выведенная старческая подпись, как будто автор послания считал, что именно в ней заключен весь его смысл.

"Я недооценивал своего отца, — подумал Вилли. — Мне всегда казалось, что для него, брамина, жизнь была легкой и что он стал обманщиком от лени. Теперь я начинаю понимать, как сурово жизнь могла обойтись с ним".

Вилли жил и учился словно в каком-то постоянном оцепенении. Знания, которыми его потчевали, были такими же пресными, как здешняя еда. В его сознании одно было неотделимо от другого. Он ел без всякого удовольствия и точно так же, словно в тумане, делал все, чего требовали от него лекторы и другие преподаватели, читал книги и статьи, писал курсовые. Он дрейфовал без привязки к чему бы то ни было, не представляя себе, чего ждать впереди. Он по-прежнему не имел представления ни о масштабе вещей, ни об историческом времени, ни даже о расстоянии. Увидев Букингемский дворец, он подумал, что английские короли и королевы — самозванцы и самозванки, а вся страна — подделка, и это ощущение фальши не проходило, он так и жил с ним.

В колледже ему пришлось переучивать наново все, что он знал. Надо было научиться по-другому есть в компании. Надо было научиться по-другому здороваться с людьми, а потом, столкнувшись с ними опять минут через десять-пятнадцать, уже не здороваться во второй раз. Надо было научиться закрывать за собой двери. Надо было научиться просить нужные вещи так, чтобы не показаться бесцеремонным.

Колледж, в котором учился Вилли, был полублаготворительным викторианским заведением, устроенным по образцу Оксфорда и Кембриджа. Во всяком случае, так часто говорили студентам. И поскольку этот колледж считался подобием Оксфорда и Кембриджа, в нем было полно самых разнообразных "традиций", которыми учителя и студенты очень гордились, хотя и не могли их объяснить. Были, например, правила о том, в какой одежде надо выходить к обеду и как вести себя за столом; за нарушения этих правил назначались причудливые наказания (выпить кружку пива и т. д.). По торжественным дням студенты должны были надевать черные мантии. Когда Вилли спросил, откуда взялся этот обычай, один из лекторов сказал ему, что так делают в Оксфорде и Кембридже и что академическая мантия произошла от древнеримской тоги. Вилли не почувствовал священного трепета — для этого он знал слишком мало — и по привычке, приобретенной в школе миссионеров, отправился в библиотеку, чтобы разобраться во всем с помощью книг. Он прочел, что, несмотря на обилие древних статуй, изобра-

жающих людей в тогах, никому до сих пор так и не удалось выяснить, как же древние римляне надевали свои тоги. Академические мантии, возможно, были скопированы с одеяний, которые тысячу лет назад носили ученики мусульманских семинарий, а те, в свою очередь, были подражанием чему-то еще более древнему. В общем, и это оказалось подделкой.

Однако происходило что-то странное. Постепенно изучая причудливые правила жизни в этом колледже с его церквеподобными викторианскими корпусами, выглядевшими старше, чем на самом деле, Вилли начал смотреть по-другому на те правила, которые он оставил дома. Он начал понимать (сначала это было огорчительно), что древние правила его страны — тоже своего рода подделка и люди навязали их себе сами. И однажды, ближе к концу второго семестра, к нему пришло ясное осознание того, что эти древние правила больше над ним не властны.

Дядя его матери, подстрекатель, годами требовал дать неполноценным свободу. Вилли всегда был с ним солидарен. Теперь он понял, что эта свобода, о которой так много говорили на демонстрациях, досталась ему — только бери. Никто из тех, кого он встречал в колледже и вне его, не знал правил, принятых на родине Вилли, и Вилли стал понимать, что он может прикинуться кем угодно. Он мог, фигурально говоря, сочинить свою собственную революцию. Перед ним открывались головокружительные перспективы. Он мог, в границах разумного, переделать себя самого, свое прошлое и своих предков.

И точно так же, как в первые месяцы после приезда в колледж он робко и невинно хвастался дружбой своей "семьи" со знаменитым старым писателем и знаменитым журналистом, работающим у Бивербрука, Вилли начал мало-помалу изменять в свою пользу и другие касающиеся его факты. У него не было какой-то одной руководящей идеи. Он действовал по наитию, когда подворачивался удобный момент. Например, в газетах часто сообщались новости о профсоюзах, и однажды Вилли пришло в голову, что дядя его матери, подстрекатель неполноценных, который иногда выходил на митинги в красном шарфе, подражая своему любимому герою, знаменитому революционеру из неполноценных и поэту-атеисту Бхаратидаршане, — так вот, Вилли пришло в голову, что дядя его матери был своего рода профсоюзным лидером, защитником прав рабочих, причем одним из первых. Он стал невзначай упоминать об этом в разговорах и на семинарах и заметил, что это производит на людей впечатление.

В другой раз ему пришло на ум, что его мать, получившую образование в школе при миссии, можно считать наполовину христианкой. Он стал говорить о ней как о законченной христианке; но потом, чтобы избавиться от оскомины миссионерской школы и зрелища смеющихся босоногих идиотиков (колледж поддерживал христианскую миссию в Ньясаленде на юге Африки, и в комнате отдыха для студентов лежали миссионерские журналы), он приспособил к делу кое-что из прочитанного и стал рассказывать, что его мать принадлежит к древнему христианскому сообществу, сложившемуся на их субконтиненте едва ли не в пору возникновения самого христианства. Отца он оставил брамином. Отца своего отца сделал "придворным". Так, играя словами, он начал пересоздавать себя. Это было увлекательно и наполняло его ощущением силы.

Его учителя говорили: "Похоже, вы понемногу обживаетесь".

* * *

Благодаря его новообретенной уверенности к нему стали тянуться люди. Одним из них был Перси Кейто. Уроженец Ямайки, ребенок от смешанного брака, он был не черным, а скорее коричневым. Поначалу Вилли и Перси — оба из экзотических стран, оба на стипендии — сторонились друг друга, но теперь начали запросто встречаться и обмениваться рассказами о себе и о своем прошлом. Во время одной из таких бесед Перси сказал: "По-моему, одна из моих бабушек была индианкой". И сердце Вилли под его новым панцирем сжалось. Он подумал, что та женщина могла быть похожа на его мать, только жила в невероятно далеком краю, где, наверное, ощущала себя абсолютно отрезанной от всего мира. Перси дотронулся до своих кудрявых волос и сказал: "Вообще-то негритянские гены рецессивны". Вилли не понял, что Перси имел в виду. Он догадался лишь, что Перси придумал какую-то историю, чтобы объяснить ею свою внешность. Он говорил, что его родина — Ямайка, но это было не совсем так. На самом деле он родился в Панаме и вырос там же. Он сказал:

— Я единственный в своем роде. Во всей Англии не найдешь другого парня с Ямайки и вообще из Вест-Индии, который не знал бы ничего о крикете.

— А как ты попал в Панаму? — спросил Вилли.

— Мой отец работал на Панамском канале.

— Это как Суэцкий? — о нем все еще писали в газетах.

— Наш строили перед Первой мировой.

По школьной привычке Вилли отыскал Панамский канал в библиотеке колледжа. Там, в старых энциклопедиях и ежегодниках, на зернистых, отретушированных, но все равно размытых фотографиях в черных рамках он увидел то, что ему было нужно: огромную стройку накануне Первой войны, сухие котлованы и толпы безликих чернокожих рабочих, возможно, с Ямайки. Один из этих черных людей вполне мог быть отцом Перси.

Как-то они с Перси сидели в комнате отдыха, и Вилли спросил:

— А что твой отец делал на Панамском канале?

— Работал писарем в конторе. Ты же знаешь, какой там народ. Ни писать, ни читать не умеют.

"Лжет он, — подумал Вилли. — Глупая сказка. Его отец копал землю. Наверняка он был в одной из тех толп — стоял, как другие, покорно опираясь на кирку, и ждал, пока его сфотографируют".

До сих пор Вилли не очень хорошо представлял себе, как относиться к человеку, который не имеет определенного места в мире и то ли считает себя негром, то ли нет. Когда Перси ощущал себя негром, он называл Вилли своим другом; когда его настроение менялось, он старался держать Вилли на расстоянии. Теперь, мысленно воссоздавая эту картину — как отец Перси стоит под жарким панамским солнцем, точно солдат после команды "вольно", положив обе руки на свою кирку, — Вилли почувствовал, что знает товарища немного лучше.

Рассказывая Перси о себе, Вилли всегда был очень осторожен, и теперь ему стало легче находиться в обществе этого полунегра. Убедившись, что он стоит на одну-две, а то и на много ступеней выше Перси, Вилли стал с большей охотой признавать за ним умение вращаться в обществе, согласился видеть в нем знатока Лондона и западного образа жизни. Перси был польщен и взялся поближе познакомить Вилли с городом.

Перси любил хорошо одеваться. Он всегда носил костюм с галстуком. Его воротнички всегда были чистыми и туго накрахмаленными, а туфли — начищенными, новыми на вид, с крепкими, совсем не стоптанными каблуками. Перси разбирался в одежде и покрое костюмов и мог сразу определить, кому из прохожих шьют на заказ, а кому нет. Умение хорошо одеваться было в его глазах чуть ли не добродетелью: он уважал людей, которые уважали одежду.

Вилли ничего не знал об одежде. У него было пять белых рубашек, а поскольку прачечная колледжа открывалась раз в неделю, ему приходилось два или три дня подряд надевать одну и ту же рубашку. У него был один галстук — хлопчатобумажный, бордовый, ценой в шесть шиллингов. Каждые три месяца Вилли покупал новый галстук и выбрасывал старый, страшно заляпанный и такой мятый, что он уже не завязывался. Пиджак у него тоже был один — светло-зеленый, он не очень хорошо сидел и не держал формы. Вилли купил его за три фунта на Стрэнде, на распродаже, где самая дорогая вещь стоила не больше пятидесяти шиллингов. Он не считал, что плохо одевается, и прошло некоторое время, прежде чем он заметил, что Перси придает одежде большое значение и любит поговорить о ней. В первое время эта особенность Перси удивляла его. Ему казалось, что беспокоиться о покрое и цвете своего платья пристало разве что женщинам (и где-то в дальнем, сейчас уже закрытом уголке его сознания маячила мысль о неполноценных, его родственниках с материнской стороны, и их любви к ярким цветам). Мужчина, если он не неженка и не лентяй, не должен уподобляться женщинам в этом отношении. Но теперь Вилли подумал, что он понимает, почему Перси любит одежду, а еще больше обувь. А потом он убедился, что был неправ, считая любовь к одежде позорящей мужчину.

Однажды Перси сказал:

— В субботу ко мне придет подружка. — По выходным в комнаты студентов пускали женщин. — Не знаю, замечал ли ты это, Вилли, но по выходным весь колледж прямо трясется от е...

Вилли почувствовал волнение и ревность — особенно его восхитила та легкость и прямота, с которой говорил Перси. Он сказал:

— Я бы познакомился с твоей подружкой.

— Приходи в субботу, выпьем вместе, — предложил Перси.

И Вилли стал с нетерпением ждать субботы. Чуть позже он спросил у Перси:

— А как зовут твою подружку?

— Джун, — удивленно ответил тот.

Это имя звучало для Вилли непривычно и приятно. И потом, во время того же разговора, он спросил как можно небрежнее:

— И чем она занимается, эта Джун?

— Продает духи в "Дебнемз".

Духи, "Дебнемз" — эти слова взбудоражили Вилли. Перси заметил его интерес и, желая лишний раз подкрепить свою репутацию истинного знатока Лондона, пояснил:

— "Дебнемз" — это большой универмаг на Оксфорд-стрит.

Еще через некоторое время Вилли спросил:

— Значит, там ты и познакомился с Джун? В "Дебнемз", где продают духи?

— Да нет, в клубе.

— В клубе?

— В питейном заведении, где я работал.

Вилли был потрясен, но постарался скрыть это.

— Понятно, — ответил он.

— Я работал там до того, как попал сюда, — сказал Перси. — Владелец этого клуба — мой приятель. Если хочешь, я тебя туда свожу.

Они поехали на станцию метро "Марбл-Арч". Именно сюда Вилли приезжал много месяцев назад, чтобы посмотреть на Уголок ораторов, — тогда он и встретил в парке Кришну Менона. Но теперь, когда Вилли в обществе Перси направился к тихой узенькой улочке, огибающей сзади большую гостиницу на Оксфорд-стрит, у него на уме был совсем другой Лондон. Клуб — снаружи его можно было распознать лишь по крохотной вывеске — оказался маленькой, изолированной, очень темной комнаткой, в которую вела дверь из вестибюля. За стойкой стоял черный бармен, а на табурете перед ним сидела светловолосая женщина с очень светлой, перепудренной кожей и в светлом платье. Оба они поздоровались с Перси. Вилли был взволнован, но не красотой женщины — она не была красива и казалась тем старше, чем дольше он на нее смотрел, — а ее вульгарным, вызывающим видом, тем, что она пришла сюда вечером, тщательно подготовившись, и явным ощущением того, что он воспринимал как порочность. Перси заказал им обоим виски, хотя ни он, ни Вилли не любили спиртного; они сели, не притронувшись к стаканчикам, и Перси заговорил.

— Я дежурил тут у дверей. С вежливыми обходился вежливо, а с грубыми — грубо, — сказал он. — Это была единственная работа, которую я смог найти. В таком месте, как Лондон, парням вроде меня надо брать что дают. Однажды я подумал, а не попросить ли мне долю в этом бизнесе. Мой друг здорово разозлился. Тогда я решил уйти, чтобы сохранить с ним хорошие отношения. Мой друг — опасный человек. Сам увидишь. Я вас познакомлю.

— А Джун пришла сюда как-то из "Дебнемз", где она торгует духами? — спросил Вилли.

— Да, это недалеко. Пешком два шага.

Хотя Вилли не знал, как выглядит Джун и где находится "Дебнемз", он много раз пытался представить себе, как она идет из своего магазина в клуб.

В субботу он увидел ее в колледже, в комнате Перси. Джун оказалась крупной девицей в юбке, тесно облегающей бедра. Маленькая комнатка была наполнена запахом ее духов. У себя в "Дебнемз", подумал Вилли, она может воспользоваться любыми духами, какие только там продаются, вот и не пожалела их. Вилли никогда еще не встречал такого аромата — смешанного запаха экскрементов, пота и глубокой, пронзительной, какой-то многосоставной сладости неопределенного происхождения.

Они устроились вместе на маленьком диванчике, и он позволял себе все плотнее прижиматься к ней, вдыхая этот сложный аромат, глядя на ее выщипанные брови, ощущая прикосновение ее ног, чуть колючих после депиляции, — она сидела, подобрав их под себя.

Перси заметил это, но смолчал. Вилли счел его молчание проявлением дружеской снисходительности. И сама Джун была мягка и уступчива, даже в присутствии Перси. Вилли видел эту готовность и уступчивость на ее лице. Когда подошло время оставить Джун и Перси наедине, чтобы они могли заняться тем, ради чего встретились, он уже взвинтил себя. Он подумал, что ему надо найти проститутку. Как это делается, он не знал, но слышал, что проституток много на улочках рядом с Пиккадилли-сёркус. И все же отправиться туда ему не хватило смелости.

В понедельник он пошел в "Дебнемз". Девушки в парфюмерном отделе испугались его, а он их — напудренных, каких-то ненастоящих, со странными ресницами и к тому же ощипанных и подбритых, точно курицы в магазине. Но потом он все-таки отыскал Джун. Среди этого стекла и блеска, на искусственном свету — именно такой необычайный Лондон искал он на улицах сразу после своего приезда — она выглядела высокой, мягкой, грубоватой и очень соблазнительной. Увидев все, что так возбудило его в субботу, он едва мог выдержать это зрелище. Ее длинные ресницы под перламутровыми веками и черными линиями бровей взметнулись вверх. Она поздоровалась с ним без удивления. Ему сразу стало легче; не успел он обменяться с ней и десятью словами, как убедился, что она понимает его потребность и готова быть с ним ласковой. Но даже тогда он почувствовал, что не знает, как перейти к делу, какие слова здесь нужны. Единственным, что он смог сказать, было:

— Ты со мной не встретишься, Джун?

— Конечно, Вилли, — очень просто ответила она.

— Может, сегодня? Когда ты закончишь.

— Где мы встретимся?

— В клубе.

— Где раньше работал Перси? Но надо, чтобы тебя приняли в члены, знаешь?

Ближе к вечеру он пошел в клуб узнать, можно ли стать его членом. Оказалось — пожалуйста. Как ни странно, клуб опять был почти пуст, если не считать очень белой женщины на табурете и черного бармена. Бармен (наверное, в эти периоды затишья он занимался и тем, что прежде входило в обязанности Перси, — был груб с грубыми и вежлив с вежливыми) попросил Вилли заполнить анкету. Потом Вилли заплатил пять фунтов (он жил на семь фунтов в неделю), и бармен — нарисовав ручкой несколько крохотных кружков, прежде чем начать писать, точно штангист, который примеряется к тяжелой штанге, прежде чем попытаться взять вес, — старательно вывел имя Вилли на маленькой членской карточке.

Он начал следить за улицей задолго до назначенного часа, потому что не хотел прийти первым в клуб, где его, возможно, ждало разочарование; и все это время он представлял себе, как Джун под конец рабочего дня совершает необходимые манипуляции, а затем идет из "Дебнемз" в клуб, куда он ее пригласил. Когда она явилась, он встретил ее в дверях, и они вместе вошли в темный зал. Бармен знал ее, и женщина на табурете тоже, и Вилли порадовался тому, что очутился здесь с человеком, которого знают. Он купил коктейли — дорогие, пятнадцать шиллингов на двоих, — и все время, пока они сидели в этой темной комнате, вдыхал запах духов Джун и прижимался к ней, не обращая внимания на то, что сам же ей говорил.

— Мы не можем пойти в колледж, — сказала она. — Перси это не понравится, и потом, девушек пускают туда только по выходным. — Чуть позже она сказала: — Ну ладно. Пойдем в другое место. Но надо будет взять такси.

Когда она дала таксисту адрес, тот скорчил недовольную мину. Они покинули чудесные окрестности Марбл-Арч и Бейсуотер-роуд. Потом повернули на север и очень скоро оказались в убогом районе, среди больших неряшливых домов без палисадников и оград; под их окнами стояли мусорные баки. У одного из таких домов машина затормозила. Вместе с чаевыми плата таксисту составила пять шиллингов.

Они поднялись по лестнице без перил к большой ободранной двери — во многих местах на ней проглядывали слои старой краски. Эта дверь вела в широкий, темный коридор, где пахло застарелой грязью, а на стенах до сих пор висели газовые рожки. Обои под потолком были почти черные; линолеум на полу вытерся и стал почти бесцветным, только кое-где по краям уцелел первоначальный узор. Лестница в конце коридора была широкой, в старинном стиле, но на деревянных перилах лежал слой глубоко въевшейся грязи. На лестничной площадке, под немытым окном с трещиной, валялся мусор.

— Это не "Ритц", но народ здесь дружелюбный, — сказала Джун.

Вилли не был в этом так уж уверен. Большинство дверей были закрыты. Но пока они шли наверх — лестница становилась все уже и уже, — то там, то сям двери чуть приоткрывались, и Вилли видел в щелях хмурые, морщинистые, желтые лица каких-то древних старух. Отъехав совсем немного от Марбл-Арч, они словно очутились в другом городе, — словно другое солнце светило над колледжем, где учился Вилли, словно под парфюмерным прилавком в "Дебнемз" лежала другая земля.

Комната, которую отперла Джун, была маленькой; на ее дощатом полу, застеленном газетами, лежал простой матрац. Здесь были стул, полотенце, голая лампочка под потолком и мало что еще. Джун неторопливо разделась. Для Вилли это оказалось чересчур. Он вряд ли даже успел что-то почувствовать. Буквально через несколько секунд для него все было кончено — после стольких дней подготовки, после всех затрат, — и он не знал, что сказать.

Позволив ему положить голову на свою пухлую руку, Джун сказала:

— Один мой приятель говорит, с индийцами так часто бывает. Это из-за того, что у вас браки планируют. Вроде как и стараться не нужно. Мой отец рассказывал, что его отец объяснял ему: "Сначала удовлетвори женщину. А потом уж думай о себе". Вряд ли кто-то говорил тебе что-нибудь в этом духе.

Впервые в жизни Вилли подумал о своем отце с состраданием.

— Дай мне попробовать снова, Джун, — сказал он.

Он попробовал снова. Это длилось дольше, но Джун ничего не сказала. А потом, как и в прошлый раз, все вдруг кончилось. Туалет был в конце грязного коридора. Высокий ржавый бачок покрывала мохнатая от пыли паутина; такие же клочья паутины висели, точно тряпки, на маленьком оконце под потолком. Джун, вернувшись оттуда, оделась очень тщательно; Вилли не смотрел на нее. Они спустились по лестнице молча. По дороге открылась одна дверь, и какая-то старуха пристально поглядела на них. Час назад Вилли смутился бы; теперь ему было все равно. На лестничной площадке они встретили маленького черного человечка в широкополой ямайской шляпе, почти закрывающей лицо. Его штаны — часть костюма "зут"[1] — были сшиты из тонкого материала, предназначенного для более теплого климата, и напоминали завязанные на щиколотках мешки. Он посмотрел на них слишком долгим взглядом. Потом они прошли по убогим кварталам, где стояла мертвая тишина, мимо больших окон, наглухо закрытых провисшими занавесками и самодельными маркизами, к освещенным магазинам и обычным лондонским улицам с более или менее оживленным движением. Такси брать уже не стали. Джун села в автобус — она сказала, что доедет до Марбл-Арч, а оттуда, на другом ав-

1. Костюм "зут" — длинный пиджак, мешковатые брюки и широкополая шляпа — был особенно популярен в 1930-е и 40-е годы среди латиноамериканской и негритянской молодежи больших городов.

тобусе, отправится в место под названием Криклвуд. Вилли поехал своим маршрутом. По дороге обратно в колледж, думая о том, как Джун возвращается домой, в какое-то место, которого он не мог себе даже представить, думая о Перси, Вилли почувствовал угрызения совести. Но это продолжалось недолго. Он отогнал их — как бы все ни сложилось дальше, в целом он был доволен собой. Сегодня он потрудился на славу. Стал, можно сказать, другим человеком. А с денежными проблемами он разберется потом.

Встретившись с Перси в следующий раз, он спросил:

— А какая у Джун семья?

— Не знаю. Я никогда не видел ее родных. По-моему, она их не любит.

Позже он пошел в библиотеку и взял там "Физиологию секса" — книгу в мягкой обложке из серии "Пеликан"[1]. Он и раньше видел эту книгу, но тогда его отпугнуло ее научное название. Маленький томик, изданный в военные годы, был прошит ржавыми металлическими скобками, кое-где мешавшими прочесть начала строчек. Вилли приходилось натягивать страницы и поворачивать книгу под разными углами. Наконец он нашел то, что искал. Он прочел, что в среднем мужчина способен продолжать сношение от десяти до пятнадцати минут. Это его огорчило. Но еще через несколько строчек обнаружилось кое-что похуже. Он прочитал, что "половой гигант" может с легкостью продлить время сношения до получаса. Легкомысленный, ехидный язык, который, на его взгляд, совсем не годился для серьезного издания, подействовал на него как удар. Он не поверил тому, что прочел, и отложил книгу.

Встретившись с Перси в следующий раз, он спросил:

— Как ты научился сексу, Перси?

— Надо начинать с малого, — ответил Перси. — Мы все начинали с малого. Тренировались на девочках помоложе. Не смотри на меня так возмущенно, малыш Вилли. Ты наверняка не знаешь всего, что творилось среди твоей же родни. Твоя беда, Вилли, в том, что ты чистюля. Люди глядят на тебя и не видят.

— Ты чище меня. Всегда в костюме и в красивой рубашке.

— Я заставляю женщин нервничать. Они меня боятся. Вот к чему надо стремиться, Вилли. Секс — жестокая вещь. Ты должен быть жестоким.

— И Джун тебя боится?

— До полусмерти. Спроси ее.

Вилли подумал, что нужно рассказать Перси о случившемся. Но он не знал, как это сделать. Ему пришла на память фраза из какого-то старого фильма, и он чуть было не сказал: "Перси, мы с Джун любим друг друга". Но эти слова ему не понравились, и он не нашел в себе сил их произнести.

Прошло около недели, и он порадовался тому, что ничего не сказал. Была суббота, и Перси, светская личность, взял его с собой на вечеринку в Ноттинг-хилле[2]. Вилли не знал никого из собравшихся и держался поближе к Перси. Вскоре пришла и Джун. Немного позже Перси сказал Вилли:

— Здесь адская скука. Мы с Джун пойдем обратно в колледж е...

1. "Пеликан" — серия издательства "Пенгуин букс", в которую входят научные и научно-популярные книги.
2. Ноттинг-хилл — бедный район, населенный в основном иммигрантами из стран Содружества.

Вилли посмотрел на Джун и спросил:
— Это правда?
— Да, Вилли, — ответила она в своей обычной простой манере.

Если бы кто-нибудь спросил об этом, Вилли сказал бы, что Перси учит его английскому образу жизни. На самом же деле через Перси, не понимая, с чем именно его знакомят, Вилли приобщился к особому, преходящему жизненному укладу иммигрантской богемы Лондона пятидесятых годов. Это был свой маленький мирок, почти не соприкасающийся с традиционным миром богемы Сохо. Иммигранты — из Карибского бассейна, из белых африканских колоний, из Азии — приехали сюда только что. Они казались еще новыми и экзотическими. Были здесь и коренные англичане как высокого, так и низкого происхождения, бросающие вызов социальным условностям и любящие порой вырваться куда-нибудь из Англии, и те, кто явился в Лондон из колоний и хотел вывернуть наизнанку колониальный кодекс поведения, — это были люди, готовые сойтись с самыми общительными и стильными из новоприбывших. Они встречались в Ноттинг-хилле, на нейтральной территории, в слабо освещенных меблированных квартирах — обыкновенно в одном из кварталов, жители которых принадлежали к самым разным социальным слоям, то есть примерно там же, где Вилли недавно побывал с Джун, — и устраивали веселые кутежи. Но мало у кого из иммигрантов имелась надежная работа и хорошее жилье, куда можно было вернуться. Некоторые из них буквально ходили по краю, и это придавало их веселью особый оттенок.

Там был один человек, напугавший Вилли. Он был невысок, строен и хорошо сложен. Он был белым или казался белым. По его словам, он приехал из колоний; выговор у него был необычный. Издалека он выглядел безукоризненно, но если подойти ближе, это впечатление менялось: становилось заметно, что воротник рубашки у него грязный, пиджак потертый, зубы плохие и черные, а дыхание учащенное. Едва познакомившись с Вилли, он рассказал ему свою историю. Он был родом из богатой колониальной семьи, и перед войной отец отправил его в Лондон: он хотел, чтобы сын получил образование и приобрел светский лоск, который позволил бы ему войти в английское общество. У молодого человека был наставник-англичанин. Как-то раз, в процессе обучения, этот наставник спросил у него: “Если бы вы собирались пойти поужинать и у вас был выбор, куда вы отправились бы — в ‘Ритц’ или в ‘Баркли’?” — “В ‘Ритц’”, — ответил юноша из колоний. Наставник покачал головой и сказал: “Неправильно. Обычная ошибка. В ‘Баркли’ кормят вкуснее. Никогда об этом не забывайте”. После войны в семье произошла ссора, и вся прежняя жизнь кончилась. Он то ли писал об этом, то ли уже написал, и захотел, чтобы Вилли послушал часть одной главы. Вилли пришел к нему домой — этот человек снимал комнату в пансионе неподалеку — и стал слушать отрывок, в котором описывался визит героя к психиатру. Из того, что сказал сам психиатр, в этом отрывке почти ничего не было. Зато там подробно описывался вид из окна и ужимки кошки на ограде. Слушая, Вилли стал понимать, что кабинет психиатра очень похож на комнату, где они сидят. И под конец, когда писатель спросил, какого мнения Вилли об услышанном, он сказал: “Мне хотелось больше узнать о пациенте и о враче”. Писатель рассвирепел. Его черные глаза засверкали, он обнажил свои мелкие, почерневшие от табака зубы и закричал на Вилли: “Я не знаю, кто вы такой и откуда взялись и какой такой у вас, по-вашему, талант. Но один очень знаменитый человек сказал, что я открыл

новое измерение в литературе". Вилли выбежал из комнаты, спасаясь от пришедшего в бешенство знакомого. Но когда они встретились в следующий раз, тот был уже спокоен. Он сказал: "Простите меня, дружище. Это все моя комната. Я ее ненавижу. Чувствую себя в ней, как в гробу. Привык-то я совсем к другому. Но я переезжаю. Вы уж меня простите. Пожалуйста, приходите и помогите мне переехать. Покажите, что вы не держите на меня зла". Вилли явился в пансион и постучал в дверь комнаты писателя. Из соседней двери вышла пожилая женщина и сказала: "Так это вы. Вчера он уехал, но предупредил, что пришлет кого-нибудь за вещами. Можете забрать его чемодан. Но сначала заплатите за жилье. Я покажу вам по книге. Он задолжал мне за двадцать недель. Итого шестьдесят шесть фунтов пятнадцать шиллингов". Вилли снова сбежал. Теперь, приходя с Перси на вечеринки, он высматривал этого невысокого человека с бородой. Довольно скоро он и впрямь увидел его: этот человек подошел к нему, прихлебывая из бокала белое вино, и сказал — его дыхание отдавало сосиской и чесноком: "Извините, дружище. Но у нас в Южной Африке всегда говорили, что вы, индийцы, народ денежный, вот я и подумал, что вы согласитесь помочь".

Однажды на их вечеринке появился человек, не похожий на обычного прожигателя жизни. Он принес с собой бутылку шампанского и отдал ее Перси у двери. Ему было за пятьдесят; маленький, аккуратный, он был одет почти по стандартам Перси — в серый клетчатый костюм из материала, образующего на сгибах мягкие складки, с ручной вышивкой на лацканах пиджака. Перси познакомил нового гостя с Вилли и оставил их вдвоем.

Вилли, равнодушный к спиртному, но уже знающий, чего от него ждут, сказал:

— Шампанское!

— Охлажденное, — сказал гость удивительно мягким голосом; его выговор не был похож на выговор представителя свободной профессии. — Оно из "Ритца". Там всегда держат для меня бутылку наготове.

Вилли не был уверен, что это не шутка. Но глаза новоприбывшего смотрели холодно и спокойно, и Вилли решил, что ему не стоит над этим задумываться. Но надо же — опять "Ритц"! Как много он, оказывается, для них значит. С точки зрения Вилли, на родине которого гостиница считалась самой дешевой разновидностью кафе или закусочной, у лондонцев было странное понятие о роскоши — шикарный отель привлекал их сильнее, чем выпивка или развлечения, словно дополнительная цена означала дополнительное удовольствие.

Гость не собирался поддерживать разговор с Вилли, и Вилли понял, что ему придется приложить некоторые усилия.

— Вы работаете в Лондоне? — спросил он.

— Прямо здесь, — ответил гость. — Я застройщик. Разрабатываю этот район. Сейчас это мусорная куча. Но через двадцать лет все будет по-другому. Я готов подождать. Здесь очень много стариков, которые пользуются защитой государства и ничего не платят за свои квартиры в этих больших домах, хотя живут почти в центре Лондона. А на самом-то деле они бы хотели жить за городом. Где-нибудь на природе, в уютном сельском коттеджике. Я помогаю им туда переехать. Покупаю там дома и предлагаю здешним жителям обмен. Кто-то соглашается. Кто-то нет. Тогда я ломаю все вокруг них. В прежние времена я натравил бы на них Перси с его негритосами. — Он говорил мягко, без угрозы, просто делясь информацией, и Вилли ему поверил.

— Перси? — спросил он.

— Нашего бывшего лондонского домовладельца. А вы не знали? Он вам не говорил?

Позже в тот вечер Перси сказал Вилли:

— Значит, старикашка тебя прижал.

— Он сказал, что ты был домовладельцем.

— Чем я только не занимался, малыш Вилли. Ребят из Вест-Индии брали водить автобусы. Но где найти жилье? Никто не хочет сдавать черным. Сам знаешь. Поэтому кое-кто из островных чиновников помог людям вроде меня купить дома, чтобы мы могли селить в них своих земляков. Так это началось. И не подумай чего плохого. Дома, которые я покупал, были полны народу и стоили около полутора тысяч. Один обошелся в тысячу семьсот пятьдесят. Свободные комнаты я сдавал своим ребятам. И каждую пятницу, вечером, ходил собирать квартирную плату. У меня не было жильцов лучше барбадосцев. Они были здорово мне благодарны. В эти самые вечера по пятницам, как только кончится смена в автопарке, так каждый из них уже стоит в своей маленькой комнатке на коленях, чистый, умытый, и молится. С одной стороны Библия, открытая на Левите, а с другой — расчетная книжка с вложенными туда деньгами. И деньги высовываются. Старик прослышал обо мне и решил все у меня откупить. Я не мог ему отказать. Это были его владения. Он предложил мне работу в клубе. Обещал долю. А когда я про это напомнил, сказал, что я начинаю его утомлять. Я понял намек и добился стипендии в колледже. Но он по-прежнему хочет со мной дружить, а мне невыгодно с ним ссориться. Но это меня тревожит, Вилли. Он хочет, чтобы я снова на него работал. Это меня тревожит.

Вилли подумал: "Как странно устроен город! Когда я ходил смотреть на Уголок ораторов и встретил Кришну Менона, который гулял и обдумывал свою речь про вторжение в Египет, я и понятия не имел о том, что совсем близко с одной стороны находятся клуб и 'Дебнемз' с его парфюмерным отделом, а с другой — дома, где раньше хозяйничал Перси, а теперь хозяйничает этот старик".

* * *

Как-то раз на очередной богемной вечеринке Вилли познакомился с пухлым молодым человеком с бородкой, который сказал, что работает на Би-би-си. Он был то ли продюсером, то ли редактором нескольких программ для зарубежного вещания. Его пригласили на это место недавно, и он, вообще-то довольно скромный, был преисполнен сознания важности своего дела. В душе бюрократ и почитатель условностей, этот человек, видимо, полагал, что новое положение обязывает его общаться с ноттингхиллской богемой и оказывать покровительство людям вроде Вилли — извлекать их, недостойных, из тьмы и приобщать к свету, который несут с собой радиоволны. Он сказал Вилли:

— Чем дольше мы с вами беседуем, тем больше вы меня интересуете.

Вилли как следует потрудился над своей фамильной историей.

Продюсер сказал:

— Мы здесь мало что знаем о христианских общинах вроде вашей. Таких древних, так рано сложившихся. Судя по вашим словам, изолированных от всей остальной Индии. Очень любопытно было бы про это услышать. Может быть, вы напишете для нас сценарий? Он отлично по-

дойдет для одной из программ, которые мы транслируем на страны Содружества. Пять минут. Шестьсот пятьдесят слов. Чтобы вам было понятней – это как полторы страницы из обычной книги в мягкой обложке. Никакой полемики. Пять гиней, если материал пойдет.

Если не считать администрации колледжа, выплачивающей ему стипендию, никто еще не предлагал Вилли денег. И почти сразу, едва только продюсер объяснил ему, на какую тему и в каком ключе нужно писать, пятиминутный отрывок сложился у него в голове. Первые ростки веры на субконтиненте, отраженные в семейных преданиях (надо будет посмотреть кое-что в энциклопедии); чувство отрезанности от всей остальной Индии; поверхностное представление о других индийских религиях; затем рассказ о том, как в эпоху британского владычества его предки становятся общественными деятелями, по-христиански совестливыми, защитниками прав трудящихся (здесь можно упомянуть о дяде матери, выступавшем на митингах в красном шарфе); учеба автора в миссионерской школе, где он неожиданно для себя узнает о противоречиях между потомственными христианами и новыми адептами этой веры – людьми вне общества, угнетенными, чья жизнь полна неурядиц; тяжелое испытание для автора, но именно оно в конце концов привело его к пониманию и приятию не только новых христиан, но и более широкого мира индийцев, не входящих в лоно церкви, тех самых индийцев, на которых его предки смотрели свысока.

Он написал весь сценарий меньше чем за два часа. Это было все равно что делать уроки в миссионерской школе: он знал, чего от него ожидают. Неделю спустя к нему пришел ответ на маленьком, светлом фирменном бланке Би-би-си: его извещали, что текст принят. Внизу стояла крохотная подпись продюсера. Казалось, что он счастлив стушеваться в тени своей прославленной корпорации. Еще недели через три Вилли пригласили в студию для записи сценария. Он доехал на метро до станции "Холборн" и спустился по Кингзуэю к Буш-хаусу[1]. Впервые, шагая по этой длинной улице, в конце которой маячил величественный Буш-хаус, он ощутил силу и могущество Лондона. Это было то, что он тщетно искал по приезде сюда и о чем забыл потом, ограничив свою жизнь колледжем и Ноттинг-хиллом.

Ему понравились напряженная атмосфера студии, красный свет и зеленый свет, продюсер и директор, сидящие в своей звукоизолированной кабинке. Сценарий Вилли был частью более длинной журнальной программы[2]. Нужно было записать его на магнитофон, причем он и другие авторы должны были прочесть свои материалы по два раза. Продюсер суетился и давал всем советы. Вилли слушал внимательно и запоминал каждую мелочь. Не прислушивайтесь к собственному голосу; старайтесь понимать, о чем вы говорите; голос должен идти из глубины горла; произносите отчетливо всю фразу до конца. Когда программа была записана, продюсер сказал Вилли: "Вы созданы для этой работы".

Месяц спустя ему предложили сходить на выставку резной скульптуры одного молодого художника из Западной Африки. Когда Вилли вошел в галерею, там не было никого, кроме самого художника – маленького человечка в вышитой, грязной на вид африканской шапочке и халате. Вилли было не по себе в роли репортера, но африканца оказа-

1. Буш-Хаус – большое здание в центре Лондона, где находится штаб-квартира "Зарубежного вещания Би-би-си".
2. Журнальная программа, или программа журнального замысла, – теле- или радиопрограмма, финансируемая не спонсором, а за счет набора рекламных роликов разных рекламодателей.

лось легко разговорить. Он сказал, что когда смотрит на кусок дерева, то уже видит фигурки, которые из него вырежет. Он провел Вилли по выставке — тяжелый африканский халат хлопал его по ногам, — и с большой точностью назвал цену каждого из кусков дерева, приобретенных им для работы. Вилли положил это в основу своего сценария.

Еще через полмесяца продюсер отправил его на ланч с американкой, которая устраивала литературные вечера и вела отдел светской хроники. Она разговаривала преимущественно о том, как организовать светскую вечеринку и что делать с занудами, которые нагоняют скуку на остальных гостей. Зануд надо сажать с другими занудами, сказала американка: клин клином вышибают. Сценарий у Вилли написался сам собой.

Он обнаружил, что на него появился спрос. Однажды вечером после записи сценария он пошел на Саутгемптон-роу и купил в рассрочку пишущую машинку. Он подписал длинное соглашение о получении займа в двадцать четыре фунта, и ему, как жильцам Перси, приехавшим в Лондон из Вест-Индии, выдали маленькую расчетную книжку — почему-то в твердой обложке, словно ее полагалось долго хранить, — по которой он каждую неделю обязан был вносить очередную плату.

С машинкой дело пошло еще быстрее. Он начал понимать, что текст для радиопрограммы не должен быть перегруженным. Теперь он знал точно, сколько именно материала умещается в пятиминутное выступление — как правило, достаточно было трех-четырех опорных точек, — и не тратил время на поиски информации, которую не собирался использовать. Он познакомился с продюсерами и директорами студий, с другими авторами. Некоторые из этих авторов были профессионалами. Они жили в пригородах и приезжали в Лондон на электричке с большими портфелями, где лежало множество маленьких сценариев для разных программ и наброски к еще не написанным сценариям. Это были занятые люди, планирующие свою работу на недели и месяцы вперед, и им не хотелось дважды отсиживать запись получасовой журнальной программы. Чужие сценарии они слушали со скучающим выражением, и Вилли научился напускать на себя такой же скучающий вид, когда они читали свои.

Но Роджер его очаровал. Роджером звали молодого юриста, только начинающего свою карьеру. Вилли целиком прослушал смешной сценарий Роджера о его участии в правительственной программе юридической помощи неимущим: Роджер защищал людей, у которых не хватало денег на гонорар адвокату. Бедняки, с которыми Роджер имел дело, были ворчунами, обманщиками и большими почитателями закона. Сценарий начинался и заканчивался тем, как в кабинет к Роджеру приходит толстая старуха из рабочих и говорит: “Это вы, что ли, бедный юрист?” В первый раз Роджер постарался проявить к ней участие. Во второй — вздохнул и сказал: “Да, это я”.

Вилли не скрывал своего восхищения во время записи и после, и Роджер пригласил его в клуб Би-би-си. Когда они сели, Роджер сказал:

— Вообще-то я не член. Но это удобно.

Роджер попросил Вилли рассказать о себе, и Вилли назвал ему колледж, в котором учился.

— Так ты собираешься стать учителем?

— Вряд ли, — ответил Вилли. И это было правдой. Он никогда не собирался стать учителем. Ему вспомнилось подходящее выражение, и он добавил: — Я просто убиваю время.

— Вот и я тоже, — сказал Роджер.

Они подружились. Роджер был высоким и носил темные двубортные костюмы. Его повадки и манера держаться, его речь (он часто соскальзывал в какую-то странную официальность и начинал говорить законченными, сбалансированными фразами, что казалось Вилли признаком незаурядного ума) — все это Роджер приобрел благодаря своей семье, своей школе, своему университету, своим друзьям, своей профессии. Но Вилли думал, что все это его личные достоинства.

Однажды он заметил, что Роджер носит подтяжки. Это его удивило. В ответ на его вопрос Роджер сказал:

— У меня же ни талии, ни бедер. Не то что у тебя, Вилли. Я прямой, как палка.

Они встречались примерно раз в неделю. Иногда обедали в Доме правосудия — Роджеру нравились пудинги, которые там готовили. Иногда ходили в театр: каждую неделю Роджер посылал "репортаж из Лондона" в одну провинциальную газету и всегда мог достать билеты на спектакли, о которых собирался писать. Иногда они отправлялись на бедную улочку поблизости от Марбл-Арч посмотреть, как идет ремонт купленного Роджером домика — крохотного, низкого, с плоским фасадом. Объясняя эту покупку, Роджер сказал: "У меня был небольшой капитал. Чуть меньше четырех тысяч фунтов. Я решил, что лучше всего вложить его в лондонскую недвижимость". Роджер говорил о крошечном домике и подчеркивал скромность своих средств, но Вилли был потрясен, и не только четырьмя тысячами фунтов, но и уверенностью Роджера, его знаниями и словами, которые он употреблял: "капитал", "недвижимость". И — так же как, спускаясь по Кингзуэю к Буш-Хаусу, чтобы записать рассказ о своем индийско-христианском происхождении, Вилли впервые ощутил силу и могущество довоенной Англии — теперь, благодаря своей дружбе с Роджером, он почувствовал, что постепенно начинает видеть сквозь многие запертые двери, и перед ним смутно забрезжил новый образ Англии, очень далекой от студентов его колледжа и прожигателей жизни из кругов иммигрантской богемы в Ноттинг-хилле.

Однажды Перси Кейто сказал Вилли с нарочито утрированным ямайским акцентом:

— Чтой-то стряслось, братишка Вилли? Видать, какая-то девчонка так подсластила тебе жизнь, что ты совсем позабыл своего старого дружка Перси. — Потом, уже нормальным голосом, добавил: — Джун про тебя спрашивала.

Вилли подумал о комнате, в которую она его водила. Наверняка они с Перси часто там встречались. Он вспомнил грязный туалет и чернокожего человечка, который так ими заинтересовался, — человечка, явно только что прибывшего с островов, все еще в широкополой ямайской шляпе и старых, рассчитанных на жару штанах от костюма "зут". Теперь он смотрел на то, что произошло тогда, словно издалека. А в обществе Роджера это и вовсе казалось тайной за семью печатями.

Как-то Роджер сказал ему:

— Я до сих пор не имею понятия о том, какие у тебя планы. Может, ты собираешься заняться фамильным бизнесом? Ты случайно не из богатых бездельников?

Вилли давно уже научился скрывать замешательство, которое вызывали у него подобные вопросы. Вот и теперь он невозмутимо ответил:

— Я хочу писать.

Но он солгал. Эта идея пришла ему в голову только сейчас и лишь потому, что Роджер, смутив Вилли, вынудил его думать быстрее, и еще потому, что по прежним разговорам с Роджером он знал, как его друг любит читать и как он уважает современных английских авторов — Оруэлла, Во, Пауэлла, Коннолли.

Роджер был разочарован. Тогда Вилли добавил:

— Можно я покажу тебе кое-что из моих вещей?

Он перепечатал на машинке несколько историй из тех, что были написаны им в миссионерской школе. Однажды вечером он взял их и отправился к Роджеру. Они пошли в паб, и Роджер прочитал сочинения Вилли, сидя за столиком напротив него. Вилли никогда не видел Роджера таким серьезным. "Настоящий юрист", — подумал он. И забеспокоился. Его волновали не столько эти истории, написанные, в конце концов, уже давно. Чего он не хотел терять, так это дружбы с Роджером.

Наконец Роджер заговорил:

— Я знаю слова твоего знаменитого тезки и друга семьи насчет того, что у рассказа должны быть начало, середина и конец. Но на самом-то деле, если вдуматься, жизнь устроена не так. У жизни нет ясно выраженного начала и аккуратного конца. Жизнь всегда продолжается. Ты можешь начать с середины и кончить серединой, и в рассказе уже будет все что нужно. Эта история про брамина, сокровище и человеческие жертвы — ее можно было бы начать с того, как вождь племени приходит к брамину в его обитель. Он начинает с угроз и кончает пресмыкательством, но когда он уходит, нам должно быть понятно, что он замышляет ужасное убийство. Ты читал Хемингуэя? Тебе надо почитать его ранние рассказы. Там есть один, который так и называется — "Убийцы". Всего несколько страниц, почти сплошной диалог. Двое мужчин приходят ночью в пустое дешевое кафе. Садятся там и ждут старого мошенника, которого они подрядились убить. Вот и все. В Голливуде сделали из этого хороший фильм, но рассказ еще лучше. Я знаю, что ты написал эти рассказы в школе. Но они тебе нравятся. Что меня интересует как юриста — это то, что ты не хочешь писать о реальных вещах. Я много раз беседовал с людьми, которые что-то от меня скрывали, и я чувствую: у автора этих рассказов есть свои тайны. Он словно прячется.

Вилли был уничтожен. Он сгорал со стыда. На его глаза навернулись слезы. Он протянул руку через стол, взял свои истории и одновременно поднялся с места.

— Есть вещи, о которых лучше говорить прямо, — сказал Роджер.

Вилли ушел из паба, думая: "Я никогда больше не увижусь с Роджером. Не надо было показывать ему эти старые истории. Он прав, вот что самое худшее".

Горюя об утраченной дружбе, он стал чаще вспоминать о Джун и об их свидании в Ноттинг-хилле. Он гнал от себя эти мысли, но через несколько дней все же пошел искать ее. Он доехал на метро до "Бонд-стрит". Был час обеденного перерыва. Пересекая дорогу по направлению к "Дебнемз", он увидел Джун с подругой, идущих ему навстречу. Она его не заметила. Склонив голову, она болтала со своей спутницей и была совсем не похожа на ту молчаливую, надушенную, соблазнительную девушку, которую он помнил. Даже цвет ее лица — и тот изменился. Увидев ее теперь — вместе с приятельницей, почти что в домашних условиях, она выглядела лишенной прежнего сексуального обаяния, даже чуть обрюзгшей, — Вилли понял, что ему не хочется с ней здороваться. Они едва не задели друг

друга. Она его не заметила. Он слышал, как она тараторит. "Вот такая она в Криклвуде, — подумал он. — Скоро она будет такой всегда".

Ему стало легче. Но в то же время он почувствовал себя отверженным. Примерно то же самое было на родине — давным-давно, как ему теперь представлялось, — когда он начал ненавидеть школу при миссии и отказался от своей прежней мечты стать таким же миссионером, как его учителя, и путешествовать по свету.

Несколько дней спустя он зашел в книжную лавку и за два шиллинга шесть пенсов купил пенгуиновский сборник ранних рассказов Хемингуэя. Первые четыре страницы "Убийц" он прочел еще в лавке. Ему понравилась неопределенность места действия и общая загадочность, а диалог показался певучим. На последних страницах, когда загадочность отчасти рассеялась, текст был уже не таким мелодичным, но Вилли решил, что ему стоит переписать свой рассказ "Жизнь, полная жертв" так, как советовал Роджер.

В новом варианте рассказ должен был состоять почти целиком из диалога. В диалог нужно было вложить все. Место действия, герои — всего этого можно было не объяснять. Таким образом сразу снимались многие трудности. Едва Вилли взял в руки перо, как рассказ переписался сам собой; и хотя при этом он потерял почти всякое сходство с первоначальным сочинением Вилли, в нем теперь стало больше его подлинных чувств. Заглавие Вилли изменил на "Жертву".

Роджер упомянул о фильме "Убийцы". Вилли его не видел. Ему стало интересно, что киношникам удалось сделать из этого рассказа. Ради любопытства он попытался себе это представить. Его мысль работала в этом направлении следующие несколько дней, и по ходу дела ему пришло в голову, что в голливудских фильмах есть сцены и даже целые эпизоды, которые он мог бы записать в манере своей "Жертвы", не конкретизируя фон. В первую очередь это касалось гангстерских фильмов с Кэгни и "Высокой Сьерры" с Хамфри Богартом. Одно из его первых самостоятельных сочинений, написанных в миссионерской школе, было примерно в этом роде. Тогда он описал человека (непонятно, из какой страны и из какого круга), который по неизвестной причине ждет кого-то в неопределенном месте и курит, чтобы скоротать время (там много говорилось о сигаретах и спичках), прислушиваясь к шуму машин, хлопанью дверей и шагам снаружи. В конце (сочинение занимало всего одну страницу) некто приходил, и ожидавший его человек изливал на него свое раздражение. На этом Вилли закончил рассказ, потому что так и не придумал сюжета. Он не знал ни что было раньше, ни что будет потом. Но теперь, взяв за основу эпизоды из фильмов Кэгни и Богарта, он мог об этом не беспокоиться.

Рассказы придумывались легко. За неделю он написал шесть штук. "Высокая Сьерра" дала ему три сюжета, и он видел, что оттуда можно извлечь еще три или четыре. Облик персонажа из фильма менялся от рассказа к рассказу, так что из каждого первоначального героя Кэгни или Богарта вышло по два-три разных человека. Как и в "Жертве", действие всех рассказов происходило непонятно где. Но пока он писал, этот неопределенный фон становился более четким, обретал конкретные черты: получался то дворец с куполами и башенками, то учреждение с рядами слепых окон на трех этажах, то загадочный военный городок с окаймленными белым бордюром дорогами, по которым почему-то никто не ездит, то университет с киосками во дворе, то пара древних храмов, куда в определенные дни стекается празднично одетая публика, то

рынок с прилепившимся к нему скопищем разнокалиберных лачуг, то жилище отшельника — хитреца, выдающего себя за святого, то зловонные сыромятни за городской околицей, на которых работают исключительно цветные. К удивлению Вилли, эти заимствованные истории, не имеющие никакого отношения к его собственному опыту, и герои, совсем не похожие на него самого, позволяли ему выражать свои истинные чувства гораздо свободнее, чем тогда, когда он придумывал свои осторожные, полные намеков школьные притчи. Он начал понимать — на подобные темы их заставляли писать эссе в колледже, — почему Шекспир никогда не сочинял пьес на сюжеты из своей собственной жизни и жизни тех, кто его окружал, довольствуясь чужими историями, действие которых происходило в чужих краях.

Все шесть его рассказов заняли не больше сорока страниц. Теперь, когда первый порыв миновал, ему захотелось поощрения, и он подумал о Роджере. Он написал ему письмо, и Роджер сразу ответил, предложив Вилли пообедать в кафе "Ше Виктур" на Уордор-стрит. Вилли пришел раньше срока, Роджер тоже. Роджер сказал:

— Ты видел надпись в окне? Le patron mange ici. "Хозяин обедает здесь". Сюда приходят известные писатели. — Роджер понизил голос. — Вон тот человек напротив — сам Притчетт[1].

Вилли не знал этого имени. Крепкий мужчина средних лет казался благодушным, у него было ироничное лицо с правильными чертами и ироничный, отсутствующий вид. Роджер сказал:

— Он пишет главные обзоры в "Нью стейтсмен"[2]. — Вилли видел этот журнал в библиотеке колледжа и знал, что каждую пятницу некоторые студенты прибегают туда пораньше, чтобы прочесть его первыми. Но у Вилли еще не появилось потребности в таком чтении журналов. Для него "Нью стейтсмен" оставался таинственным, полным сообщений на слишком английские темы и ссылок на незнакомые ему события. — Сейчас придет моя подруга, — сообщил Роджер. — Ее зовут Пердита. Возможно, она даже моя невеста.

Эта странная формулировка навела Вилли на мысль, что у Роджера с его подругой не все ладно. Пердита оказалась высокой и стройной девушкой с обыкновенным, ничем не примечательным лицом и слегка неуклюжей походкой. Она была сложена иначе, чем Джун, и пользовалась каким-то средством, придававшим блеск ее светлой коже. Она сняла свои белые в полоску перчатки и бросила их на маленький столик таким элегантным движением, что Вилли стал приглядываться к ней с новым интересом. И скоро сообразил — по глазам Пердиты, по тому, как она опускала взгляд и отводила его от Роджера, — что, несмотря на всю их вежливость в обращении друг с другом и с ним самим, эти два человека за его столиком находятся в напряженных отношениях и что его присутствие на обеде должно было сыграть роль смягчающего фактора.

Разговор вертелся в основном вокруг еды. Побеседовали и о Вилли. Роджер держался с безупречной любезностью, но в обществе Пердиты у него был измотанный вид — глаза потускнели, со щек сошел румянец, былая открытость пропала, над переносицей залегли тревожные, едва заметные морщинки.

1. Виктор Соудон Притчетт (1900–1997) — английский журналист, писатель и критик, мастер короткого рассказа.
2. "Нью стейтсмен" — еженедельный общеполитический журнал, издававшийся в то время и освещавший также вопросы литературы и искусства.

Они с Вилли вышли из кафе вместе. Роджер сказал:

— Устал я от нее. И от той, что будет за ней, устану, и от следующей тоже. В любой женщине так мало интересного. А миф об их прелести! Это их крест.

— Чего она хочет? — спросил Вилли.

— Хочет, чтобы я не тянул с этим делом. Женись на мне, женись, женись. Стоит мне на нее посмотреть, и я будто слышу эти слова.

— Я тут написал кое-что, — сказал Вилли. — Последовал твоему совету. Может, ты почитаешь?

— А стоит ли рисковать?

— Мне бы хотелось, чтобы ты прочел.

Рассказы лежали у него во внутреннем кармане пиджака. Он отдал их Роджеру. Через три дня от него пришло одобрительное письмо, и когда они встретились, Роджер сказал:

— Очень оригинально. Совсем не похоже на Хемингуэя. Больше на Клейста. Отдельно взятый рассказ, может, и не произвел бы впечатления, но вместе они действуют. Чувствуется что-то угрожающее. И фон мне нравится. То ли Индия, то ли не Индия. Тебе надо продолжать. Если сделаешь еще страниц сто, можно будет подумать и о том, куда это пристроить.

Теперь писать стало труднее, но рассказы все же получались — по одному, по два в неделю. Когда Вилли начинал замечать, что ему не хватает материала, что в памяти не осталось хороших киноэпизодов, он отправлялся смотреть старые или иностранные фильмы. Он ходил в хампстедский "Эвримен" и в "Академию" на Оксфорд-стрит. За одну неделю он три раза посмотрел в "Академии" фильм "Детство Максима Горького". Сравнивая то, что происходило на экране, со своим собственным детством, он плакал; увиденное помогло ему написать еще несколько рассказов.

* * *

Однажды Роджер сказал:

— Скоро в Лондон приезжает мой редактор. Знаешь, тот, которому я каждую неделю посылаю отчет о новых книгах и пьесах. Иногда добавляю что-нибудь о разных культурных деятелях. Он платит мне десять фунтов в неделю. По-моему, он приезжает, чтобы меня проверить. Сказал, что хочет познакомиться с моими друзьями. Я обещал ему ужин с лондонскими интеллектуалами, и ты должен туда прийти, Вилли. Это будет первая вечеринка в том доме недалеко от Марбл-Арч, который я тебе показывал. Я представлю тебя как будущую литературную звезду. У Пруста есть герой, светский человек по фамилии Сван. Он любил ради собственного удовольствия иногда собирать вместе людей из разных слоев — это у него называлось социальной бутоньеркой. Вот и я хочу сделать для своего редактора примерно то же самое. Там будет негр из Западной Африки, с которым я познакомился, когда служил в армии. Его отец, уроженец Вест-Индии, вернулся на свою историческую родину, когда началось движение "Назад в Африку". Он и сына назвал Маркусом в честь прохиндея, который основал это движение[1]. Маркус тебе понра-

1. Имеется в виду Маркус Мозайя Гарви (1887–1940) — негритянский политический деятель, родившийся в Вест-Индии.

вится. Он очень обаятельный, исключительно воспитанный. Он сторонник межрасового секса и в этом смысле прямо-таки ненасытен. Когда мы с ним познакомились в Западной Африке, он почти только о сексе и говорил. Чтобы хоть как-то ему возразить, я сказал, что африканские женщины вполне привлекательны. "Если тебе нравятся животные", — ответил он. Сейчас он учится на дипломата — рассчитывает стать им, когда его страна получит независимость, — и Лондон для него рай. У него две мечты. Первая — заиметь внука, который на вид будет совершенно белым. Полдела им уже сделано: у него пятеро детей-мулатов от пяти белых женщин, и он считает, что теперь ему остается только следить за этими детьми, чтобы они его не разочаровали. Он хочет в старости пройтись со своим белым внуком по Кингз-роуд. Люди будут на них глазеть, и ребенок громко спросит: "Почему они так на нас смотрят, дедушка?" Вторая его мечта — стать первым чернокожим, у которого есть счет в "Куттс". Это банк королевы.

— Неужели среди их клиентов нет чернокожих? — спросил Вилли.

— Не знаю. По-моему, он и сам точно не знает.

— Почему он тогда просто не пойдет в банк и не выяснит? Попросил бы анкету.

— Он опасается, что его могут вежливо отправить восвояси. Скажут, анкеты кончились. Он не хочет, чтобы это случилось. Он пойдет в "Куттс" и попросит открыть ему счет, только когда будет уверен, что они согласятся. Он собирается зайти туда как бы случайно, мимоходом, и стать первым черным клиентом их банка. Все это очень сложно, и я не уверен, что понял его до конца. Но ты можешь поговорить с ним на эту тему. Он очень откровенен. В этом часть его обаяния. Еще туда придет один молодой поэт с женой. С ними у тебя проблем не возникнет. Они будут смотреть неодобрительно и не скажут ни слова, а поэт будет ждать случая осадить того, кто к нему обратится. Поэтому тебе с ними даже заговаривать не надо. Вообще-то он довольно известный. Мой издатель будет счастлив с ним познакомиться. Как-то раз я сдуру похвалил в своем отчете одну из его книжек, и ему об этом рассказали. Вот он и сел мне на шею.

— Молчанием меня не удивишь, — сказал Вилли. — Мой отец долго соблюдал обет молчания. Надо поискать стихи этого поэта.

— Они тебе не понравятся. Он напускает туману, бьет на эффект, а выходит ужасно скучно, и поначалу тебе может показаться, что это твоя вина. Так было со мной. Поищи, если хочешь, но не считай, что это непременно надо сделать до встречи с ним. Я приглашаю его с женой только для коллекции. Немножко сухого папоротника в бутоньерку, чтобы оттенить остальное. А вот к кому советую тебе присмотреться, так это к двум моим приятелям, которых я знаю с оксфордских времен. Оба они выходцы из среднего класса, из семей скромного достатка, и оба охотятся за богатыми женщинами. У них есть и другие занятия, но это — основное. За очень богатыми. Они потихоньку начали заниматься этим еще в Оксфорде и с тех пор продвигаются все выше и выше, ко все более и более богатым. Теперь, чтобы заинтересовать их, женщине нужно иметь по-настоящему огромное состояние. Конечно, они смертельные враги. Каждый считает другого обманщиком. Видеть их за работой — это, знаешь ли, поучительно. В Оксфорде, примерно в одно и то же время, они оба открыли, что решающее значение в охоте на богатых женщин имеет первая победа. Она пробуждает любопытство у других богатых женщин, которые иначе не обратили бы внимания на искателя приключе-

ний из среднего класса, и таким образом зона охоты расширяется. Скоро соперничать начинают сами женщины, и каждая старается победить остальных за счет своего богатства.

Ричард — некрасивый, шумный пьяница, начинающий толстеть. Ты бы не подумал, что он может нравиться женщинам. Обычно он ходит в мятом твидовом пиджаке и грязной рубашке фирмы "Вайелла". Но он знает свое дело; его грубость отчасти напускная, он использует ее как наживку. Изображает из себя этакого Бертольта Брехта, вонючего и любвеобильного немецкого драматурга-коммуниста. Но Ричард — альковный марксист. Марксизм помогает ему добраться до спальни и в спальне же кончается. Все женщины, которых он соблазняет, знают это. С ним они чувствуют себя в безопасности. Так было в Оксфорде, так дело обстоит и сейчас. Разница только в том, что в Оксфорде он удовлетворял свое тщеславие, просто укладывая богатых женщин в постель, а теперь берет с них крупные суммы. Конечно, и у него случались ошибки. Наверное, в спальнях ему не раз закатывали скандалы. Представляю себе, как полуодетая дама в слезах говорит: "Я думала, ты и вправду марксист". А Ричард быстренько натягивает штаны и отвечает: "А я думал, ты и вправду богатая". Сейчас он трудится по издательской части, сколотил приличный капитал и быстро идет в гору. Как издателю марксизм ему особенно к лицу. Чем больше он берет со своих женщин, тем больше другие женщины стремятся ему отдать.

У Питера совершенно другой стиль. Он более скромного происхождения, сын сельского торговца недвижимостью, и уже в Оксфорде он начал осваивать манеру поведения английского джентльмена. Оксфорд полон молодых иностранок, изучающих английский в разных языковых школах. Некоторые из них богаты. Инстинкт подсказал Питеру, что надо оставить в покое университетских женщин и действовать в той, другой среде. Там его повадки принимали за чистую монету; он быстро научился отделять зерна от плевел и, прежде чем его раскусили, успел одержать несколько важных побед. Получил приглашения в два-три богатых европейских дома. Начал встречаться с богачами на континенте. Он оттачивал свои манеры. Стал гладко зачесывать волосы над ушами в полувоенном стиле, научился двигать желваками на скулах — лицо у него узкое, худое. Однажды мы с ним пили плохой кофе после ланча — дело было в студенческой комнате отдыха, — и он спросил у меня: "Знаешь, какой предмет одежды делает мужчину неотразимым в сексуальном смысле?" Я опешил. Вопрос был нетипичный для студенческого разговора. Но он показывал, насколько далеко Питер ушел от своей торговли недвижимостью и куда он направляется. Наконец он сказал: "Очень чистая и тщательно выглаженная белая сорочка". Ему сказала об этом француженка, с которой он спал накануне. И с тех пор он носит одни только белые сорочки. Сейчас они у него очень дорогие, ручной работы, из самой тонкой хлопчатобумажной ткани, с воротничком, который плотно прилегает к шее и сзади довольно высоко торчит над пиджаком. Он любит крахмалить свои воротнички особым способом, так что они кажутся навощенными. По профессии он ученый, историк. Написал маленькую книжку о еде в истории — важный предмет, но у него получился бессистемный набор обрывочных сведений, — и все время толкует о новых книгах и больших авансах от издателей, но это только для виду. На самом деле его интеллектуальный потенциал почти иссяк. Слишком много сил уходит на женщин. Чтобы удовлетворить их, он выработал — как бы это сказать — особые сексуальные привычки. Женщины любят

поговорить — никогда не забывай об этом, Вилли, — и об этих его привычках пошла молва. Теперь она помогает его успеху. Научные интересы Питера всегда определялись тем, какая женщина в данный момент рядом. Он сделался специалистом по Латинской Америке, и сейчас ему досталась за это крупная награда. Колумбийка. Колумбия — бедная страна, но его женщине принадлежит одно из тех абсурдных латиноамериканских состояний, которые в течение четырех веков возрастали на крови и костях индейцев. Она придет с Питером, и Ричард будет испытывать жесточайшие муки ревности. Молча он терпеть не станет. Наверняка закатит какую-нибудь сногсшибательную марксистскую сцену. Я постараюсь устроить так, чтобы ты побеседовал с этой богатой дамой. Вот какая у меня бутоньерка. Скромный ужин, всего десять человек.

Вилли расстался с Роджером, считая в уме. У него вышло только девять. Интересно, кто будет десятым, подумал он.

На следующий день Роджер сказал:

— Мой редактор хочет остановиться у меня. Я предупредил его, что домик очень маленький, но он говорит, что вырос в бедности и ему не привыкать к соседям за стеной. А у меня там всего полторы спальни. Редактор — человек очень крупный, и мне, наверное, придется занять полспальни. Или отправиться в гостиницу. Странная ситуация! Буду как гость на собственной вечеринке.

В назначенный день Вилли постучал в дверь маленького домика Роджера; ему пришлось подождать, пока его впустят. Наконец открыла Пердита. В первый момент Вилли ее не узнал. Редактор уже приехал. Он был очень толст, в очках, его тело выпирало из рубашки, и Вилли догадался, что поселиться в гостинице ему помешала стеснительность, нежелание появляться на публике. Он сразу занял много места в домике, который, несмотря на все профессиональные уловки архитектора, был действительно очень мал. Роджер — вид у него был угнетенный — поднялся по лестнице с полуподвального этажа и представил гостей друг другу.

Редактор остался сидеть. Он сказал, что видел махатму Ганди в 1931 году, когда тот приезжал в Англию на международную конференцию. Больше он ничего не сказал о Ганди (которого Вилли, его мать и дядя его матери презирали) — ни о его одежде, ни о внешности; только о том, что видел его. Когда пришел Маркус, африканец из Вест-Индии, редактор примерно так же сообщил ему, что видел Поля Робсона[1].

Маркус оказался веселым, уверенным в себе и энергичным; едва начав говорить, он буквально заворожил Вилли. Когда Вилли сказал, что слышал о его планах насчет белого внука, Маркус ответил:

— Это не так уж необычно. Я только хочу повторить то, что уже произошло здесь в большем масштабе сто пятьдесят лет назад. В восемнадцатом веке в Англии было полмиллиона чернокожих. И все они исчезли. Растворились в местном населении. Попросту говоря, вывелись. Негритянские гены рецессивны. Если бы широкая публика узнала об этом, расовой неприязни стало бы гораздо меньше. Кстати, эта неприязнь в основном поверхностна. Я расскажу вам одну историю. Когда я жил в Африке, я сошелся с француженкой из Эльзаса. Чуть позже она сказала, что хочет познакомить меня со своей семьей. Мы вместе поехали в Европу, в ее родной городок. Она познакомила меня со своими школьными приятельницами. Девушки они были консервативные, и

1. Поль Робсон (1898–1976) — американский певец, актер и общественный деятель.

она волновалась насчет того, что они подумают. За две недели, которые мы там провели, я поимел их всех. Даже двух-трех мамаш. Но моя подруга все волновалась.

Вскоре пришел поэт; выслушав комплименты редактора, он и его жена мрачно уселись в углу маленькой гостиной Роджера.

Колумбийка оказалась старше, чем ожидал Вилли. Ей было, наверное, под пятьдесят. Звали ее Серафина. Стройная и хрупкая, она словно была чем-то обеспокоена. Волосы у нее были достаточно черные для того, чтобы заподозрить краску, кожа — очень белая и напудренная до самых волос. Когда она наконец пришла и села рядом с Вилли, ее первым вопросом было: "Вы любите женщин?" Вилли замешкался с ответом, и она сказала: "Не все мужчины любят. Я знаю. Я была девственницей до двадцати шести лет. Мой муж был педерастом. В Колумбии полно мальчишек-метисов, которых можно купить за доллар". — "А что произошло, когда вам исполнилось двадцать шесть?" — спросил Вилли. "Я рассказываю вам историю своей жизни, но не исповедуюсь, — ответила она. — Очевидно, кое-что произошло". Когда Пердита с Роджером стали разносить еду, она сказала: "Я люблю мужчин. По-моему, в них есть космическая сила". — "Вы хотите сказать, энергия?" — спросил Вилли. "Я хочу сказать, космическая сила", — раздраженно ответила она. Вилли поглядел на Питера. Он явно подготовился к вечеринке. На нем была обещанная белая сорочка, очень дорогая на вид, с высоким, сильно накрахмаленным воротничком; его светлые с проседью волосы были гладко зачесаны по бокам на полувоенный манер и чуть-чуть припомажены для надежности; но глаза у него были тусклые, усталые и смотрели отсутствующе.

Подойдя к ним с тарелкой, Роджер сказал:

— Зачем вы вышли замуж за педераста, Серафина?

— Мы белые и богатые, — ответила она.

— Разве это причина? — спросил Роджер. Но она не обратила на него внимания. Она продолжала:

— Мы были белыми и богатыми много поколений. Мы говорим на классическом испанском. Отец мой был этот белый, красивый мужчина. Видели бы вы его. Нам трудно найти в Колумбии подходящую пару.

— Разве в Колумбии больше нет белых? — спросил Вилли.

— У вас тут их много, — ответила Серафина. — Но не у нас. Мы в Колумбии белые и богатые, и мы говорим на этом чистом старом испанском, чище того испанского, на котором говорят в Испании. Нам трудно найти мужей. Многие наши девушки вышли замуж за европейцев. Моя младшая сестра замужем за аргентинцем. Когда вы так долго и с таким трудом ищете мужа, легко ошибиться.

Ричард, издатель, крикнул с другого конца комнаты:

— Да уж, это ошибка так ошибка. Уехать из Колумбии, чтобы поселиться на земле, украденной у индейцев.

— Моя сестра ни у кого не крала землю, — сказала Серафина.

— Ее украли для нее восемьдесят лет назад, — сказал Ричард. — Генерал Рока и его банда. Железная дорога и винтовки "ремингтон" против индейских пращей. Вот как были отвоеваны пампасы и вот откуда взялись все эти огромные имения, якобы фамильные. Слава богу, что появилась Эва Перон[1]. Свалила всю эту гнилую махину.

1. Генерал Хулио Рока — президент Аргентины в 1880—1886 гг., проводивший успешные кампании по освоению новых земель; Эва Перон (1919—1952) — вторая жена Хуана Перона, президента Аргентины в 1946—1955 и 1973—1974 гг., политический лидер; была очень популярна среди низших классов.

— Этот человек хочет, чтобы я им заинтересовалась, — сказала Серафина Вилли. — В Колумбии таких полно.

— Наверняка мало кому известно, что в 1800 году в Буэнос-Айресе и Уругвае было много негров, — сказал Маркус. — Они растворились в местном населении. Просто вывелись. Негритянские гены рецессивны. Это мало кто знает.

Ричард и Маркус продолжали поддерживать общий разговор — в ответ на слова Маркуса Ричард каждый раз старался отпустить какое-нибудь вызывающее замечание. Серафина сказала Вилли:

— Останься этот человек со мной наедине, он сразу же попытался бы меня соблазнить. Скучный тип. Он думает, я из Латинской Америки, а значит, легкая добыча.

Она замолчала. На протяжении всего разговора Питер сохранял абсолютную невозмутимость. Вилли, которому больше не надо было слушать колумбийку, стал блуждать взглядом по комнате и засмотрелся на Пердиту, на ее длинный торс. Он не считал ее красивой, но помнил, каким элегантным движением она бросила свои полосатые перчатки на столик в кафе "Ше Викто́р"; глядя на нее, он вспомнил, как Джун раздевалась в тот раз в Ноттинг-хилле. Пердита поймала его взгляд, и их глаза встретились. Вилли охватило неописуемое волнение.

Роджер с Пердитой принялись убирать тарелки. Маркус, по-прежнему живой и энергичный, встал и начал им помогать. Появились кофе и коньяк. Серафина рассеянно спросила Вилли:

— Вам знакомо чувство ревности? — Мысли ее двигались по неизвестным Вилли каналам.

— Еще нет, — ответил Вилли. — Мне знакомо только желание.

— Вот послушайте, — сказала она. — Когда я взяла Питера в Колумбию, на него сбежались все женщины. Этот английский джентльмен и ученый с крепким подбородком. Через месяц он забыл все, что я для него сделала, и убежал с другой. Но он не знает нашей страны и совершил большую ошибку. Та женщина обманула его. Она была метиска и совсем не богатая. Через неделю он понял. Он вернулся обратно ко мне и стал умолять, чтобы я его простила. Он стоял на коленях, положив голову на мои колени, и плакал, как ребенок. Я гладила его по голове и говорила: "Ты думал, она богатая? Думал, она белая?" Он говорил: "Да, да". И я простила его. Но, наверное, его стоит наказать. Как вы думаете?

Редактор кашлянул — раз, другой. Очевидно, он просил тишины. Серафина, отвернувшись от Вилли и не глядя на Ричарда, встала и устремила взгляд на редактора. Он сидел у себя в углу, большой, тяжелый, — его живот нависал над поясом брюк, рубашка была туго натянута у каждой пуговицы. Он сказал:

— Не думаю, что кто-нибудь из вас может понять, как много значит такая встреча, как сегодня, для провинциального редактора. Каждый из вас показал мне краешек мира, очень далекого от моего собственного. Я родом из туманного старого городка на мрачном сатанинском севере. В нынешнее время о нас мало кто хочет знать. Но мы сыграли свою роль в истории. Наши фабрики выпускали товары, которые расходились по всему свету и везде, куда бы их ни привезли, способствовали наступлению современной эры. Мы с полным правом считали, что живем в центре мира. Но потом мир дал крен, и только когда я встречаю людей вроде вас, я могу получить какое-то представление о том, куда все идет. Поэтому в нашей встрече есть своего рода ирония. У всех вас была интересная, бурная жизнь. Мне рассказывали о некоторых из вас раньше,

и то, что я увидел и услышал сегодня, подтверждает то, что я узнал тогда. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех вас за огромную любезность, которую вы оказали человеку, чью жизнь никак не назовешь интересной. Но и у нас, живущих в темных уголках, есть души. У нас тоже бывают свои надежды и свои мечты, и с нами жизнь тоже порой играет злые шутки. "Может быть, здесь, в могиле, ничем не заметной, истлело сердце, о́гнем небесным некогда полное"[1]. Конечно, мне далеко до поэта Грея, но и я на свой лад написал примерно о таком же сердце. И мне хотелось бы теперь, с вашего позволения и прежде чем мы расстанемся, быть может, навсегда, познакомить вас с этим сочинением.

Из внутреннего кармана пиджака редактор вынул несколько сложенных страниц газетной бумаги. В созданной им тишине, нарочито неторопливо и ни на кого не глядя, он развернул их. Потом сказал:

— Это гранки, газетная корректура. Сам материал был подготовлен уже давно. Еще можно будет изменить слово-другое, тут или там подправить неуклюжую фразу, но в целом он так и пойдет в печать. Он появится в моей газете, когда я умру. Как вы наверняка догадались, это мой некролог. Кто-то из вас, наверное, удивится. Кто-то вздохнет. Но смерть приходит ко всем, и лучше быть к ней готовым. Когда я сочинял его, мной руководило не тщеславие. Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы в это поверить. И скорее под влиянием печали и сожаления обо всем, что могло бы случиться, но не случилось, я приглашаю вас теперь бросить взгляд на жизнь и судьбу самого обыкновенного провинциала.

Он начал читать. *"Генри Артур Персиваль Сомерс, который стал редактором этой газеты в сумрачные дни ноября 1940 года и скончался на этой неделе – более полный отчет о его смерти вы найдете на следующей странице, – родился 17 июля 1895 года в семье судового механика..."*

Этап за этапом, гранка за гранкой — по одному узкому столбцу газетного текста на гранку, — история разворачивалась: маленький домик, бедная улочка, ненадежный отцовский заработок, семейные лишения, мальчик, бросивший школу в четырнадцать лет и выполнявший мелкие канцелярские обязанности в разных конторах, война, его освобождение от службы по медицинским показаниям; и наконец, на последнем году войны, работа в газете, по технической части, так называемым "корректором-подчитчиком" — специальность в общем-то женская, поскольку от него требовалось всего лишь вслух читать материал наборщику. По мере того как редактор откладывал листки, его волнение росло.

Поэт и его жена смотрели надменно и презрительно, не выражая никакого интереса к происходящему. Питер выглядел безучастным. Серафина держалась прямо, демонстрируя свой профиль издателю Ричарду. Непоседливый Маркус, перескакивающий мыслями с одного на другое, несколько раз начинал говорить на какие-то совсем посторонние темы и умолкал при звуке собственного голоса. Но Вилли увлекла история редактора. Для него все в ней было новым. Конкретных подробностей, за которые Вилли мог уцепиться, было не так уж много, но он старался представить себе родной городок редактора и проникнуть в его жизнь. Вскоре он с удивлением обнаружил, что думает о своем собственном отце; потом начал думать и о себе самом. Сидя рядом с Серафиной, отвернувшейся от него и напряженной, явно не желающей говорить, Вилли подался вперед и стал сосредоточенно слушать редактора.

1. Из элегии "Сельское кладбище" Т. Грея (перев. В. Жуковского).

Он, редактор, заметил внимание Вилли – и дрогнул. Он начал запинаться на отдельных словах. Раз-другой у него прорвалось рыдание. И тут он дошел до последнего листка. По его лицу текли слезы. Казалось, он вот-вот сломается окончательно. *"Если говорить прямо, он жил только внутренней жизнью. Но журналистика по сути своей эфемерна, и он не оставил по себе памяти. Любовь, эта божественная иллюзия, так и не коснулась его. Но у него был роман с английским языком, и этот роман длился до самой его смерти"*. Он снял свои затуманившиеся очки и, держа гранки в левой руке, уперся взглядом своих мокрых глаз в точку на полу, находящуюся примерно в метре от него. Наступила мертвая тишина.

– Было очень интересно послушать, – сказал Маркус.

Редактор не изменил позы; он по-прежнему смотрел в пол, не утирая бегущих по лицу слез, и в комнате снова повисло молчание. Вечеринка закончилась. Когда гости стали расходиться, они произносили слова прощания шепотом, точно у постели больного. Поэт и его жена ушли; их словно и вовсе не было. Серафина встала, скользнув невидящим взглядом по Ричарду, и увела Питера. Маркус прошептал: "Разреши мне помочь с уборкой, Пердита". Вилли почувствовал сильный укол ревности и сам себе удивился. Но ни ему, ни Маркусу не позволили остаться.

Прощаясь с ними у дверей своего маленького домика, Роджер уже не выглядел угнетенным. Он с легким ехидством сказал, не повышая голоса:

– Он говорил, что хочет познакомиться с моими лондонскими друзьями. Мне и в голову не пришло, что ему нужна публика.

* * *

На следующий день Вилли написал рассказ о редакторе. Местом действия он, как обычно, выбрал на четверть реальный индийский городок, а редактора превратил в праведника, который уже появлялся в других его рассказах. Раньше этот праведник изображался как бы со стороны – праздный и зловещий, безучастный к людским горестям, выжидающий в своем уединенном приюте, точно паук. Теперь же вдруг выяснилось, что он несчастен и сам: тяготясь своим образом жизни, мечтая вырваться из приюта, он рассказывал свою историю случайному страннику, которого ему вряд ли суждено было когда-нибудь встретить снова. По настроению эта история была похожа на ту, что прочел им редактор. По содержанию – на ту, которую Вилли за много лет поведал отец.

Рассказ, вышедший из-под пера Вилли, поразил его самого. Он позволил ему по-новому взглянуть на его семью и его жизнь, и за следующие несколько дней Вилли нашел материал для многих других рассказов нового типа. Эти рассказы словно ждали его; он удивлялся тому, что не замечал их прежде; и он быстро писал в течение трех-четырех недель. Потом писание завело его на трудную территорию; он не смел взглянуть в глаза проблемам, которые начали перед ним вставать, и прекратил работу.

На этом все кончилось. Больше он ничего не мог сочинить. Источник вдохновения, связанный с фильмами, иссяк еще раньше. Пока он действовал, писать было так легко, что Вилли порой волновался, а не делают ли другие то же самое – не извлекают ли они темы для рассказов и драматические ситуации из "Высокой Сьерры", "Белого накала" и "Детства Максима Горького". Теперь, когда ничего больше не происходило, он не мог понять, как ему удалось написать то, что он написал. Всего у

него получилось двадцать шесть рассказов. Вместе они заняли примерно сто восемьдесят страниц, и он был разочарован тем, что столько идей, столько труда и столько переживаний дали в конце концов такой небольшой объем.

Но Роджер счел, что для книги этого достаточно и что написанные Вилли рассказы представляют собой законченный цикл. Он сказал:

— Поздние рассказы больше обращены внутрь, но мне это нравится. Мне нравится, как книга растет и расширяется. В ней больше тайны и больше чувства, чем ты полагаешь, Вилли. Она очень хороша. Но, пожалуйста, не думай, что это означает славу.

Роджер начал посылать книгу знакомым издателям. Каждые две-три недели она возвращалась назад.

— Этого я и боялся, — сказал Роджер. — Рассказы всегда трудно продать, к тому же Индия — тема непопулярная. Об Индии станут читать только те, кто жил там или работал, а им неинтересна та Индия, о которой ты пишешь. Мужчины хотят Джона Мастерса — "Станцию Бховани" или "Охоту на тигров", а женщинам нравится "Черный нарцисс" Румера Годдена. Я не хотел посылать твою книгу Ричарду, но, похоже, больше никого не остается.

— А почему ты не хотел посылать ее Ричарду? — спросил Вилли.

— Он мошенник. Ничего не может с собой поделать. Он найдет какой-нибудь способ тебя надуть. Таково его отношение к миру. И всегда таким было. Он обманывает почти что ради удовольствия. И потом, если он выпустит книгу, то анонсирует ее в своем доктринерском стиле, чтобы подчеркнуть какую-нибудь марксистскую идею. Его репутации марксиста это пойдет на пользу, а книге — нет. Но чего не сделаешь, если нужда заставит.

Так книга отправилась к Ричарду. И он принял ее. В колледж на имя Вилли пришло письмо на фирменном бланке: его просили выбрать время для встречи.

Издательство находилось на одной из площадей в Блумсбери, в типичном, на взгляд Вилли, лондонском доме из черного кирпича с плоским фасадом. Но когда он поднялся по ступеням к парадной двери, дом, сначала казавшийся маленьким, как будто стал больше. У двери Вилли увидел, что на самом деле это солидное, красивое здание, а когда он вошел внутрь, обнаружилось, что за черным фасадом скрываются высокие, просторные и хорошо освещенные комнаты.

Девушка, сидящая в приемной за коммутатором, была в панике. Из динамика на ее столе доносились раскаты сердитого мужского голоса. Вилли узнал голос Ричарда. Издатель говорил грубости без малейшего усилия, и девушка с тонкими руками трепетала от ужаса. Она словно была дома, а не в общественном месте, а голос, возможно, напоминал ей ругань свирепого или даже склонного к рукоприкладству отца. Вилли вспомнил свою сестру Сароджини. Девушка не сразу заметила Вилли, и ей потребовалось некоторое время, чтобы собраться с силами и заговорить с ним.

Кабинет Ричарда был за первой же дверью на нижнем этаже. Это была большая комната с высоким потолком; одну из стен целиком занимали книжные полки. Ричард подвел Вилли к высоким окнам и сказал:

— Сто пятьдесят лет назад эти дома принадлежали богатым лондонским купцам. В одном из домов на этой площади вполне мог бы жить Осборн из "Ярмарки тщеславия". Комната, где мы находимся, могла быть его гостиной. Даже теперь можно выглянуть наружу и представить себе

экипажи, ливрейных лакеев и прочее. Но что сейчас кажется очень странным — и о чем большинство забывает, — так это то, что знаменитый теккереевский купец, сидя в комнате вроде этой, хотел женить своего сына на негритянке, богатой наследнице с Сент-Китса в Вест-Индии. Я работаю здесь много лет, но и у меня это вылетело из головы. А ваш друг Маркус мне напомнил. Тот, что мечтает открыть счет в "Куттс". Когда он сказал мне про наследницу у Теккерея, это прозвучало как шутка, но я проверил. Должно быть, ее предки сколотили свое состояние на рабах и сахаре. Тогда в Вест-Индии было полно плантаций, на которых трудились негры. Вообразите себе. В то время — богатая чернокожая наследница в Лондоне. И претендентов на ее руку хватало. Она, должно быть, сделала отличную партию, хотя Теккерей нам об этом не сообщает. А поскольку негритянские гены рецессивны, через пару поколений ее потомки наверняка превратились в рядовых английских аристократов. Надо же — негр-репатриант из Западной Африки помогает нам правильно прочесть одного из наших викторианских классиков.

Они отошли от окна и сели по разные стороны большого стола. Когда Ричард опустился в кресло, он показался Вилли еще более широким, массивным и грубым, чем при их первой встрече. Он сказал:

— Когда-нибудь вы, пожалуй, поможете нам по-другому прочесть "Грозовой перевал". Хитклиффа ребенком нашли близ ливерпульских доков, и он был наполовину индиец. Да вы и сами знаете. — Он взял со стола несколько листков с машинописным текстом. — Вот договор на вашу книгу.

Вилли вынул ручку.

— А читать его вы не собираетесь? — спросил Ричард.

Вилли смутился. Он хотел посмотреть договор, но не осмелился сказать об этом Ричарду. Читать договор в его присутствии значило бы поставить под сомнение честность Ричарда, а это было бы невежливо. Ричард сказал:

— Вообще-то это наш стандартный договор. Семь с половиной процентов с продаж в Англии, три с половиной — с продаж за рубежом. Мы будем вашими представителями. Конечно, если вы этого хотите. Если нам удастся продать вашу книгу в Америке, вы получите шестьдесят пять процентов. За перевод — шестьдесят, за экранизацию — пятьдесят, за вариант в мягкой обложке — сорок. Сейчас вам может показаться, что эти дополнительные права ни к чему. Но их нельзя упускать из виду. Мы сделаем за вас всю тяжелую работу. У нас есть для этого все необходимое. А вы будете сидеть спокойно и получать то, что вам причитается.

Договор был напечатан в двух экземплярах. Когда Вилли подписывал второй, Ричард вынул из ящика стола конверт и положил его перед ним.

— Это аванс, — сказал он. — Пятьдесят фунтов новыми пятифунтовыми бумажками. Вы когда-нибудь получали больше за один раз?

Вилли ответил, что нет. Самой крупной суммой, полученной им на радио, были тринадцать гиней — за пятнадцатиминутный сценарий по "Оливеру Твисту" для образовательной программы Би-би-си.

Когда он вернулся в приемную, девушка за коммутатором уже немного успокоилась. Но по ее лицу было видно, какая у нее несчастная жизнь — между мучениями дома и мучениями на работе. Вилли снова подумал о своей оставшейся в Индии сестре Сароджини; теперь в этой мысли было еще больше беспомощности и отчаяния, чем в первый раз.

Роджер захотел посмотреть договор. Вилли нервничал. Ему было бы трудно объяснить Роджеру, почему он его подписал. Роджер читал с серьезным видом, как и положено юристу, а под конец, помедлив, сказал:

— Ну что ж, наверно, самое главное — опубликовать твою книгу. Что он о ней сказал? Про книги он обычно говорит очень умные вещи.

— Про мою он ничего не сказал, — ответил Вилли. — Он говорил о Маркусе и о "Ярмарке тщеславия".

Через месяц или чуть больше Ричард устроил вечеринку у себя дома, в Челси. Вилли пришел туда рано. Он не нашел никого из знакомых и завел разговор с низеньким, толстым человечком в чересчур тесной для него куртке и грязном свитере. Непричесанный и в очках, довольно молодой, этот человечек выглядел так, как в уже забытые времена полагалось выглядеть писателю, ведущему богемный образ жизни. Он был психологом и написал книгу под названием "Животное в вас... и во мне". Он принес с собой несколько экземпляров; никто ими особенно не заинтересовался. Вилли так ушел в беседу с этим человеком — каждый из них использовал другого как прикрытие от равнодушного общества, — что не заметил прихода Роджера. Почти сразу же после того, как он увидел Роджера, ему на глаза попалась и Серафина. Она была с Ричардом. В розовом платье в цветочек, прямая и элегантная, она выглядела все же не такой строгой, как на ужине у Роджера. Вилли покинул психолога и двинулся к ней. Она встретила его легко и дружелюбно; новое настроение сделало ее очень привлекательной. Но все ее мысли были устремлены к Ричарду. Они говорили — туманно, отвлекаясь на другие разговоры, — о каком-то смелом деловом начинании, которое затевали вместе: похоже, они собирались, опередив конкурентов, наладить бумажное производство в Жужуе на севере Аргентины, а потом печатать книги в мягкой обложке дешевле, чем в Европе и Соединенных Штатах. Оказывается, теперь научились делать хорошую бумагу из багаса — волокнистой массы, остающейся после переработки сахарного тростника. В Жужуе у Серафины были плантации сахарного тростника площадью во много квадратных миль. Багас в Жужуе ничего не стоит — его просто выбрасывают, а сахарный тростник вырастает меньше чем за год.

Хорошо одетые мужчины и тщательно одетые женщины, обходясь очень немногими словами и часто заменяя их улыбками, поддерживали этот наигранно многозначительный разговор о багасе. Вилли подумал: "В своем большом кабинете Ричард был настоящий. И та девушка была настоящая. А здесь, в этом домике, на этой вечеринке, Ричард притворяется. Все притворяются".

Потом Роджер и Вилли обсудили между собой ужин у Ричарда и Серафину.

— Ричард вытянет у нее несколько сотен тысяч, — сказал Роджер. — Придумывать соблазнительные проекты — на это он мастер. Самое любопытное заключается в том, что, если бы кто-нибудь взял на себя труд похлопотать, многие проекты Ричарда действительно могли бы принести деньги. Самому ему неинтересно доводить дело до конца. У него не хватает терпения. Он любит взволновать идеей, завлечь в ловушку, сорвать быстрый куш. А потом движется дальше. Серафина уже очень возбуждена. Так что в каком-то смысле неважно, получит ли она назад свои деньги. Удовольствие она все равно получила. Кроме того, она ведь свои деньги не заработала. Их заработали для нее другие давным-давно. Об этом Ричард ей и напомнит, когда она станет жаловаться. Если станет.

Вспомнив словечко, услышанное в колледже, Вилли сказал:

— А у него были очень стильные гости.

— Они все написали по книге, — сказал Роджер. — Это сейчас самая распространенная болезнь аристократов и власть имущих. Писать они на самом деле не хотят, но хотят стать писателями. Хотят, чтобы их имя стояло на корешке. А Ричард, вдобавок ко всему прочему, охотно помогает этим аристократам удовлетворять свое тщеславие. Они платят ему за то, что он публикует их книги. В общем-то, Ричард действует не так уж грубо. Он очень осторожно и придирчиво отбирает книги этого сорта, так что никто ни о чем не догадывается. И у него множество богатых и влиятельных друзей, которые ему благодарны. В некоторых отношениях он едва ли не могущественнее премьер-министра. Те приходят и уходят, а Ричард остается. Он проникает повсюду и становится все сильнее.

Уже много недель Вилли регулярно бывал в доме Роджера около Марбл-Арч — сначала советовался с ним по поводу подготовки рукописи, потом обсуждал письма с отказом. Он часто видел там Пердиту. Ее элегантность продолжала на него действовать, и много раз, ведя с Роджером разговоры о книге и об издателях, Вилли чувствовал себя неловко. Он хотел во всем признаться Роджеру, но у него не хватало смелости. Теперь же, когда книга была пристроена и Вилли получил свои пятьдесят фунтов, он решил, что будет нечестно откладывать признание и дальше. Он подумал, что надо прийти к Роджеру в контору — так будет официальнее — и сказать: "Роджер, я должен тебе кое-что сообщить. Мы с Пердитой любим друг друга".

Но он так и не пошел к Роджеру, потому что в тот же уик-энд в Нотинг-хилле начались волнения на расовой почве. Тихие улицы, вдоль которых стояли мусорные баки с намалеванными на них номерами домов и квартир, улицы с запертыми и наглухо занавешенными окнами вдруг наполнились возбужденными людьми. Из домов, где как будто жили одни старики и затворники, высыпали толпы молодых парней, одетых в псевдоэдвардианском стиле[1], и принялись рыскать по всей округе в поисках черных. Юноша из Вест-Индии по имени Келсо, не знавший, что происходит, приехал навестить друзей на станцию метро "Латимер-роуд", столкнулся с группой подростков и был убит.

В газетах и по радио только и говорили что о беспорядках. В день их начала, часов в одиннадцать утра, Вилли по своему обыкновению зашел в маленькое кафе рядом с колледжем, чтобы выпить кофе. Ему показалось, что все читают газеты. Их страницы были черны от фотографий и заголовков. Он увидел маленького пожилого рабочего со следами многолетних лишений на лице, который небрежно, как у себя дома, заметил: "От этих черных скоро проходу не будет". Это было случайное замечание, не имеющее никакой связи с тем, что сообщалось в газетах, и Вилли стало одновременно страшно и стыдно. Он чувствовал, что на него смотрят. Чувствовал, что в газетах написано о нем. После этого случая он перестал выходить из колледжа. Такая осторожность была для него не внове. В Индии они тоже отсиживались дома в пору серьезных волнений на почве религиозных или кастовых разногласий.

На третий день беспорядков Вилли получил телеграмму от знакомого радиопродюсера. Он просил его позвонить. Вилли выполнил просьбу.

— Вилли, — сказал продюсер, — перед нами стоит важная задача. Люди по всему миру ждут, расскажем мы об этом или нет, и если расскажем,

1. Эдвардианский стиль — стиль относящийся к эпохе правления короля Эдуарда VII (1901—1910 гг.).

то как. У меня есть идея, Вилли. Вы в своей обычной одежде поедете на станцию метро "Ладброк-гроув", или "Сент-Эннз-уэлл-роуд", или "Латимер-роуд". Лучше всего на "Латимер-роуд". Там были самые крупные беспорядки. Вы будете вести себя как приезжий из Индии, которому захотелось посмотреть на Ноттинг-хилл. Как будто вы хотите понять, что произошло с Келсо. То есть вы ходите и ищете этих подростков. Как бы немножко нарываетесь на неприятности, рискуете быть избитым. До известного предела, конечно. Это все. Поглядим, что получится. Нужен обычный пятиминутный сценарий.

— Сколько вы заплатите?

— Пять гиней.

— Значит, как всегда. Но это не показ мод и не художественная выставка.

— У нас бюджет, Вилли. Сами знаете.

— Мне надо сдавать экзамены, — сказал Вилли. — Я готовлюсь. Нет времени.

Пришло письмо от Роджера. *"Дорогой Вилли, в жизни больших городов бывают периоды помешательства. Все остальное не меняется. Помни, что для нас с Пердитой ты всегда желанный гость"*. Вилли подумал: "Он хороший человек. Может быть, единственный из всех, кого я знаю. Какой-то мудрый инстинкт подсказал мне, чтобы я познакомился с ним после записи той передачи о работе адвоката для бедных. Я рад, что не пошел к нему в контору и не признался насчет Пердиты".

Прячась в колледже, Вилли стал видеться с Перси Кейто гораздо чаще, чем во все последние месяцы. Они по-прежнему оставались друзьями, но разные интересы отдалили их друг от друга. Теперь Вилли больше знал о Лондоне и не нуждался в гиде и помощнике, роль которого раньше выполнял Перси. И вечеринки с Перси, Джун и другими — в том числе неудачниками, пьяницами, невротиками, то есть истинными представителями богемы, — эти вечеринки в дешевых ноттингхиллских квартирах уже не казались ему столь ослепительно светскими.

Перси одевался с шиком, как всегда. Но лицо его изменилось; он утратил часть своей бодрости. Он сказал:

— Похоже, теперь старик потеряет свои владения. Газетчики не дадут ему выйти сухим из воды. Но он пытается и меня утопить вместе с собой. Он может быть очень жестоким. Он так и не простил мне того, что я от него ушел. Газетчики раскопали кое-какие сведения о домах старика и о методах, которыми он пользовался в Ноттинг-хилле, и кто-то пустил слух, что я был его правой рукой среди черных. Каждый день я разворачиваю газету в комнате отдыха и жду, что увижу там свое имя. Администрации это не понравится. Платить стипендию черному жулику из Ноттинг-хилла. Они наверняка выгонят меня на улицу. А я не знаю, куда мне идти, Вилли.

Вилли получил письмо из Индии. Конверты, присланные из дома, отличались от других. Они были сделаны из вторичного сырья, а склеивали их, скорее всего, на базаре, в задней комнате какой-нибудь лавки, торгующей писчебумажными принадлежностями: там сидели на полу мальчишки из бедных семей и орудовали кто широкими ножами для разрезания бумаги (поблизости от собственных ног), кто кисточками с клеем. Вилли легко мог представить себя на их месте, без всякой надежды на будущее. Поэтому уже сам вид посланий с родины действовал на него угнетающе, и эта подавленность не всегда проходила даже после прочтения письма, когда ее причина успевала забыться.

Почерк на конверте был отцовский. С теплым чувством, которое он недавно начал питать к отцу, Вилли подумал: "Бедняга прослышал о здешних беспорядках и заволновался. Наверное, решил, что они похожи на наши".

Он прочел: "*Дорогой Вилли, надеюсь, что между отправкой этого письма и тем днем, когда ты его получишь, не случится ничего неожиданного. Обычно я не пишу, потому что у меня не бывает новостей, по крайней мере таких, о которых я считаю нужным тебе написать. Но сейчас я хочу сообщить тебе новости о твоей сестре Сароджини. Не знаю, как ты к ним отнесешься. Ты знаешь, что в ашрам приезжают люди со всего света. Ну так вот, недавно приехал один немец. Он уже пожилой и вдобавок хромой. Но это неважно. Короче говоря, он попросил отдать за него Сароджини, что мы и сделали. Ты знаешь, я всегда считал, что единственная надежда для Сароджини – это выйти замуж за иностранца, но должен признаться, что такой поворот застал меня врасплох. Я уверен, что где-нибудь у него уже есть жена, но, может быть, не стоит задавать слишком много вопросов. Он фотограф и рассказывал, как в конце войны, в Берлине, стрелял из пулемета по русским танкам, когда его товарищ уже бросил свой пулемет и плашмя лежал на земле, бормоча от испуга. А сейчас он снимает фильмы о революциях и этим живет. Необычная профессия, но в наши дни каждый находит свою дорогу* (Что правда то правда, подумал Вилли.), *и ты, конечно, скажешь, что не мне судить других. Он с партнерами собирается снять фильм о Кубе. Это место, где делают сигары. Наш немец хочет присоединиться к человеку по имени Говия или Говара – в общем, с именем вроде тех, что носят уроженцы Гоа*[1], *– а потом поедет куда-то еще. Твоя мать очень рада сбыть дочку с рук, но ты не удивишься, если я замечу, что она старается этого не показывать. Не знаю, чем все это кончится и как дело в конце концов обернется для бедной Сароджини. Ну вот пока и все новости*".

Вилли подумал: "Это лишнее подтверждение того, чему я научился, когда приехал сюда. Все идет вкривь и вкось. Мир давно уже должен был бы остановиться, но он катится вперед".

III
Второй переезд

Однажды Вилли вспомнил, что он уже довольно давно не видел в колледже Перси Кейто. Поспрашивав у других, он выяснил, что Перси собрал вещи и покинул колледж, никому ничего не сказав. Никто точно не знал, где сейчас Перси, но предполагали, что он уехал из Лондона и вернулся в Панаму. Вилли расстроился, услышав об этом. У него было такое чувство — особенно после беспорядков в Ноттинг-хилле, — что весь ранний этап его жизни в Лондоне окончательно ушел в прошлое. Перси говорил, что опасается, как бы его имя не появилось в газетах. Но, хотя в течение нескольких недель в прессе много писали о рэкетирах, бравших мзду с жильцов в Ноттинг-хилле, имя Перси там не упоминалось, и Вилли подумал, что Перси отправился на родину по другой причине: наверное, он заметил приближение гораздо более серьезной опасности и, осторожный, как всегда, решил уехать из Лондона загодя. Вилли чувствовал себя покинутым и беззащитным. Лондонская жизнь лиши-

1. Гоа — территория на юге Индийского полуострова, ранее принадлежавшая Португалии, но в 1962 г. окончательно перешедшая к Индии.

лась для него всякой привлекательности, и он, как в самом начале, стал задумываться о том, куда лежит его путь.

Его сестра Сароджини написала ему из Германии. Вилли не хотелось вскрывать конверт. Он со стыдом вспомнил, какой восторг охватывал его дома, в ашраме или в миссионерской школе, при виде немецкой или любой другой заграничной марки на письме. Рассматривая заграничную марку, он начинал мысленно представлять себе ту страну, откуда пришло письмо, и написавший его человек казался ему счастливцем.

"Дорогой Вилли, интересно, знаешь ли ты, как мы все за тебя беспокоимся. Ты не пишешь, и мы не имеем понятия о том, как твои дела. Можно ли получить в твоем колледже ученую степень, и если да, поможет ли она тебе найти работу? У тебя перед глазами пример отца, и если ты не примешь какие-нибудь меры, то кончишь бездельником, как он. Такое бывает сплошь и рядом".

"А я еще волновался за нее, – подумал Вилли. – Мне казалось, что у нее нет никаких надежд, и я был готов на все, чтобы помочь ей добиться счастья в жизни. Но вот приезжает этот старый немец, и наша безобразная малютка Сароджини преображается. Она становится полноценной замужней женщиной, словно эта женщина пряталась в ней с самого начала. Можно сказать, повторяет судьбу матери. У меня такое чувство, будто меня высмеяли со всеми моими волнениями и любовью. Я не уверен, что мне нравится такая Сароджини".

"Мы с Вольфом собираемся на Кубу и в другие места. Вольф много рассказывает мне о революционных идеях. В этом он похож на дядю нашей матери, но у него больше возможностей, он лучше образован и, конечно, гораздо больше поездил по свету, чем наш бедный дядя. Я хотела бы, чтобы ты брал пример с этих своих родственников – тогда ты увидишь, сколько всего еще нужно совершить в нашем мире и как эгоистично ты растрачиваешь свою жизнь в Лондоне, занимаясь всякой ерундой и даже не понимая, зачем все это. Мы с Вольфом пробудем в Германии еще с месяц. Вольфу надо встретиться с разными людьми с киностудии и из правительства. Когда все уладится, я приеду в Лондон на несколько дней, чтобы повидаться с тобой".

"Пожалуйста, не надо, Сароджини, – подумал Вилли. – Пожалуйста, не приезжай".

Но она все-таки приехала, как обещала, и на три-четыре дня перевернула вверх тормашками всю его жизнь. Она остановилась в маленькой гостинице неподалеку от колледжа – она сама заказала там номер еще до того, как уехала из Германии, – и взяла себе за правило ежедневно приходить к Вилли и готовить ему примитивный обед. Его она ни разу ни о чем не попросила – сама купила дешевые кастрюли, сковороды, ножи и ложки, нашла зеленщика, каждый день приносила свежие овощи и стряпала на маленьком электрообогревателе прямо у Вилли в комнате. Она клала обогреватель плашмя и ставила кастрюли на защитную решетку над раскаленными электрическими спиралями. Потом они ели с бумажных тарелок, и Сароджини мыла посуду в конце коридора, где была общая раковина. Сароджини никогда не умела хорошо готовить, и стряпня, которой она потчевала Вилли, была просто ужасна. Ее запах не выветривался из комнаты. Вилли боялся, что его накажут за нарушения правил общежития, и еще сильнее боялся, что люди увидят маленькую черную повариху, неряшливо одетую – в носках и кардигане поверх сари, – которая приходилась ему сестрой. Позабывшая о своей прежней робости, но еще плохо разбиравшаяся в том, что творится вокруг, она за пять минут выболтала бы все подробности об их семье и происхождении, которые Вилли так тщательно скрывал. Она спросила:

— Когда ты получишь эту вашу замечательную степень или диплом, что ты будешь с ними делать? Найдешь место учителя в какой-нибудь жалкой школе и спрячешься там на весь остаток жизни?

— Наверное, ты об этом не знаешь, но я написал книгу, — ответил Вилли. — Она выйдет в следующем году.

— Что за чепуха. Разве кто-нибудь, здесь или где бы то ни было, захочет читать книгу, которую написал ты? Сам знаешь, что нет. Помнишь, как ты собирался стать миссионером?

— Я только хотел сказать, что мне надо дождаться выхода книги.

— А потом ты будешь ждать еще чего-нибудь, а потом еще. И кончишь, как отец.

После отъезда Сароджини запах ее стряпни держался в комнате Вилли несколько дней. По ночам Вилли чувствовал этот запах на своей подушке, на своих волосах и руках.

Он подумал: "То, что она говорит, правильно, хотя и вызывает у меня раздражение. Я не знаю, к чему стремлюсь. Дни просто текут мимо. Я не хочу возвращаться на родину: два с половиной года я прожил свободным человеком и уже не смогу вернуться к старому. Мне не нравится перспектива женитьбы на ком-нибудь вроде Сароджини, а если я вернусь домой, это обязательно случится. Если я вернусь, мне придется вести ту же борьбу, какую вел дядя моей матери. Но я не хочу вести эту борьбу. Это значит тратить мою драгоценную жизнь впустую. Есть другие, которым нравится такая борьба. И еще в одном отношении Сароджини права. Если я получу диплом учителя и решу остаться здесь преподавать, это будет означать, что я спрятался. К тому же преподавать в районе вроде Ноттинг-хилла наверняка не слишком приятно, а меня отправят именно в такой район. И я буду ходить туда и бояться, что нарвусь на какую-нибудь банду и меня зарежут, как Келсо. Это еще хуже, чем вернуться домой. И еще, если я останусь здесь, я все время буду пытаться затащить в постель подруг моих друзей. Я обнаружил, что в этом нет ничего сложного. Но все равно это нехорошо и когда-нибудь навлечет на меня неприятности. Беда в том, что я не могу отправиться в город и найти себе девушку самостоятельно. Никто меня этому не учил. Я не знаю, как заговорить с незнакомой девушкой, когда можно до нее дотронуться, взять ее за руку или попытаться ее поцеловать. Когда отец рассказывал мне историю своей жизни и жаловался на свою сексуальную неумелость, я смеялся над ним. Тогда я был ребенком. Но теперь оказалось, что я ничем не лучше моего несчастного отца. Все мужчины должны учить своих сыновей искусству обольщения. Но в нашей культуре нет места обольщению. Наши браки планируются заранее. Искусство секса отсутствует. Здесь некоторые ребята говорят со мной о Камасутре. Дома никто о ней не говорил. Это книга для представителей высшей касты, и хотя мой несчастный отец — брамин по происхождению, вряд ли он когда-нибудь ее видел. Это философско-практическое руководство по сексу принадлежит нашему прошлому, а тот мир был разрушен и уничтожен мусульманами. Теперь мы живем как мелкие животные в одной яме, не брезгующие кровосмешением. Лезем ко всем своим родственницам и постоянно полны стыда. Дома никто не говорил со мной о сексе и обольщении, а теперь я обнаружил, что это важнейшее искусство, которым должны владеть все мужчины. Маркус, и Перси Кейто, и Ричард — большие специалисты в этом деле. Когда я спросил у Перси, как он этому научился, он ответил, что начинал с малого — щупал, а потом насиловал

маленьких девочек. Тогда это вызвало у меня возмущение. Но теперь я уже не так возмущен".

Однажды, рано утром, он позвонил Пердите.

— Пожалуйста, приходи в выходные ко мне в колледж.

— Это глупо, Вилли. И нечестно по отношению к Роджеру.

— Да, нечестно. Но ты мне нужна, Пердита. В прошлый раз у меня плохо получилось. Но я тебе объясню. Все дело в воспитании. Я хочу заниматься с тобой любовью, ужасно хочу, но как только наступает решительный момент, старые представления берут верх, я начинаю стыдиться и бояться сам не знаю чего, и все идет насмарку. Но в этот раз будет по-другому. Дай только попробовать.

— Ох, Вилли. Ты это уже говорил.

Она не пришла.

Вилли отправился искать Джун. Он не видел ее уже несколько месяцев. Он не знал, что произошло с тем домом в Ноттинг-хилле и смогут ли они теперь, после беспорядков в этом районе, снова туда поехать. Но в парфюмерном отделе "Дебнемз" Джун не оказалось. Другие девушки, накрашенные, как и в прошлый раз, встретили Вилли нелюбезно. Одна-две даже отпрянули от него, когда он подошел, — должно быть, их напугал его решительный вид. Наконец он отыскал девушку, которая объяснила ему, куда пропала Джун. Оказывается, она вышла замуж — и не за какого-то нового знакомого, а за своего друга детства, которого знала с двенадцати лет. Эта романтическая история явно произвела на девушку, которая рассказывала ее Вилли, огромное впечатление: в ее глазах под фальшивыми ресницами, крашеными веками и нарисованными бровями светилось искреннее чувство. "Они всюду ходили вместе. Прямо как брат и сестра. Правда, занятие у него необычное. Работает в похоронном бюро. Это у них семейное. Но Джун говорит, если ты с детства к этому привыкнешь, все воспринимается по-другому. Они с Джун иногда вместе устраивали похороны. А на свадьбу поехали в старом 'ролле-ройсе'. Ее родные арендовали его за двадцать пять фунтов. Большие деньги, но ради такого дела не жалко. Джун увидела утром — едет классная машина. За рулем сидит человек из агентства. Форменная фуражка и все как полагается. Она сказала отцу: 'Неужели это вы его наняли? Признавайся!' Он ответил, что нет — просто едет, наверное, на соревнования старинных автомобилей. Ну а потом, конечно, все выяснилось. Прямо как брат и сестра они были. В наши дни такое не часто случается".

Чем больше девушка говорила, чем подробнее описывала Вилли спокойную жизнь в Криклвуде, жизнь семьи и друзей с ее удовольствиями и развлечениями, тем сильнее Вилли чувствовал себя отщепенцем, изгоем. Если бы Вилли научился пить и усвоил связанный с этим стиль поведения, он, наверное, пошел бы в паб. Но вместо этого он решил отправиться на поиски проститутки.

В тот же день поздним вечером он пришел на Пиккадилли-сёркус. Побродил по окрестным улочкам, украдкой поглядывая на агрессивных, угрожающего вида прохожих. Он бродил, пока не устал. Около полуночи он зашел в ярко освещенное кафе. Там было полно проституток — грубых, непривлекательных, с глупыми лицами. Большинство из них пили чай и курили, а некоторые ели мягкие белые булки с сыром. Они говорили с разным акцентом. Одна девица сказала другой: "У меня осталось пять штук". Она имела в виду презервативы: вынула их из сумочки и сосчитала. Вилли вышел и снова побрел куда глаза глядят. На улице было спокойнее. В одном переулке он заметил девушку, которая мирно го-

ворила о чем-то с мужчиной. Из любопытства он направился к ним. Вдруг какой-то другой человек сердито закричал: "Что это ты делаешь, черт побери?" — и пересек улицу. Он кричал не на Вилли, а на девушку. Она отошла от мужчины, с которым беседовала. На ее волосах, на лбу, на ресницах было что-то вроде блестящей пыли. Она сказала сердитому с лысиной, который кричал: "Это мой знакомый. Он служил в ВВС, когда я служила в женском батальоне".

Позже, чтобы избежать окончательного поражения, Вилли все-таки заговорил с одной женщиной. Он не глядел ей в лицо. Он просто пошел за ней следом. Она привела его в жарко натопленную комнатку, где пахло духами и мочой, если не чем-то похуже. Вилли чувствовал себя отвратительно. На женщину он не смотрел. Они не разговаривали. Он сосредоточился на себе, на раздевании, на своей мужской силе. Женщина разделась только наполовину. Она сказала Вилли неприятным, хрипловатым голосом: "Носки можешь не снимать". Странные слова, часто слышанные раньше, но никогда еще не имевшие такого буквального смысла. Она сказала: "Поосторожнее с моими волосами". У Вилли наступила эрекция, но он не испытывал никаких приятных ощущений, а без этого ничего не выходило. Вилли стало стыдно. Он вспомнил слова из старой библиотечной книги о сексе — слова, когда-то воспринятые им как укор. И подумал: "Может быть, я стал половым гигантом". В тот же момент женщина сказала ему: "Е... как англичанин". Через несколько секунд она оттолкнула его от себя. Он не сопротивлялся — покорно оделся и пошел обратно в колледж. Его мучил стыд.

Несколько дней спустя, проезжая мимо автовокзала "Виктория", откуда отправлялись автобусы в провинцию (Вилли тоже ехал на автобусе, только на городском), он совершенно отчетливо увидел ту самую проститутку, которой заплатил половину своего недельного прожиточного минимума. Низенькая, обыкновенная, ничем не примечательная без броской косметики и претензий на порочность, она явно приехала в Лондон на несколько ночей, чтобы немного подработать, а теперь возвращалась домой.

"Если я здесь останусь, это унижение будет повторяться, — подумал Вилли. — Я должен последовать примеру Перси. Надо уезжать отсюда".

Он не представлял себе, куда можно уехать. В этом отношении Перси — менее привязанный к одному месту в мире, поскольку еще его отец сбежал с Ямайки, чтобы влиться в безликие толпы чернокожих рабочих на строительстве Панамского канала, — имел перед ним преимущество. Перси мог поехать в Панаму или на Ямайку, а если бы захотел, то и в Соединенные Штаты. Вилли же мог только вернуться в Индию, но такой вариант его не устраивал. Единственным, что у него осталось, была надежда, граничившая с верой в волшебство: он надеялся, что в один прекрасный день случится какое-нибудь важное событие, на него снизойдет озарение и сама судьба отправит его туда, где ему положено оказаться. А пока ему следовало лишь готовиться к этому и быть настороже, чтобы не упустить момент.

Тем временем можно было дожидаться выхода книги и получения диплома. Он спрятался в колледже и засел за скучные учебники, мечтая скорее об освобождении, чем о дипломе в качестве награды за этот труд. И именно тогда, когда он попытался забыть о мире, мир словно сам забыл о нем. В течение нескольких недель Вилли не получал ни заказа на сценарий от продюсера с Би-би-си, ни записки от Роджера, ни какого бы то ни было напоминания о том, что еще недавно он вел в Лондоне до-

вольно активную и разнообразную жизнь и даже написал книгу, которую вскоре должны были опубликовать. Пришел только каталог издательства Ричарда. Перелистав его, Вилли расстроился. Его книге был посвящен один абзац где-то посередине перечня изданий. Вилли представляли как "новый протестующий голос с субконтинента"; потом сообщалось, что действие его рассказов происходит в колоритной индийской провинции, но по сути о его произведениях ничего сказано не было. Этот анонс, краткий и намеренно невыразительный, рекламировал не столько книгу Вилли, сколько бескорыстие Ричарда и хорошо известную политику его фирмы. Именно этого и боялся Роджер, когда они решили обратиться к Ричарду. Вилли почувствовал, что впечатление о его книге заранее испорчено, что она пропала для него и уже мертва. Немного позже пришла корректура. Он работал над ней как человек, выполняющий все необходимые ритуалы и формальности в связи с похоронами мертворожденного. Примерно через четыре месяца после этого он получил шесть экземпляров опубликованной книги.

Ни от Ричарда, ни от его издательства больше не было никаких вестей. Не было их и от Роджера: Вилли опасался, что Пердита его выдала. Ему казалось, что он тонет в этом молчании. Он просматривал ежедневные и еженедельные газеты в библиотеке колледжа, не пропуская и тех разделов, которыми раньше никогда не интересовался. Две недели о его книге не было ни слова; затем то там, то сям среди сообщений о новых публикациях он стал находить по нескольку скупых строчек.

"...После пряных англо-индийских блюд, приготовленных Джоном Мастерсом, читатель вправе был ожидать острого карри с натуральными специями, но вместо этого ему предлагают стряпню с невнятным вкусом и неопределенного происхождения; в конце остается впечатление, что ты ел долго и много, но так и не утолил голода..."

"...Эти обрывочные, незавершенные наброски, насыщенные страхом, беспокойством и смятением, самым печальным образом свидетельствуют о шаткости мировоззрения автора. Они яснее ясного говорят о растерянности молодежи и пророчат дурное новому государству..."

"Пусть эта книга умрет, — подумал Вилли. — Пусть ее потихоньку забудут. Пусть никто мне о ней не напоминает. Я не стану больше писать. Да и эту книгу писать было совсем необязательно. Она вся искусственная, фальшивая. Я должен сказать обозревателям спасибо уже за то, что ни один из них не догадался, каким способом она сделана".

А потом он получил сразу два письма. Одно было от Роджера. *"Дорогой Вилли, прими мои запоздалые поздравления по поводу выхода книги, которую я, конечно, очень хорошо помню. Те отзывы, что я видел, весьма неплохи. О такой книге, как твоя, нелегко писать. Похоже, все критики подошли к ее оценке с разных позиций, и этому можно только радоваться. Ричард мог бы сделать побольше, но такая уж у него манера. Как сказал латинский поэт, книги имеют свою судьбу. Сейчас ты вряд ли представляешь себе, как сложится жизнь у твоей книги, но я уверен, что эта жизнь будет долгой".* Из-за общего упадка духа и после волнений, связанных с Пердитой, тон письма показался Вилли двусмысленным. Он счел его слишком холодным и отчужденным и решил не посылать Роджеру ответной записки с благодарностью.

Другое письмо написала девушка или молодая женщина, приехавшая в Англию из одной африканской страны. По звучанию ее имя походило на португальское, и она училась в Лондоне на каких-то курсах. По ее словам, она прочла рецензию в "Дейли мейл" — довольно убогую, вспомнил Вилли, но ее автор хотя бы попытался описать рассказы — и

поэтому купила его книгу. *"В школе нам говорили, что надо читать книги, но людям моего происхождения, как, думаю, и Вашего, нелегко найти книгу, в которой мы могли бы увидеть себя. Мы читаем одну книгу за другой и говорим себе, что они нам нравятся, но все книги, которые нам велят читать, написаны для других людей, и мы всегда оказываемся в чьем-то чужом доме и вынуждены ходить осторожно и иногда удивляться тому, что мы слышим в чужих разговорах. Мне захотелось написать Вам, потому что в Ваших рассказах я впервые встретила эпизоды, похожие на мою собственную жизнь, хотя все окружение и материал совсем другие. Мне очень приятно думать, что все эти годы на свете был человек, который чувствовал и думал так же, как я".*

Она выражала желание встретиться с ним. Он немедленно написал ей, предлагая прийти к нему в колледж. Но потом его одолело беспокойство. Она могла оказаться не такой славной, как ее письмо. Он практически ничего не знал о ее португальско-африканской стране, о том, какие там существуют расовые и социальные группы и как они уживаются друг с другом. Она упомянула о своем происхождении, но ничего толком не объяснила. Возможно, она принадлежала к какому-то смешанному слою или занимала положение, сомнительное по другим причинам. Наверное, именно это или что-либо подобное повлияло на ее восприятие рассказов Вилли, заставило ее отнестись к ним с такой симпатией. Вилли подумал о своем друге Перси Кейто, теперь утерянном для него: с виду веселый и щеголеватый, но внутри полный гнева. Если она явится и будет слишком подробно расспрашивать его о книге, он может выдать себя, и эта женщина или девушка с португальским именем поймет, что все эти индийские истории, в которых она увидела что-то из своей африканской жизни, украдены им из старых голливудских фильмов и трилогии русского писателя Максима Горького. Но Вилли не хотелось расстраивать незнакомку. Он хотел, чтобы она осталась его почитательницей. Здесь его мысли повернули в другое русло, и он стал беспокоиться за себя. Он боялся, что эта женщина сочтет его недостойным книги, которую он написал, что ей не понравится его внешность или манеры.

Но как только он увидел ее, все его опасения исчезли и он почувствовал, что покорен ею. Она сразу заговорила с ним так, словно всегда знала его и всегда относилась к нему по-дружески. Она была молода — маленькая, тонкая и вполне симпатичная. С ней было на удивление легко. Но больше всего Вилли вскружило голову то, что он впервые оказался в обществе человека, который принимал его целиком. Дома жизнь Вилли определялась его смешанным происхождением. Оно отравляло все. Даже его любовь к матери, вполне искренняя, была смешана с болью, которую причиняло ему их положение. В Англии он привык жить с сознанием своей непохожести на других. Поначалу это помогало ему чувствовать себя освободившимся от жестокостей и правил, царящих на его родине. Но потом, в некоторых ситуациях — например, с Джун, или позже с Пердитой, или когда в колледже случалась какая-нибудь неприятность, — он начал использовать свою непохожесть как оружие, прикидываясь проще и грубее, чем был на самом деле. Тем же оружием он собирался воспользоваться и при встрече с девушкой из Африки. Но ему это не понадобилось. Здесь было, так сказать, не с чем бороться, нечего преодолевать; с этой девушкой Вилли не нужно было держаться настороже.

Через полчаса первое впечатление не рассеялось, и Вилли начал нежиться в этом новом ощущении — быть цельным человеком и в чужих, и в своих собственных глазах. Возможно, ее безоговорочное доверие к не-

му было вызвано его книгой. Возможно, здесь сыграло свою роль смешанное африканское происхождение Аны. Вилли не хотел ничего анализировать — он просто возвращал Ане то, что она ему давала, и возвращал полной мерой. Он был заворожен этой девушкой и в течение двух-трех следующих недель научился любить в ней все: ее голос, ее выговор, ее манеру запинаться на отдельных английских словах, ее чудесную кожу, уверенность, с которой она распоряжалась деньгами. Он еще никогда не видел у женщины такого отношения к деньгам. Пердита терялась всякий раз, когда ей приходилось доставать деньги; широкобедрая Джун обязательно дожидалась, чтобы ей выдали требуемый товар, и только потом вынимала из сумочки маленький кошелек и открывала его своими большими руками. У Аны деньги всегда были наготове. И эта властность сочеталась в ней с какой-то нервной хрупкостью. Последняя помогала Вилли чувствовать себя защитником девушки. Ее легко было любить, и Вилли обходился с ней нежно, как того требовала его природа; теперь он мог позабыть об агрессии, которую проповедовал Перси Кейто, и все, что было трудным с другими, с нею превратилось в чистое удовольствие.

Когда они поцеловались в первый раз — это было в колледже, на узкой софе перед электрообогревателем в его комнате, — она сказала: "Тебе надо следить за зубами. Они портят твою внешность". Он ответил как бы в шутку: "Недавно мне приснилось, что они стали очень тяжелыми и вот-вот выпадут". Это была правда: он почти не ухаживал за своими зубами с тех пор, как приехал в Англию, и совсем перестал чистить их после беспорядков в Ноттинг-хилле, исчезновения Перси Кейто и тенденциозного представления его книги в злосчастном каталоге Ричарда. Под конец ему даже стало нравиться, что у него такие плохие, почти черные зубы. Он попытался объяснить ей все это. Она сказала: "Сходи к дантисту". Он отправился к дантисту-австралийцу в Фулеме и сказал ему: "Я никогда еще не был у зубного врача. У меня ничего не болит. Мне не на что вам пожаловаться. Я пришел к вам только из-за моего сна: мне приснилось, что у меня выпадают зубы". Дантист ответил: "К нам обращаются и просто для проверки. Мы оказываем такие услуги за государственный счет. Давайте посмотрим". Потом он сказал Вилли: "Боюсь, у вашего сна был вполне конкретный смысл. Ваши зубы действительно того и гляди выпадут. Зубной камень точно бетон. И совсем потемнели — должно быть, вы пьете много чаю. Нижние зубы сцементировались в один сплошной ряд, без промежутков. Никогда не видел ничего подобного. Странно, что вы еще можете поднимать челюсть". Он набросился на зубной камень с наслаждением, чистил, обкалывал и полировал, и когда он кончил, во рту у Вилли все болело, а зубы его стали как будто голыми, хрупкими и ныли даже от контакта с воздухом. Он сказал Ане: "Ребята в колледже чего только не болтают об австралийских дантистах в Лондоне. Надеюсь, мы поступили правильно".

Он упросил Ану рассказать о своей стране. Он попытался представить себе эту страну на восточном побережье Африки, граничащую с бескрайними дикими просторами. Вскоре, слушая ее рассказы, он начал понимать, что у нее свой, особый подход к людям: она делила их на африканцев и неафриканцев. Вилли подумал: "Значит, для нее я попросту один из неафриканцев?" Но он отмел эту мысль.

Ана рассказала ему о своей школьной подруге.

— Она всегда хотела быть монашкой. В конце концов поселилась в одном здешнем монастыре, и несколько месяцев назад я поехала ее навестить. Они живут почти как в тюрьме. И, как обычные заключенные,

на свой лад поддерживают связь с внешним миром. За едой кто-нибудь читает им специально отобранные заметки из газеты, и они хихикают точно школьницы, стоит им услышать даже самую примитивную шутку. Я чуть не расплакалась. Такая красивая девушка и загубила себе жизнь. Я не смогла удержаться и спросила ее, зачем она это сделала. Не надо мне было лишний раз сыпать ей соль на раны. Она сказала: "А что мне еще оставалось? Денег у нас не было. Я не могла надеяться, что когда-нибудь приедет мужчина и заберет меня оттуда. И не хотела сгнить дома". Как будто она не гниет здесь.

— Я понимаю твою подругу, — сказал Вилли. — Когда-то я мечтал стать священником. Миссионером, таким же, как святые отцы у нас в школе. Они жили гораздо лучше, чем все вокруг. Мне казалось, что по-другому оттуда никак не вырваться. — И ему пришло на ум, что детство Аны в ее стране могло быть похожим на его собственное.

В другой раз на маленькой софе Ана сказала:

— Вот тебе история для твоей новой книги. Если, конечно, ты придумаешь, как ее использовать. У моей матери была подруга по имени Луиза. Никто не знал ее настоящих родителей. Ее усыновила богатая пара, владельцы поместья, и часть этого поместья перешла к ней по наследству. Луиза поехала в Португалию и в Европу. Много лет она вела там роскошную жизнь, а потом объявила, что нашла себе замечательного мужа. Она привезла его на родину. Они устроили в столице очень пышный прием, и ее замечательный муж рассказывал всем о куче знаменитостей, которые были его близкими друзьями в Европе. После этого они с Луизой вернулись в буш, где было ее поместье. Люди думали, что к ним начнут ездить их именитые друзья и дом Луизы откроется для гостей. Но ничего этого не случилось. Луиза и ее замечательный муж просто понемногу толстели, рассказывая все те же истории, что и на своем первом приеме. Знакомые навещали их все реже и реже. Через некоторое время муж начал спать с африканками, но даже этого оказалось для него много, и он бросил. Так Луиза, приемная дочь, и ее замечательный муж жили-поживали — плохо ли, хорошо ли, — а потом умерли, и состояние Луизиной семьи растаяло, и никто не узнал, кто была сама Луиза и кем был ее замечательный муж. Так рассказывала эту историю моя мать. А вот тебе другая история. В одном пансионе училась несчастная, неуклюжая девочка. Она жила где-то в буше со своим отцом и мачехой. Потом родная мать девочки снова вышла замуж, и девочка переехала к ней. Там она вдруг резко изменилась. Стала счастливой, элегантной — словом, шикарной девицей. Но ее счастье было недолгим. Ею заинтересовался отчим — слишком заинтересовался. И вот однажды ночью он пробирается к ней в спальню. Происходит бурная сцена, потом развод и большой скандал.

И Вилли понял, что несчастной девочкой из этой второй истории, девушкой, которая жила в далеком, гиблом уголке африканской страны, была сама Ана. Так вот почему она такая нервная и хрупкая, подумал он. После этого она стала ему еще дороже.

Пришло письмо от Сароджини с Кубы; в него была вложена фотография. *"Этот человек говорит, что знает тебя. Он латиноамериканец из Панамы. Его фамилия Кейто, потому что родом он из британской колонии. Он говорит, что в старые времена люди в шутку давали своим рабам греческие и латинские имена, и какой-то его предок получил имя Кейто*[1]*. Сейчас его уже нет – уехал работать с Че в Южную Америку, где столько всего нужно сделать, а*

1. Кейто – Катон.

когда-нибудь, возможно, ему удастся вернуться на Ямайку, чтобы поработать там. Его сердце осталось на родине. Тебе стоило бы взять с него пример".

Изображение на квадратной черно-белой фотографии было не очень четкое: свесив ноги, Перси сидел на обломке какой-то стены в косых лучах то ли утреннего, то ли закатного солнца. На нем была полосатая шерстяная шапочка и свободная светлая рубаха с рельефной вышивкой того же цвета и накладными карманами. Такой же щеголь, как всегда. Он улыбался в объектив, и Вилли показалось, что в его ясных глазах он видит всех остальных Перси: Перси с Ямайки и из Панамы, Перси из Ноттинг-хилла, с богемных вечеринок, и из колледжа, в котором он учился.

"Какие у тебя планы? Мы здесь получаем очень мало вестей об Англии, только время от времени слышим что-нибудь о беспорядках на расовой почве. Вышла твоя книга? Ты ничего об этом не сообщил. И экземпляра нам не прислал – наверное, у тебя давно уже другие заботы. Зато теперь, когда ты выбросил это из головы, пора наконец оставить тщеславные затеи и всерьез задуматься о будущем".

"Она права, – подумал Вилли. – Я надеялся на чудо. Но мое пребывание здесь подходит к концу. Учеба почти завершена, а у меня до сих пор нет никаких планов. Надо посмотреть в лицо реальности. Когда я сдам выпускные экзамены и меня выставят из колледжа, моя жизнь круто изменится. Мне придется искать жилье. Мне придется искать работу. Тогда я окажусь в совсем другом Лондоне. Ана не захочет пойти со мной в комнату в Ноттинг-хилле. И я потеряю ее".

Он мучился этими мыслями несколько дней, а потом подумал: "Ну и дурак же я. Все это время ждал, пока мне что-нибудь подскажет, куда я должен уехать. Ждал знака. А этот знак уже давно у меня перед глазами. Я должен отправиться с Аной в ее страну".

Когда они встретились в следующий раз, он сказал:

– Ана, я хочу поехать с тобой в Африку.

– На недельку-другую?

– Насовсем.

Она ничего не ответила. Спустя неделю или около того он сказал:

– Помнишь, я говорил, что хотел бы уехать в Африку? – Ее лицо помрачнело. Он добавил: – Ты читала мои рассказы. Ты знаешь, что мне некуда больше деваться. А терять тебя я не хочу. – Похоже, эти слова ее смутили. Больше он ничего не стал добавлять. Потом, уже уходя, она сказала:

– Дай мне время. Я должна подумать.

Придя к нему в очередной раз, она сказала:

– Думаешь, тебе понравится Африка?

– А как по-твоему, для меня найдется там какое-нибудь занятие? – спросил он.

– Посмотрим, как тебе понравится буш. Нам нужно, чтобы кто-то присматривал за хозяйством. Но тебе придется выучить язык.

Когда до конца учебы в колледже оставалась неделя, снова пришло письмо от Сароджини, на этот раз из Колумбии. *"Очень рада, что ты наконец получил свой диплом, хотя и не знаю, зачем он тебе там, куда ты собираешься. В Африке тоже много серьезной работы, особенно в тех краях, где живут португальцы, но боюсь, что делать ее будешь не ты. По-моему, ты пошел в отца – упорно держишься за старые представления, и никак тебя не сдвинуть. Что касается другого, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Вилли. Я не понимаю того, что ты пишешь про эту девушку. Иностранцы, которые приезжают в*

Индию, даже на месте не могут разобраться, что к чему, и я уверена, что то же самое можно сказать и об Африке. Пожалуйста, будь осторожен. Ты отдаешь себя в руки чужих людей. По-твоему, ты знаешь, куда направляешься, но всего ты знать не можешь".

Вилли подумал: "Сама она вышла замуж за иностранца и довольна своим браком, а за меня боится".

Хотя Сароджини по-прежнему напоминала Вилли болтливого ребенка, который хочет казаться взрослым, ее слова, как всегда, встревожили его и запали ему в душу. Они раздавались в его ушах, когда он собирал вещи, мало-помалу стирая свое присутствие из комнаты в общежитии, сводя на нет сердцевину своей лондонской жизни. Это получалось у него без малейшего труда, и он спросил себя, удастся ли ему снова прижиться в городе, если такая необходимость когда-нибудь возникнет. Возможно, ему повезет еще раз; возможно, сложится еще одна цепочка случайностей, подобных тем, что были в его жизни прежде; но она приведет его в другой город, о котором он пока ничего не знает.

* * *

Они — Вилли и Ана — отплыли в Африку из Саутгемптона. Он думал о новом языке, который ему придется выучить. Его мучил вопрос, сможет ли он сохранить привычку к своему родному языку. А английский, на котором написаны его рассказы, — удастся ли не забыть и его? Вилли устраивал себе маленькие тесты и, едва закончив один тест, принимался за другой. Пока они плыли по Средиземному морю и остальные пассажиры завтракали, обедали и играли в разные игры, он пытался до конца осознать то, что понял уже на борту парохода: что его родной язык почти утрачен, его английский понемногу уходит тоже и в результате он рискует полностью лишиться возможности выражать свои мысли. Ане он ничего не сказал. Всякий раз, говоря что-нибудь, он проверял себя, чтобы выяснить, много ли он еще помнит, и потому предпочитал оставаться в каюте, наедине с этими вдруг одолевшими его сомнениями. Они отравили ему впечатление от Александрии и от Суэцкого канала. (Он вспомнил — как случай из другой, более счастливой жизни, необычайно далекой от его теперешнего путешествия между двумя раскаленными добела пустынями, — свою встречу с Кришной Меноном, который прохаживался между клумбами Гайд-парка в темном двубортном костюме, опираясь на тросточку, глядя в землю и обдумывая, что он скажет в ООН о Египте и Суэцком канале.)

Три года тому назад, плывя в Англию, он проделал этот участок пути в обратном направлении. Тогда он почти ничего не знал о том, что его окружает. Теперь он лучше представлял себе историю и географию этих мест; у него было некоторое представление о древности Египта. Он хотел бы сохранить увиденное в памяти, но его тревоги по поводу утраты языка мешали ему сосредоточиться. Так же, не оставив в душе глубоких следов, прошла мимо него и панорама побережья Африки: Порт-Судан, форпост бескрайней пустыни; Джибути; а дальше, за Африканским Рогом, Момбаса, Дар-эс-Салам и наконец порт в стране Аны. Все это время он вел себя спокойно и благоразумно. Ни Ана, ни прочие пассажиры не могли бы догадаться, что с ним что-то не так. Но все это время Вилли чувствовал, что внутри его, в тишине, куда доходит лишь слабый отзвук внешних впечатлений, прячется совсем другое "я".

Он хотел бы приехать в страну Аны по-другому. Город, в который они прибыли, был огромен и роскошен, гораздо красивее всего, что он мог бы себе вообразить; Африка в его прежнем представлении не имела с этим ничего общего. Великолепие города встревожило Вилли. Ему казалось, что он не сможет к нему привыкнуть. Странные люди, которых он видел на улицах, знали язык и обычаи этого края. Он подумал: "Я здесь не останусь. Уеду. Разве что задержусь на несколько дней, а потом найду способ отсюда выбраться". Так он думал все время, пока они жили в столице, в доме одного из друзей Аны, и эти же мысли не покидали его, когда они с Аной медленно плыли на маленьком каботажном судне в северную провинцию, где было ее поместье: таким образом, они вернулись немного назад в том направлении, откуда приплыли, но вместе с тем и приблизились к земле, к пугающим заболоченным устьям огромных рек с их пустынным безмолвием, с их смесью воды и грязи в гигантских, медленных зелено-бурых круговоротах. Именно эти реки и преграждали путь всякому, кто попытался бы добраться на север посуху.

Наконец они сошли на берег в маленьком городке из низких бетонных домиков, выкрашенных в серый, светло-коричневый и блекло-белый цвет. Улицы здесь были прямыми, как в столице, но без больших вывесок, по которым Вилли мог бы получить хоть какое-то представление о здешней жизни. Сразу же за окраиной городка начиналась ровная открытая местность; узкая асфальтовая дорога вела по ней в глубь страны. На обочинах дороги то и дело попадались африканцы — стройные низкорослые люди, бредущие по красной земле, казалось, без всякой цели, хотя они, конечно же, знали, куда идут. Поодаль, всегда на небольшом расстоянии, виднелись африканские деревни — хижины и тростниковые изгороди в окружении посадок маиса, маниоки и других культурных растений. Хижины с прямыми, четкими силуэтами были покрыты длинной тонкой травой; на солнце она блестела, как густые, тщательно расчесанные волосы. То там, то сям из земли торчали очень высокие и крутые серые утесы конической формы — каждый такой конус стоял сам по себе, отдельно от других, и некоторые из них были величиной с добрый холм. Они свернули на грязный проселок. Вдоль него рос кустарник высотой с их машину, а деревни вокруг были многолюднее тех, которые они видели с асфальтовой дороги. Красная почва под колесами была сухой, но время от времени они проезжали по старым лужам, и тогда на ветровое стекло летели брызги грязи. Потом они свернули и с этого проселка и стали подниматься к дому по заметному уклону. Даже на прямых участках дорога здесь была неровная, с продольными бороздами; на поворотах дожди размыли ее еще и в поперечном направлении. Дом стоял посреди запущенного старого сада, в тени огромного, ветвистого дождевого дерева. Нижний этаж с трех сторон окружала веранда, увитая бугенвиллеей.

Внутри было душно и жарко. Глядя через окно спальни, сквозь проволочную сетку с застрявшими в ней мертвыми насекомыми, на неухоженный сад, высокие папайи и покатый склон холма с рощицами кешью и кучками травяных крыш, уходящий к каменным утесам, которые издали казались сплошной низкой голубой грядой, Вилли подумал: "Я не знаю, куда я попал. Вряд ли я смогу найти дорогу обратно. Но мне не хочется, чтобы эта панорама когда-нибудь стала для меня привычной. Я не буду даже разбирать вещи. Нельзя вести себя так, словно я остаюсь".

Он остался на восемнадцать лет.

Однажды он поскользнулся на парадных ступенях главного дома усадьбы. Дед Аны, белый человек, каждый год ездивший в Лиссабон и Париж – по крайней мере, так гласило семейное предание, – построил этот дом после войны 1914 года, когда здесь делались первые крупные состояния, и его парадная лестница была полукруглой, из заграничного серо-белого мрамора. Теперь мрамор потрескался, трещины поросли мхом, и в то дождливое утро ступени были скользкими от влаги и пыльцы огромного дерева, в тени которого стоял дом.

Вилли очнулся в городе, в палате военного госпиталя. Он лежал среди раненых чернокожих солдат с блестящими лицами и усталыми красными глазами. Когда Ана пришла его навестить, он сказал:

– Я собираюсь от тебя уехать.

Голосом, который когда-то очаровал Вилли и до сих пор ему нравился, она сказала:

– Ты очень неудачно упал. Я столько раз говорила нашей новой служанке, чтобы она вытирала ступени. Этот мрамор всегда был скользким. Особенно после дождя. Глупо было делать из него лестницу при таком климате, как у нас.

– Я собираюсь уехать.

– Ты поскользнулся, Вилли. Какое-то время провел без сознания. Все эти рассказы о столкновениях в буше преувеличены, ты же знаешь. Новой войны не будет.

– Столкновения тут ни при чем. И в мире полно лестниц, с которых можно упасть.

– Я еще приду позже, – сказала она.

Когда она вернулась, он сказал:

– Как ты думаешь, если кто-нибудь посторонний увидит все мои синяки и ссадины, сможет он догадаться, что со мной стряслось? Понять, что я с собой сделал?

– Кажется, ты приходишь в себя.

– Ты провела со мной восемнадцать лет.

– На самом деле ты хочешь сказать, что я тебе надоела.

– Я хочу сказать, что отдал тебе восемнадцать лет. Больше я не могу тебе отдать. Не могу больше жить твоей жизнью. Я хочу жить своей.

– Это была твоя идея, Вилли. И потом, куда ты поедешь?

– Не знаю. Но я должен перестать жить здесь твоей жизнью.

Когда она ушла, он вызвал старшую сестру, мулатку, и очень медленно, выговаривая английские слова по буквам, продиктовал ей письмо для Сароджини. В течение долгих лет, именно ради такого случая, он запоминал адреса Сароджини – в Колумбии, на Ямайке, в Боливии, Перу, Аргентине, Иордании и полудюжине других стран, – и теперь, еще медленнее, поскольку сам не слишком хорошо разбирался в правописании немецких слов, продиктовал сестре-мулатке адрес в Западном Берлине. Он дал ей одну из старых пятифунтовых банкнот, которые вернула ему Ана, и вечером того же дня сестра отнесла письмо и деньги в почти полностью разоренную лавку индийского торговца, еще не уехавшего вслед за многими другими. После того как португальцы покинули страну и власть перешла к повстанцам, почта уже практически не работала. Но этот торговец, у которого были связи по всему восточноафриканскому побережью, обещал передать письмо Вилли морякам с местного судна, идущего в Дар-эс-Салам и Момбасу. Там на него должны были приклеить марку и опустить в ящик.

Письмо с неуклюже выведенным адресом отправилось вдоль побережья на север, где на него поставили неуклюжий штемпель, а через неделю-другую оно оказалось в Шарлоттенбурге[1], и маленькая красная почтовая тележка доставила его по назначению. Еще через полтора месяца туда приехал и сам Вилли. На мостовых лежал давнишний снег; посередине он был присыпан желтым песком с солью, а по обочинам загажен собаками. Сароджини жила в большой полутемной квартире, в которую нужно было подниматься по двум лестничным пролетам. Вольфа там не оказалось. Вилли никогда его не видел и не стремился увидеть. Сароджини сказала просто: "Он у другой семьи". И Вилли вполне удовлетворился этим, не чувствуя ни малейшего желания расспрашивать дальше.

Квартира выглядела так, словно ею не занимались уже много лет, и Вилли с упавшим сердцем подумал о неухоженном главном доме поместья, которое он только что оставил. Сароджини сказала: "Последний раз ее ремонтировали еще до войны". Закопченные стены были покрыты бледной краской в несколько слоев, лепные украшения под потолком заросли грязью; во многих местах выцветшая краска потрескалась, обнажив темное старое дерево. Но в доме Аны было полно тяжелой фамильной мебели, а большая квартира Сароджини казалась почти пустой. Создавалось впечатление, что хозяева купили лишь то, без чего нельзя обойтись, причем из вторых рук и не особенно задумываясь над выбором. Тарелки, чашки, ножи и ложки — от всей этой дешевой утвари не жаль было бы избавиться в любой момент. Вилли через силу съел ужин, который Сароджини приготовила для него в маленькой кухоньке с застоявшимися запахами стряпни и там же подала на стол.

Сароджини отказалась от своей прежней манеры одеваться, и теперь вместо сари, кардигана и носков на ней были джинсы и толстый свитер. Ее движения стали еще более энергичными и уверенными, чем тогда в Лондоне. Вилли подумал: "Все это скрывалось в девушке, которую я оставил дома, уезжая в Англию. И все это так и не вышло бы наружу, если бы не появился тот немец и не увез ее с собой. Значит, если бы он не появился, она со всеми своими задатками просто зачахла бы там, превратившись в ничто?" Теперь его сестра стала привлекательной — в Индии это невозможно было себе представить, — и по некоторым ее замечаниям и случайно оброненным словам Вилли понял, что со времени их последней встречи она сменила много любовников.

Спустя несколько дней после приезда в Берлин Вилли стал полагаться на эту новую силу своей сестры. После Африки ему нравилась холодная погода, и Сароджини выводила его гулять, хотя на тротуарах часто попадались скользкие места, а он еще не слишком твердо держался на ногах. Иногда в ресторанчик, где они ели, заходили молодые тамилы, продававшие розы на длинных стеблях. Эти неулыбчивые юноши сознавали важность своей задачи, сбора средств для далекой тамильской войны, и едва замечали Вилли и его сестру. Они были представителями другого поколения, но Вилли узнавал в них себя. Он думал: "Так я когда-то выглядел в Лондоне. Так выгляжу и теперь. Что же, значит, я вовсе не одинок". Но потом ему в голову пришла другая мысль: "Нет, я не прав. Я не такой, как они. Мне сорок один — это середина жизни. Они на пятнадцать-двадцать лет моложе, а ведь мир изменился. Они объявили, кто они такие, и рискуют ради своих убеждений всем. А я прятался от само-

1. Шарлоттенбург — район Берлина.

го себя. Я ничем не рисковал. И вот лучшая часть моей жизни уже позади".

Иногда по вечерам они видели африканцев в освещенных голубым светом телефонных будках: эти люди притворялись, что разговаривают, но на самом деле просто отдыхали — там им было лучше, чем под открытым небом. Сароджини сказала:

— Восточные немцы привозят их в Восточный Берлин, а потом они перебираются сюда.

"Сколько же здесь теперь таких, как мы! — подумал Вилли. — Сколько таких, как я! Хватит ли здесь места для всех нас?" Он спросил у Сароджини:

— А что случилось с моим другом Перси Кейто? Когда-то давно ты писала мне о нем.

— Он хорошо поработал с Че и другими, — ответила Сароджини. — Потом его одолела какая-то злость. Он покинул Панаму ребенком, и у него было детское представление о материке. Но когда он вернулся, там все переменилось. Он вдруг возненавидел испанцев. Можно сказать, занял полпотовскую позицию.

— Что такое полпотовская позиция? — спросил Вилли.

— Он пришел к выводу, что испанцы изнасиловали и ограбили материк самым жестоким образом и единственный способ достичь там чего-то хорошего — это перебить всех испанцев и тех, в чьих жилах есть испанская кровь. А пока они еще живы, любая революция будет пустой тратой времени. Это сложная идея, но она довольно интересна, и когда-нибудь освободительные движения обязательно включат ее в свой арсенал. Латинская Америка может перевернуть человеку душу. Но Перси не умел подавать свои мысли в выгодном свете и вдобавок забыл, что работает с испанцами. Ему следовало проявить больше такта. Не думаю, чтобы он особенно старался все объяснить. Они его потихоньку выжили. Между собой стали называть его "негрито". В конце концов он вернулся на Ямайку. Ходили слухи, что он трудится там на благо революции, но потом мы узнали, что он открыл ночной клуб для туристов на северном побережье.

— Он никогда не был пьющим, но его сердце всегда лежало к такой работе, — сказал Вилли. — Быть вежливым с вежливыми и грубым с грубыми.

Всю долгую берлинскую зиму продолжалось общение Вилли с его сестрой. Они ходили по ресторанам и кафе, сидели вместе в полупустой квартире — и точно так же, как отец Вилли когда-то рассказывал ему о своей жизни, теперь он сам принялся понемногу рассказывать Сароджини о своей жизни в Африке.

* * *

Первый день в главном доме поместья Аны (рассказывал Вилли) тянулся невыносимо долго. Все в этом доме — цвета, дерево, мебель, запахи — было для меня новым. В ванной тоже все было для меня новым — старомодные краны, газовая колонка для подогрева воды. Другие люди проектировали эту комнату, устанавливали эти краны, выбирали эту белую кафельную плитку. В некоторых местах она уже потрескалась; трещины и стыки были черными не то от плесени, не то от грязи, а сами стены — слегка неровными. Другие люди привыкли ко всем этим вещам, считали

их частью домашнего уюта. В этой комнате я особенно сильно чувствовал себя чужаком.

Кое-как я пережил этот день, сумев утаить от Аны и от всех остальных свою неприкаянность, глубокие сомнения, не покидавшие меня с тех пор, как мы отплыли из Англии. Затем настал вечер. Включился генератор. Его напряжение все время прыгало. Лампочки по всему дому и в дворовых постройках то и дело меркли, а потом вспыхивали опять, и свет, который они испускали, был неровным, как пульс; он то заполнял комнаты целиком, то снова жался к стенам. Весь первый вечер я ждал, когда же наконец прекратится это мерцание. Часам к десяти лампочки вдруг стали тусклыми. Через несколько минут напряжение упало еще ниже, а еще чуть позже свет погас совсем. Тонкий вой генератора сошел на нет, и только тогда я заметил, как он шумел. В моих ушах раздался звон, потом я услышал что-то вроде стрекота сверчков в ночи, а потом остались только тишина и темень — они были точно связаны друг с другом. После этого в задней части дома, где жили слуги, замелькали слабые желтые огоньки масляных ламп.

Я чувствовал себя оторванным от всего, что было мне знакомо, чужим в этом белом бетонном доме с его непривычной, добротной колониальной мебелью португальского производства, с его старомодными кранами в ванной; и когда я лег в постель, перед моими глазами еще долго — дольше, чем было наяву в тот день, — маячили фантастические голубые утесы, прямая асфальтовая дорога и бредущие вдоль нее африканцы.

Я черпал утешение у Аны, в ее силе и уверенности в себе. И точно так же, как теперь (наверное, ты это заметила, Сароджини) я опираюсь на тебя, тогда — с того самого дня, как она согласилась взять меня с собой в Африку, — я опирался на Ану. Мне почему-то казалось, что ей не может изменить удача. Отчасти это объяснялось уже тем фактом, что она была женщиной, которая отдала себя мне. Я верил, что в каком-то важном смысле ее направляют и охраняют высшие силы, а потому, пока я с ней, мне тоже ничто и никто не причинит вреда. Наверное, в самой нашей культуре заложено что-то такое, отчего мужчины, несмотря на свою кажущуюся самостоятельность, всегда ищут женщину, на которую они могли бы опереться. И конечно, если человек не привык чувствовать, что правительство, или закон, или общество, или хотя бы история на его стороне, тогда ему остается только верить в свою удачу или свою звезду, иначе он погибнет. Я знаю, что вместе с материнскими генами ты унаследовала радикализм ее дяди и у тебя другие воззрения. Не буду с тобой спорить. Я только хочу рассказать тебе, почему я решился поехать с еще малознакомым мне человеком в колониальную африканскую страну, о которой я знал, пожалуй, лишь то, что в ней полно расовых и социальных противоречий. Я любил Ану и верил в ее удачу. Две эти вещи были связаны между собой. И поскольку я знаю, Сароджини, что ты и к любви относишься по-другому, я объясню. Ана была важна для меня, потому что от нее зависело, смогу ли я чувствовать себя мужчиной. Ты знаешь, о чем я говорю, и я думаю, что мы можем назвать это любовью. Так вот, я любил Ану за тот огромный дар, который она мне принесла, и в равной степени верил в ее удачу. С ней я отправился бы куда угодно.

Как-то утром, на первой или второй неделе после приезда, я наткнулся в гостиной на маленькую черную служанку. Она была очень тоненькая, с блестящим лицом, в легком хлопковом платье. "Так значит, вы и есть тот мужчина, которого Ана привезла из Лондона", — сказала

она. Это вышло у нее немного фамильярно, но вместе с тем элегантно. Она прислонила метлу к высокому мягкому креслу, села в него, как на трон, плашмя положив руки на его обитые материей подлокотники, и завела со мной вежливую беседу. Сначала она спросила, словно вспомнив текст из учебника: "Благополучно ли вы доехали?" Потом: "Успели ли вы что-нибудь повидать в нашей стране?", "Понравилась ли вам наша страна?" Я уже некоторое время изучал здешний язык и знал достаточно, чтобы отвечать маленькой служанке в таком же неестественном стиле. Вошла Ана. Она сказала: "А я-то думала, кто это там разговаривает". Служанка сразу отбросила всю свою высокопарность, слезла с кресла и снова взялась за метлу. Ана сказала: "Это дочь Жулио. Он плотник и слишком много пьет".

Позже я познакомился и с Жулио. Полукровка с улыбчивыми, не внушающими доверия глазами, он жил в задней части дома вместе с остальными слугами. Его пьянство было вечной темой для шуток, и вскоре я понял, что особенных неприятностей оно причинить не может. Обычно Жулио напивался по выходным, и часто поздним вечером в пятницу, субботу или воскресенье его жена-африканка выбегала во двор главного дома, одинокая и испуганная, и начинала метаться под окном в своем сползшем с плеча африканском платье, все время заглядывая внутрь, чтобы проверить, не утихомирился ли ее пьяный муж. Это продолжалось до сумерек. Потом включался генератор, и все погружалось в его урчание. В неверном электрическом свете вещи меняли свой облик, кризис проходил, и наутро в помещениях для слуг снова царил покой, а вечерние страсти оказывались забытыми.

Но для дочери Жулио пьянство отца не могло быть таким уж смешным. Доверчиво и откровенно она рассказывала о том, как они с родителями живут в своих двух комнатах. Она сказала мне: "Когда отец напивается, он бьет маму. Бывает, что и меня тоже. Иногда так сильно, что я потом не могу спать. Тогда я хожу по комнате туда-сюда, пока не устану. Иногда я хожу всю ночь". И каждый вечер после этого, ложась в постель, я вспоминал о маленькой служанке в задней части дома. В другой раз она сказала: "Каждый день мы едим одно и то же". Тогда я так и не понял, жаловалась она, хвасталась или просто знакомила меня с одним из здешних обычаев. В первое время после приезда, пока местные жители не научили меня иначе относиться к африканским девушкам, я продолжал беспокоиться о дочери Жулио, представлять себя на ее месте и гадать, как же она при всей той любви к культурности, которую я в ней замечал, мирится со своей жизнью в этой глуши.

Конечно, это была не совсем глушь. Все эти на первый взгляд неосвоенные просторы были давно нанесены на карту и поделены на участки; сев в машину и отправившись в путь по здешним грязным дорогам, мы через каждые тридцать минут проезжали мимо усадьбы, более или менее похожей на усадьбу Аны. Все хозяйские дома были похожи друг на друга: ровные стены из белого бетона, вокруг первого этажа веранда, увитая бугенвиллеей, позади пристройки для слуг.

Однажды в воскресенье, вскоре после нашего прибытия в Африку, мы поехали на ланч к кому-то из соседей Аны. Это было важное мероприятие. На песчаной площадке перед домом стояли забрызганные грязью джипы, лендроверы и другие машины с четырехколесным приводом. На чернокожих слугах были застегнутые у горла белые ливреи. После коктейля люди разделились согласно своим вкусам: кто-то уселся в столовой за большим столом, кто-то — за маленькими столиками на ве-

ранде, в тени густых побегов старой бугенвиллеи. До этого я не представлял себе, что там будут за люди и что они обо мне подумают. Дома Ана не говорила о предстоящей поездке, и, по ее примеру, я тоже не поднимал этой темы. Теперь я заметил, что не вызываю у гостей особого интереса. Они отнеслись ко мне со странным равнодушием. Я ожидал какого-то признания моей исключительности, но ничего подобного не было. Некоторые владельцы здешних имений, похоже, вообще ни с кем не вступали в беседу, словно из-за жизни в уединении у них атрофировалась эта способность. За столом они просто сидели и ели — муж рядом с женой, не молодые и не старые, люди без возраста; ели молча, не глядя по сторонам, очень спокойно, как у себя дома. Под конец трапезы две-три женщины из числа гостей подозвали слуг, переговорили с ними, и через несколько минут те вынесли им добавочные порции еды в бумажных пакетах, которые полагалось взять с собой. Видимо, таков был местный обычай. Может быть, эти гости приехали издалека и рассчитывали перекусить остатками ланча, добравшись домой.

В расовом отношении состав гостей был смешанным: я видел людей с цветом кожи всех оттенков, от абсолютно белого до темно-коричневого. Некоторые из них были такими же смуглыми, как мой отец; возможно, еще и поэтому они как будто бы сразу приняли меня за своего. Потом Ана сказала: "Они не знают, что о тебе думать". В стране были и другие индийцы; в этом смысле ничего исключительного во мне не было. Мои соотечественники нередко попадались среди местных торговцев. Они держали дешевые лавки и жили своей жизнью, не смешиваясь с остальным населением. Было еще крупное, давно сложившееся сообщество поселенцев из Гоа — они приехали сюда, в Африку, из очень древней португальской колонии на юге Индии и работали клерками и бухгалтерами в государственных учреждениях. Они говорили по-португальски с характерным акцентом. Меня нельзя было принять за выходца из этого круга. Мой португальский был беден, а говорил я на нем почему-то с английским акцентом. Так что люди не знали, куда меня отнести, и не хотели ломать над этим голову. Как выразилась служанка, я был "мужчиной, которого Ана привезла из Лондона".

О тех, кто был с нами на ланче, Ана потом сказала: "Это португальцы второго сорта. Таково их официальное определение, и так они думают о себе сами. Они второго сорта, потому что у большинства из них были африканский дед или бабка, как у меня". В ту пору даже португальцы второго сорта занимали довольно высокое общественное положение; я видел, как за ланчем они ели, не поднимая глаз, и точно так же, не поднимая глаз, они упорно наживали деньги в колониальном государстве. До его краха оставались считанные годы, но тогда устоявшийся колониальный порядок казался всем незыблемым, как скала. И именно в этом мире меня впервые в жизни безоговорочно приняли за своего.

В те дни мы с Аной больше всего любили друг друга. Я любил ее — в комнате, раньше принадлежавшей ее деду и ее матери, под окном, за которым трепетала мелкая листва дождевого дерева, — за то, что благодаря ей я счастливо вырвался на свободу, избавился от своих страхов, почувствовал себя настоящим мужчиной. Любил, как всегда, серьезность ее лица в такие минуты. В ее волосах, как раз над виском, был маленький завиток. Я видел в этом завитке напоминание о ее африканских предках и любил ее за это тоже. И однажды я вдруг сообразил, что за всю прошлую неделю ни разу не вспомнил о своем опасении потерять язык, онеметь, о своем ужасе перед грозящей мне утратой дара речи.

В угодьях Аны собирали урожаи хлопка, кешью и сизаля. Я ничего не знал об этих культурах. Но в поместье был управляющий, были надсмотрщики. Они жили в десяти минутах ходьбы от главного дома: одна из грязных дорожек упиралась в кучку небольших, белых, почти одинаковых бетонных бунгало с крышами из рифленого железа и маленькими верандами. Ана говорила, что в усадьбе нужен мужчина, и я без всяких объяснений с ее стороны понял, что моя единственная задача состоит в укреплении авторитета Аны среди этих людей. Я никогда не претендовал на большее, и надсмотрщики легко смирились с моим присутствием. Я знал, что тем самым они отдают дань уважения самой Ане. Поэтому все у нас шло более или менее гладко. Я начал потихоньку осваиваться. Мне было приятно, что мой нынешний образ жизни очень далек от всего, что я знал раньше и мог рисовать себе в перспективе.

Поначалу надсмотрщики вызывали у меня легкую тревогу. Их жизнь казалась мне довольно безрадостной. Это были люди смешанного происхождения, по большей части уроженцы сельской местности, жившие в своих маленьких бетонных домиках. Только то, что домики у надсмотрщиков были из бетона, и отличало их от всех остальных африканцев. Лозняк и хворост были рядовыми стройматериалами; бетон говорил о более высоком общественном положении. Но бетон не был истинным барьером. По сути, надсмотрщики жили вместе с обычными африканцами. Никакого другого выбора у них не было. Когда я пытался поставить себя на их место, мне казалось, что они с их смешанным происхождением должны желать чего-то большего. На побережье был городок. Там текла жизнь, непохожая на здешнюю, но туда нужно было добираться час с лишним при дневном свете и гораздо дольше — после наступления темноты. Получалось, что это место годится только для коротких экскурсий. Работать в имении значило жить в имении, и все знали, что у многих надсмотрщиков африканские семьи. Кем бы ни притворялись эти люди перед нами, жизнь, которая ждала их дома, в этих бетонных домиках, была африканской жизнью, и о ней я мог лишь строить догадки.

Как-то раз, направляясь с одним из надсмотрщиков на новое хлопковое поле, я завел с ним разговор о его жизни. Наш лендровер только что свернул с грязной дороги, и мы ехали через буш, огибая заболоченные ямы и засохшие ветви сваленных деревьев. Я ожидал услышать от надсмотрщика обычную историю о несбывшихся честолюбивых надеждах, о том, как судьба сыграла с ним злую шутку; по моим предположениям, он должен был проявить хотя бы легкую неприязнь к своим более удачливым сверстникам, вырвавшимся в город. Однако никакой неприязни я не заметил. Надсмотрщик считал, что ему крупно повезло. Он пробовал жить в Португалии, пробовал жить и в южноафриканском городке, но вернулся назад. Он стукнул ладонью по рулю лендровера и сказал: “Я больше нигде не могу жить”. Когда я спросил почему, он ответил: “Вот поэтому. Потому, что мы сейчас делаем. В Португалии вы бы этого не смогли”. Я еще не успел привыкнуть к лендроверам и другим машинам с приводом на четыре колеса; меня и самого до сих пор охватывал восторг, когда приходилось съезжать с дороги и двигаться по сырой пересеченной местности. Но я чувствовал, что здешняя жизнь нравится надсмотрщику не только этим; его удовлетворенность имела не столь сексуально-примитивный подтекст, как могло показаться на первый взгляд. И после нашего разговора я стал смотреть на заплесневелые белые стены маленьких бунгало неподалеку от главного дома с новым ува-

жением. Так, мало-помалу, я узнавал то, чего не знал раньше. Не только о хлопке, сизале и кешью, но и о людях.

Я хорошо изучил путь в город. Я помнил все огромные каменные конусы, стоявшие вдоль дороги, и ориентировался по ним, благо среди них нельзя было найти двух одинаковых. Некоторые утесы словно росли прямо из земли, а у подножия других лежали кучи осыпавшегося с их боков щебня; одни утесы были серыми и голыми, а другие в отдельных местах покрывал желтоватый лишайник; кое-где в результате коррозии на утесах образовались уступы и там что-нибудь росло, иногда целое дерево. Эти конусы всегда казались новыми. Поездка в город после недели-другой, проведенных в поместье, всегда была приключением. И сам город с час или больше тоже казался новым: колониальные лавки, провинциальные витрины, набитые всякой всячиной, грузчики-африканцы, сидящие у лавок в ожидании работы; мощеные улицы, грузовики и легковые машины, гаражи; разномастное население и молодые краснолицые португальцы из нашего маленького гарнизона, придававшие облику городка что-то до странности европейское. Гарнизон до сих пор оставался совсем крохотным, и маленькие простые казармы не имели угрожающего вида — низкие двухэтажные постройки из белого или серого бетона, они вполне гармонировали со всеми прочими зданиями. Иногда в городе открывалось новое кафе, куда можно было зайти. Но обычно такие кафе быстро прогорали. У португальских солдат не было денег, а местные жители предпочитали сидеть по домам.

Большинство магазинов, в которых мы делали покупки, были португальскими. Два или три принадлежали индийцам. Сначала, заходя туда, я нервничал. Мне не хотелось ловить на себе взгляды продавцов, потому что эти взгляды могли бы напомнить мне о родине и о моем печальном детстве. Но я ни разу не столкнулся с чем-либо подобным, ни разу не заметил в глазах владельца какой-нибудь лавки или членов его семьи искорки, которая сказала бы мне о том, что они определили мою расовую принадлежность. Эти люди тоже видели во мне лишь того нового человека, каким я стал после переезда в страну Аны. Казалось, они не догадывались, что раньше я был кем-то другим. И эти люди тоже, не поднимая глаз, выполняли то, что от них требовалось. Поэтому и я, как надсмотрщики (разве что по другим причинам), чувствовал себя в этих краях свободнее, чем где бы то ни было еще.

Иногда по выходным мы отправлялись на пляж по другую сторону городка и посещали маленький, примитивный португальский ресторанчик, где можно было заказать блюда из свежевыловленной рыбы и моллюсков и запить их красным или белым португальским вином.

В мыслях я часто возвращался к ужасу своего первого дня. Та картина — дорога и бредущие вдоль нее африканцы — по-прежнему стояла у меня перед глазами, и я удивлялся тому, что эту страну удалось приручить, что в такой малообещающей местности удалось наладить вполне приличную жизнь, что кровь, в каком-то смысле, удалось выжать из камня.

Наверное, все было по-другому шестьдесят или семьдесят лет назад, когда дед Аны приехал сюда, чтобы вступить во владение огромным участком земли, пожалованным ему правительством, которое чувствовало собственную слабость и, опасаясь беспокойной мощи Британии и Германии с их более многочисленным населением, стремилось как можно быстрее освоить свою африканскую колонию. Тогда городок был, скорее всего, лишь крошечной прибрежной деревушкой, где жили черные ара-

бы — народ, возникший в результате смешения рас, которое происходило здесь в течение целого века, а то и больше. Внутрь материка вел только грязный проселочный тракт. Единственным транспортным средством была телега, передвигавшаяся со скоростью две мили в час. Путешествие, на которое теперь мне хватало часа с минутами, занимало тогда два дня. Главный дом поместья, в ту пору очень простой, отличался от деревенских хижин разве что материалом, из которого он был сложен. Все необходимое для его постройки — бревна, рифленое железо, гвозди и металлические петли — доставили морем из столицы, а потом привезли в поместье на телегах. Тогда не было ни электрического освещения, ни противомоскитной сетки на окнах, ни воды — если не считать дождевой, стекающей с крыши. Жить здесь значило жить вплотную к земле — месяц за месяцем, год за годом мириться с этим климатом и болезнями — и полностью зависеть от местного населения. Это не так-то просто себе вообразить. Ни один человек не может по-настоящему вообразить себя кем-то другим, поскольку никто не способен представить себя без того разума и сердца, которыми он наделен, и точно так же ни один наш современник не может по-настоящему знать, каково было жить на этой земле в те времена. Мы судим лишь по тому, что нам известно. А дед Аны и все его знакомые могли знать лишь то, что было известно им. И они, наверное, были довольны тем, что имели.

Южнее, по всему побережью, старые поселенцы полностью африканизировались. Теперь эти арабы из Маската и Омана назывались уже не арабами, а магометанами. Дед Аны, который вел суровую жизнь в этом суровом краю и иной не знал, сам стал наполовину африканцем, с африканской семьей. Но в то время как для африканских арабов на побережье история замерла и каждое новое их поколение уже не отличалось от предыдущего, для деда Аны ее поступь вдруг ускорилась. Наступил 1914 год, и в Европе началась большая война. Тогда-то дед Аны и сделал себе состояние. Люди стали чаще селиться в глубине материка; столица развивалась; появились трамваи, в передней части которых сидели белые (включая уроженцев Гоа), а сзади, за холщовой перегородкой, — африканцы. В этот период дед Аны захотел восстановить сброшенную им было европейскую кожу. Он отправил двух своих дочерей, полукровок, учиться в Европу; ни для кого не было секретом, что он надеется выдать их замуж за португальцев. Тогда же он выстроил в поместье новый большой дом с белыми бетонными стенами и красными бетонными полами. Впереди дома и по бокам от него разбили большой сад; сзади появился ряд гостевых комнат со своими собственными верандами, продолжениями основной. При каждой гостевой спальне была просторная ванная, оборудованная по последней моде. Еще дальше, в самом конце дома, возникли обширные пристройки для слуг. Хозяин обставил дом прекрасной колониальной мебелью, которую не меняли с тех самых пор. Мы — Ана и я — спали в его спальне, на его резной кровати. Если трудно было проникнуть во внутренний мир человека, ставшего полуафриканцем, то еще труднее было почувствовать себя накоротке с его более поздним "я", которое на первый взгляд представлялось более понятным. Я всегда ощущал себя чужим в этом доме. Я так и не привык к его помпезности; мебель казалась мне странной и неуклюжей до самого конца.

Вдобавок, из-за моего происхождения и благодаря моей чувствительности к подобным вещам, я не мог забыть об африканцах. Дед Аны и ему подобные, а также священники и монахини из пугающе опрятной иностранной миссии в старинном стиле, выстроенной прямо посреди

этого голого, открытого пространства, — словом, все они наверняка полагали, что нужно подчинить африканцев своей воле, заставить их привыкнуть к новому образу жизни. Я гадал, как они пытались решить эту задачу, и боялся спрашивать. Но, как это ни удивительно, африканцам удалось остаться самими собой, сохранить многие из своих обычаев и, в основном, свою религию, хотя их землю поделили на участки и превратили в сельскохозяйственные угодья, высокую урожайность которых они должны были обеспечивать. Эти люди, бредущие по обочинам асфальтовой дороги, были отнюдь не только рабочей силой. У них имелись не менее сложные социальные обязательства, чем те, что существовали на моей родине. Они могли без предупреждения устроить себе выходной и отправиться за тридевять земель, чтобы выполнить предписанный традицией обряд или поднести кому-нибудь подарок. В пути они не останавливались, чтобы попить воды; казалось, они в ней не нуждаются. В отношении еды и питья они тогда еще придерживались своих старинных привычек. Они пили воду по утрам и вечерам, но никогда не делали этого в середине дня. Рано утром, перед выходом на работу, они ничего не ели; первая трапеза, состоявшая из одних овощей, устраивалась ближе к полудню. Они признавали только свою собственную пищу, и по большей части то, что они ели, росло прямо около их хижин. Очень распространенным продуктом питания была сушеная кассава. Ее можно было перетирать в муку или есть прямо так. Двух-трех кусков кассавы человеку хватало, чтобы идти целый день. В самой крохотной деревушке кто-нибудь обязательно продавал сушеную кассаву из своего скудного урожая, мешок или два зараз, рискуя в ближайшие месяцы оставить без еды собственную семью.

Если вдуматься, странно было видеть эти два мира, существующие бок о бок: большие поместья с их каменными зданиями и африканский мир, который казался менее самодовольным, но был повсюду, точно бескрайний океан. Он походил на другую ипостась того, что когда-то, словно бы в иной жизни, я знал у себя дома.

Благодаря капризу судьбы здесь я очутился по другую сторону. Но, познакомившись поближе с историей этого края, я часто думал, что дед Аны вряд ли обрадовался бы, если бы под конец его жизни ему сказали, что кто-то вроде меня поселится в главном доме его усадьбы, будет сидеть в его удобных креслах и спать с его внучкой на его большой резной кровати. Наверное, будущее его имени и рода представлялось ему совсем, совсем иным. Он отправил двух своих дочерей-полукровок учиться в Португалию, и все знали, что он хочет выдать их за настоящих португальцев и вытравить ту африканскую наследственность, которой он наделил их, когда жил здесь вплотную к земле, боролся с трудностями и мало-помалу забывал о существовании другого, внешнего мира.

Девушки были красивы и довольно богаты. Таким невестам, особенно в пору великой депрессии, оказалось нетрудно найти женихов в Португалии. Одна из них там и осталась. Вторая, мать Аны, вернулась в Африку и вместе с мужем поселилась в отцовском поместье. Пошли званые завтраки, вечеринки, визиты. Дед Аны не мог нахвастаться своим новым зятем. Он уступил молодым свою спальню с модной мебелью. Сам он, чтобы не мешать, перебрался в гостевую комнату в задней части дома, а потом проявил еще больше такта, переехав в одно из бунгало, предназначенных для надсмотрщиков. Через некоторое время родилась Ана. А затем, живя в той самой комнате, где теперь каждое утро просыпался я, отец Аны сделался очень странным. Он стал вялым и апатич-

ным. У него не было никаких обязанностей по хозяйству, ничего, что могло бы его расшевелить, и иногда он целыми днями не покидал своей комнаты, не вставал с постели. Среди надсмотрщиков-полуафриканцев и наших соседей ходили слухи — вскоре после моего приезда они, конечно, достигли и моих ушей, — что брак, который в Португалии казался отцу Аны удачным, в Африке стал выглядеть менее удачным, и отец Аны преисполнился негодования.

Ана знала, что люди рассказывают о ее отце. Когда мы с нею начали обсуждать эти вещи, она сказала мне: "То, что они говорят, — правда, но не вся. По-моему, в Португалии он думал — помимо всего прочего, помимо мыслей о деньгах, я имею в виду, — что ему поможет переезд в новую страну, где он будет занимать привилегированное положение. Но он не был создан для буша. Он никогда не отличался энергичностью, а тут его силы и вовсе иссякли. Чем меньше он делал, чем больше прятался в своей комнате, тем скорее таяли его силы. Он не держал зла ни на меня, ни на мою мать, ни на деда. Его просто одолела хандра. Он страшно сердился, когда его просили что-нибудь сделать: ему лень было даже пошевелить пальцем. Я помню, как его лицо искажалось от боли и гнева. Ему действительно нужна была помощь. В детстве я всегда думала о нем как о больном человеке, а о его комнате — как о комнате больного. Поэтому мое детство здесь было очень несчастным. В детстве я думала о своем отце и матери: 'Эти люди не понимают, что я тоже человек, что мне тоже нужна помощь. Я не игрушка, которую они сделали случайно, сами того не желая'".

Со временем родители Аны стали вести отдельное существование. Ее мать жила в их фамильном доме в столице и присматривала за Аной, которую отдали учиться в школу при тамошнем монастыре. И на протяжении многих лет никто, кроме родственников, не знал, что их брак не сложился. В колониальный период это было принято во многих богатых семьях: жена уезжала в столицу или в один из прибрежных городков, чтобы следить за образованием детей, а муж управлял поместьем. Супруги виделись так редко, что мужья обычно начинали жить с африканками и обзаводились африканскими семьями. Но в этом случае произошло наоборот: у матери Аны в столице появился любовник, человек смешанного происхождения. Государственный служащий, он занимал высокий пост в таможне, но тем не менее оставался всего лишь государственным служащим. Их роман тянулся и тянулся. Он стал притчей во языцех. Дед Аны под конец жизни почувствовал себя обманутым. Он винил мать Аны и в том, что ее брак не удался, и во всем прочем. Ему казалось, что африканская кровь все-таки взяла в ней верх. Перед самой кончиной он изменил свое завещание, отдав Ане все, что собирался отдать ее матери.

К тому времени Ана была уже в языковой школе в Англии. Она говорила об этом так: "Мне хотелось вырваться из оков португальского языка. Я считала, что именно в нем причина ограниченности моего деда. У него не было настоящего представления о мире. Он мог думать только о Португалии, Португальской Африке, Гоа и Бразилии. Из-за этого португальского языка весь остальной мир для него просто не существовал. И я не хотела учить южноафриканский английский, который учат здесь. Я хотела учить английский английский".

Именно в пору пребывания Аны в Оксфорде, в языковой школе, ее отец пропал. Однажды он покинул поместье да так и не вернулся. Кроме того, он забрал с собой львиную долю семейного капитала. Использо-

вав какую-то юридическую уловку, он сумел заложить половину владений Аны, включая фамильный дом в столице. У Аны не было никакой возможности выплатить сумму, которую он получил, поэтому все, что банки взяли в залог, у них и осталось. Вышло так, словно надсмотрщики и все те, кто больше двадцати лет сомневался в ее отце, действительно оказались правы. Тогда Ана и предложила матери и ее любовнику поселиться в поместье. После языковой школы она присоединилась к ним и они жили счастливо до тех пор, пока однажды ночью любовник матери не попытался залезть к ней в ее большую резную кровать.

Она сказала: "Но об этом ты уже слышал от меня в Лондоне, хотя тогда я не призналась, что говорю про себя".

Она по-прежнему любила отца. Она сказала: "По-моему, он всегда отдавал себе отчет в своих поступках. По-моему, он всегда планировал что-то вроде этого. Ведь чтобы сделать то, что сделал он, нужно как следует все продумать. Много раз побывать в столице, встречаться с юристами и банкирами. Но его болезнь тоже была реальной. Упадок сил, беспомощность. И он любил меня. Я никогда в этом не сомневалась. Как раз перед нашей с тобой встречей я ездила в Португалию, чтобы с ним повидаться. В конце концов он осел в Португалии. Сначала поехал в Южную Африку, но там ему было слишком трудно. Он не хотел говорить только на чужом языке. Он мог бы отправиться в Бразилию, но испугался. Вот и вернулся в Португалию. Он поселился в Коимбре. В маленькой квартирке в большом современном доме. Никакого шика. Кстати, он до сих пор живет на те деньги, которые получил под залог. Так что можно сказать, что в каком-то смысле он и впрямь нашел в молодости золотую жилу. Одинокий. В его квартире не было следов женского присутствия. Она показалась мне такой пустой и унылой, что у меня сжалось сердце. Он был со мной очень ласков, но выглядел совершенно потухшим. В какой-то момент он попросил меня сходить в спальню и принести ему лекарство из тумбочки, и когда я зашла туда и открыла ящик, там лежала старая кодаковская фотокарточка, на которой была я еще ребенком. Я чуть не расплакалась. Но потом подумала: 'Он это нарочно'. Собралась с духом, отнесла ему лекарство и постаралась, чтобы по моему лицу ничего нельзя было прочесть. Он называл одну из двух спален, которые были в квартире, своей студией. Сначала это меня удивило, но потом выяснилось, что он начал делать маленькие современные статуэтки из бронзы, маленькие фигурки полуконей, полуптиц и полу еще чего-то, с одной стороны зеленые и шершавые, а с другой гладко отполированные. Мне ужасно понравилось то, что он сделал. Он сказал, что на одну статуэтку у него уходит месяца два-три. Подарил мне одного маленького ястребка. Я положила его к себе в сумочку и каждый день вынимала и держала в руке, чувствуя, какой он гладкий и шероховатый. Две или три недели я и вправду верила, что он художник, и очень гордилась им. Думала, что все его прошлые поступки можно объяснить тем, что он художник. А потом эти бронзовые фигурки стали попадаться мне на каждом шагу. Это были обычные сувениры. То, чем он занимался у себя в студии, было формой его праздности. Мне стало стыдно за себя — за то, что я поверила, будто он может оказаться художником, и за то, что не надавила на него как следует. Надо было задать ему кое-какие вопросы. Это было как раз перед тем, как мы с тобой встретились. Наверное, теперь ты понимаешь, почему твои рассказы так на меня подействовали. Весь этот блеф, притворство, а за ними по-настоящему несчастная жизнь. Даже жутко стало. Вот почему я тебе написала".

Она еще никогда не говорила так откровенно о моих рассказах, и это меня встревожило: должно быть, подумал я, по ним можно узнать обо мне больше, чем я надеялся, и она уже давным-давно поняла, что я собой представляю. У меня не было с собой экземпляра книги: я хотел, чтобы все, связанное с нею, осталось в прошлом. Ана сохранила свой. Но я в него не заглядывал, опасаясь того, что я могу там найти.

У меня вообще было очень мало бумажного багажа. Я привез в Африку две тетради с набросками и сочинениями, написанными еще дома, в миссионерской школе. Привез несколько писем Роджера — у него был красивый аристократический почерк, и, возможно, поэтому мне не хотелось выкидывать его послания. Кроме того, у меня был мой индийский паспорт и две пятифунтовые банкноты. Я рассчитывал, что они пригодятся мне на обратную дорогу. Ана взяла меня с собой как нищего, и я словно с самого начала знал, что когда-нибудь мне придется уехать. На десять фунтов далеко не уедешь, но это было все, что мне удалось сберечь в Лондоне, и где-то в уголке моего сознания — там, где под влиянием унаследованной от далеких предков осторожности сложился этот полуплан или четверть-план побега, — пряталась мысль, что они по крайней мере помогут мне сделать первый шаг. Эти десять фунтов, паспорт и другие бумаги лежали в старом коричневом конверте, а тот — в нижнем ящике массивного бюро у нас в спальне.

Однажды я не смог найти конверт. Я спрашивал у слуг; Ана тоже. Но никто ничего не видел и не мог сказать ничего разумного. Больше всего меня огорчила пропажа паспорта. Я был убежден, что без него ни одно официальное лицо — будь то в Африке, Англии или Индии — не поверит, что я тот, кем себя называю. Ана сразу же предложила мне отправить на родину просьбу о выдаче дубликата. В ее представлении бюрократия была суровой, равнодушной машиной, чьи колесики хоть и медленно, но крутились. Но я знал, как работают наши учреждения, мне легко было оживить в памяти эту картину: зеленые стены, засаленные на уровне головы, плеч и зада, грубо сколоченные стойки и кабинки для кассиров, черный от грязи пол, жующие бетель клерки в коротких штанах или лунги[1], каждый со свежей меткой на лбу, говорящей о его кастовой принадлежности (в ношении этих меток состояла их главная обязанность), на каждом столе пестрые стопки потрепанных, выцветших папок, ломкая бумага самого плохого качества, — и я понимал, что буду долго ждать в своей далекой Африке, но там ровным счетом ничего не произойдет. Паспорт был моим единственным удостоверением личности, и без него я не имел никаких прав. Я не мог двинуться с места; меня все равно что не было. Чем больше я об этом думал, тем более незащищенным себя чувствовал. Иногда я по целым дням не мог думать ни о чем другом. Это превратилось в настоящую муку — такие же страдания я испытывал, когда плыл вдоль побережья Африки, боясь потерять дар речи в стране с чужим языком.

Однажды утром Ана сказала:

— Я говорила с поварихой. Она считает, что нам нужно обратиться к колдуну. Милях в двадцати или тридцати отсюда живет один, очень знаменитый. Его знают во все деревнях. Я попросила повариху пригласить его.

— Кто, по-твоему, может польститься на паспорт и несколько старых писем? — спросил я.

1. Лунги — набедренная повязка.

— Пока не надо ни о чем рассуждать, — сказала Ана. — Не надо называть никаких имен. Пожалуйста, доверься мне. Нам нельзя даже никого подозревать. Пусть этим займется колдун. Он очень серьезный и уважающий себя человек.

На следующий день она сказала:

— Колдун придет через неделю.

В тот же день плотник Жулио нашел у себя в мастерской коричневый конверт и одно из писем Роджера. Ана позвала повариху и сказала ей:

— Хорошо. Но там были и другие вещи. Колдун все же должен будет прийти.

Первая находка оказалась не последней. Каждый день где-нибудь обнаруживалось то очередное письмо Роджера, то моя школьная тетрадка, но паспорта и пятифунтовых банкнот по-прежнему не было, и все знали, что колдун скоро придет. В конце концов он так и не пришел. Как раз накануне его появления паспорт и банкноты нашлись в одном из маленьких ящиков бюро. Ана отправила колдуну деньги через повариху. Он вернул их обратно, потому что его помощь так и не понадобилась. Ана сказала:

— Это ты должен запомнить. Африканцы могут и не бояться тебя или меня, но они боятся друг друга. Каждый может пойти к колдуну, и потому даже у самого маленького человека есть сила. В этом смысле у них больше справедливости, чем у нас.

Я получил обратно свой паспорт и успокоился. Точно по уговору, мы с Аной больше не обсуждали эту историю. С тех пор мы никогда не упоминали о колдуне. Но земля подо мной повернулась, и все стало немного другим.

* * *

Наши друзья — помещики, с которыми мы виделись на уик-эндах, — жили в пределах двух часов езды от нас. Почти ко всем домам владельцев соседних усадеб вели отдельные грязные дороги, каждая со своими петлями и ямами (некоторые из этих дорог шли вокруг африканских деревень), и ехать по ним больше двух часов было трудно. Тропический день длился двенадцать часов, и в буше действовало правило, в согласии с которым любой путешественник старался добраться до дома к четырем часам — во всяком случае, не позже пяти. Целого воскресенья едва хватало на четыре часа за рулем и трехчасовой ланч в компании соседей; более серьезные мероприятия неизбежно становились испытанием на выдержку. Поэтому мы постоянно встречались с одними и теми же людьми. Я считал их друзьями Аны; я так и не привык думать о них как о своих собственных друзьях. В каком-то смысле Ана просто унаследовала их вместе с имением. Наверное, и они могли сказать, что унаследовали нас. Мы все были чем-то вроде придатков к земле.

Вначале жизнь в Африке казалась мне разнообразной и интересной. Мне нравились дома и широкие веранды, окружающие их с трех сторон (они были увиты бугенвиллеей или какими-нибудь другими вьющимися растениями), прохладные, полутемные комнаты — смотреть оттуда на сад, залитый ярким светом, было очень приятно, хотя снаружи этот свет резал глаза, в воздухе толклись кусачие насекомые, а сам сад, песчаный и полудикий, местами был выжжен, а местами грозил превратиться

обратно в буш. Из этих прохладных, удобных домов даже местный климат казался чудесным, словно богатство землевладельцев повлияло на саму природу и климат перестал быть заразным и губительным, как в те давние годы, когда здесь жили дед Аны и его товарищи.

Вначале я хотел только одного — быть принятым в эту богатую и безопасную жизнь, так сильно отличавшуюся от всего, что я мог вообразить для себя в будущем. Поэтому я очень нервничал, встречаясь с людьми. Я не хотел видеть у кого-нибудь в глазах сомнение. Я не хотел слышать вопросы, на которые мне трудно было бы ответить в присутствии Аны. Но никто ни о чем не спрашивал; если у людей и появлялись какие-то мысли, они держали их при себе; в местном обществе Ана пользовалась авторитетом. И очень скоро я перестал волноваться. Но потом, через год или около того, я начал понимать — и в этом мне помогли особенности моей собственной биографии, — что мир, в который я вступил, тоже по-своему неполноценен, что многие из наших друзей в глубине души считают себя людьми второго сорта. Они не были чистокровными португальцами, но именно об этом мечтал каждый.

Примерно так же, как с этими друзьями-полукровками, обстояло дело и с городком на побережье. Поездка туда всегда была приключением, но стоило провести там час-другой, как все вокруг начинало казаться скучным. Это мало чем отличалось от воскресного визита к соседям: ты выезжал к ним поутру свежим и полным надежд, но после часа, проведенного в обществе людей, утративших свой блеск, людей, вся подноготная которых была хорошо тебе известна, говорить становилось не о чем, и мы все радовались тому, что можем скоротать за едой и питьем время, оставшееся до трех часов пополудни, а потом (хотя солнце будет еще высоко) рассядемся по своим лендроверам и поедем домой.

Этих наших друзей из числа помещиков-соседей, унаследованных вместе с землей, мы знали только в самом широком смысле слова. Мы видели их такими, какими они хотели нам казаться, и при каждой очередной встрече видели каждого человека все с той же стороны, что и раньше. Они стали для нас кем-то вроде героев пьесы из школьной программы — каждый превратился в "персонаж", определяющийся двумя-тремя характерными чертами.

Супруги Коррейя, например, гордились своим аристократическим именем. Еще они были одержимы мыслями о деньгах и говорили о них постоянно. Они жили в вечном страхе перед каким-то ужасным несчастьем, которое, по их мнению, вот-вот должно было разразиться. Что это будет за несчастье и какого масштаба — местного или общемирового, — они точно не знали, но были уверены, что оно самым гибельным образом повлияет на их сбережения и в Африке, и в Португалии. Поэтому у них имелись банковские счета в Лондоне, Нью-Йорке и Швейцарии. Они рассчитывали, что в критический момент хотя бы в одном из этих мест их будет ждать спасительный "конвертик". Коррейя рассказывали о своих заграничных счетах всем подряд. Иногда казалось, что они поступают так по простоте душевной; иногда это больше походило на хвастовство. Однако на самом деле причина их откровенности была другой: им хотелось заразить всех предчувствием грядущего несчастья и посеять среди своих друзей в буше легкую панику, пусть лишь ради того, чтобы доказать собственную дальновидность и расчетливость, которую они проявили, открыв счета в зарубежных банках.

Рикардо был крупным мужчиной с военной выправкой и седыми волосами, подстриженными на военный манер. Он любил практиковаться

в английском, разговаривая со мной; у него был сильный южноафриканский акцент. Этот рослый человек жил со своим личным огромным горем. Его дочь когда-то подавала надежды как певица. Все, кто слышал ее в колонии, считали, что у нее есть талант и она имеет все шансы прославиться в Европе. Рикардо, небогатый помещик, продал часть своей земли и отправил дочь учиться в Лиссабон. Там она сошлась с африканцем из Анголы — португальской колонии на другой стороне материка. Это положило конец ее карьере певицы, ее связям с семьей, всем расчетам и гордым мечтам ее отца; Рикардо уничтожил все записи с голосом дочери, какие у него были. Некоторые говорили, что он слишком уж много требовал от дочери и что она отказалась петь еще до того, как познакомилась со своим африканцем. Однажды в воскресенье, на ланче, знакомый, у которого мы собрались, поставил пленку с записью дочери Рикардо. Это было сделано (о чем нас с Аной предупредили заранее) не с целью уязвить Рикардо, а ради того, чтобы оказать уважение ему и его дочери и помочь ему справиться со своей печалью. Недавно наш хозяин наткнулся у себя дома на неподписанную кассету; выяснилось, что он сделал эту запись сам, а потом забыл о ней. И вот, в разгар жаркого дня, когда снаружи сияло яркое солнце, мы стали слушать песни, которые эта девушка пела сначала по-итальянски, а затем по-немецки. Меня тронуло (хотя я ничего не понимаю в пении) уже то, что такой дар и такие честолюбивые устремления достались на долю человеку, когда-то жившему в этой глуши. И Рикардо не стал устраивать сцену. Он смотрел в пол, плача и улыбаясь с прежней гордостью, а его дочь пела с пленки тем полным надежд голосом, который был у нее много лет назад.

Норонья были нашими аристократами, чистокровными португальцами. Муж был маленький и худой — говорили, что он знатного рода, но я не уверен, что это правда. Его жена была то ли больная, то ли калека — я не знал, что у нее не в порядке, и никогда не стремился это выяснить, — и поэтому всегда появлялась среди нас только в кресле-каталке, которое толкал перед собой муж. Снисходя до нашего общества, общества полукровок, они не скрывали легкого презрения ко всем нам. Они знали эту страну и знали, какова разница между ними и нами. Вполне могло возникнуть впечатление, что они нарушают правила лишь из-за недуга благородной дамы, которую нужно развлекать. Но на самом деле они общались с нами потому, что госпожа Норонья обладала особым даром. Она была провидицей. Ее супруг, человек знатного происхождения, гордился сверхъестественными способностями жены. Приехав на воскресный ланч в какой-нибудь из помещичьих домов, он торжественно вкатывал туда большое кресло, в котором сидела госпожа Норонья, и на его худом, брезгливом лице было написано явное высокомерие. Никто, даже Ана, никогда не говорил мне прямо, что у госпожи Нороньи есть этот дар. Ему просто позволяли проявляться, и он проявлялся, но таким ненавязчивым образом, что в первые несколько раз я ничего не заметил. Чтобы увидеть этот дар в действии, надо было знать о нем заранее. Например, кто-нибудь сообщал: "В марте я собираюсь поехать в Лиссабон". И госпожа Норонья, сгорбившись в своем кресле, тихо говорила, ни к кому в особенности не обращаясь: "Это не самое удачное время. В сентябре было бы лучше". Больше она ничего не добавляла, никакого объяснения; и больше уже никто не заводил речи о поездке в Лиссабон в марте. А если — скажу об этом просто ради иллюстрации — если я, в то время еще не подозревавший об особом даре госпожи Нороньи, говорил: "Но весной в Лиссабоне, наверное, очень приятно", — гос-

подин Норонья, в водянистых глазах которого светилось недовольство тем, что кто-то осмеливается возражать его жене, отвечал: "Значит, есть причины считать это время неподходящим", а его жена отворачивалась без всякого выражения на бледном лице. Я подозревал, что мистический дар госпожи Нороньи в сочетании с ее физической неполноценностью и родовитостью мужа сделал из нее тирана. Она могла сказать все что угодно; она могла быть настолько грубой и высокомерной, насколько ей хотелось; и у всех окружающих всегда находилось по три, четыре или пять причин не вступать с нею в спор. Я замечал, что время от времени у нее бывают приступы боли, но не мог отделаться от впечатления, что всякий раз, вернувшись с мужем домой, она встает со своего кресла и ходит как ни в чем не бывало. В редких случаях она давала подробные мистические консультации. Они были недешевы, и визиты, которые госпожа Норонья в обществе мужа наносила своим во многих отношениях суеверным соседям-полукровкам, помогали ей набирать клиентуру.

Мы с Аной тоже выступали как цельные персонажи. И, поскольку никто не способен видеть себя в истинном свете, мы наверняка были бы удивлены и, возможно, даже оскорблены – точно так же, как были бы удивлены и оскорблены и Коррейя, и Рикардо, и Норонья, – тем, что видели в нас другие.

Этот образ жизни в провинции сложился, скорее всего, в двадцатые годы, в кильватере послевоенного бума. Во время Второй мировой он, должно быть, установился окончательно. Поэтому его можно было назвать относительно новым; вся его история укладывалась в один человеческий век или даже в рамки взрослой жизни одного человека. Ему суждено было продержаться совсем недолго, и теперь мне иногда кажется, что едва ли не все в нашем кругу (а отнюдь не только склонные к драматизации Коррейя) старались заглушить в себе нехорошее предчувствие, подсказывающее нам, что очень скоро нашему беспечному и неестественному существованию будет брошен вызов. Впрочем, вряд ли кто-нибудь догадывался, что мир бетона потерпит такое сокрушительное поражение от старого, хрупкого на вид соломенного мира.

Иногда мы отправлялись на воскресный ланч в примитивный ресторанчик на побережье. Там подавали простые блюда из свежих морепродуктов, и дела у хозяев вскоре пошли хорошо. Ресторанчик стал выглядеть лучше. Приехав туда в очередное воскресенье, мы обнаружили, что пол в зале выложен плиткой с красивым, узорчатым желто-голубым орнаментом, и не смогли сдержать восхищенных восклицаний. Плиточник оказался крупным мулатом со светлыми глазами. По какой-то причине – возможно, потому, что работа не была закончена в срок, – владелец ресторана, португалец, осыпáл его громкой бранью. С нами и прочими посетителями он держался вежливо, как всегда; но потом, отойдя от нас, снова набрасывался на плиточника, будто превращаясь в другого человека. При каждом его выкрике большой светлоглазый мулат опускал голову, словно от удара. Он сильно потел – похоже, не только из-за жары. Он продолжал выполнять свою филигранную работу, выкладывая тонкий слой быстро сохнущей известки, а затем прижимая к нему каждую красивую португальскую плиточку по отдельности и подправляя ее легким постукиванием. Пот катился по его бледно-коричневому лбу, и время от времени он вытирал его с глаз, точно слезы. Он сидел на корточках, и шорты плотно облегали его мускулистые ляжки. Кое-где на его ногах и на лице, немного рябом от тщательного бритья, пробивались грубые завивающиеся волоски. Он ни разу не ответил на крики владель-

ца, которого мог бы свалить одним ударом. Он просто продолжал работать.

Потом мы с Аной обсудили увиденное. Ана сказала:

— Этот плиточник — чей-то незаконный сын. Его мать наверняка африканка, а отец — крупный португальский землевладелец. Хозяину ресторана это должно быть известно. Богатые португальские землевладельцы отдают своих внебрачных сыновей-мулатов учиться разным ремеслам. Делают из них электриков, механиков, слесарей, столяров, плиточников. Хотя плиточники по большей части приезжают сюда с севера Португалии.

Я больше ничего не сказал Ане. Но сколько я ни вспоминал потом этого большого потеющего мужчину с глазами, в которых светилась боль, мулата, всю жизнь вынужденного носить на лице позорное клеймо своего рождения, я думал: "Кто спасет этого человека? Кто отомстит за него?"

Со временем это чувство смешалось с другими. Но та картина застряла в памяти. Именно она стала для меня предзнаменованием того, что должно случиться. И когда, на третьем году моего пребывания в стране, в подцензурные газеты начали мало-помалу просачиваться вести о крупных событиях на противоположной стороне континента, я оказался почти готов к этому.

Эти вести были слишком важны для того, чтобы удержать их в тайне. Сначала власти хотели замолчать их, но потом выбрали другой путь и принялись нагнетать страх. В одном регионе вспыхнуло восстание; в провинции произошли массовые убийства португальцев. Погибли две или три, а может быть, даже четыре сотни человек — их зарубили мачете. Я представлял себе пейзаж, похожий на наш (хотя и знал, что это не соответствует действительности), и африканцев вроде наших, такие же хижины, деревни и поля между усадьбами, засеянные кассавой и зерновыми, ухоженные посадки кешью и сизаля, огромные животноводческие фермы, выглядевшие так, словно их только что отвоевали у дикой природы, с черными стволами больших деревьев, сваленных или сожженных, чтобы лишить убежища ядовитых мух, которые нападали на скот. Порядок и логика; постепенное приручение земли; но зрелище, представшее передо мной в тот первый день — низкорослые худощавые люди, вечно бредущие вдоль дороги, — было чуждым и угрожающим, говорило мне, что я приехал куда-то на край света. Теперь оно казалось пророческим.

Но африканцы вокруг нас, похоже, ни о чем не слыхали. Мы не заметили в их поведении никаких перемен — ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю, ни через месяц. Коррейя, держатели заграничных счетов, говорили, что это спокойствие зловеще; по их мнению, здесь тоже готовилась какая-то ужасная *жакерия*. Тем не менее мы прожили спокойно весь остаток года, и катастрофы ничто не предвещало. Мало-помалу все принятые нами меры предосторожности — теперь мы всегда держали под рукой в спальне ружья и дубинки, которые, впрочем, вряд ли помогли бы нам, если бы вспыхнуло всеобщее восстание или хотя бы взбунтовались наши собственные слуги, — стали казаться излишними.

Именно тогда я научился обращению с ружьем. Нам и нашим соседям потихоньку сообщили, что мы можем тренироваться на полицейском стрельбище в черте городка. Наш гарнизон был настолько не готов к войне, что не имел своего стрельбища. Соседи встретили предложе-

ние полиции с энтузиазмом, но я его не разделял. Меня никогда не привлекало оружие. В миссионерской школе нас не обучали даже азам военного дела, и мой страх перед африканцами был меньше, чем боязнь выставить себя на посмешище перед важными людьми. Но, как ни странно, впервые положив палец на спусковой крючок и взглянув в ружейный прицел, я почувствовал, что буквально заворожен. Это переживание стало для меня наиболее личным, наиболее интенсивным сеансом общения с самим собой; кратчайший миг принятия верного решения словно все время маячил где-то рядом, почти повторяя движение мысли. Ничего подобного я не ожидал. Мне кажется, что религиозный трепет, который полагается ощущать людям, созерцающим пламя единственной свечи в комнате, где нет других источников света, не мог бы превзойти то удовольствие, которое испытывал я, глядя в прицел и приближаясь вплотную к своему собственному сознанию. В одну секунду менялось все восприятие мира, и я точно погружался в свою личную, особую вселенную. Это было удивительно — находиться на стрельбище в Африке и думать по-новому о моем отце и его предках-браминах, умиравших от голода в своем огромном храме. Я купил себе ружье. Потом сделал мишени неподалеку от дома, построенного дедом Аны, и стал тренироваться при любой возможности. Соседи начали смотреть на меня с бóльшим уважением.

Правительство не торопилось, но время перемен все же пришло. Гарнизон увеличили. Были построены дополнительные казармы — из сверкающего на солнце белого бетона, в три этажа. Территория самого лагеря, голый бетон посреди песков, также расширилась. Доска с разными военными эмблемами провозглашала, что у нас расположилась штаб-квартира нового армейского командования. Жизнь городка стала другой.

* * *

Наше правительство было авторитарным, но мы этого практически не ощущали. Нам казалось, что власти находятся где-то очень далеко — частично в столице, частично в Лиссабоне. Нас они, как правило, не беспокоили. Я вспоминал о них только в пору уборки сизаля, когда мы отправляли заявки в тюрьмы и оттуда, за известное вознаграждение, к нам присылали заключенных (с соответствующей охраной) срезать сизаль. Уборка сизаля — опасная работа. Африканцы, живущие в деревнях, уклоняются от нее как могут. Сизаль похож на большое алоэ, или на ананас, или на гигантскую, колючую зеленую розу в четыре-пять футов высотой, с длинными мясистыми листьями вместо лепестков. Эти листья, очень толстые у основания, имеют острые зазубренные края, и не дай бог провести по ним рукой не в ту сторону. С ними очень неудобно обращаться, но их-то и нужно рубить. На конце у каждого листа сизаля растет длинный черный шип, острый как игла и вдобавок отравленный. Плантации сизаля кишат крысами, которые любят прятаться в тени его листьев и питаются ими; крыс, в свою очередь, поедают ядовитые змеи, медленно заглатывая их целиком. Страшно бывает видеть половину еще живой крысы, переднюю или заднюю, которая торчит из растянутой змеиной пасти. Плантация сизаля — ужасное место, и мы (а может быть, и наши соседи) всегда следили за тем, чтобы во время сбора урожая на краю поля дежурила медсестра с лекарствами и сывороткой от змеиных укусов.

Такая опасная работа — но из всей зеленой массы сизаля получалось лишь пять процентов дешевого волокна, из которого делали самые простые вещи, вроде веревок, корзин и подошв для сандалий. Без помощи заключенных нам было бы трудно убрать сизаль. Уже тогда его стало понемногу вытеснять синтетическое волокно. Я не имел ничего против.

Долгие годы нашему авторитарному, но достаточно мягкому правительству ничто не угрожало, и оно стало до странности беззаботным. Привыкшему к спокойной жизни правителю, по-видимому, наскучили хлопоты, связанные с управлением страной, — по крайней мере, у нас сложилось такое впечатление, — и он стал отдавать важные государственные функции в ведение или на откуп жадным, энергичным и лояльным предпринимателям. Эти люди быстро разбогатели, и чем богаче они становились, тем большую лояльность проявляли и тем лучше выполняли задачи, которые были им доверены. Так что в этих методах работы правительства была своя примитивная логика, и они казались довольно эффективными.

Какой-то из очередных шагов правительства в этом направлении и повлек за собой расширение нашего гарнизона вместе с развитием городка. Мир был продолжительным. Люди отбросили свои тревоги. Однако год за годом военные деньги продолжали поступать. Это коснулось нас всех. Мы видели в них справедливую награду за нашу добродетель. Каждый по многу раз пересчитывал свои доходы. А потом обнаружилось, что больше всего этих новых денег — если вести речь только о круге, в котором вращались мы с Аной, — доставалось нашему приятелю Коррейе, тому самому хитрецу Коррейе, который много лет пугал нас надвигающейся опасностью и имел уйму банковских счетов за рубежом. Коррейя вошел в контакт с большим человеком из столицы и (по-прежнему управляя своим поместьем) стал представлять в нашем городке, провинции или даже во всей стране целый ряд иностранных промышленников, выпускающих какую-то технику с малопонятными названиями. Поначалу Коррейя охотно хвастался своей приближенностью к большому человеку, который был чистокровным португальцем. Этот человек явно принимал активное участие в деятельности агентств Коррейи, и мы с завистью и насмешками говорили между собой об их удивительной связи. Сам ли Коррейя отыскал этого большого человека? Или большой человек, по неведомой нам причине и через какого-нибудь посредника (возможно, через столичного торговца), выбрал Коррейю? Впрочем, предыстория этого союза не имела особенного значения. Так или иначе, Коррейе посчастливилось. Он стал на голову выше нас.

Он рассказывал о путешествиях в столицу (по воздуху, а не на дряхлых каботажных судах, которыми пользовались мы); рассказывал о ланчах и обедах в обществе большого человека и о том, как однажды этот человек даже пригласил его поужинать к себе домой. Но потом, по прошествии некоторого времени, Коррейя стал говорить о большом человеке заметно меньше. Он начал притворяться, что инициатива открытия агентств принадлежит ему самому, и мы были вынуждены притворяться вместе с ним. Когда он перечислял иностранные компании, с которыми сотрудничал, и технику, которую они импортировали, — технику, которая когда-нибудь могла понадобиться армии или нашему городку, — я поражался тому, как мало я знаю о современном мире. И в то же время меня поражало то, с какой легкостью Коррейя (на самом деле разбирающийся только в сельском хозяйстве) находит в нем свою дорогу.

Он стал в нашей среде важной персоной. Когда он заметил, что наша ревность сошла на нет и никто из нас, его друзей и соседей, больше не отпускает шуточек по поводу его возвышения, он стал на удивление скромен. В одно из воскресений он сказал мне:

— Вы могли бы делать то же самое, что и я, Вилли. Надо просто набраться смелости. Вот послушайте. Вы ведь жили в Англии. Знаете компанию "Бутс". Нам здесь нужна продукция, которую они выпускают, — лекарства и прочее. У них нет представителя. Этим представителем могли бы стать вы. Так напишите им! Раздобудьте рекомендации, которые они потребуют, и вы уже их агент. Они будут в восторге.

Я ответил:

— Но что мне делать с товарами, которые они мне пришлют? Как организовать их продажу? Куда я их дену?

Он сказал:

— В этом-то и трудность. Чтобы заниматься бизнесом, надо быть бизнесменом. Вам необходимо научиться мыслить по-другому. Вы не можете написать такой компании, как "Бутс", и думать, что они согласятся заключить с вами контракт только на один год и один день.

И я подумал: судя по тому, как он говорит, он и его столичный начальник уже пытались всерьез заняться сбытом товаров "Бутс", и из этого ничего не вышло.

В другое воскресенье он сказал, что размышляет, не сделаться ли ему агентом одной известной фирмы, выпускающей вертолеты. У нас захватило дух, потому что теперь мы знали, что он не шутит, и его слова дали нам некоторое представление о том, как высоко он забрался. Похоже, он знал о вертолетах довольно много. Он сказал, что эта идея пришла к нему в голову совершенно внезапно (он говорил об этом так, словно на него снизошло божественное озарение), когда он ехал в машине на побережье. Вертолеты не сходили у него с языка месяца два или три. А потом мы прочли в подцензурной прессе — в заметке, на которую мы не обратили бы внимания, если бы не были знакомы с Коррейей, — что нашей страной приобретены несколько вертолетов, однако не той марки, которую упоминал Коррейя. Больше мы ничего не слышали от него о вертолетах.

Таким образом, Коррейя разбогател — только с вертолетами вышла неудача, — и они с женой продолжали говорить о своих деньгах с прежним простодушием. Но им, как и раньше, казалось, что скоро грянет катастрофа. Новообретенное богатство заставляло их волноваться сильнее обычного, и они объявили, что не хотят тратить свои деньги в колонии. Единственным, что они здесь приобрели, был домик на пляже, неподалеку от того ресторанчика, куда мы ездили, в зоне отдыха, которая теперь быстро развивалась. Они называли эту покупку "инвестицией". Это было одним из их новых словечек. Они основали фирму под названием "Жакар инвестментс" и принялись раздавать не только нам, но и своим родственникам, оставшимся в провинции, карточки с этими красиво выведенными на них словами, первое из которых было составлено из начальных слогов их имен — Жасинто и Карла. Они много путешествовали по своим новым делам, но теперь уже не только открывали счета. Они стали добывать "бумаги" для переселения в разные места, заставляя нас выглядеть еще более отсталыми, и в своих путешествиях активно обзаводились документами для переезда в Австралию, Канаду, Соединенные Штаты, Аргентину и Бразилию. Они даже обсуждали — во всяком случае, однажды в воскресенье мы слышали это от Карлы, — не

переселиться ли им во Францию. Они как раз вернулись оттуда и привезли с собой бутылку знаменитого французского вина для нашего воскресного ланча. Всем досталось по полбокала, и все попробовали и похвалили, хотя на самом деле вино было слишком кислое. Карла сказала: "Французы умеют жить. Квартирка на Левом берегу и маленький домик в Провансе — это было бы очень мило. Я уже говорила Жасинто". И мы, не собиравшиеся во Францию, прихлебывали кислое вино, как яд.

Однако через несколько лет — когда уже казалось, что успеху Коррейя не будет конца, покуда рядом стоит армия, городок растет, а их столичный покровитель остается на своем посту, — через несколько лет разразился кризис. Мы поняли это по поведению Коррейя. Каждое утро они ездили в церковь при миссии, хотя дорога туда занимала полтора часа в один конец, и слушали мессу. Три часа езды, час на богослужение — и так каждый день, да еще один Бог знает, сколько молитв, в том числе новены[1], или как там они называются, у себя дома; таких вещей от соседей не скроешь. Жасинто Коррейя стал худым и бледным. Потом мы прочли в подцензурной прессе, что в аппарате снабжения вскрыт ряд злоупотреблений. Этот скандал постепенно затухал в течение нескольких недель, а потом большой человек — тот самый чистокровный португалец, с которым был связан Жасинто Коррейя, — выступил в местном исполнительном совете. Если речь идет о благосостоянии народа, сказал большой человек, правительство должно проявлять особую бдительность, и он намерен беспристрастно разобраться во всем, что произошло в аппарате снабжения. Виновные будут призваны к ответу; пусть никто из жителей колонии в этом не сомневается.

Это было другой стороной жизни при авторитарном правительстве, и мы знали, что Коррейя угодили в серьезный переплет и ни банковские счета в больших городах, ни бумаги на выезд в далекие страны их теперь не спасут. Тьма здесь была тьмой. Бедная Карла сказала: "Я никогда не искала богатства. Спросите монашек. Я тоже хотела стать монашкой".

И тогда мы окончательно поняли — разговоры об этом велись среди нас уже не первый год, — почему большой человек выбрал чету Коррейя. Он сделал это, чтобы в случае нужды, в критический момент, ему было кого ввергнуть во тьму. Погубить настоящего португальца вроде него самого значило бы нарушить действующие здесь кастовые законы и испортить себе репутацию. И наоборот, ничего не стоило ввергнуть во тьму человека второго сорта, обитателя нашего неполноценного мира — кого-нибудь образованного, уважаемого и честолюбивого, обладающего незаурядными деловыми способностями и по многим причинам готового выполнить все, что от него потребуют.

Три или четыре месяца Коррейя мучились неизвестностью. Они все время с тоской вспоминали о тех безмятежных днях, когда у них еще не было никаких агентств, и все время укоряли себя. Мы искренне жалели их, но общаться с ними стало очень утомительно. Жасинто походил на инвалида, живущего со своей болезнью как с врагом и думающего почти только о ней. А потом, совершенно неожиданно, кризис вдруг миновал. Столичный покровитель Жасинто нашел какой-то способ опрокинуть своего соперника, который и заварил всю кашу. Газетчики перестали печатать язвительные заметки, и скандал со снабжением (который существовал только на бумаге) просто исчез, точно его и не было.

1. Новена — в римско-католической церкви девятидневный период, в течение которого возносятся особые молитвы.

Но на этом мучения Жасинто не кончились. Он понял, как зыбка власть. Теперь он знал, что не может рассчитывать на вечную поддержку большого человека, а если тот перестанет ее оказывать, кто-нибудь наверняка захочет поднять старые обвинения против него — ведь причин для этого найдется сколько угодно. И он страдал по-прежнему. В каком-то смысле это было странно, потому что мы уже много лет слышали от Жасинто пророчества (иногда очень пылкие) о грядущем бедствии, которое разрушит всю жизнь колонии, сметет с лица земли весь его мир. Человеку, который сжился с этой мыслью и любил пугать ею других, не должны были внушать ни малейшей тревоги угрозы, исходящие от горстки мстительных столичных жителей, в любом случае обреченных. Но катастрофа, которая, по мнению Жасинто, должна была смести всех и вся, оказалась всего лишь своего рода философской мистификацией. Чтобы понять всю шаткость этой идеи, достаточно было взглянуть на нее поближе. На самом деле она имела чисто этическую подоплеку — она нужна была Коррейе для самооправдания, для того, чтобы жить в колонии и одновременно оставаться вне ее. Это была голая абстракция. А крах, который грозил ему теперь, абстрактным не был. Он был вполне реален, его можно было предсказать в малейших подробностях, и к тому же он носил частный характер. Этот удар должен был пасть на него одного, не нарушив покоя и благоденствия всех окружающих.

Однажды в воскресенье, когда подошла наша очередь устраивать ланч, мы отправились на побережье, в ресторанчик с желто-голубой мозаикой на полу. После еды Коррейя пригласил нас всех осмотреть пляжный домик, в который он вложил часть своего капитала. Ни Ана, ни я (так же как и многие другие члены нашей компании) ни разу его не видели, а сам Коррейя сказал, что не был там уже два года. Покинув ресторан, мы снова выбрались на узкую асфальтовую дорогу, идущую вдоль берега, — она напоминала черную корку на песке, — и, проехав по ней немного, свернули обратно к морю, на утрамбованный песчаный проселок, вдоль которого росли ярко-зеленые кусты и тропические миндальные деревья. Потом мы увидели африканскую хижину, по обыкновению крытую травой — она сияла на солнце как позолота. Мы остановились. Коррейя крикнул: "Тетушка! Тетушка!" Из-за высокой тростниковой ограды вышла старуха-негритянка в африканской одежде. Коррейя сказал нам: "У нее сын от португальца. Работает у меня сторожем". Он разговаривал с негритянкой громко и добродушно, слегка переигрывая, — наверное, ему хотелось хорошо выступить перед нами сразу в двух родственных ролях, показав, что он не только умеет ладить с африканцами, но и ласков с теми, кто у него служит. Старуха волновалась. Она срывала ему спектакль. Коррейя спросил, где Себастьяно. Себастьяно не оказалось дома. И мы двинулись вслед за Коррейей, который производил много шума, к домику на пляже.

Мы нашли его полуразвалившимся. Оконные стекла были разбиты; от влажного соленого воздуха все гвозди заржавели, и ржавчина расползлась пятнами по выцветшей краске и побелевшему дереву. Створки французских окон на первом этаже были сняты с петель. Из комнаты, которая, наверное, считалась гостиной, наполовину торчала рыбацкая лодка с высокими бортами, стоявшая на подпорках, точно в сухом доке.

Старуха-негритянка стояла поодаль, за спиной Коррейи. Он не сказал ничего. Он просто смотрел. Его лицо как-то странно сморщилось. Он находился за пределами гнева и где-то очень далеко от всего окружающего. Он был беспомощен, тонул в страдании. Я подумал: "Он сумас-

шедший. Почему я раньше этого не замечал?" По-видимому, Карла, выросшая в женском монастыре, привыкла жить с тем, что я сейчас увидел. Она подошла к нему и, словно нас не было рядом, заговорила с ним таким тоном, каким говорят с детьми, произнося слова, которых я никогда прежде от нее не слышал. Она сказала:

"Мы сожжем все это к е... матери. Сейчас я поеду и достану керосин, мы вернемся и сожжем к чертям всю эту дрянь вместе с этой е... лодкой".

Он ничего не ответил, но позволил ей отвести себя за руку обратно к машине, мимо хижины "тетушки".

Спустя несколько недель, когда мы снова встретились с ним, он выглядел совсем разбитым. Его худые щеки были мягкими и дряблыми. Карла сказала: "Мы поедем в Европу, отдохнем немного". Госпожа Норонья, сгорбившись в кресле, сказала своим тихим голосом: "Неподходящее время". Карла ответила: "Мы хотим съездить, чтобы повидаться с детьми". Год назад или около того двоих детей Коррейя, подростков, отправили в португальские пансионы. Госпожа Норонья сказала: "Можно выбрать время получше". И добавила совершенно тем же тоном, что и прежде: "А что это с мальчиком? Почему он так плохо себя чувствует?" Карла встревожилась. Она сказала: "Я не знала, что он болен. Он мне об этом не писал". Госпожа Норонья не обратила внимания на ее слова. Она сказала: "Однажды я поехала за границу в неподходящее время. Это было вскоре после войны. И задолго до того, как я очутилась в этом кресле. До того, как взошла на престол, можно сказать. Мы поехали в Южную Африку, в Дурбан. Приятный городок, но время было неподходящее. Примерно через неделю после нашего приезда туземцы взбунтовались. Стали жечь магазины, грабить. Они бунтовали против индийцев, но и я один раз попала в беду. Я не знала, что делать. Улицы кругом незнакомые. Потом я увидела неподалеку белую даму, светловолосую, в длинном платье. Она поманила меня к себе, и я послушалась. Без единого слова она повела меня по каким-то переулкам, и мы вышли к большому дому. Там я и оставалась, пока не улеглись беспорядки. Вечером я рассказала друзьям о своем приключении. Они спросили: 'Как она выглядела, эта дама?' Я ее описала. Они спросили: 'А дом?' Я описала и дом. Тогда кто-то сказал: 'Но этот дом снесли двадцать лет назад. Дама, которую вы встретили, жила там, и дом снесли после ее смерти'".

Рассказав эту историю — очевидно, только ради того, чтобы лишний раз напомнить нам о своем необыкновенном даре, — госпожа Норонья склонила голову к плечу, точно задремавшая птица. И, как часто бывало после ее рассказов или пророчеств, мы не сразу смогли разобраться в собственных чувствах. Все просто сидели минуту-другую молча, с серьезным видом.

Подходящее было время или нет, Коррейя все равно уехали в Европу, чтобы повидаться с детьми и утрясти некоторые другие дела. Они задержались там на много месяцев.

* * *

Я познакомился с управляющим их поместьем. Я часто видел его в городе. Это был маленький жилистый человечек смешанного происхождения лет сорока с небольшим. Он любил выражаться культурно и в этом отношении иногда перегибал палку. Например, он мог сказать о португальском или индийском торговце, с которым ему почему-либо не удалось до-

говориться: "Даже при исключительно развитом воображении у вас не повернулся бы язык назвать этого человека джентльменом". Но когда мы сошлись поближе, его речь стала более естественной. Теперь в ней сквозили какие-то тайные намеки, хотя он явно был склонен доверять мне, и я почувствовал, что меня втягивают в сеть мелких заговоров против Коррейя. Мы посещали новые кафе (они все время то открывались, то закрывались). Бары мы тоже освоили. Я начал привыкать к новой атмосфере военного городка и понял, что она мне нравится. Мне нравилось общество солдат-португальцев. Иногда нам попадался один злопамятный офицер, который бормотал себе под нос что-то о Гоа и об индийцах. Но индийцы заняли Гоа уже семь или восемь лет назад. Мало кто из молодых новобранцев знал об этом, и по большей части солдаты держались со мной дружелюбно. Войны в буше тогда еще не было. Ходили слухи о лагерях подготовки партизан в пустынях Алжира, а позже Иордании, но они оказались ложными: просто кучка студентов из Лиссабона и Коимбры, отпущенных на каникулы, затеяла игру в партизан. В нашем военном городке по-прежнему царил мир и все вели себя очень благопристойно. Можно было подумать, что находишься на отдыхе в Европе. Иногда мне казалось, что я снова в Лондоне, только на этот раз с деньгами. Мои экскурсии в город становились все более и более продолжительными.

Однажды Альваро, управляющий поместьем Коррейя, сказал мне:

— Хотите увидеть, что *они* делают?

Мы были в столице и зашли в кафе, чтобы выпить кофе перед возвращением домой; сидевший у окна Альваро показал подбородком наружу, на группу африканок в яркой, сверкающей на предвечернем солнце одежде. Обычно ближе к вечеру на улицах городка можно было увидеть лишь апатичных детей, ожидающих подаяния, — очень пыльные, они стояли повсюду, прислонившись к стенам, столбам и витринам лавок, и медленно, непрерывно открывали и закрывали рты, глядя в пространство незрячими глазами. Даже когда им давали деньги, они будто не замечали этого; они никогда не уходили, сколько бы вы им ни дали; нужно было научиться не обращать на них внимания. Женщины, которые прошли мимо кафе, выглядели совсем по-другому. У них была прямо-таки царственная осанка. Я подумал, что они, наверное, живут при военном лагере, и ответил Альваро:

— Да, хочу.

Тогда он сказал:

— Я заеду за вами завтра вечером. Для этого лучше всего подходит вечер выходного дня. Только придумайте заранее, что вы скажете мадам Ане.

Этот совет, данный им как бы невзначай, сначала поставил меня в тупик. Десять лет я не лгал Ане: в этом просто не было нужды. В Лондоне, когда мы еще только познакомились и мне было непонятно, что из этого выйдет, я действительно кое-что придумывал, в основном о своих семейных делах. Не знаю, многому ли Ана тогда поверила и имело ли это для нее значение. В Африке я мало-помалу оставил все эти лондонские выдумки: в нашей компании полукровок они были явно ни к чему. За долгие годы Ана узнала обо мне правду. То, что она узнала, не так уж сильно отличалось от того, о чем она догадывалась, и Ана никогда не унижала меня напоминаниями о моей прошлой лжи. В Африке мы были очень близки, и эта близость казалась естественной. Ана подарила мне мою африканскую жизнь; она была моей защитницей; у меня не было другого якоря. Поэтому я никак не мог придумать предлог, чтобы отлу-

читься из дому. Это отравило мне весь следующий день. Я выдумал в объяснение целую историю, но от нее явно попахивало ложью. Тогда я попытался замаскировать скользкие места, и моя история стала чересчур запутанной. Я подумал: "Это будет похоже на оправдания слуги, который что-то стащил". А потом я подумал: "Я возвращаюсь к своим лондонским привычкам". Когда пришло время, Ана выслушала то, что я говорил, вполуха. Она сказала: "Надеюсь, когда Карла приедет, ее поместье будет в приличном виде". Вот и все. Но я понял, что испортил что-то, положил чему-то конец, и притом почти без причины.

Альваро явился точно в срок; наверное, он уже ждал меня в темноте на окраине поместья. Я думал, что мы отправимся в город, но Альваро не стал выезжать на главное шоссе. Вместо этого мы медленно покатили по второстепенным дорогам, которые я теперь легко узнавал даже ночью. Я решил, что Альваро убивает время. Мы ехали то вдоль хлопковых полей, то по открытому бушу, то мимо темных плантаций кешью. Через каждые несколько миль нам встречались деревни, и тогда мы еще больше замедляли ход. Иногда в деревнях попадались маленькие ночные рынки — скопища низких открытых хижин, освещенных фонарями "молния", где продавали всякие мелочи вроде спичек, сигарет поштучно и жестяных баночек с разной снедью. Кое-где около этих рынков мы видели и торговцев-одиночек разного пола и возраста: не сумев рассчитать свои сбережения, они в этот день остались без гроша и теперь сидели на обочине, поставив рядом свечи в бумажных абажурах и разложив перед собой очень маленькие кучки своей собственной еды — ломтики сушеной кассавы, или перец, или другие овощи. Как дети, играющие в "магазин", всегда думал я.

— Мило, правда? — спросил Альваро.

Некоторые из этих деревень я знал очень хорошо. Эти ночные рынки я видел десятки раз. Я поехал с Альваро не для того, чтобы смотреть на них. Он сказал:

— Вы хотели увидеть, что африканцы делают по ночам. Я вам показываю. Вы живете здесь уже десять лет. Я не знаю, сколько вы знаете. Через час-другой все дороги, по которым мы ехали, будут полны людей, вышедших на поиски приключений. В нашей округе будут кутить двадцать, а то и тридцать веселых компаний. Вы знали об этом? И туда ходят не только потанцевать, уверяю вас.

Тут, как раз вовремя, фары лендровера выхватили из темноты впереди нас какую-то девочку в платье с бретельками. Стоя на обочине — ее лицо блестело в свете фар, — она проводила взглядом наш автомобиль. Альваро спросил:

— Как по-вашему, сколько ей лет?

Честно говоря, я и не задавался этим вопросом: девочка была так похожа на всех прочих, что я не узнал бы ее, если бы увидел снова. Альваро продолжал:

— Я вам скажу. Ей лет одиннадцать. У нее уже были первые месячные, а это значит, что она созрела для секса. Африканцы подходят к таким вещам очень разумно. Никакой иностранной чуши насчет растления малолетних. Девчонка, на которую вы и внимания не обратите, уже спит каждую ночь с каким-нибудь мужчиной. Я говорю вам вещи, которые вы знаете?

— Вы говорите мне вещи, которых я не знаю, — сказал я.

— Значит, мы о вас правильно думали, — сказал он. — Надеюсь, вы не обидитесь.

И правда, за десять лет я никогда не смотрел с этой точки зрения на деревни и на африканок, бредущих вдоль дороги. Скорее всего, мне просто не хватало любопытства; к тому же я, наверное, так и не избавился до конца от привычки делить людей на касты. Но ведь следовало учесть и то, что я приехал сюда издалека и не был знаком со здешними обычаями, касающимися половых отношений (хотя и наблюдал их), и вдобавок никогда не имел такого гида, как Альваро.

В самом начале, когда я еще ничего не знал о радостях жизни в глуши, мне казалось, что надсмотрщики-мулаты должны быть не очень-то довольны своей судьбой: ведь из-за такого близкого соседства с африканцами им приходится от многого отказываться. Теперь я понял, что для некоторых из них здешняя жизнь представляет собой непрерывную череду удовольствий. Альваро жил в старом четырехкомнатном бетонном бунгало. Оно стояло особняком на открытом, лишенном деревьев участке поместья Корейя. Казалось бы, трудно назвать это настоящим домом, но Альваро счастливо жил там со своей африканской семьей — у него была жена-африканка — и с неограниченным количеством любовниц, наложниц и случайных подруг, подобранных им в окрестных деревнях. Ни в одном другом уголке мира Альваро не нашел бы для себя такой жизни. В начале вечера я думал, что, разъезжая по проселкам, он убивает время. Но я ошибался. Он хотел показать мне, где лежат спрятанные сокровища. Он сказал:

— Возьмите хотя бы ту девочку, мимо которой мы проехали. Если бы вы остановились, чтобы спросить у нее дорогу, она выпятила бы перед вами свои маленькие груди и сделала бы это нарочно. — И я начал понимать, что Альваро уже взвинтил себя мыслями о той девочке или о какой-то другой девочке, выпятившей перед ним свои груди.

Наконец мы свернули на главное шоссе. После дождей на нем образовалось много выбоин. Видимость была ограниченной, поэтому нам пришлось ехать медленно. Время от времени у обочины вырастали конические утесы. Они неторопливо проплывали над нами в темноте, отмечая завершение очередного этапа пути. Город жил спокойной ночной жизнью. На улицах горели редкие и не очень яркие фонари. В центральном районе то там, то сям вспыхивали флуоресцентные трубки, заливая витрины магазинов голубым светом — не ради рекламы жалких товаров, сваленных за стеклом как попало, а для того, чтобы отпугнуть воров. Слабый свет только дразнил глаз, но был бессилен проникнуть во тьму улицы, туда, где в дневное время дежурили грузчики — они сидели на ступенях магазинов с утра до вечера, широко расставив ноги и терпеливо дожидаясь, пока их попросят что-нибудь разгрузить, — а теперь околачивался бездельник другого рода, в надежде поживиться наблюдающий за уличным движением гарнизонного городка. Альваро сказал:

— От этих ребят лучше держаться подальше. У вас нет над ними никакой власти.

И точно так же, как в начале вечера Альваро возил меня по задворкам усадеб, теперь он стал ездить по самым спокойным улочкам города, иногда вылезая из лендровера, чтобы тихим голосом переговорить о чем-то с людьми, которые попадались нам по дороге. Он сказал мне, что ищет хороший дансинг; они все время переезжают с места на место, пояснил он. Лучше идти в дансинг, чем в бар. В баре можно нарваться на неприятности. Там ты имеешь дело не только с девушкой, но и с ее покровителем, который может оказаться одним из тех уличных парней. Кроме того, в барах нет отдельных комнат. Выбрав там девушку, ты волей-неволей отправляешься с ней либо в какой-нибудь темный переулок

между домами поблизости, либо в какую-нибудь хижину в африканском городке на окраине — соломенном городке, как его еще называют, — и все это время находишься во власти покровителя. Для солдата это нормально, но для управляющего поместьем — плохо. Если не поладишь с покровителем, это мгновенно станет известно в поместье, и тогда может возникнуть конфликт с работниками.

Наконец мы нашли место, устроившее Альваро. Видимо, там были и отдельные комнаты. Он сказал:

— Правильно говорило старшее поколение. Язык до Рима доведет.

Мы были на краю города, там, где кончался асфальт и начинались грунтовые дороги, сильно размытые дождями. Здесь было темно — вокруг горело всего несколько тусклых огоньков — и так тихо, что, хлопнув дверцей лендровера, я почувствовал себя возмутителем спокойствия.

Мы остановились перед большим зданием, похожим на склад. На его углу, довольно высоко, висела лампочка под жестяным колпаком, мутная и мигающая из-за летучих муравьев: их было много в это время года. На площадке перед домом стояли и другие машины. Теперь мы увидели, что здесь есть и свои сторожа (или просто наблюдатели) — они сидели на низком барьере, ограждающем стоянку с той стороны, где начинался уклон. Один из этих наблюдателей объяснил нам, куда идти, и мы прошли по бетонному проулку между первым зданием и барьером к другому зданию, тоже похожему на склад. Изнутри доносилась музыка. Отворилась маленькая дверь, человек с дубинкой пропустил нас внутрь, и мы оба заплатили ему. Коридор, в который мы попали, был узким и темным; за крутым поворотом открывался вход в главное помещение. Голубые лампочки освещали маленькую танцплощадку. На ней танцевали две пары, португальцы с африканками, которые смутно отражались в темном зеркале или плиточной облицовке стены в конце танцплощадки. В комнате было много столиков с низкими лампами под абажуром, но разобрать, сколько из них занято, я сразу не смог. Мы не пошли далеко. Мы сели за столик у края танцплощадки. За соседним столиком сидели девушки, похожие на вчерашних куртизанок — тех, что гуляли по улице в красивых платьях, гордо поглядывая вокруг. Когда мои глаза привыкли к полумраку, мне стало ясно, что многие девушки, сидящие по другую сторону танцплощадки, пришли сюда не из деревень в глубине материка, а из прибрежных поселков: я узнал в них так называемых магометанок, далекие предки которых были арабами. Между столиками двигались два чернокожих официанта и худой португалец в спортивной рубашке — должно быть, хозяин. Когда этот португалец приблизился к нам, я заметил, что он уже немолод; у него были очень спокойные глаза и такой вид, словно все происходящее его абсолютно не касается.

Я позавидовал его отрешенности: ведь я не привык к такой жизни, и меня мучил стыд. Все девушки были африканками. Удивляться тут нечему, подумал я, хотя на месте чернокожих официантов мне, наверное, было бы немного обидно. Эти девушки были такими юными, такими глупыми; я подумал, что они вряд ли даже догадываются о том, какому унижению подвергают свое тело и как это может исковеркать их жизнь. С застарелой горечью я вспомнил о своей семье. Вспомнил о матери и о своем бедном отце, который почти не представлял себе, что такое секс. Вспомнил и о тебе, Сароджини. Я подумал, что среди этих девушек могла бы быть ты, и у меня сжалось сердце.

Даже Альваро выглядел подавленным. Его настроение изменилось, как только мы вошли внутрь здания. Он был в восторге от деревенского

секса — там, у нас, можно было каждый месяц снимать свежий урожай невинных девочек, у которых прошли первые месячные и которые выпячивали перед ним свои маленькие груди. Но на этом переоборудованном складе все было иначе. Не думаю, что такие заведения с отдельными комнатами существовали в городке до прихода армии. Альваро едва ли успел к ним привыкнуть. По-моему, несмотря на взятую им на себя роль проводника, он тоже был здесь новичком, тоже немного нервничал и нуждался в моей поддержке.

Мы выпили пива. Стыд прошел. Я смотрел на танцующих под голубыми лампами и на их расплывчатые отражения в таинственной глубине высокого, под потолок, темного зеркала. Раньше я никогда не видел, как танцуют африканки. Жизнь в поместье, которую я вел, не давала мне такой возможности. В танце эти африканки мгновенно исполнялись удивительной грации. Их движения не были изощренными; они могли быть очень скупыми. Когда девушка танцевала, она включала в свой танец все — разговор с партнером, слово, брошенное через плечо подруге, смех. Это было больше чем удовольствие; казалось, во время танца высвобождается какой-то подспудный дух. Этот дух прятался в каждой девушке, независимо от ее внешности, и возникало впечатление, что он — часть чего-то гораздо большего. Конечно, при моем прошлом я много думал об африканцах с политической точки зрения. Но на складе передо мной впервые забрезжила смутная догадка о том, что в глубине африканской души есть что-то скрытое от всех нас и далекое от политики.

С легкой гримасой насмешки над самим собой, которая не обманула меня, Альваро вывел на танец одну из девушек. Сначала он дурачился на площадке, глядя на себя в зеркало, но очень скоро стал полностью серьезен и вернулся к столику совершенно другим человеком. Его взгляд поблек от вожделения. Он нахмурился на свой стакан из-под пива. Потом сказал с наигранным раздражением, словно все, кто был в комнате, пытались его удержать:

— Не знаю, какие у вас мысли на этот счет, Вилли. Но раз уж мы оказались в этом чертовом заведении, я намерен кое-что получить, черт побери. — И, сурово нахмурившись, как человек, с трудом сдерживающий ярость, отправился со своей партнершей по танцу к двери в дальнем, темном конце помещения.

Я мог бы просто сидеть, прихлебывая пиво, и ждать Альваро. Но португалец со спокойным взглядом знал свое дело, и через три, четыре или пять минут по его сигналу одна из девушек подошла и села за мой столик. Под своей вычурной одеждой она была довольно мала, под косметикой — румяна на высоких скулах, бело-голубая краска на веках — очень молода. Я посмотрел на ее "арабское" личико и, только наполовину или в четверть силы стараясь расшевелить себя, подумал: что в нем могло бы возбудить Альваро? Когда она встала и пригласила меня сопровождать ее, я послушался. Мы прошли к маленькой двери в темном углу. За ней был бетонный коридорчик, а вдоль него — небольшие кабинки. Перегородки между ними не доходили до потолка, и все кабинки освещались двумя голыми лампочками, торчащими высоко на задней стене. Прислушавшись как следует, я наверняка опознал бы Альваро. Мне стало ясно, что склад переоборудовали самым простым образом — так, чтобы владелец ничего не потерял, если его заведение внезапно закроют.

Без своей жесткой одежды девушка и вправду оказалась миниатюрной. Но тело у нее было крепкое и твердое; еще ребенок, она тем не менее выглядела хорошо приспособленной для физического труда. Ана бы-

ла не такая; Ана была худенькая и хрупкая. Я потрогал ее груди: они были маленькими и лишь немного менее твердыми, чем все остальное. Альваро понравились бы такие груди: легко было представить себе, как твердые молодые соски торчат под дешевым хлопковым деревенским платьем. Но соски у этой девочки были широкие, с мягкими кончиками; это означало, что у нее уже есть дети или хотя бы один ребенок. Я не мог пробудить в себе страсть к ней. Когда я пытался сделать это, меня сразу же окружали все старые призраки: призраки дома, призраки Лондона одиннадцати — или двенадцатилетней давности, та ужасная проститутка в Сохо, большие бедра Джун на матраце, брошенном на пол комнаты в трущобах Ноттинг-хилла, весь прежний стыд и неумение. Мне казалось, что у меня вряд ли что-нибудь получится с этой бедной девочкой, лежащей подо мной на дешевом, забракованном армейскими снабженцами матраце.

Все это время глаза девочки оставались пустыми. Но потом, в тот самый момент, когда я уже был готов сдаться, в этих глазах мелькнуло поразительное выражение, в котором объединились властность, нетерпение и агрессия; все ее тело разом напряглось, и я почувствовал, как меня сжали ее крепкие руки и ноги. В какую-то долю секунды — это было похоже на миг принятия решения, когда смотришь в ружейный прицел, — я подумал: "Так вот ради чего живет Альваро", и ко мне вернулись силы.

Потом и Альваро, и мне не хотелось разговаривать. Альваро снова стал собой, бодрым и самоуверенным, только когда мы уже подъезжали к нашей усадьбе. Над полукруглой парадной лестницей горела оставленная для меня лампочка. Ана спала в большой резной кровати своего деда. Два часа назад или чуть раньше я думал о ней, и это были несправедливые, уничижительные мысли. Теперь, прежде чем лечь рядом с Аной, я должен был принять душ. Старинное оборудование ванной — газовая колонка португальского производства, замысловатая головка душа, покрытая крохотными трещинками раковина с декоративными металлическими опорами — по-прежнему напоминало мне, что я чужой в этом доме. Когда я глядел на все это, мне сразу вспоминались те, кто спал в нашей большой резной кровати до меня: дед Аны, выгнавший африканку, которая родила ему детей; мать Аны, обманутая сначала мужем, а потом любовником; и отец Аны, обманувший всех. В ту ночь у меня не было чувства, что я обманул Ану в каком-то важном или окончательном смысле. Я мог честно сказать, что случившееся меня почти не задело, что я не испытал настоящей страсти и не получил настоящего удовлетворения. Но где-то у меня в мозгу застряла та доля секунды, когда во взгляде девочки вдруг появилась властность и я ощутил напряжение и силу в ее маленьком теле. Я не мог бы назвать причину, которая побудила меня сделать то, что я сделал. Но на самом краю моего сознания уже брезжила словно бы не моя мысль, что какая-то причина должна быть.

И точно так же, как после долгой и опасной езды на автомобиле перед засыпающим водителем все вьется и вьется лента дороги, та доля секунды, пережитая с девочкой, все вспыхивала и вспыхивала передо мной, когда я лежал рядом с Аной. И через неделю она снова привела меня на приспособленный для свиданий склад на окраине города, к его голубым лампам, танцплощадке и маленьким кабинкам. В этот раз я уже не стал придумывать для Аны никаких объяснений.

Я начал жить с новым представлением о сексе и о своих возможностях. Это было все равно что получить новое представление о себе. Мы все подчиняемся врожденным сексуальным импульсам, но не у всех есть врожденные сексуальные навыки, а школ, где можно было бы их приобрести, не су-

ществует. Люди вроде меня вынуждены продвигаться в этом деле ощупью, набивая шишки, и ждать случайностей, которые помогли бы им хоть чему-то научиться. Мне было тридцать три года. Всем, что я узнал до сих пор, — если не считать Лондона, который вполне можно было не учитывать, — я был обязан Ане. Сразу после нашего приезда в Африку мы пережили период страстного увлечения друг другом — страстного по крайней мере с моей стороны. Тогда у нас были по-настоящему волнующие минуты; были и сексуальные откровения. Но в немалой степени та страсть, связывавшая нас десять лет назад, была порождена не чувственностью или истинным желанием, а моим тогдашним беспокойством и страхом, похожим на детский, — страхом перед Африкой, перед зияющей бездной, в которую забросила меня судьба. С тех пор ничего подобного между нами не происходило. Ана, даже в тот бурный период, была со мной довольно робка; и когда меня посвятили в подробности ее семейной биографии, я понял, в чем источники этой робости. Так что в каком-то смысле мы были два сапога пара. Каждый находил в другом утешение, и мы с Аной стали очень близки; мы не искали удовлетворения за пределами своего союза и фактически даже не знали, что такое удовлетворение возможно. И если бы не Альваро, я продолжал бы жить по-старому и в том, что касается секса и чувственности, едва ли превзошел бы своего несчастного отца.

Через некоторое время склад, который мы посещали, закрылся; потом подвернулось что-то другое; потом третье. Наш бетонный городок был очень мал; торговцы, государственные служащие и прочие его жители не хотели, чтобы эти дома свиданий находились поблизости от их собственных домов и семей. Поэтому голубые лампочки и темное зеркало величиной во всю стену переезжали из одного импровизированного убежища в другое. Никто не стремился открыть что-нибудь более постоянное, поскольку армия, на которой держался этот промысел, могла в любой момент сняться с места.

Однажды я увидел среди накрашенных и разодетых девушек дочь плотника Жулио — ту самую маленькую горничную, которая в первое утро после моего приезда отставила метлу, села в высокое мягкое кресло и попыталась завести со мной вежливую беседу. Позже она сказала мне, что у нее в семье каждый день едят одно и то же и что, когда ей сильно достается от пьяного отца, она никак не может заснуть и долго ходит туда-сюда по своей маленькой комнатке. Потом у нас говорили, что эта девушка начала пить, как ее отец, и что у нее вошло в привычку не ночевать дома. Наверное, сюда ее привела какая-нибудь подруга, так же как меня — Альваро.

Я мгновенно решил притвориться, что не замечаю ее; и она, похоже, приняла такое же решение. Вышло, что мы встретились и разошлись как чужие. Я никому не сказал о ней; и она, в следующий раз столкнувшись со мной в поместье, не сказала ни слова и ни единым жестом не дала понять, что узнала меня в ту ночь. Не округлила глаз, не подняла бровей, не поджала губ. Позже, когда я думал об этом, у меня возникло чувство, что именно тогда я и предал Ану, запятнав ее, так сказать, в ее собственном доме.

* * *

Четы Коррейя не было целый год. А потом мы узнали — каждая семья своим окольным путем и не все одновременно, — что Жасинто умер. Он умер во сне, в какой-то лондонской гостинице. Альваро встревожился

не на шутку. Теперь он не знал, что его ждет. Он всегда имел дело с Жасинто и подозревал, что Карла его не любит.

Примерно через месяц Карла снова появилась среди нас и стала ездить по знакомым, пожиная сочувствие. Опять и опять рассказывала она о том, какой внезапной была эта смерть, о предпринятом ими накануне походе по большим универмагам, об открытых пакетах, в беспорядке наваленных у кровати, которой суждено было стать смертным одром бедняги Жасинто. Сначала она собиралась перевезти тело обратно в колонию, но мысли о маленьком кладбище в нашем городке вызывали у нее "скверное предчувствие" (внушенное госпожой Нороньей). Поэтому она отвезла тело в Португалию, в провинциальный город, где был похоронен дед Жасинто, чистокровный португалец. Все эти хлопоты отвлекали ее от переживаний. Боль пришла потом. Хуже всего ей стало, когда она встретила в Лиссабоне каких-то нищих. Она сказала: "Я подумала, что этим людям совершенно незачем жить, но они все-таки живут. А у Жасинто было столько вещей, ради которых стоило жить, но он все-таки умер". Эта несправедливость доконала ее. Она разрыдалась прямо на улице, и нищие, которые подошли к ней, заволновались; кто-то из них даже попросил у нее прощения. (Позже Ана сказала мне: "Я всегда думала, что Жасинто верит, будто богатство может спасти от смерти. Верит, что не умрет, если разбогатеет по-настоящему. Но я думала так только в шутку. Я не знала, что это правда".)

Жасинто всегда очень чутко реагировал на разницу в положении, которую дают деньги, сказала Карла; именно поэтому он так упорно трудился. Он велел своим детям, учившимся в Лиссабоне, ни в коем случае не пользоваться общественным транспортом. Им следовало всегда брать такси. Никто не должен был считать их жалкими босяками из колонии. Он повторил им это всего за несколько дней до смерти — вот как он заботился о своих детях. Рассказывая эту и другие подобные истории, свидетельствующие о том, каким хорошим семьянином был Жасинто, Карла плакала и плакала, объезжая всех знакомых по очереди.

Альваро она не пощадила. Через три недели после возвращения из Европы она уволила своего управляющего, дав ему и его африканской семье месяц на то, чтобы освободить их бетонный домик; вдобавок к этому она усердно чернила Альваро, чтобы максимально осложнить ему поиски нового места. Это распущенный человек, говорила она; у него куча наложниц-африканок, которых нельзя содержать на одно только жалованье управляющего. Даже когда у Жасинто были неприятности в столице, он не уставал повторять ей, что за Альваро нужен глаз да глаз. Этот мошенник задрожал, когда она велела принести книги. У нее не было хватки Жасинто и она мало что понимала в отчетности, но ей не понадобилось много времени, чтобы обнаружить уловки, о которых говорил Жасинто. Фальшивые счета (у Альваро техника ломалась постоянно — даже старая и надежная немецкая давилка для сизаля, простейшая машина, похожая на очень большой каток); раздутые настоящие счета; и, конечно, зарплата несуществующим рабочим. И чем дольше Коррейя жили в Европе, тем наглее становился Альваро.

Карла сообщила нам то, что мы и так знали почти наверняка. Глупая привычка рисоваться заставляла Альваро то и дело намекать, что он обворовывает хозяев. Он говорил об этом и мне, и другим. Это добавляло ему значительности в собственных глазах; получая со своего хозяйства незаконную прибыль, он словно бы сам становился помещиком. Ничего, кроме жизни в буше, Альваро не знал; иметь свою усадьбу казалось

ему верхом аристократизма. Его отец, мулат, начинал механиком в поместье своего отца-португальца и кончил там же надсмотрщиком самого низкого ранга: его двухкомнатный домик стоял в ряду точно таких же бетонных домиков. Еще в детстве Альваро решил, что выбьется в люди. Он хорошо разбирался в технике; он освоил полевые работы и скотоводство; он умел ладить с африканцами. Возвысившись, он захотел жить по-барски. Став управляющим у четы Коррейя, получив в свое распоряжение бетонный дом и лендровер, он полюбил делать широкие жесты. Когда я познакомился с ним (в то время я еще не знал о его репутации), он часто дарил мне подарки; потом он признался, что все это было так или иначе украдено у Коррейя.

И все же мне было жаль Альваро, потому что его очернили и унизили в глазах того самого общества землевладельцев, в которое (несмотря на свою африканскую семью) он всегда мечтал войти. Я гадал, что станет с этой его семьей. Они получили предупреждение и должны были вот-вот съехать из своего бетонного домика; наверное, думал я, им не скоро удастся найти подобное жилье. Ана сказала: "Скорее всего, он воспользуется шансом и бросит их". Мне не хотелось слишком много размышлять об этом, но она, пожалуй, была права. При мне Альваро никогда не упоминал о своей семье, никогда не говорил, как зовут его детей и какой у них характер. Я видел их только из машины: обычные африканские дети — некоторых было не отличить от деревенских — таращились на нас с маленькой веранды бетонного домика или выбегали из крытой травой хижины позади дома, служившей его семейству кухней. Думаю, если бы Альваро подвернулась новая работа, он с удовольствием начал бы все сначала на новом месте, с новой женщиной и новыми связями на стороне. Наверное, он счел бы такой исход даром богов; это примирило бы его со всем случившимся.

Я не видел его несколько недель. Мы уже давно перестали совершать совместные экскурсии в места вроде того склада. И когда мы наконец встретились на асфальтовой дороге, ведущей в город, он выглядел подавленным; унижение и тревога, связанные с потерей места, отразились на его лице. Но вел он себя вызывающе. Он сказал: "Не пойму, кого эти люди из себя корчат, Вилли. Строят замки на песке. Разъезжают по Лиссабонам, Парижам и Лондонам и рассуждают о том, какое образование дать своим детям. Они смотрят на мир сквозь розовые очки". Я подумал, что он перенял этот апокалиптический тон у своего покойного хозяина. Но у него были конкретные новости. Он сказал: "Партизаны уже разбили свои лагеря у самой границы. Тамошнее правительство на их стороне. Теперь это настоящие партизаны, и они не шутят. Когда они решат тронуться с места, не знаю, кто сможет остановить их".

В течение нескольких недель в городе было меньше солдат, чем обычно, и ходили слухи об армейских маневрах в глубине материка, на севере и на западе. В газеты попадало немногое. Только позже, через некоторое время после того, как Альваро сообщил мне последние новости, в прессе было объявлено об успешном "стремительном наступлении" армии на север и запад, до самой границы. Потом военные начали возвращаться в городок, и все пошло по-старому. Дома свиданий снова получили своих клиентов. Но к той поре я уже потерял связь с Альваро.

Отправляясь в город за удовольствиями, я находил их все меньше и меньше. Отчасти это, по-видимому, объяснялось страхом вновь наткнуться на дочку Жулио. Но главной причиной было то, что половой акт

в домах свиданий, ранее возбуждавший меня своей грубостью и прямолинейностью, сделался теперь чем-то механическим. В первый год я вел мысленный учет своим увеселительным поездкам; снова и снова я складывал их в уме, соотносил внешние события — ланчи, визиты к соседям — с этими более темными и более яркими моментами в теплых кабинках, создавая для себя, так сказать, особый календарь этого года. Затем стало постепенно обнаруживаться, что я езжу туда не ради удовлетворения, а ради того, чтобы пополнить свой список. А на еще более поздней стадии я ездил только затем, чтобы проверить свои возможности. Иногда в таких случаях мне приходилось себя стимулировать; тогда я стремился не затянуть процесс, а закончить его как можно скорее. Девушки всегда действовали охотно, всегда с готовностью пускали в ход обычные уловки, демонстрируя силу и уступчивость, которые сначала помогли мне увидеть себя с незнакомой стороны, наполнили меня новыми ощущениями, нежностью ко всем и вся. Однако теперь я чувствовал лишь опустошенность и досаду, мне казалось, что мой живот внизу выскоблили досуха; я приходил в себя только через день-другой. Именно в этом издерганном состоянии я снова начал спать с Аной, надеясь восстановить ту близость, которая когда-то казалась такой естественной. Но это было невозможно. Та старая близость опиралась не на секс, и теперь, даже не упрекая меня за мое долгое отсутствие, Ана вела себя так же робко, как тогда. Я доставлял ей мало удовольствия, себе — никакого. Поэтому я стал еще более беспокойным и неудовлетворенным, чем был до того, как Альваро сказал мне в городском кафе: "Хотите увидеть, что *они* делают?" До того как меня познакомили с чувственными наслаждениями, от недостатка которых я не страдал, потому что ничего о них не знал.

* * *

Карла объявила, что уедет в Португалию навсегда, как только найдет нового управляющего. Это известие огорчило всех нас, знакомых и соседей Карлы, и в течение нескольких недель мы пытались уговорить ее остаться, переживая не за нее, а, как это часто бывает после чьей-нибудь смерти, за себя самих. Нас мучили зависть и беспокойство. Отъезд Карлы, исчезновение четы Коррейя воспринимались как начало краха всего нашего маленького мирка. Они будили в нас новые страхи, о которых нам не хотелось думать; они обедняли нашу общую жизнь в наших собственных глазах. Даже Ана, которая никогда никому не завидовала, сказала чуть ли не с раздражением: "Карла говорит, что уезжает, потому что не может оставаться в доме одна, но я-то знаю: она просто выполняет волю Жасинто".

Новый управляющий нашелся довольно быстро. Это был муж подруги Карлы по монастырской школе; чтобы вызвать у нас симпатию к этой паре, Карла без устали внушала нам, что жизнь обошлась с ними чересчур круто. Они не пожелали жить в доме управляющего; Альваро с семьей освободили его (и хижины рядом), но оставили после себя настоящий разгром. Знакомые Карлы собирались жить в главном доме усадьбы. Ана сказала: "Карла говорит, что хочет помочь подруге, у которой наступила черная полоса. Но эта подруга должна будет содержать дом в порядке. После возвращения из Европы Карла обнаружила, что ее

хозяйство вот-вот развалится. Я уверена, что она продаст усадьбу через несколько лет, когда поднимутся цены".

В очередное воскресенье Карла устроила ланч, чтобы попрощаться с нами и заодно познакомить нас с новым управляющим. Я обратил бы на него внимание, даже если бы не знал о его неприятностях. Он выглядел так, словно ему что-то не давало покоя; казалось, он с трудом держит себя в руках. Ему было лет сорок с лишним; он был смешанного происхождения, больше португальского, чем африканского, широкий в кости, но дрябловатый. Он держался со всеми вежливо, даже официально, явно стараясь произвести на каждого хорошее впечатление, но его манеры и вся повадка отличались от наших и потому он казался посторонним в нашей компании. В его глазах застыла отрешенность; его мысли словно были далеки от того, что он делал. Я заметил, что бугорки на его верхней губе выпуклые, а нижняя губа полная, гладкая и слегка блестит; это был рот чувственного человека.

Госпожа Норонья, сгорбившись в кресле и склонив голову набок, сказала, по своему обыкновению: "Неподходящее время. Напрасно вы едете. В Португалии вас ожидает скорбь. Ваши дети доставят вам много огорчений". Но Карла, которая два года назад подскочила бы от испуга, услышав такое предупреждение от потусторонних сил, сейчас не обратила на него никакого внимания; она ничего не ответила и тогда, когда госпожа Норонья повторила все во второй раз. Мы, остальные, восприняли молчание Карлы как намек и не стали вмешиваться, решив, что ее отношения с госпожой Нороньей нас не касаются. Госпожа Норонья, похоже, поняла, что немного пересолила. Она втянула голову в плечи, и сначала нам показалось, что гнев и обида заставят ее отправиться домой: она в любой момент могла подозвать жестом своего мужа, этого худого, вечно недовольного аристократа, и с негодованием покинуть нашу компанию полукровок. Но этого не произошло. Наоборот, все полтора часа до завершения ланча госпожа Норонья искала случая включиться в общий разговор, делая нейтральные или поощрительные замечания по разным поводам, а под конец даже как будто проявив интерес к планам Карлы насчет Португалии. Это было началом конца ее карьеры прорицательницы, хотя она продолжала видеться с нами еще несколько лет. Такой мелочи оказалось достаточно, чтобы непоправимо подорвать ее авторитет. Наверное, в этом сыграли свою роль обрывки слухов, доходившие до нас с осажденной границы: теперь расовое и социальное превосходство четы Норонья уже не ощущалось нами так болезненно, как прежде.

Только лишь встав из-за стола, на котором был сервирован ланч, я впервые очутился лицом к лицу с Грасой — женой нового управляющего, подругой Карлы по монастырской школе. Первым, что я заметил в ней, были ее светлые глаза — тревожные глаза; они снова навели меня на мысль о ее муже. А вторым, что я заметил, было то, что секунду-другую, не больше, эти глаза смотрели на меня так, как никогда еще не смотрела ни одна женщина. В ту секунду я был абсолютно уверен, что эти глаза увидели во мне не мужа Аны и не человека необычного происхождения, а мужчину, который провел много часов в теплых кабинках домов свиданий. Секс приходит к нам разными путями; он изменяет нас, и я думаю, что в конце концов наш жизненный опыт отражается у нас на лице. Мы встретились взглядом всего на секунду. Возможно, то, что я прочел в этих женских глазах, было моей фантазией, но в тот миг я открыл для се-

бя что-то новое, чего еще не знал о женщинах, и это пополнило мое образование в области чувственности.

Я встретил ее снова две недели спустя на патриотическом митинге в городе; он начался с военного парада на главной площади, устроенного в честь какого-то приезжего генерала. Это было странное мероприятие — пышное и помпезное, но лишенное всякой убедительности. Ни для кого не было секретом, что эта армия, с таким трудом собранная здесь с помощью закона о воинской обязанности, уже не хочет воевать в Африке: ее больше волновала ситуация, сложившаяся на родине. И хотя совсем недавно в газетах превозносили генерала, который разработал стратегию широкого наступления в сторону границы, теперь (когда, судя по дошедшим до нас слухам, было уже поздно) говорилось, что дальновиднее было бы разместить армию на границе, создав цепь укреплений, защищаемых надежными мобильными отрядами, которые могли бы объединиться в любой момент. Но в то субботнее утро армия в нашем городке еще выглядела вполне боеспособной. Звучали речи, развевались флаги. Играл оркестр, парад продолжался, и все мы — молодые и старые, португальцы, африканцы и ни то ни се, купцы, бездельники и нищие дети — стояли и смотрели, зачарованные военными мундирами, саблями и торжественностью всего действа, музыкой и маршем, громкими командами и сложным парадным церемониалом.

После этого состоялся прием в честь заезжего генерала; ради этого открыли маленький губернаторский дом в черте города. Этот губернаторский дом был самым старым в городе и одним из самых старых во всей колонии. Некоторые говорили, что ему двести пятьдесят лет, но точной даты его постройки никто не знал. Это было двухэтажное каменное здание, прямоугольное и вполне заурядное на вид. Возможно, когда-то давно губернаторы жили или останавливались здесь во время своих визитов в город, но теперь в губернаторском доме никто не жил. Он превратился во что-то среднее между музеем и историческим памятником; раз в неделю его нижний этаж открывали для публики. Я заглядывал туда дважды или трижды, но больше никого там не видел, да и смотреть там было особенно не на что: в число экспонатов входила побелевшая, но крепкая с виду весельная лодка — на такой якобы приплыл сюда Васко да Гама; потом набор старых якорей, в том числе совсем маленьких; неожиданно высокие деревянные рули — сделанные из огромных досок, они говорили о мастерстве плотников, пользовавшихся тяжелыми и грубыми инструментами; лебедки, куски старых канатов — исторические морские обломки, точно забытый домашний хлам, который жалко выбрасывать, но ценность которого никто не может толком определить, чтобы воздать ему по достоинству.

Наверху все выглядело по-другому. Туда я попал впервые. Весь второй этаж занимала огромная сумрачная зала. Широкие старые половицы, потемневшие от времени, матово блестели. Ставни на окнах, прячущихся в глубоких простенках, скрадывали свет солнца и неба. Роспись на выцветшем темном потолке почти стерлась. По стенам висели портреты прежних губернаторов, все одного размера и выполненные в одном стиле — простой рисунок, тусклые цвета, сверху имя каждого губернатора, выведенное псевдостаринным шрифтом; они наверняка были написаны недавно по заказу министерства культуры, но как ни странно — может быть, благодаря цельности и завершенности всего оформления, — замысел неведомого правительственного деятеля сработал: в зале возникла атмосфера торжественности. Однако самое сильное

впечатление производила мебель. Сделанная из черного дерева (эбенового или какого-то другого), она вся была изукрашена замысловатой резьбой — такой тонкой, что казалось, будто каждый кусок дерева сначала выскоблили изнутри, оставив одну оболочку, а потом нанесли на нее резьбу с обеих сторон. Эта мебель не предназначалась для сидения; на нее можно было только смотреть, любоваться древесиной, обращенной в кружево; это была мебель губернатора, знак его власти. Ей было столько же лет, сколько самому дому, а привезли ее, как сказал мне стоявший рядом чиновник-португалец, из Гоа, португальской колонии в Индии. Именно там была сделана вся эта бессмысленная резьба.

Так, неожиданно, я очутился совсем близко от родины. Я попробовал перенестись на двести пятьдесят лет назад, в годы постройки этого губернаторского дома, пытаясь найти какую-нибудь опору в этом невообразимо долгом промежутке времени — небо вечно ясное, море вечно голубое и прозрачное, если не считать периодов дождя, странные утлые корабли вырастают на горизонте, а затем качаются на якоре неподалеку отсюда, вместо нынешнего городка едва заметная зацепка на побережье, и деревней-то не назовешь; никакой дороги в глубь материка, к каменным конусам, местное население никто не трогает, хотя это вряд ли было так: всегда что-нибудь да мешало жить спокойно, всегда находились причины послать за колдуном. Я думал об этом, а потом на смену Африке вдруг пришли Индия и Гоа и жестокая мысль о тех, кто месяцы, а то и годы трудился над изысканными стульями и канапе для здешнего губернатора. Это было все равно что увидеть нашу собственную историю под другим углом. Двести пятьдесят лет — в некоторых частях Лондона об этом прошлом можно было размышлять спокойно, воссоздавая его в романтическом духе; в Индии, под сенью огромного храма в нашем городе, тоже; но здесь, в этом губернаторском доме, так далеко от всего, так далеко от истории, оно внушало ужас.

В зале собралось, должно быть, не меньше ста человек. Многие из них были португальцами, и вряд ли кому-нибудь из них приходили в голову те же мысли, что и мне. Для них африканский мир закрывался; не думаю, что у кого-то еще были сомнения на этот счет, несмотря на речи и торжественные церемонии; но все они держались свободно, наслаждались моментом, и старинная комната гудела от их веселого говора и смеха: казалось, что этим людям все равно, что они прекрасно умеют жить с историей. Я никогда не восхищался португальцами больше, чем в тот раз. Мне очень хотелось научиться жить с прошлым и чувствовать себя так же легко; но мы начинали с разных полюсов, и с этим ничего нельзя было поделать.

И все это время я думал о Грасе, подруге Карлы по монастырской школе и жене ее нового управляющего. Я пробыл наверху с полчаса и лишь потом заметил, что она тоже приехала на торжество. Во время парада на площади я не видел ни ее, ни ее мужа и не искал ее здесь. Встретить ее вот так, неожиданно, показалось мне большой удачей, настоящим подарком судьбы. Но я не хотел торопить события. Я не знал о ней ничего, кроме тех скудных сведений, которые сообщила нам Карла, и мог неправильно истолковать ее взгляд. Поэтому я решил, что лучше всего, для большей надежности, подождать удобного случая, который позволил бы мне заговорить с ней. И такой случай представился, хотя и не сразу. Мы вместе очутились — я без спутников, она без спутников — перед резным диванчиком и портретом одного из старых губернаторов. Я снова обнаружил в ее глазах все то же самое, что и в первый раз. Я был

переполнен желанием, но не глухим, упорным и несмелым, как в Лондоне; теперь мое желание опиралось на знания и опыт и было откровенным, как объятие. В то же время меня сковывала робость. Я едва мог вынести ее взгляд — такие интимности он обещал.

Я сказал: "Мне было бы приятно встретиться с вами". Она ответила: "И с моим мужем?" Так его, несчастного, убрали с дороги без всяких церемоний. Я сказал: "Вы знаете, что это глупый вопрос". Она сказала: "Когда вы хотите со мной встретиться?" Я сказал: "Завтра, сегодня. В любой день". Она сделала вид, что поняла меня буквально. "Сегодня здесь праздничный ланч. Завтра будет наш, воскресный". Я сказал: "Давайте встретимся в понедельник. Ваш муж поедет в город, чтобы обсудить с правительственными чиновниками цены на кешью и хлопок. Попросите его привезти вас к нам. Это по пути. Мы угостим вас ланчем, а потом я отвезу вас домой. По дороге мы остановимся в "Немецком замке". Она сказала: "Когда я училась в монастырской школе, нас возили туда на экскурсию. Африканцы говорят, там до сих пор живет призрак немца, который его построил".

В понедельник, после ланча, я ничего не стал объяснять Ане. Я не придумывал заранее никаких объяснений и был готов к самому худшему, если она возразит. Я просто сказал: "Я отвезу Грасу домой". Ана сказала Грасе: "Я рада, что вы понемногу обживаетесь".

"Немецкий замок" был заброшенной усадьбой. Еще несколько лет назад, слушая сплетни наших соседей, я понял, что там часто встречаются любовники. Больше я ничего о нем не знал. Он находился в часе езды от нас; дорога туда шла по равнине мимо конических утесов, которые на расстоянии начинали сливаться в одну сплошную низкую голубую гряду. Равнина была песчаная, неплодородная и выглядела пустынной; песок и зелень служили для редких деревень естественным камуфляжем. Замок стоял на склоне холма над этим унылым простором и был виден издалека. Это было гигантское, причудливое строение, широкое и высокое, с круглыми бетонными башенками по обе стороны от главной веранды. Именно из-за башенок этот дом и прозвали замком. Человек, построивший его в здешней глуши с таким размахом, должно быть, считал, что никогда не умрет, или ошибался в своем понимании истории и думал оставить своим потомкам сказочное наследство. В наших краях люди не имели привычки запоминать даты, поэтому никто точно не знал, когда был построен Немецкий Замок. Одни говорили, что его построил в двадцатые годы немецкий поселенец из бывшей немецкой Восточной Африки, перебравшийся на более дружественную португальскую территорию после войны 1914 года, другие — что он был построен в конце тридцатых годов немцем, который покинул Германию, желая спастись от экономического кризиса и надвигающейся войны и надеясь основать здесь самодостаточное хозяйство. Но вмешалась смерть; история пошла своим путем; и задолго до моего приезда — опять-таки никто не мог точно сказать мне когда — Замок окончательно опустел.

Я постарался подъехать на лендровере как можно ближе к дому. Когда-то роскошный, сад с большими бетонными клумбами теперь был гол и выжжен до песка; кроме торчавших там и сям пучков неприхотливой травы уцелели лишь несколько цинний на длинных стеблях и одичавшая пурпурная бугенвиллея. На веранду вели широкие и очень гладкие бетонные ступени, от которых до сих пор не откололось ни кусочка. В башенках с обеих сторон были проделаны бойницы, словно для обороны. За полуоткрытыми дверьми зияла гигантская полутемная гостиная.

Пол под нашими ногами был усеян песком и мелким мусором. Наверное, песок нанесло сюда ветром, а кусочки мусора покрупнее обронили птицы, строившие себе гнезда. Я уловил странный запах рыбы и подумал, что так, должно быть, пахнет разрушающееся здание. У меня был с собой армейский прорезиненный коврик. Я постелил его на веранде, и мы легли на него без единого слова.

Путь в Замок показался нам обоим чересчур долгим. Нетерпение Грасы не уступало моему. Это было для меня ново. Все, что я знал раньше, — лондонские встречи украдкой, кошмарная проститутка из провинции, чернокожие девушки в местных домах свиданий, которые уже давно удовлетворяли меня за плату и к которым я почти год чувствовал искреннюю благодарность, и бедная Ана, так и оставшаяся для меня той доверчивой девушкой, которая села на кушетку в моей комнате в лондонском общежитии и позволила себя поцеловать, Ана, по-прежнему такая мягкая и великодушная, — все это на следующие полчаса отступило куда-то далеко, и я подумал, как было бы ужасно, если бы (что вполне могло случиться) я умер, так и не узнав этой глубины удовлетворения, этой другой личности, которую я только что открыл в себе. Это стоило любой цены, любых последствий.

Я услышал чей-то оклик. Сначала я не был уверен, что мне это не померещилось, но потом убедился, что какой-то мужчина действительно окликает нас из сада. Я надел рубашку и встал у перил веранды, которые прикрывали меня до пояса. Снаружи оказался африканец, один из тех, что вечно бродили по обочинам дорог; он стоял в дальнем конце сада, точно боясь приблизиться к дому. Увидев меня, он замахал руками и крикнул: "Там живут кобры! Они плюют ядом!" Теперь я понял, почему мне почудилось, что в Замке пахнет рыбой: это был запах змей.

Мы набросили на себя одежду, хотя были мокры от пота. Потом спустились по широкой парадной лестнице к остаткам выжженного сада, пугливо озираясь в поисках змей, которые могут ослепить жертву с расстояния во много шагов. В лендровере мы окончательно оделись и молча поехали прочь. Через некоторое время я сказал Грасе: "Я чувствую, как от меня пахнет тобой". Не знаю, откуда у меня взялась смелость, чтобы произнести эти слова, но тогда они показались мне очень естественными и уместными. Она ответила: "А от меня — тобой". Меня восхитил ее ответ. Я положил правую руку ей на бедро и не снимал, пока мог, думая с грустью — и теперь уже без стыда за себя — о моем бедном отце и матери, которые никогда не знали подобных мгновений.

Я начал строить свою жизнь вокруг свиданий с Грасой, и мне было все равно, заметят это или нет. Где-то в уголке моего сознания пряталось изумление: я удивлялся самому себе, тому, каким я стал. Мне вспомнился один случай из далекого прошлого. Это произошло на родине, в ашраме, лет двадцать пять тому назад. Наверное, мне было тогда лет десять. Один городской торговец приехал повидаться с моим отцом. Этот торговец был богат и не скупился на храмовые пожертвования, но люди сторонились его, потому что он слыл распутником. Я не понимал, что это значит, однако (тут сыграло свою роль еще и революционное учение дяди моей матери) сам этот человек и его богатства казались мне запятнанными позором. Должно быть, торговец переживал в то время какой-то кризис; и, будучи человеком набожным, он обратился к моему отцу за советом и утешением. После обычных приветствий и вежливых фраз торговец сказал: "Учитель, я как царь Дашаратха". Имя Дашаратхи было священным; так звали властителя древнего царства Кошала и отца божественного Рамы.

Торговец улыбнулся, довольный своими словами, довольный тем, как благочестиво он начал рассказ о своих бедах; но моему отцу это совсем не понравилось. Он сказал сурово, по своему обыкновению: "Что значит — вы как царь Дашаратха?" Торговца должна была бы насторожить эта суровость, но он сказал, продолжая улыбаться: "Ну, может быть, не совсем как Дашаратха. У него было три жены. А у меня две. И это, учитель, источник всех моих бед..." Договорить ему не удалось. Отец сказал: "Как вы осмелились сравнивать себя с богами? Дашаратха был благородный человек. При нем праведность почиталась как никогда. Задолго до своей кончины он стал вести поистине святую жизнь. Как же вы осмеливаетесь ставить себя и свою низменную похоть рядом с таким человеком? Если бы я не был так миролюбив, я выгнал бы вас из ашрама хлыстом". Этот эпизод укрепил репутацию моего отца, и когда мы, дети, тоже узнали, в чем состояло бесстыдство торговца (поскольку он сам в этом признался), мы были потрясены не меньше. Иметь двух жен и две семьи — в наших глазах это выглядело противоестественным. Постоянно дублировать свои поступки и чувства значило жить во лжи. Это покрывало бесчестием всех родственников торговца и его самого; вместо твердой почвы под их ногами точно оказывался зыбучий песок.

Так я воспринял это, когда мне было десять. Однако теперь я каждый день встречался с Аной, не чувствуя стыда, а когда случай сводил нас с Луисом, мужем Грасы, я испытывал к нему самое искреннее расположение, словно предлагая ему свою дружбу из благодарности за любовь его жены.

Вскоре я узнал, что он пьет и что именно этим объясняется впечатление, которое он произвел на меня при нашей первой встрече: тогда мне не зря показалось, что он чем-то обеспокоен и с трудом держит себя в руках. По словам Грасы, он пил с утра до вечера, как будто спиртное придавало ему сил, которые иначе сразу бы иссякли. Он пил маленькими, почти незаметными порциями — глоток-другой рома или виски, не больше, — и никогда не выглядел пьяным и не терял контроля над собой. В обществе благодаря своей манере пить он казался чуть ли не трезвенником. Вся замужняя жизнь Грасы определялась этим пороком ее супруга. Ему приходилось часто менять работу, и они то и дело переезжали из города в город, из дома в дом.

Она винила в своем браке монашек. В какой-то момент в монастырской школе они стали уговаривать ее присоединиться к ним. Они имели обыкновение склонять к этому бедных девушек, а Граса была из бедной семьи. Ее мать была полукровкой-бесприданницей; отец, португалец второго сорта, родился в колонии и занимал пост мелкого государственного служащего. Граса обучалась в монастыре на деньги, выделенные из пожертвований, и монашки, по-видимому, захотели получить компенсацию за свою щедрость. Ей не хватало духу возражать им; и дома, и в школе она всегда была послушным ребенком. Она не говорила "нет", боясь, что ее сочтут неблагодарной. Ее обрабатывали несколько месяцев. Хвалили. Как-то раз они сказали ей: "Граса, ты необычная девушка. У тебя удивительные способности. Нам нужны такие, как ты, чтобы поднять престиж нашего ордена". Они напугали ее, и, отправляясь домой на каникулы, она чувствовала себя глубоко несчастной.

У ее семьи был маленький участок земли — всего пара акров — с фруктовыми деревьями, цветами, курами и скотным двориком. Все это Граса знала с детства и очень любила. Ей нравилось наблюдать, как клуши терпеливо сидят на яйцах, как вылупляются и пищат маленькие, пу-

шистые желтые птенцы — всему выводку хватало места под расправленными крыльями свирепо квохчущей матери-наседки, — как они повсюду следуют за матерью и как постепенно, за несколько недель, из них вырастают взрослые курицы, каждая своего цвета и со своим характером. Она любила выходить в поле со своими кошками и смотреть, как они носятся вокруг от радости, а не от страха. Даже когда эти маленькие существа, куры и кошки, просто сидели взаперти, она переживала за них; а мысль о том, что она расстанется с ними навсегда и сама окажется под замком, была для нее и вовсе невыносима. Она боялась, что монашки тайком обратятся со своей просьбой к ее матери и мать, набожная и покорная, не сумеет им отказать. Тогда она и решила выйти замуж за Луиса, соседского сына. Ее мать поняла, какие страхи мучают дочь, и дала свое согласие на их брак.

До этого он, симпатичный парень, уже некоторое время ухаживал за ней. Ей было шестнадцать, ему — двадцать один. В социальном отношении они были ровней. С ним она чувствовала себя свободнее, чем с монастырскими ученицами, многие из которых принадлежали к состоятельным семьям. Он работал механиком в местной фирме, которая занималась ремонтом легковых машин, грузовиков и сельскохозяйственной техники, и хотел в будущем открыть свою собственную. Пил он уже тогда, но в те годы это казалось лишь стильной привычкой, естественным свойством его предприимчивой натуры.

После свадьбы они переехали в столицу. Он считал, что в провинциальном городке карьеры не сделаешь; говорил, что местные воротилы все прибрали к рукам и не позволят бедному парню открыть свою фирму. В столице они сначала жили у родственника Луиса. Потом Луис устроился работать механиком на железную дорогу, и им выделили домик, соответствующий его официальному статусу. Это был типовой трехкомнатный коттедж, стоявший в ряду таких же маленьких коттеджей. Их проектировали не для здешнего климата. Фасадами домики были обращены на запад; после полудня они страшно раскалялись и остывали только часам к девяти-десяти вечера. Находиться там изо дня в день было очень тяжело; это действовало всем на нервы. Там Граса родила своих детей. Вскоре после рождения второго ребенка у нее что-то случилось с головой, и она обнаружила, что идет по незнакомому ей району столицы. Примерно в это же время Луиса уволили за пьянство. Тогда и началась их кочевая жизнь. Мастерство Луиса помогало им держаться на плаву, и были периоды, когда они жили довольно богато. Луис до сих пор не потерял своего обаяния. Он нанимался на работу в какое-нибудь поместье и быстро становился управляющим. Так бывало всегда — хороший старт и быстрое продвижение. Но рано или поздно его решимость сходила на нет; какое-то облако помрачало его сознание, наступал кризис, а за ним крах.

Не меньше, чем сама жизнь с Луисом, угнетала Грасу необходимость лгать о нем постоянно, почти с самого начала, чтобы скрыть его порок. Это превратило ее в другого человека. Однажды вечером, вернувшись с детьми домой после прогулки, она обнаружила, что он пьет банановый самогон с садовником-африканцем, жутким старым пьяницей. Дети испугались: прежде Граса внушала им, что пьянство отвратительно. Теперь ей нужно было быстро придумать что-то новое. И она сказала им, что их отец ведет себя правильно: времена меняются, и социальная справедливость требует, чтобы управляющие иногда выпивали со своими садовниками-туземцами. Потом она заметила, что дети тоже начинают лгать.

Они переняли у нее эту привычку. Вот почему, несмотря на свои неприятные воспоминания о монастырской школе, она отправила их учиться в пансион.

Много лет она мечтала вернуться в провинцию, вспоминая свой фамильный участок в два акра и их простое хозяйство — тех самых кур, животных, цветы и фруктовые деревья, которые доставляли ей такую радость, когда она приезжала домой на каникулы. Теперь ее мечта исполнилась: как жена управляющего, она жила в помещичьем доме со старинной колониальной мебелью. Но это благополучие было обманчиво, и их положение оставалось таким же шатким, как всегда. Грасе казалось, что все перенесенные ею в прошлом мучения и удары судьбы навеки останутся с ней, что вся ее жизнь давным-давно предрешена.

Вот что Граса рассказала мне в течение многих месяцев. У нее и раньше были любовники. Она не включала их в свою основную историю. Они существовали как бы вне ее, словно в памяти Грасы ее половая жизнь не смешивалась с той, другой жизнью. Так, по косвенным замечаниям, я догадался, что у меня были предшественники — как правило, друзья их обоих, а однажды даже наниматель Луиса, который прочел ее взгляд так же, как я, и понял ее потребность. Я ревновал Грасу ко всем ним. Раньше я никогда не испытывал ничего подобного. И, думая обо всех этих людях, которые заметили ее слабость и решительно воспользовались ею, я вспомнил то, что сказал мне когда-то в Лондоне Перси Кейто, и впервые в жизни почувствовал правду в его словах о жестокости половых отношений.

В моих отношениях с Грасой тоже была эта жестокость. Когда Грасы не было со мной, я постоянно грезил о ней. Под ее руководством, поскольку она была более опытна, наши занятия любовью принимали формы, которые сначала удивляли и беспокоили меня, а потом стали восхищать. Граса говорила: "Монашки бы это не одобрили". Или: "Пожалуй, если бы завтра мне пришлось исповедоваться, я должна была бы сказать: 'Отец, я вела себя неприлично'". И то, чему она меня научила, трудно было забыть; я уже не мог лишить себя этих новых переживаний, вернуться к своей прежней неискушенности. И я снова, как часто бывало в подобных случаях, думал об инфантильности желаний моего отца.

Шли месяцы. Даже спустя два года я оставался все столь же беспомощным в этом море чувственности. Одновременно в моей душе забрезжило смутное ощущение бессмысленности такой жизни, а вместе с ним зародилось и уважение к религиозным правилам, запрещающим половые излишества.

Как-то раз Ана сказала мне:

— О тебе с Грасой судачат по всей округе. Ты знаешь об этом или нет?

— Это правда, — ответил я.

— Не надо так со мной разговаривать, Вилли, — сказала она.

Я сказал:

— Мне хотелось бы, чтобы ты хоть раз посмотрела, чем мы с ней занимаемся. Тогда ты бы поняла.

— Перестань, Вилли. Я думала, ты по крайней мере воспитан.

— Я говорю с тобой как друг, Ана, — ответил я. — Мне больше некому рассказать.

— По-моему, ты сошел с ума, — сказала она.

Позже я подумал, что она, наверное, была права. В какие-то моменты я говорил словно под влиянием сексуального помешательства.

На следующий день она сказала:

— Ты знаешь, что Граса — очень простая женщина?

Я не понял, что она имеет в виду. Хотела ли она сказать, что Граса бедна или что у нее нет положения в обществе, или имела в виду, что Граса глуповата?

— Она простая, — повторила Ана. — Ты знаешь, что я имею в виду.

Чуть позже она вернулась ко мне и сказала:

— У меня есть единокровный брат. Ты знал об этом?

— Ты никогда мне не говорила.

— Я хотела бы взять тебя с собой навестить его. Если ты не против, я договорюсь. Я хотела бы, чтобы ты получил какое-то представление о том, с чем мне пришлось здесь жить, и понял, почему ты показался мне человеком из другого мира, когда я встретила тебя в Лондоне.

Меня охватила острая жалость к ней и одновременно с этим тревога, вызванная опасением, что меня накажут за содеянное. Я согласился пойти с Аной к ее брату.

Он жил в африканском городке на окраине основного города. Ана сказала:

— Ты должен помнить, что он очень злой человек. Конечно, он не станет на тебя кричать. Но он будет хвастаться. Постарается дать тебе понять, что ему на тебя наплевать, что он и без тебя отлично устроился.

После прихода армии африканский городок сильно вырос. Теперь он превратился в целый ряд примыкающих друг к другу поселков, а тростник и траву заменили бетон и рифленое железо. Издалека он выглядел широким, низким и удивительно ровным. Купы деревьев на самом краю отмечали место первоначального убогого поселения — тростникового городка, как называли его местные. Именно в этом, самом старом районе африканского городка и жил брат Аны. Добраться туда было нелегко. Узкая улочка, по которой мы ехали, все время петляла, и впереди все время оказывался какой-нибудь ребенок с банкой воды на голове. Стояла засуха, и дорогу покрывала красная пыль в несколько дюймов толщиной; она клубилась позади нас и вокруг, и мы двигались точно в дыму. Из некоторых дворов вытекали темные ручейки помоев; они испарялись на солнце, но кое-где успевали наполнить ямки и колдобины, образуя лужи. Отдельные дома были обнесены оградой из тростника или рифленого железа. Везде что-то росло: прямо из пыли поднимались большие ветвистые манго и стройные папайи, перед многими домами были посадки маиса, кассавы и сахарного тростника, как в любой из наших деревень. Иногда попадались мастерские, в которых делали бетонные блоки или мебель, латали старые шины и чинили автомобили. Брат Аны был механиком и жил рядом с большой авторемонтной мастерской. На ее дворе кипела работа: там стояло много старых легковых машин и микроавтобусов и возились три или четыре человека в очень грязных шортах и майках. Земля была черной от пролитого масла.

Его дом выглядел лучше, чем большинство других домов в африканском городке. Ограды у него не было; он стоял вплотную к улице. Низкий, бетонный, он был аккуратно выкрашен масляной краской в желтый и зеленый цвет. Парадная дверь находилась сбоку. Нас впустил внутрь очень старый негр — то ли слуга, то ли дальний родственник. Основные помещения, расположенные с двух смежных сторон двора, окаймляла широкая веранда. Две другие стороны занимали отдельные домики — наверное, для гостей или слуг — и кухня. Все здания соединялись бетонными дорожками, которые были дюймов на шесть выше земли, покрытой толстым слоем пыли (во время дождя она, очевидно, пре-

вращалась в грязь). Из кухни и из флигелей на нас смотрели люди, но хозяин вышел на веранду главного дома лишь после того, как слуга привел нас туда.

Брат Аны оказался темнокожим человеком среднего роста. Он не смотрел ни на свою сестру, ни на меня. Он был бос и одет в майку и шорты, очень короткие и обтрепанные снизу. Не глядя на Ану, он обратился к ней на смешанном местном диалекте, который я до сих пор понимал с трудом. Она отвечала ему на том же языке. Словно бы нехотя, шаркая по бетону босыми подошвами, он провел нас в комнату для приема гостей. Важным предметом ее обстановки было радио, включенное на полную громкость. Из-за закрытых окон в комнате стоял полумрак и было очень душно. По-моему, он предложил включить кондиционер. Ана, вежливая как всегда, попросила его не беспокоиться. Комната была набита той мебелью, какую полагается иметь в комнате для гостей: кроме нескольких стульев, обитых блестящей синтетической материей, здесь был еще полный столовый гарнитур из обеденного стола с простыми неполированными стульями, сделанными, наверное, в одной из ближайших мастерских. После того как сюда втиснули все эти вещи, свободного места практически не осталось. Брат Аны все время говорил, показывая ей, что у него есть, но по-прежнему не глядя на нее, и Ана все время отвечала ему одобрительными восклицаниями. Он пригласил нас сесть на стулья с обивкой. Не уступая ему в вежливости, Ана сказала, что мы предпочли бы посидеть снаружи, после чего, выключив радио, он вернулся с нами на широкую веранду, тоже сплошь уставленную столами и стульями.

Он крикнул, и из соседнего помещения вышла совсем маленькая белая женщина, уже немолодая, с круглым невыразительным лицом. Он представил Ане эту женщину — как я понял, свою жену, — и Ана любезно поздоровалась с ней. Затем эта крохотная женщина — она действительно была очень маленькой, ненамного выше застекленного резного шкафчика, к которому она прислонилась, — предложила нам чего-нибудь выпить. В кухне немедленно раздались крики. Хозяин сел в низкое кресло. Ногами он подтянул к себе табурет и оперся ими на него, широко раздвинув колени; его обтрепанные шорты задрались чуть ли не до самого паха. Все это время на нас смотрели люди со двора, из кухни и флигелей, но он до сих пор не взглянул ни на Ану, ни на меня. Я заметил, что глаза у него светлые, несмотря на темную кожу. Он медленно погладил свои ляжки с внутренней стороны, точно лаская себя. Ана подготовила меня к такого рода агрессии, иначе мне было бы тяжело это вынести. И лишь теперь, с большим опозданием, я увидел, что у него на веранде, кроме жены и резного шкафчика, есть еще одно сокровище — большая бутыль из зеленого стекла с живой змеей, стоящая на покрытом клеенкой столике как раз рядом с его креслом.

Змея была зеленоватая. Когда брат Аны мучил или дразнил ее, змея, хоть и надежно запертая, поразительно быстро бросалась с широко раскрытой пастью на стекло, уже обесцвеченное какими-то выделениями из ее рта. Хозяин был доволен впечатлением, которое змея произвела на меня. Он обратился ко мне по-португальски. В первый раз он посмотрел на меня. Он сказал:

— Это кобра. Она плюет ядом и может ослепить вас с расстояния в пятнадцать футов. Они реагируют на блестящие предметы. Могут плюнуть вам на часы или на очки. Если вы быстро не промоете их сладкой водой, у вас будут неприятности.

По дороге назад я сказал Ане:

— Это было ужасно. Хорошо, что ты предупредила меня насчет хвастовства. К нему я был готов. Но змея... Мне хотелось разбить бутылку.

— Моя собственная плоть и кровь, — сказала она. — Все время помнить, что он там. Вот с чем я должна была жить. Я хотела, чтобы ты увидел его. Возможно, это то, что ты упустил.

* * *

Я промолчал. У меня не было желания с ней ссориться. Она очень благородно и тактично вела себя у своего брата, держалась очень правильно в трудной ситуации; во мне снова ожили старая любовь и уважение к ней. Старая любовь до сих пор не исчезла; в таких случаях, как сегодня, она могла даже возрасти, но теперь она принадлежала к другой жизни или к тому периоду моей жизни, который остался в прошлом. Я уже не спал в большой резной кровати деда Аны, но мы мирно уживались в одном доме, часто ели вместе, и у нас всегда было что обсудить. Она больше не пыталась упрекать меня. Иногда в разговоре со мной она вдруг осаживала себя и замечала: "Но я не должна так с тобой говорить". И чуть позже возобновляла нашу беседу в другом тоне. Во всем, что касалось хозяйства и поведения наших работников, я по-прежнему доверял ей.

И я не удивился, когда пошли слухи, что Карла Коррейя продает свое имение. Ана всегда считала, что рано или поздно Карла это сделает; что, несмотря на все разговоры о желании помочь школьной подруге, Луиса и Грасу поселили в главном доме усадьбы только ради того, чтобы они следили за порядком, пока не найдется подходящий покупатель. Карла продала свои владения крупной португальской фирме по торговле недвижимостью и умудрилась извлечь из этой сделки максимальную выгоду. Цены на здешние поместья, сначала упавшие из-за партизанской войны на севере и западе, вновь поднялись, хотя объективных причин для этого не было: просто какие-то влиятельные люди в Лиссабоне почему-то решили, что правительство и партизаны вот-вот договорятся между собой.

Таким образом, Луиса и Грасу вынуждали опять сняться с места. Фирма, купившая имение Карлы, хотела поселить в главном доме своих директоров, которые собирались приехать "с инспекцией" (руководители фирмы, очевидно, считали, что после войны колониальные порядки и колониальный стиль жизни восстановятся). Но положение Луиса и Грасы было не таким уж плохим. Фирма хотела оставить Луиса на посту управляющего. Ему начали строить домик на участке в два акра, пообещав, что через несколько лет Луис сможет выкупить его на льготных условиях. На время строительства Луису и Грасе разрешили жить в главном доме. Это входило в условия договора, который Карла заключила с португальской фирмой. Так что Ана оказалась одновременно и права, и неправа. Карла действительно, хоть и в небольшой степени, использовала Луиса и Грасу в своих интересах, но вместе с тем и позаботилась о своей школьной подруге. Граса была счастлива. С тех пор как она покинула родной очаг, у нее не было своего дома. Именно об этом она мечтала годами — о доме, садике, фруктовых деревьях и животных. Она уже стала думать, что ее мечта никогда не сбудется, но удача вдруг пришла к ней с неожиданной стороны.

Вскоре после заключения сделки фирма, привыкшая все делать с размахом, прислала к нам столичного архитектора, который должен был построить дом Грасы. Она едва могла поверить своему счастью. Архитектор, да еще из Португалии! Он поселился в одной из гостевых комнат главного дома. Его звали Гувейя. Он держался с нами по-столичному свободно и элегантно, и при нем все, что окружало нас, стало казаться старомодным. Он носил очень тесные джинсы и из-за этого выглядел немного тяжеловатым и мягковатым, но нам не приходило в голову критиковать его. Ему было за тридцать, и все члены нашего кружка заискивали перед ним. Он стал посещать наши воскресные ланчи. Мы думали, что — поскольку он приехал из Португалии и работает для фирмы, скупающей старые поместья в расчете на то, что прошлое вновь вступит в свои права, — мы думали, что он будет ругать партизан. Но мы ошиблись. Он говорил о грядущих кровопролитиях с наслаждением, почти как Жасинто Коррейя в былые дни. Мы решили, что он из тех белых, которые прикидываются черными. Люди такого типа только что начали появляться в колонии — щеголи, хорошо обеспеченные, чистокровные португальцы, вроде нашего Гувейи, которые в случае возникновения реальной угрозы могли сразу же удрать или еще как-нибудь позаботиться о себе.

Примерно через неделю прошел слух, что у Гувейи есть в столице любовница-африканка. Как всегда после появления новых людей, кто-то словно усиленно наводил справки, и еще через несколько дней мы стали слышать разные истории об этой женщине. Одна история была такой: любовница Гувейи ездила с ним вместе в Португалию, но отказалась заниматься там какой бы то ни было домашней работой, поскольку не хотела, чтобы тамошние жители приняли ее за служанку. Другие истории касались ее слуг в столице. В одной из них слуги всегда перечили ей, потому что она была африканкой и не пользовалась у них уважением; в другой кто-то спросил ее, почему она так сурова со своими слугами, и получил ответ, что она сама африканка и знает, как надо обращаться с африканцами. От всех этих историй отдавало ложью; в них говорилось о прошлом, и никто по-настоящему не верил им и не находил в них утешения, но их продолжали пересказывать. А потом эта женщина из столицы приехала к Гувейе на несколько дней, и в воскресенье он привел ее к нам на ланч. Она оказалась самой обыкновенной, с невыразительным лицом и оценивающим взглядом, замкнутой и молчаливой — деревенская женщина, переселившаяся в город. Через некоторое время все заметили, что она беременна; тогда мы и сами тоже притихли, как мыши. Потом кто-то сказал: "Вы ведь понимаете, почему он с ней связался? Он хочет подлизаться к партизанам. Думает, раз с ним живет африканка, они не убьют его, когда придут сюда".

Мы, Граса и я, любили друг друга в ее доме, пока его строили. Она сказала: "Мы должны окрестить все комнаты". И мы это сделали. Мы уносили с собой запах струганого дерева, опилок и свежезастывшего бетона. Однако новый дом притягивал к себе и других людей. Как-то раз, услышав голоса, мы выглянули из-за недостроенной стены и увидели кучку детей — невинных, искушенных, — которые испугались, заметив нас. Граса сказала: "Теперь мы уже ничего не скроем".

Однажды мы наткнулись на Гувейю. Я понял по его темным блестящим глазам, что он разгадал цель нашего прихода. Немного рисуясь, Гувейя стал объяснять, каким он собирается сделать дом Грасы. Потом сказал: "А я хочу жить в "Немецком замке". У каждого дома своя судьба, и Замок должен принадлежать мне. Я превращу его в сказочный дворец, а

после революции перееду туда". Я подумал об этой заброшенной усадьбе, о пейзаже вокруг нее, о немце, о змеях, и он сказал: "Да вы не пугайтесь так, Вилли. Я всего лишь вспоминаю 'Живаго'".

Как-то вечером, когда лампочки еще мигали, Ана пришла ко мне в комнату. Я сразу увидел, что она страшно расстроена. На ней была коротенькая ночная рубашка, подчеркивающая миниатюрность ее фигуры и хрупкость костей. Она сказала:

— Вилли, это так ужасно, что у меня язык не поворачивается. На моей постели экскременты. Я только что заметила. Это дочь Жулио. Пожалуйста, помоги мне убрать. Пойдем и сожжем все это.

Мы пошли к большой резной кровати и быстро свернули всю постель в один комок. Лампочки моргали, и Ана как будто расстроилась еще сильнее. Она сказала:

— Я чувствую себя такой грязной. По-моему, я теперь за сто лет не отмоюсь.

— Пойди и прими душ, — сказал я. — Постель я сожгу.

Я отнес большой сверток в дальний, мертвый конец сада. Потом облил его бензином, отошел и бросил туда зажженную спичку. Вспыхнуло пламя; я ждал, пока простыни сгорят, а генератор все еще гудел и свет в доме становился то слабее, то ярче.

Это была плохая ночь. Ана пришла ко мне в комнату, влажная и дрожащая после душа, и я обнял ее. Она позволила себя обнять, и я снова вспомнил о том, как она позволила мне поцеловать себя в лондонском общежитии. Еще я подумал о дочери Жулио, которая после нашего приезда из Англии — тогда она была еще молоденькой девушкой — пыталась завести со мной вежливую беседу; которая украла у меня паспорт и остальные бумаги; и с которой я встретился, но не поздоровался, в одном из домов свиданий. Ана сказала:

— Не знаю, принесла она это или сделала прямо на кровати.

— Пожалуйста, не думай об этом, — сказал я. — Думай только, что утром ты от нее избавишься.

— Ты не мог бы побыть со мной утром? — спросила она. — Ничего не говори, просто постой рядом, на случай, если она вдруг что-нибудь выкинет.

Утром Ана уже выглядела собранной, как всегда. Она велела позвать дочь Жулио и, когда та пришла, сказала ей:

— Это был гадкий поступок. Ты жила в этом доме с рождения. Ты гадкая девчонка. Мне надо было бы сказать твоему отцу, чтобы он тебя выпорол. Но я хочу только, чтобы ты сейчас же ушла отсюда. Даю тебе полчаса.

Дочь Жулио сказала с нахальством, которому она научилась в домах свиданий:

— Я не гадкая. Вы сами знаете, кто гадкий.

— Уходи и больше не возвращайся, — сказала Ана. — Даю тебе полчаса.

— Вы не можете приказать мне не возвращаться, — сказала дочь Жулио. — Когда-нибудь я вернусь, и это будет раньше, чем вы думаете. И тогда уж я не останусь в комнатах для слуг.

Я стоял в ванной за полуоткрытой дверью. Дочь Жулио знала о моем присутствии, я чувствовал это; и я снова подумал, как думал всю ночь: "Ана, Ана, что я с тобой сделал?"

Когда мы собрались на воскресный ланч на той же неделе, среди нас был священник из местного отделения миссии, только что приехавший

с севера — там у них тоже были отделения. Он сказал: "Ни здесь, ни в столице люди ничего не знают о войне в буше. Здесь жизнь идет так же, как она шла всегда. Но на севере есть уже целые области, где правят партизаны. У них там свои школы и больницы; они вооружают деревенских жителей и учат их воевать". Гувейя сказал шутливо, по своему обыкновению: "И когда же, по-вашему, тишину нашей жаркой тропической ночи нарушит грохот артиллерии?" Миссионер ответил: "Возможно, вас уже со всех сторон окружают партизаны. Они никогда не атакуют населенные районы так, как вы говорите. Они засылают туда своих людей. Вы не отличите их от обычных африканцев. Они рассказывают всем о революции и подготавливают народ". И я вспомнил о впечатлении, оставшемся у меня от самого первого дня, — о бредущих по обочине африканцах, — и о более позднем впечатлении, когда местные усадьбы и поселки показались мне тонущими в африканском океане. Гувейя сказал: "Значит, по-вашему, меня могут в любой момент задержать прямо на дороге?" Миссионер ответил: "Это вполне возможно. Они окружают нас со всех сторон". Гувейя сказал, уже только наполовину в шутку: "Тогда я попробую улететь отсюда, пока не закрыли аэропорт".

Госпожа Норонья сказала своим пророческим тоном: "Одежда. Мы должны запасать одежду". Кто-то спросил: "Это зачем же?" После Карлы Коррейи еще никто не говорил так с госпожой Нороньей. Госпожа Норонья сказала: "Теперь мы как израильтяне в пустыне". Кто-то ответил: "Я никогда не слышал, чтобы израильтяне запасали одежду". И бедная госпожа Норонья, растерявшая весь свой авторитет медиума, признавая, что она запуталась в своих пророчествах, прижалась головой к плечу, закрыла глаза и была выкачена из нашей жизни. Позже мы узнали, что после прихода партизан к власти ее репатриировали в Португалию одной из первых.

Задолго до этого дом Грасы был закончен. Они с Луисом устроили новоселье. У них было очень мало мебели. Но Луис держался как настоящий хозяин; он предлагал гостям выпивку, наклоняясь к ним с почти доверительным видом. Через две недели он и его лендровер пропали. В колониальной полиции, которая тогда еще кое-как действовала, сказали, что его, наверное, похитили партизаны. Ни один чиновник из нашего города не имел связей с партизанами, так что прояснить ситуацию не было никакой возможности. Граса чуть не сошла с ума от горя. Она сказала: "Он был в отчаянии. Не могу передать тебе, в какое отчаяние он впал после того, как мы переехали в новый дом. Это должно было бы его обрадовать, но все получилось наоборот". А потом, еще через несколько дней, какие-то пастухи нашли его с лендровером на порядочном удалении от дороги, около пруда, на который они водили свое стадо. Дверца лендровера была открыта, внутри валялись бутылки. Он был почти гол, но еще жив. Разум покинул его; по крайней мере, так говорилось в отчете. Все, на что он был способен, — это повторять сказанные ему слова. "Вы собирались покутить?" И он говорил: "Покутить". "На вас напали партизаны?" И он отвечал: "Партизаны". Его привезли обратно в новый, пустой дом. Там его ждала Граса. Мне на память пришло стихотворение, которое мы учили в третьем классе миссионерской школы:

Бойца принесли — он уже не дышал.
Ни слезинки не проронила жена.
"Ей надо заплакать, — кто-то сказал, —
Иначе сейчас умрет и она".

Мы больше никогда не устраивали свиданий.

Она стала ухаживать за ним в новом доме. Это была ее новая роль — сиделки, пекущейся о нем как сестра из монашеского ордена. Если бы не война, можно было бы найти врача, который сказал бы, что делать. Но специалисты вроде врачей и им подобных покидали провинцию и колонию каждый день; имение было далеко от города, дорога туда опасна, и Луис со своим разрушенным мозгом и печенью медленно угасал в пустом доме.

Большие события в жизни колонии, последние перемены прошли вдали от нас. Колониальные правительственные учреждения в столице попросту закрылись; власть перешла к партизанам. Португальцы начали постепенно уезжать из страны. Армия покинула наш город. Казармы опустели; после двенадцати лет привычной суеты и ежедневного отправления военных ритуалов, похожих на церковные, это затишье выглядело противоестественным. Оно продержалось несколько недель, а потом в военном городке появился совсем маленький отряд партизан; они заняли лишь часть казарм, которые много раз достраивались во время войны. Где-то действительно погибали люди, но армия на самом деле не хотела вести эту африканскую войну, и жизнь в городах оставалась нормальной до самого конца. Война напоминала идущую в отдалении игру; даже под конец трудно было поверить, что эта игра может иметь по-настоящему серьезные последствия. Складывалось впечатление, что армия ради какой-то политической цели вступила в тайный сговор с партизанами (которые по-прежнему придерживались тактики внедрения в лагерь противника своих безоружных агентов) и мир в городах сохраняется для того, чтобы партизаны, придя к власти, могли получить эти города неразоренными.

Некоторое время, как после распыления гербицидов, ничего не было заметно; казалось, что товары будут и дальше поступать в магазины, а бензин — в бензоколонки. Но потом вдруг — тоже как с гербицидами — перемены дали о себе знать. Многие магазины опустели и закрылись; их владельцы уехали в Южную Африку или в Португалию. Несколько домов на центральной площади тоже лишились своих обитателей. Очень скоро фонарные плафоны у их ворот и на верандах оказались разбиты; еще чуть позже оконные стекла, которые простояли нетронутыми много лет, таинственным образом выпали; потом и рамы были сняты с петель; стропила там и сям начали гнить, и черепичные крыши просели в разных местах. Раньше мы думали, что муниципальные службы в нашем городке существуют лишь номинально. Теперь мы заметили их отсутствие. Уличные стоки засорились, и песчаные глетчеры (поросшие травой там, где повыше, и изборожденные мельчайшими желобками, оставленными дождевой водой) стали медленно, дюйм за дюймом, наползать с дорог в пересохшие канавы. Сады сначала заросли, а потом превратились в такие же выжженные пустыри, каким стал роскошный сад перед "Немецким замком", заброшенным уже лет тридцать назад; в нашем климате все перемены происходили в ускоренном темпе и быстро достигали финальной стадии. Асфальтовое шоссе, ведущее в глубь материка, сплошь покрылось ужасными выбоинами. Некоторые поместья потеряли своих хозяев, и африканские семьи, поначалу робевшие перед такими людьми, как Ана, стали потихоньку переселяться на широкие веранды, увитые бугенвиллеей.

Это была тяжелая пора. Накануне всеобщего кризиса госпожа Воронья советовала нам запасаться одеждой. Мы запасались бензином. У нас в поместье была своя колонка; мы наполняли канистры и прятали их; без наших лендроверов мы пропали бы наверняка. Генератор уже никто не включал. Наши ночи стали тихими, и мы познакомились с волшебной игрой теней при свете масляной лампы. В считанные месяцы все пришло в упадок и вернулось к тому состоянию, в котором пребывало на заре освоения страны, когда дед Аны жил здесь вплотную к земле, бок о бок с погодой, насекомыми и болезнями и бок о бок со своими соседями и работниками-африканцами, когда комфорт еще не выжали из этого сурового края, точно кровь из камня.

Граса неплохо справлялась со своим новым хозяйством. В каком-то смысле ее мечта все же исполнилась: теперь у нее был домик и участок в два акра, свои куры и фруктовые деревья. Смена государственного режима пугала ее меньше, чем Ану. Она сказала:

— Они хотят все разделить поровну. Так справедливее. Видишь, монашки в конечном счете оказались правы. Пришло время, когда мы все должны стать бедными. Нам надо поделиться тем, что у нас есть. Это правильно. Мы должны быть такими же, как все. Служить и приносить пользу. Я отдам им все, что имею, и даже не буду ждать, пока меня попросят. Пусть возьмут этот дом. — Двое детей Грасы вместе со многими ее родственниками отбыли в Португалию. — Уехали, и на здоровье. Я на них рассердилась. В Португалии они должны будут заполнить кучу бумаг, чтобы объяснить, кто они такие. Разве кто-нибудь может это сделать? Как человек может объяснить, кто он такой? Они должны будут написать в своих бумагах, что они португальцы. А мне здесь это не нужно. Здесь похоронен мой дед. Он умер молодым. Сейчас он со всеми остальными предками. Каждый год я хожу на его могилу, чтобы поговорить с ним. Рассказываю о своей семье. Я говорю ему обо всем, и мне сразу становится хорошо. Конечно, люди ничего об этом не знают. Они думают, что я езжу на рынок.

Я посмотрел в ее страдальческие глаза и подумал: "У меня был роман с сумасшедшей. Неужели это правда — то, что между нами было?"

Услышав от меня о намерениях Грасы, Ана сказала:

— Ничего она им не отдает. Даже в своем горе она себя обманывает. Это они все у нее отнимают. Говорят, что и у меня тоже все отнимут. Но я не сбегу. Половину того, что оставил мне дед, украл отец. Я останусь здесь, чтобы защитить другую половину. Не хочу, чтобы кто-то испражнялся в моем доме и спал на моей постели.

Мало-помалу новое правительство ввело в действие свою собственную административную систему. Все занимало в три-четыре раза больше времени, чем раньше, но мы постепенно притерпелись к новым порядкам. Самая трудная полоса миновала. Но тут вдруг пошли слухи о новой войне, на этот раз между племенами. Партизаны, боровшиеся с португальцами, начали свое движение в буше; так и теперь люди, враждебные победителям, начинали в буше. Партизан поддерживали черные правительства за границей. Новые мятежники пользовались поддержкой белого правительства на западе и были гораздо более свирепы. По их законам новобранцев полагалось "крестить кровью": каждый новичок должен был кого-нибудь убить. Они совершали налеты на городские окраины, убивали людей, жгли дома и сеяли панику.

Я решил, что еще одной войны мне не выдержать. Я еще мог поверить, что в ней будет какой-то смысл для Аны. Но для себя я в ней смыс-

ла не видел. Несколько недель я провел в смятении. Я не знал, что делать. Наверное, мне не хватало мужества признаться Ане. Стоял дождливый сезон. У меня был повод запомнить это. Пыльца с дерева, которое росло перед главным домом нашей усадьбы, густо усы́пала полукруглые мраморные ступени, сделав их скользкими. Я поскользнулся и сильно расшибся. Когда я пришел в себя — меня привезли в военный городок, где еще кое-как работал жалкий госпиталь, — физическая боль в моем разбитом теле была под стать другой боли, с которой я жил все последние месяцы, если не годы.

Когда в госпиталь приехала Ана, смелость вернулась ко мне и я сказал, что хочу развестись с ней.

Когда она приехала в следующий раз, я сказал ей:

— Мне сорок один год. Я устал жить твоей жизнью.

— Ты сам этого хотел, Вилли. Ты меня попросил. Мне тогда пришлось думать.

— Я знаю. Ты сделала для меня все. Благодаря тебе я здесь освоился. Без тебя я бы не смог здесь жить. Когда я просил тебя в Лондоне, мне было страшно. Я чувствовал, что попал в тупик. Кончался семестр, меня должны были выставить из колледжа, и я не знал, что мне делать, чтобы не пропасть. Но теперь лучшая часть моей жизни уже позади, а я еще ничего не сделал.

— Ты просто боишься новой войны.

— И даже если бы мы поехали в Португалию, если бы меня туда пустили, это все равно была бы твоя жизнь. Я прятался слишком долго.

Ана сказала:

— Думаешь, это действительно моя жизнь? Я не уверена.

Март 1999 – август 2000

Висенте Алейсандре

Нобелевская премия 1977 года

Стихи

Перевод с испанского и вступление Бориса Дубина

В том творческом переплетении стихов и разговоров, людей и идей, встреч и музыки, которое потом стали называть "поколением 1927 года", Алейсандре вместе с Лоркой и Альберти представлял средиземноморский юг, перекресток словесных, музыкальных, изобразительных традиций Востока и Запада — древнюю Андалусию. Он родился в Севилье, на родине лучшего испанского лирика XIX столетия — романтика Густаво Адольфо Беккера, но вырос и остался детской памятью в Málаге, говоря словами народной песни-малагеньи "у берега моря, в тени корабля". И каждый раз потом, когда в стихах у Алейсандре замаячит детство, в них возникнет море, и все это будет расцвечено красками невозвратного рая.

В полный рост поэзия Алейсандре предстала собратьям и публике в 30-е годы, когда Лорка, говоря о поэтах своего поколения, отчеканил для лирики Алейсандре драматическую формулу "зарево и гибель". Сам Алейсандре называл главным своим чувством тех лет "тоску человека, ввергнутого в самую гущу хаоса". На правах другого смыслового полюса, противоположного "раю" (и "морю" как воплощению рая), в его стихи вошла тогда тема "земли", глубинно связанная с материнским началом. Метафоры земной раны (ямы, колодца, шахты, могилы) и погружения в эту рану, ее испытания — зашифрованный образ евангельского апостола Фомы — воплощают для поэта и ужас перед гибелью, и смертное влечение к ней, тягу к "последнему рождению". В поэзии Алейсандре усиливаются переклички с "черной" образностью французских "проклятых поэтов" (Лотреамона, позднего Рембо), она сближается с поисками дадаистов и сюрреалистов, с фрейдовской аналитикой подсознательного. В ней настойчиво повторяются мотивы уязвимого тела, смертельной угрозы, пытки.

Друг Алейсандре, сам выдающийся поэт, Луис Сернуда с пониманием писал о его лирике 30-40-х годов, которая несколькими стихотворениями и представлена ниже: "Я не хочу сказать, что поэзия Алейсандре — поэзия религиозная. Речь о другом. Его стихи пронизаны религиозным духом, иными словами — без этого духа не понять его, в самом широком смысле слова, представление о падшести... По-

© Б. Дубин. Перевод, вступление 2003

эт — это тот, кто не в силах принять мир таким, каков он, по общему мнению, есть. Нет, он упорно видит его другим, райским, скитаясь между обломками прежнего мира первозданной чистоты... В творчестве Алейсандре поразителен как раз этот контраст: с одной стороны — первобытная тяга к вещам, с другой — самое отвлеченное о них представление. Дерево и цветок, зверь и человек — все это лишено у Алейсандре малейшей конкретности. Кажется, сама идея, сам символ вещи и задевает здесь поэта за живое; вместе с тем каждый символ у него одушевлен настоящей страстью". В 1977 году, в Нобелевской лекции, словно в ответ Сернуде, прозвучат слова Алейсандре о том, кто такой для него поэт: "Поэт, настоящий поэт — всегда провидец, он по сути своей пророк, прорицатель. Тем не менее его "пророчество", конечно же, относится не к будущему, которое он заранее знает; его пророчество — за пределами времени. Он в точном смысле слова просветитель, наводящий луч, пробуждающий человечество, владеющий сезамом, в котором каким-то чудом заключена и волшебная разгадка его собственной судьбы. Поэт — это человек, который больше, чем человек: ведь он еще и поэт. Да, он отмечен "мудростью", но не вправе чваниться ею, ведь она принадлежит не ему, а неведомой силе, духу, говорящему его устами, — его народу, его особой традиции. Он обеими ногами стоит на земле, но под стопами у него копится и растет чудесный поток, который поднимается по телу и доходит до самого языка. Это сама земля, глубинная земля пылает в его послушном теле. А временами поэт растет в высоту и, упираясь головой в небо, говорит голосом звезд, в лад со всем мирозданием, и грудь ему наполняет космический ветер. Все сообщается, все по-братски льнет друг к другу. Мельчайший муравей, нежный побег травы, на которой отдыхала однажды его щека, составляют с ним одно целое. И он может понимать их, может слышать тайный звук, чья тончайшая нота различима даже сквозь гул грозы".

Неистовство страсти в стихах Алейсандре неотделимо от столь же безудержного разрушения. "Любовь или смерть", "луч или меч" — в духе учения Эмпедокла о единой Любви-Раздоре, силой которой "то сходится все воедино", то "гонится врозь друг от друга" — для поэта нерасторжимы. Сам он, многократно перечитывавший натурфилософскую эпику греческих досократиков, называл себя "мистиком материи". Автор обстоятельной монографии о поэтике Алейсандре испанский лирик Карлос Бусоньо выделял у него ключевой и сквозной мотив "единения". А каталанский поэт, прозаик, литературный и художественный критик Пере Жимферер вообще считал, что "поэзию Алейсандре... можно подытожить одним словом — неразрывность... Каждый здесь, в этом всеобщем свете — неотделимом от столь же всеобщей тьмы — подобен другому, а все они вместе и суть поэт: слепой глаз, который видит себя самого; слово, которое, обозначаясь, обозначает мир; любовная страсть, находящая себя в телах других; восприятие, вбирающее в себя единство материи и духа. Постижение неделимого, содрогание и невозмутимость космоса, ставшего мыслью, и мысли, вместившей космос". Сам Алейсандре в той же Нобелевской лекции скажет о себе так: "Есть поэты "для немногих" — и дело здесь не в средствах выражения, а в точке отсчета. Они (независимо от масштаба способностей) адресуются к взыскательному собеседнику и работают с изощренными, узкими темами, с рафинированными частностями (какие тонкие и глубокие стихи на веерах писал Малларме!), с многократно очищенными сущностями обостренно чувствительного человека, взращенного цивилизацией мелочей.

Другие поэты (и тоже независимо от их масштаба) обращаются к главному в человеке. Не к тому, что различает людей в оттенках, а к тому, что единит их по существу. И даже глядя на человека в самой гуще современной цивилизации, они чувствуют, как из-под заношенной одежды лучится его неизменная, нагая суть. Любовь, печаль, ненависть, смерть всюду и всегда одни и те же. Это поэты корней, они обращаются к первичному, первозданному в человеке. Они не могут чувствовать себя поэтами "для немногих". К этим поэтам причисляю себя и я".

Мой голос

Я родился глухою летней ночью
и снова тишь. Я слушаю — ответь.
Я родился. О, если бы ты видел
агонию измученной луны.
Я родился. Тебя назвали счастьем;
в просвете, словно ласточка, надежда.
Приход, приход. Сердцебиенье моря,
пустая горстка, теплый медальон.
И явью стали блики, ласки, кожа, небо
и эти безотчетные слова,
округлые, как отзвуки в ракушке,
как ухо, обращенное навстречу —
ты слышишь? — подступающей заре.

Явь вовеки

Да это явь да явь и только это
глаза полуоткрытые заря
мысль или всхлип душа или разгадка
забыть про сон опять учиться счастью
уразуметь рассвет вне подозрений
он явь О нежная моя Послушай
Когда уже затишья не осталось
Когда ты снова плоть а я могила
Когда рассвет забрезжил
Ночь смилуйся о эта битва ночь
В утробном вопле В сахарном осадке
Под муками или в плевке и только
там в самой лжи такой незаменимой
о ночь ночей Пожар или пустыня

Мама, мама

Грусть как яма в земле,
что с нежностью вырыта словом,
вырыта мыслью о море,
где милостью волн убегают легкие барки.

Легкие, как оперившиеся птенцы,
любящие, как числа,
как этот последний порыв обняться на берегу
и горький покинутый силуэт, и неверная поступь.

Грусть — водяная воронка,
колодец, что пробуравлен песчаным смерчем,
колодец. Ты слышишь, мама? Ты словно нежное зеркало,
в которое смотрится чайка, устав от крыльев и зноя.

Мама, мама, зову,
мое безответное зеркало,
нежность улыбки, ранящей как стекло.
Мама, мама, открытая рана и перст в этой ране,
в этом колодце, мама, уходящем в грудь и вину.

Не всякая грусть заканчивается цветами,
а этой уже не под силу пробиться к свету,
хлынуть. Ты слышишь, мама? Как на колодезном тросе,
вот я держу мое сердце над черной ямой.

Пустыня

Lumen, lumen. Из мрака или света
нисходит откровенье. Во плоти.
Весь этот путь, весь этот морок — явен.
Но мукам снится, что и смерть — мираж.
Смерть, жизнь моя, люблю тебя от страха,
приклад винтовки, вскинутой к плечу.
Дыханье перехватывает. Стужа

бессмертьем залпа отдается. Жизнь —
мгновение,
чтобы позвать: “Мария”. И ни звука.
Мертвородящий пурпур. Белизна.
Касанье губ, захлестнутых водою.
Бесстрастный берег, о который бьются
тела и волны, и мое лицо.

Исаак Башевис Зингер

Нобелевская премия 1978 года

Рассказы

Перевод с английского Д. Веденяпина

Лекция

1

Я получил приглашение прочитать лекцию в Монреале. Стояла зима, и меня предупредили, что температура там на десять градусов ниже, чем у нас в Нью-Йорке. В газетах писали, что из-за обильных снегопадов нарушено движение поездов и что несколько рыбацких деревень оказались буквально отрезаны от остального мира: продукты и лекарства приходится сбрасывать туда с самолета.

Я экипировался как на Северный полюс. Надел толстое зимнее пальто поверх двух свитеров, взял с собой запасной комплект теплого белья и бутылку коньяка на случай, если поезд застрянет посреди какой-нибудь снежной равнины. Во внутреннем кармане пальто лежал рукописный экземпляр моей лекции о языке идиш и его блестящей будущности.

Поначалу все шло довольно гладко. По своему обыкновению, я явился на вокзал за час до отхода поезда и поэтому не мог найти носильщика. Я принялся разглядывать тех, кто, подобно мне, приехал сюда этим утром. Интересно, кто эти люди? Куда и зачем направляются?

Все мужчины были одеты гораздо легче меня — некоторые вообще расхаживали в демисезонных пальто. Женщины с яркими дорожными сумками и иллюстрированными журналами в руках щеголяли в норко-

© Д. Веденяпин. Перевод, 2003
Рассказы будут опубликованы в сборнике, готовящемся к печати в издательстве "Текст".

вых и бобровых шубках, нейлоновых чулках и модных шляпках — нарядные и элегантные. Они курили, болтали и то и дело заливались беззаботным смехом, который всегда потрясал меня до глубины души. Можно было подумать, что они не только никогда не задавались вечными вопросами, не только ни разу не сталкивались с такими несчастьями, как болезнь, смерть, война, нищета, предательство, но и с более мелкими неприятностями вроде опоздания на поезд, потери билета, пропажи багажа. Они флиртовали, как школьницы, демонстрируя свои кроваво-красные ноготки. На вокзале в тот день было неуютно и промозгло, но, похоже, никто кроме меня этого не замечал. А может, они и о Гитлере ничего не слышали? И о сталинском терроре? Да нет, наверное, слышали, но чужая боль — она и есть чужая...

От шерстяного белья у меня все зудело. Я вспотел, а временами меня начинал бить озноб. Кроме того, меня беспокоила моя лекция. С чего это я взял, что идиш ждет прекрасное будущее? Откуда такой оптимизм? Разве идиш не гибнет прямо у меня на глазах?

Четкость работы американского железнодорожного ведомства и легкость посадки на поезд всегда представлялись мне чем-то вроде чуда. Я хорошо помню, как в Польше пассажиров-евреев не пускали в вагоны и мне приходилось всю дорогу висеть на подножке, уцепившись за поручни. Не забыл я и железнодорожных забастовок, когда поезда застревали в пути на много часов и в дикой давке невозможно было протиснуться к туалету.

А тут я сидел в мягком кресле у окна. В хорошо протопленном вагоне. Ни тебе тюков, ни гигантских треухов, ни овчинных тулупов, ни *начальников*, ни жандармов. Никто не ел хлеб со свиным салом. Никто не пил водку из горлышка. Никто не поносил евреев, обзывая их предателями и изменниками. Никто вообще не говорил о политике. Едва поезд тронулся, в дверях нашего вагона возник огромный негр в белом фартуке и объявил ланч. Поезд не трясся, не дребезжал, а бесшумно скользил вдоль ледяного Гудзона. Мерцал морозный воздух, искрился снег. Птицы, оставшиеся зимовать в здешних краях, деловито кружили над замерзшей рекой.

Чем дальше, тем унылее становился пейзаж. Погода менялась буквально каждые несколько миль. То все вокруг заволакивал густой туман, то снова проглядывало солнце и за окном открывались серебристые просторы.

Вдруг повалил густой снег. Стемнело. Поезд уже не мчался, а еле-еле полз, словно нащупывая дорогу. Что-то случилось с отоплением, и мне пришлось надеть пальто. Мои соседи еще какое-то время притворялись, будто ничего не замечают, словно не желая признаваться, что им тоже бывает холодно. Но вскоре и они начали притопывать, ворчать, глуповато ухмыляться и, наконец, полезли в чемоданы за свитерами, шарфами, шерстяными носками и теплыми ботинками. Многие подняли воротники, засунули руки в рукава. Косметика на лицах женщин высохла и начала отваливаться, как штукатурка. На смену американского рая вновь возвращается суровая польская действительность. Вот кто-то уже пьет виски прямо из бутылки, другой ест хлеб с колбасой, чтобы согреть желудок. Начинается беготня в туалеты. Непонятно как и почему пол в вагоне становится скользким и грязным, стекла затягиваются наледью и расцветают морозными узорами.

Внезапно поезд останавливается. Выглянув в окно, я вижу рощицу. Деревья покрыты снегом, но все равно кажутся тонкими и кривыми, го-

лыми и обуглившимися, как после пожара. Хотя солнце уже село, алые полосы на западе еще не погасли. Снег на земле уже не белый, а фиолетовый. По нему, хлопая крыльями, с карканьем прыгают вороны. Сверху сыпятся седые слипшиеся хлопья, как будто работники небесного снегохранилища поленились разделить их на более аккуратные и изящные снежинки. Пассажиры ходят из вагона в вагон, не считая нужным закрывать за собой двери. Туда-сюда бегают проводники. Когда к ним обращаются, они, не останавливаясь, рявкают что-то невразумительное.

Канадская граница уже совсем близко; владения Дяди Сэма заканчиваются. Кое-кто из пассажиров стаскивает с полок сумки и чемоданы, готовясь к таможенному досмотру. Один натурализованный гражданин США достает из кармана документы и разглядывает собственную фотографию с таким сосредоточенным видом, словно сам не верит, что паспорт не поддельный.

Несколько смельчаков выпрыгивают из вагона, но проваливаются по колено в снег и забираются обратно. Вскоре сумерки гаснут, и наступает ночь.

Я вижу, что люди используют превратности путешествия как повод для знакомства. Женщины начинают болтать, и в их тоне появляется неожиданная интимность. Мужчины тоже вступают в беседы: делятся обрывками всевозможных сведений, дают друг другу советы. Однако ко мне почему-то никто не обращается. Я сижу один, жертва собственной застенчивости и отчужденности от мира. Я открываю книгу и тем самым возбуждаю еще большую неприязнь к себе со стороны других пассажиров, потому что читать книгу в такой момент — это, конечно, вызов. Я сам исключаю себя из общества, и выражение на лицах моих попутчиков весьма красноречиво: если мы не нужны тебе, то ты и подавно нам не нужен. Только имей в виду: рано или поздно мы тебе все равно понадобимся, а вот понадобишься ли нам ты — еще большой вопрос...

Я открываю свой гигантский чемодан, вытаскиваю бутылку коньяка и делаю несколько вороватых глотков. Потом прижимаюсь лбом к холодному оконному стеклу и стараюсь разглядеть то, что творится снаружи. Но различаю лишь отражение внутренности вагона. Заоконный мир исчез. Солипсистская философия епископа Беркли победила все прочие. Остается только терпеливо ждать, когда Божественная идея поезда, застрявшего на занесенных снегом путях, сменится Божественными идеями движения и прибытия.

Лекция отменяется, это уже понятно. Печальнее то, что поезд придет посреди ночи, и меня даже никто не встретит. Придется самому искать гостиницу. Эх, если бы у меня хотя бы был обратный билет! Впрочем, разве капитану Скотту, заблудившемуся в полярных льдах, было лучше? Уверен, он многое отдал бы за то, чтобы сидеть вот в таком ярко освещенном вагоне! Нет, мне еще грешно жаловаться!

Коньяк согрел меня. Пьянящие пары из пустого желудка поднимаются к голове. Я полусплю-полубодрствую. Время начинает течь по-другому. Рядом о чем-то разговаривают, я слышу слова, но не вполне понимаю, что они значат. Мной овладевает блаженное безразличие. Да пусть мы еще хоть трое суток простоим, мне-то что?! В чемодане у меня коробка крекеров, так что с голоду я не умру. Самые неожиданные мысли лезут в голову. Я, вернее, кто-то внутри меня бормочет какие-то фантастические фразы.

Поезд дергается. До меня доносится лязг и грохот, похожий на рев чудовищного вола, легендарного железного быка. Большинство пассажиров ушли в вагон-ресторан, но я словно врос в кресло. Детское упрямство охватывает меня: пусть знают, что мне нипочем эти банальные дорожные неурядицы, что я выше всего этого.

Все, кто проходят через наш вагон, косятся на меня и, наверное, составляют обо мне свое мнение. Но догадывается ли хоть кто-нибудь, что я — еврейский писатель, безнадежно опаздывающий на собственную лекцию? Больше чем уверен, что эта мысль не приходит в голову ни одному человеку. Это ведомо только небесам.

Я делаю еще глоток, потом еще. Никогда прежде не понимал страсти к пьянству, но теперь вижу, какая сила таится в алкоголе. В этой жидкости — тайна нирваны. Я уже не смотрю на часы. Не беспокоюсь о ночлеге. Я мысленно издеваюсь над своей лекцией. Ну не прочту я ее, и что? Людям не придется выслушивать очередную порцию вранья. Если бы можно было открыть окно, я бы выбросил рукопись в снег — пусть бумага с чернилами вернется туда, где нет ни лжи, ни ошибок. Атомы и молекулы невинны, они — часть Божественной Истины...

2

Поезд прибыл ровно в два тридцать ночи. Меня никто не встречал. Я вышел из здания вокзала. Дул пронизывающий ветер, от которого не спасали ни пальто, ни свитера. Все такси сразу же разобрали. Я вернулся назад и приготовился провести остаток ночи на вокзальной скамейке.

Вдруг я заметил хромую женщину и стоящую рядом с ней девушку. Они указывали на меня пальцами. Я остановился. Женщина опиралась на две толстые короткие палки. Она была морщинистой и простоволосой, типичная польская старуха, но, судя по ее черным глазам, дело тут было не столько в возрасте, сколько в нездоровье и какой-то общей несчастности. Она и одета была как в Польше: во что-то вроде меховой безрукавки. У ее туфель были такие носки и каблуки, каких я уже тысячу лет не видел. Она куталась в шерстяной платок с бахромой, похожий на тот, что когда-то носила моя мама. Девушка одета была довольно модно, но тоже весьма неряшливо.

Поколебавшись, я подошел к ним.

— Вы мистер N? — спросила меня девушка.

— Да.

Хромая женщина внезапно сделала резкое движение, словно собиралась, отбросив палки, захлопать в ладоши, и разразилась до боли знакомыми завываниями-причитаниями.

— Отец наш Небесный, — заголосила она. — Я сразу сказала дочери: это он, а она мне: нет, не он. Я вас узнала! Куда же вы пошли с чемоданом? Это просто чудо, что вы вернулись. Я бы никогда себе не простила. Ну, Бинеле, что ты теперь скажешь? У твоей матери еще кое-что осталось в голове. Я всего лишь женщина, но мой отец был раввином. А у образованных людей глаз наметан. Я, как вас увидела, сразу поняла: это он! Но теперь ведь яйца курицу учат. Она мне говорит: нет, не может быть. А тут вы как раз вышли на улицу. Я уж и сама засомневалась. В конце концов, все мы люди, каждый может ошибиться. Но когда вы вернулись, я уже не сомневалась. Дорогой вы мой, мы вас ждем с половины восьмого. Тут было много встречающих: учителя, работники образования, да-

же несколько писателей. Но поезда все не было и не было, и люди стали расходиться, сами понимаете, у многих — жены, дети. Людям надо рано вставать и идти на работу, но я сказала дочери: я отсюда никуда не уйду, не допущу, чтобы моего любимого писателя, чье каждое слово для меня на вес золота, никто не встретил. Если хочешь, дитя мое, сказала я ей, можешь ехать домой и ложиться спать. В молодости мне самой казалось, что, если не поспать одну ночь, мир перевернется. Но Гитлер дал нам хороший урок. Я его до смерти не забуду. Вы видите перед собой старую больную женщину, инвалидку. А знаете, чем мне приходилось заниматься в лагерях? Я и рвы копала, и вагоны грузила. Легче сказать, чего я не делала. Это там я заработала ревматизм. Мы спали на голых досках, на каких даже собаки спать не будут. А кормили нас так, что...

— Мама, — перебила ее дочь, — у тебя еще будет время обо всем рассказать. Вспомни, который час.

Только теперь я повнимательнее пригляделся к дочери. Хотя и лицом, и фигурой она походила на подростка, ей, наверное, было уже под тридцать, а то и за тридцать. Она была небольшого роста, тоненькая, с желтоватыми волосами, собранными узлом на затылке. С веснушками на болезненно-бледном лице. У нее были желтые глаза, круглый лоб, крючковатый нос, узкие губы, вытянутый подбородок. Шея обвязана мужским шарфом. Она напомнила мне хасидского мальчика. У нее был провинциальный выговор, который я почти забыл за долгие годы в Америке. Она воскресила во мне воспоминания о ржаном хлебе, тмине, твороге и колодезной воде в ведрах, покачивающихся на деревянном коромысле на плечах водоноса.

— Спасибо за заботу, — сказал я, — но мне это как раз очень интересно.

— Просто когда мама начинает рассказывать о тех временах, она может неделю говорить, две...

— Ша, ша! Ты зря думаешь, что мать совсем выжила из ума. Да, там, конечно, нервы нам попортили здорово. Даже удивительно, что мы еще не до конца свихнулись. А ей, думаете, лучше было? Ее ведь тоже чуть не загнали в печь. Там, в Освенциме. Нас разлучили. Я была уверена, что ее уже нет, что она там же, где ее братья. Можете себе представить, что я пережила? Но после освобождения мы нашли друг друга. Чего им от нас было нужно, этим нелюдям? Мой муж был святой человек, переписчик. Сыновьям приходилось работать с утра до вечера, потому что, сами понимаете, от надписывания мезуз[1] не разбогатеешь. Муж постился чаще, чем ел. На его лице сияла Слава Божия. Моих сыновей убили эти звери...

— Мама, перестань, пожалуйста...

— Да-да, молчу. Скоро совсем замолчу. Но она права. Прежде всего, дорогой мой, мы должны позаботиться о вас. Наш председатель сказал мне название гостиницы, которую для вас забронировали, но дочь не слышала, а я забыла. Я все забываю. Просто наказание какое-то. Положу что-нибудь куда-то и не могу вспомнить куда. Целыми днями ищу потом... Дорогой мой писатель, может быть, вы переночуете у нас? Конечно, квартирка у нас не ахти. Холодная, обшарпанная. Но все-таки лучше, чем ничего. Можно, конечно, позвонить председателю, но мне боязно будить его среди ночи. Он, прости Господи, такой раздражительный.

1. Мезуза — свиток пергамента с текстом Торы в небольшом футлярчике; прибивается к косяку двери еврейского дома. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Все кричит, что мы не цивилизованные. Я ему говорю: "Зато немцы цивилизованные, вот и идите к ним..."

— Поедемте с нами. Все равно уже скоро утро, — сказала мне девушка. — Он должен был записать название гостиницы или уж сказать его не маме, а мне. Мама вечно все забывает. Надевает очки и кричит: "Где мои очки?" Не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Позвольте я возьму ваш чемодан.

— Об этом не может быть и речи. Я сам. Он совсем не тяжелый.

— Вы, наверное, не привыкли таскать тяжести. А я там научилась. Если б вы видели, какие камни я там ворочала. Глазам бы своим не поверили. Я порой сама себе не верю. Иногда кажется, что это просто дурной сон...

— Нет-нет, вы не понесете мой чемодан, даже не думайте.

— Он настоящий джентльмен, хороший человек. Я сразу это поняла, как только прочла его книгу, — сказала мать. — Вы не поверите, но мы читали вас даже в лагерях, а когда, после войны, нам начали присылать книги, я как-то наткнулась на один ваш рассказ. Не помню, как он называется. Но когда я его прочла, у меня словно камень с души свалился. "Бинеле, — сказала я (мы тогда уже опять были вместе), — я нашла сокровище". Вот как я сказала.

— Спасибо. Большое вам спасибо.

— Это вы мне говорите спасибо? Это я вам должна сказать спасибо. Все беды из-за того, что люди глухи и слепы. Не видят даже тех, кто рядом. И поэтому мучают их. Мы живем среди слепых чудовищ... Бинеле, не позволяй этому прекрасному человеку нести чемодан...

— Да отдайте его мне. Пожалуйста!

Бинеле чуть ли не силой попыталась вырвать чемодан из моих рук. Но я не сдался.

Мы вышли на улицу, и сразу подъехало такси. Усадить в него пожилую женщину было не просто. Я до сих пор не понимаю, как ей удалось добраться до вокзала. Мне пришлось внести ее в салон на руках. К тому же она уронила палку, и мы с Бинеле долго искали ее в снегу. Таксист уже начал ворчать и чертыхаться на своем канадском французском. Наконец мы уселись и покатили по тускло освещенным улицам. Дорога была покрыта льдом и запорошена снегом. Хотя на шинах были цепи, машину все равно бросало из стороны в сторону и несколько раз занесло.

В конце концов мы въехали в квартал, напомнивший мне маленький польский городок: деревянные дома, узкая темная улочка. Женщина торопливо открыла кошелек, но я успел расплатиться прежде, чем она вынула деньги. Мать с дочерью накинулись на меня с попреками, и водитель раздраженным тоном велел нам побыстрее освободить машину. Мне снова пришлось на руках выносить женщину из такси. А потом рыться в снегу в поисках палки. После чего мы с Бинеле повели, а вернее сказать, потащили ее вверх по лестнице. Когда мы вошли в квартиру, на меня повеяло запахами, которых я не слышал бог знает сколько лет. Пахло плесневелой картошкой, гниловатым репчатым луком, цикорием и еще чем-то смутно знакомым и не вполне определимым. Каким-то таинственным образом мать с дочерью умудрились перевезти через океан свой польский дом со всей его жалкой обстановкой.

Женщины зажгли керосиновую лампу, и я увидел рваные обои, некрашеный дощатый пол, паутину в каждом углу. Печь была холодной, из всех щелей дуло. На лавке стояли треснутые горшки, тарелки с щербатыми краями, чашки без ручек. Я даже заметил метлу на куче мусора. Ни

один театральный режиссер, подумал я, не сумел бы так достоверно воссоздать атмосферу польской местечковой нищеты.

Бинеле начала извиняться: "Ой, какой беспорядок! Ай-яй-яй! Мы так торопились на вокзал, что даже не успели вымыть посуду. А вообще-то какой толк здесь убираться, в этой халупе? Хозяйку ничего не волнует, кроме квартплаты. Не дай бог заплатить ей на день позже — она вам в глотку вцепится. Но, конечно, по сравнению с тамошними условиями это дворец". И Бинеле рассмеялась, показав редкие зубы с золотыми коронками, поставленными, наверное, еще по ту сторону океана.

3

Мне постелили на раскладушке в маленькой комнатке с зарешеченными окнами. Бинеле укрыла меня двумя одеялами, а сверху положила мое пальто. Но все равно в доме было почти так же холодно, как на улице. Я лежал и никак не мог согреться.

Вдруг я вспомнил о своей лекции. Где она? Была во внутреннем кармане пальто. Не решаясь сесть из страха обрушить полусломанную раскладушку, я сунул руку в карман. Рукописи не было. Я поискал в пиджаке, висевшем рядом на спинке стула, — нет. В чемодане ее быть не могло: я открывал чемодан только один раз — чтобы достать коньяк. Я думал, что придется открывать его еще — для таможенного досмотра. Но таможенник махнул мне рукой, давая понять, что этого не требуется.

Наверное, я ее потерял. Но где? По словам приютивших меня женщин, лекцию перенесли на завтра. Но что, собственно, я буду читать? Оставалась последняя надежда: рукопись могла упасть на пол, когда Бинеле укрывала меня пальто. Стараясь не шуметь, я пошарил ладонью по полу, но раскладушка скрипела от малейшего движения. Мне даже показалось, что она начинает скрипеть заранее, стоит только подумать о том, чтобы изменить позу. Неодушевленные вещи на самом деле не такие уж неодушевленные.

Мать и дочь не спали. Из-за стены до меня долетало их невнятное бормотание. Похоже, они о чем-то спорили. Интересно, о чем?

Пропажа рукописи, подумал я, событие фрейдистское. Мне не нравилось то, что я написал. Тон, который я взял, вышел каким-то слишком напыщенным. И все-таки, о чем же я буду завтра говорить? Уж не постигнет ли меня судьба того докладчика, который начал свое сообщение фразой: "Перец[1] был очень своеобразным человеком" — и больше не мог выдавить из себя ни единого слова.

Если бы мне хотя бы удалось поспать! Ведь предыдущую ночь я тоже не спал. Бывает, что перед выступлением я не сплю по нескольку ночей кряду. По правде говоря, потеря рукописи была настоящей катастрофой. Я закрывал глаза, но они тут же сами собой открывались. Меня что-то укусило. Но когда я попробовал почесаться, раскладушка застонала, словно какой-нибудь несчастный от очередного приступа боли.

Я замер. Сна ни в одном глазу. Где-то зашуршала мышь, и вдруг раздался невообразимый грохот, словно какой-то огромный зверь клыками и когтями выламывал доски в полу. Ни одна мышь в мире не могла бы поднять такой шум. Ужасное чудовище пыталось разнести дом в щепу.

"Эта поездка меня доконает, — сказал я себе. — Живым я не вернусь".

1. Ицхок Лейбуш Перец (1851—1915) — еврейский писатель, публицист; жил в Польше.

Я лежал в каком-то странном оцепенении. Нос был заложен, и приходилось вдыхать ледяной воздух ртом. У меня перехватило дыхание. Надо было откашляться, но я боялся потревожить мать и дочь и окончательно доломать раскладушку, и так державшуюся на честном слове... Ладно, представим себе, что идет война и я — там, в оккупированной нацистами Польше. Надо хоть немного почувствовать, что это такое... Я вообразил, что я в Треблинке или в Майданеке. Весь день трудился как проклятый. Теперь лежу на голых досках. Завтра — "селекция", а поскольку мое физическое состояние хуже некуда, меня пошлют в газовую камеру... Я мысленно начал прощаться с теми, кого помнил и любил. И, видимо, задремал. Меня разбудил страшный крик. Я узнал голос Бинеле: "Мама! Мама! Мама!" Дверь распахнулась, и Бинеле крикнула: "Помогите! Мама умерла!"

Я вскочил, вернее, попытался вскочить и оказался на полу — раскладушка рухнула.

— Что случилось? — крикнул я.

— Она холодная! Я не могу найти спички! Вызовите врача! Врача! Зажгите свет! Мама! Мама! Мама!

Я не курю и поэтому никогда не ношу с собой спичек. Как был, в пижаме, я бросился в спальню. И в темноте налетел на Бинеле.

— Как мне вызвать врача? — спросил я.

Вместо ответа Бинеле распахнула дверь на лестничную площадку и крикнула:

— Люди, помогите! Моя мама умерла!

Она крикнула во весь голос, как принято у женщин в еврейских местечках. Но никто не отозвался. Я бросился на поиски спичек, заранее зная, что вряд ли найду их в этом странном доме. Бинеле вернулась в комнату, и мы с ней снова столкнулись. Ни с того ни с сего она крепко вцепилась в меня и завопила:

— Сделайте же что-нибудь! Сделайте что-нибудь! У меня больше никого нет! Кроме нее у меня никого нет!

И она разрыдалась. Я стоял потрясенный, не зная, что сказать.

— Найдите спички! Зажгите лампу! — выкрикнул я наконец, понимая, что она меня не слышит.

— Вызовите врача! Вызовите врача! — вопила Бинеле, хотя, несомненно, сама прекрасно понимала бессмысленность своего требования.

Она потащила меня к кровати, на которой лежала женщина. Я дотронулся до тела, нашарил руку и попробовал нащупать пульс. Но пульса не было. Рука, холодная и тяжелая, висела как плеть. У живых таких рук не бывает. Бинеле, похоже, поняла, что я делаю, и ненадолго притихла.

— Ну? Ну? Что? Она умерла? Умерла? У нее было больное сердце!.. Сделайте что-нибудь! Сделайте что-нибудь!

— Что я могу сделать? — ответил я. — Я ничего не вижу, — мои слова, казалось, имели двойной смысл.

— Помогите мне! Помогите! Мама!

— У вас есть соседи? — спросил я.

— Над нами живет один пьяница.

— Может, попросить спички у него?

Бинеле ничего не ответила. Вдруг я осознал, что ужасно замерз. Надо одеться, иначе воспаление легких обеспечено. Я дрожал, у меня стучали зубы. Я побежал в свою комнатку, но попал в кухню, бросился назад

и снова налетел на Бинеле, чуть не сбив ее с ног. Бинеле тоже была полуголой. Я бессознательно дотронулся до ее груди.

— Наденьте что-нибудь, — сказал я, — вы простудитесь.

— Я не хочу жить! Я не хочу больше жить! Она не должна была ехать на вокзал! Я ей говорила, но она такая упрямая... Она совсем ничего не поела. Даже чаю не выпила. Что мне теперь делать? Куда идти? О, мама, мама!

Внезапно наступила тишина. Наверное, Бинеле пошла наверх к соседу-пьянице. Я остался в темноте один на один с мертвым телом. Детские страхи вернулись ко мне. У меня возникло дикое чувство, что покойница пытается встать, что еще немного, и она вцепится в меня своими холодными пальцами и утащит туда, откуда не возвращаются. Ведь, в сущности, именно я был виноват в ее смерти. Ее погубило перенапряжение, связанное с поездкой на вокзал и многочасовым ожиданием. Я кинулся к входной двери, как будто и впрямь собираясь выбежать на улицу. При этом я больно ударился коленкой о стул. Костлявые пальцы тянулись ко мне. Какие-то мерзкие существа беззвучно вопили на меня. В ушах зазвенело, и подкатила дурнота, как перед обмороком.

Почему-то вместо того, чтобы оказаться у входной двери, я снова попал в свою комнату. Я споткнулся о валяющуюся на полу раскладушку, нагнулся и поднял пальто. Только теперь я почувствовал, насколько замерз и как безумно холодно в доме. Пальто было словно ледяной мешок. Я дрожал как в лихорадке. Зубы клацали, ноги тряслись. Я приготовился к смертельной схватке. Сердце бешено колотилось. Никакое сердце долго так не выдержит. Бинеле, вернувшись, обнаружит в квартире не один, а два трупа.

Вдруг я услышал голоса и увидел свет. Бинеле привела соседа. На плечах у нее было мужское пальто. Сосед, черноволосый длинноносый гигант, нес горящую свечу. Он был в халате, накинутом поверх пижамы, и босой. Даже в такой драматический момент меня потрясли его невероятно огромные ступни. Он подошел к кровати; тень от свечи металась по тусклому потолку. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что женщина умерла. Ее лицо изменилось до неузнаваемости. Рот ввалился. Это был уже не рот, а щель. Лицо пожелтело, застыло и стало похоже на глиняную маску. Только седые волосы казались живыми. Сосед пробурчал что-то по-французски, потом наклонился к женщине и потрогал ее лоб. Он произнес всего одно слово, и Бинеле снова залилась слезами. Сосед попробовал было что-то сказать, но, по-видимому, она его не понимала. Тогда он пожал плечами, отдал мне свечу и ушел к себе. Моя рука дрожала, и я ничего не мог с этим поделать. Огонек прыгал туда-сюда и чуть не погас. Я накапал стеарин на комод и кое-как приладил свечу.

Бинеле начала рвать на себе волосы и издала такой дикий вопль, что я невольно прикрикнул на нее:

— Прекратите вой!

Она бросила на меня удивленный, злобный взгляд и сказала тихо и неожиданно спокойно:

— Она была всем в моей жизни.

— Я понимаю... Но истерика тут не поможет.

Мой окрик вроде бы привел ее в чувство. Она застыла у кровати, молча глядя на мать. Я стоял напротив, с другой стороны. Я помнил, что у женщины был короткий нос. Теперь он вытянулся и загнулся вниз, как будто смерть проявила наследственную черту, странным образом скры-

тую при жизни. Лоб и брови тоже стали другими: в них неожиданно обозначилось что-то мужское. Истерика Бинеле, похоже, сменилась ступором. Она глядела на мать остановившимися широко открытыми глазами, словно не узнавая.

Я посмотрел на улицу. Сколько может длиться ночь? Пусть даже зимняя. Или солнце вообще больше не взойдет? Может быть, произошла та самая космическая катастрофа, которую теоретически допускал Дэвид Юм? И тут начались предрассветные сумерки.

Я подошел к окну и протер запотевшее стекло. Да, темнота была уже не полной, а словно разбавленной предчувствием утра. Кое-где можно было различить сугробы, стены, крыши. Вдали, ничего уже не освещая, горел фонарь. Я посмотрел на небо. Одну его половину окрасил рассвет, на другой еще сияли звезды. На какой-то миг я почти забыл о том, что произошло, зачарованный рождением нового дня. Звезды гасли одна за другой прямо у меня на глазах. На небе, как на детском рисунке, проступили красные, розовые и желтые полосы.

— Что же мне теперь делать? Что мне делать? — опять заголосила Бинеле. — Куда идти? К кому обратиться? Вызовите врача! Вызовите врача! — и она снова заплакала.

Я повернулся к ней.

— Что сейчас может сделать врач?

— Но кого-то же нужно вызвать.

— У вас совсем нет родных?

— Ни единого человека. У меня никого не осталось.

— А друзья? Может быть, позвать кого-то из лекционного клуба?

— Все они живут далеко отсюда...

Я ушел в свою комнату одеваться. Одежда была ледяной. Костюм, выглаженный перед поездкой, смялся. Туфли превратились в какие-то бесформенные мокроступы. Я взглянул на свое отражение в зеркале и остолбенел. Щеки ввалились, стали пепельно-серыми и заросли щетиной.

За окном повалил густой снег.

— Как я могу вам помочь? — сказал я Бинеле. — Я же здесь впервые и ничего не знаю.

— О, горе мне! Что ж я с вами делаю?! Наша беда и вас задела. Мне нужно выйти позвонить в полицию, но я не могу оставить маму одну.

— Я побуду здесь.

— Да? Мама вас очень любила. Все время говорила о вас... Весь вчерашний день...

Я опустился на стул, стараясь не смотреть на покойницу. Бинеле начала собираться. Будь я в своем обычном состоянии, я бы ни за что не решился остаться наедине с мертвым телом. Но я так продрог, не выспался и обессилел, что мне было уже все равно. Глубочайшая тоска охватила меня. Давно я не видел такой нищеты и столько горя сразу. Эта ночь как будто разом перечеркнула всю мою американскую жизнь и каким-то колдовским образом отбросила меня назад, к моим самым горьким дням в Польше. Я услышал, как хлопнула входная дверь. Бинеле ушла. Нет, оставаться в одной комнате с трупом было выше моих сил. Я выбежал на кухню. Потом распахнул дверь на лестницу. Я стоял у открытой двери, готовый в любую секунду выскочить на улицу, если покойница начнет выделывать свои штучки, которых я так страшился с самого детства. Мысленно я начал убеждать себя, что глупо бояться этой доброй женщины, хорошо относившейся ко мне при жизни и вряд ли нена-

видящей меня сейчас, если мертвые вообще способны что-то чувствовать. Но мои детские страхи оказались сильнее. Внутри у меня все похолодело. Казалось, что кто-то водит мне по ребрам ледяными пальцами. Сердце прыгало, как пружина в сломанных часах.

Мои нервы были на пределе: малейший шорох — и я бы опрометью кинулся вниз по лестнице. С площадки я видел дверь на улицу. Она была застекленной, но стекло запотело изнутри и обледенело снаружи — лишь бледное сумеречное свечение просачивалось сквозь него. Снизу тянуло адским холодом. Вдруг я услышал шаги. Покойница? Я уже приготовился броситься наутек, но в последний миг понял, что звук шагов доносится откуда-то сверху. Я увидел спускавшегося по лестнице соседа. Наверное, он шел на работу. На нем были резиновые сапоги и пальто, похожее на плащ-палатку. В руке он нес металлический ящичек для ланча. Бросив на меня любопытный взгляд, он произнес что-то на канадском французском. Приятно было хоть немного побыть с другим человеком. Я кивнул, развел руками и ответил ему по-английски. Но он продолжал что-то втолковывать мне на языке, которого я не знал, словно всерьез надеясь, что если я как следует напрягусь и сосредоточусь, то все-таки пойму его. В конце концов он взмахнул руками, буркнул что-то себе под нос и вышел. Входная дверь захлопнулась. Я остался один во всем доме.

А что, если Бинеле не вернется? Вдруг она сбежала? И меня заподозрят в убийстве. В нашей жизни все возможно. Я не отрываясь смотрел на входную дверь. Теперь я мечтал только об одном — поскорее вернуться в Нью-Йорк. Мой дом, моя работа сделались вдруг какими-то невероятно далекими и почти нереальными, чем-то вроде воспоминаний о предыдущем воплощении. Кто знает? Может быть, вся моя нью-йоркская жизнь — просто галлюцинация? Я начал шарить в нагрудном кармане в поисках паспорта. Неужели я и его потерял вместе с лекцией? Нет, паспорт, слава богу, был на месте. Я нащупал его твердый краешек. Этот документ — вещественный залог того, что моя американская жизнь не сон и не вымысел.

Вот моя фотография. Вот подпись. Вот государственная печать. Пусть неодушевленные, безжизненные, они все-таки символизируют порядок, принадлежность к чему-то реальному, законность. Я стоял в дверном проеме и фактически впервые читал документ, подтверждавший мое американское гражданство. Я так увлекся, что почти забыл о покойнице. Открылась входная дверь, и вошла Бинеле, запорошенная снегом. На ней был тот же самый платок, что вчера на ее матери.

— Я не нашла телефон.

Она расплакалась. Я сунул паспорт обратно в карман и пошел по лестнице ей навстречу. Жизнь вернулась. Долгий ночной кошмар кончился. Я обнял Бинеле, и она не отстранилась. Мои руки и грудь стали мокрыми от снега. Мы стояли на ступеньках, покачиваясь туда-сюда, — потерянный еврейский писатель и жертва Катастрофы и моей злосчастной лекции. Я заметил номер, выжженный у нее на руке чуть выше запястья, и как будто со стороны услышал собственный голос:

— Бинеле, я вас не оставлю. Клянусь душой вашей матери...

Ее тело обмякло у меня в руках. Бинеле подняла на меня глаза и прошептала:

— Почему она это сделала? Она просто ждала, когда вы появитесь.

Брошка

1

ВОЗВРАЩАЯСЬ из поездок, Вульф Бер всегда покупал подарки Циле и девочкам. На этот раз все сложилось на редкость удачно. Он вскрыл сейф и взял семьсот сорок рублей. Да вдобавок выиграл сто пятьдесят рублей в карты у богатого русского, с которым познакомился на обратном пути в поезде. Вульф Бер давно пришел к выводу, что от судьбы не уйдешь. Иной раз ничего не получается, хоть ты тресни, а иногда наоборот. Взять хотя бы эту поездку. Еще в начале он просто для забавы вытащил кошелек у одного ротозея, чего почти никогда не делал (медвежатник — не карманник), а в кошельке оказалось полным полно банкнот. Потом в турецкой бане нашел золотые часы. Когда ему так везло, Вульф Бер всегда возносил хвалу Создателю и опускал монетку в ящик для пожертвований. Вульф Бер не входил ни в какие банды и вел себя соответственно. Он знал, что воровство — грех. Но разве купцы сильно лучше? Покупают дешево, а продают дорого! Последние соки из бедняков выжимают! Да еще разоряются каждые несколько лет и рады-радешеньки, если сохранят хоть что-то от былого богатства. Когда-то Вульф Бер работал дубильщиком в Люблине. Но выносить каждый день пыль, жару, вонь оказалось выше его сил. Мастер вечно их подгонял, орал, что они отлынивают от работы. Жалованье было курам на смех. Нет, лучше уж гнить в тюрьме!

Вульф Бер уже не первый год жил воровством. Несколько раз его ловили и даже сажали в тюрьму, но всегда ненадолго. Он умел разговаривать с начальством: "Господин начальник, у меня жена, дети..." Он никогда не огрызался и не строил из себя героя. Он и в камере держался миролюбиво: ни с кем не дрался, а наоборот — делился с другими заключенными деньгами и куревом, писал для них письма домой. Родители Вульфа Бера были уважаемыми людьми. Его богобоязненный отец работал маляром. Мать торговала требухой и телячьими ножками. Он единственный в семье пошел по воровской дорожке. Вульфу Беру было уже под сорок. Он был среднего роста, широкоплечий, кареглазый, с желтоватыми, цвета пива, усами, подкрученными вверх на польский манер. Носил облегающие брюки и сапоги с высокими узкими голенищами, делавшими его еще больше похожим на гоя: поляки были уверены, что еврею просто не влезть в такие узкие сапоги, потому что ноги у евреев шире и толще. Фуражка у Вульфа Бера была с кожаным козырьком. Из кармана жилетки свисала цепочка от часов с приделанной к ней специальной ложечкой для выковыривания ушной серы. Другие воры ходили с пистолетами или выкидными ножами, но Вульф Бер никогда не носил при себе оружия. Пистолет рано или поздно выстрелит, нож — заколет. Зачем проливать кровь? Зачем обрекать себя на суровое наказание? Вульф Бер был осторожным и рассудительным человеком; он любил подумать и почитать, причем не только развлекательные рассказы, но и газеты. Женщины часто пытались соблазнить его своими прелестями, но у Вульфа Бера был один Бог и одна жена. Да и что такого могли бы дать ему другие женщины, чего не было у Цили? С распутницами Вульф Бер знаться не желал. Он никогда не переступал порога борделя и не пил. У него была верная жена и две хорошо воспитанные дочери. У него был дом с садом в Козлове. Девочки ходили в гимназию.

На Пурим[1] Вульф Бер всегда посылал рабби подарок. Перед Песахом[2] старейшины общины приходили к нему за пожертвованиями для бедняков.

На этот раз Вульф Бер купил у люблинского ювелира золотые серьги Циле и два медальона дочерям, Маше и Анке. До Рейовца он ехал на поезде, потом взял извозчика. Он устроился на козлах и помогал править. Вульф Бер не любил двусмысленных шуточек, которыми сидевшие в экипаже коммерсанты обычно обменивались с женщинами. Попутчики всегда пытались втянуть и его в свои пустые разговоры, но он предпочитал молча смотреть на небо, деревья, слушать пение птиц. В полях таял снег. Из-под него выглядывали озимые. Низкое золотое солнце казалось нарисованным на холсте. Коровы на пастбищах щипали молодую траву. Из леса тянуло теплом, словно там, в чаще, притаилось лето. Иногда на опушке мелькали заяц или косуля, а дорогу перебегал еж.

Вульф Бер уезжал из дому раза четыре в год. Если все протекало гладко, примерно недель на шесть. Он всегда ездил в одни и те же города, на одни и те же ярмарки. В Козлове знали, чем именно Вульф Бер зарабатывает на жизнь. Но он никогда не воровал у своих, и в его отсутствие Циля всегда могла рассчитывать на кредит в любой лавке. Покупки записывались в специальную амбарную книгу, и Вульф Бер, возвращаясь, погашал все долги до последнего гроша. Когда однажды Вульфа Бера посадили в Янове за решетку, козловские лавочники не оставили Цилю в беде. Они наотпускали ей товаров на сотни рублей. Циля не раз жаловалась Вульфу Беру, что продавцы обвешивают и обмеривают ее, мухлюют со счетами. Но Вульф Бер никогда не опускался до выяснений. Таков мир.

Возвращаясь домой, Вульф Бер чувствовал, что, как обычно, ужасно соскучился и по Циле, и по девочкам, и по кушаньям Цили, которых нельзя было заказать ни в одном ресторане, и по своей постели, с которой не могла сравниться ни одна гостиничная тахта. Наволочки и простыни в их доме всегда были идеально чистыми, гладкими как шелк и приятно пахли лавандой. Циля всегда приходила в спальню вымытая и причесанная — заплетя волосы в косы, — в модной ночной сорочке и в тапочках с помпонами. Она целовала его, как невеста, и шептала ему на ухо всякие нежности. Дочери, хотя были не такими уж маленькими: младшей — десять, старшей — одиннадцать, — по-прежнему висли на нем, зацеловывали, показывали ему свои учебники, оценки, рисунки, сочинения. Одеты они были как дворянские дети: ленты в волосах, накрахмаленные плиссированные платьица, фартучки с вышивкой, сияющие туфельки. Они знали не только идиш, но еще русский и польский; рассуждали о странах и городах, про которые Вульф Бер даже не слышал; разбирались в истории войн и королей; читали наизусть стихи и целые поэмы. Вульф Бер всегда поражался: как столько знаний умещается в таких крошечных головках? Профессия отца не обсуждалась. Считалось, что он коммивояжер. Их дом стоял на Храмовой улице возле высокого моста. Соседи-христиане не знали, чем он занимается, или делали вид, что не знают. На Рождество и на Пасху он всегда дарил им подарки.

1. Пурим — праздник в память об избавлении евреев от смертельной опасности.
2. Песах — праздник, в который отмечается исход евреев из египетского плена и начало существования евреев как нации.

Тарантас, в котором ехал Вульф Бер, остановился на рыночной площади. Хотя, казалось бы, Пурим был совсем недавно, в прогретом воздухе уже чувствовалось приближение Песаха. По раскисшей земле бежали золотистые ручейки. Воробьи выклевывали зернышки из конского навоза. Крестьянки продавали хрен, петрушку, свеклу, репчатый лук. Вульф Бер расплатился с извозчиком, дав ему сверху двадцать грошей на чай, как принято в больших городах. Подхватив свой кожаный саквояж с блестящими медными замочками и множеством кармашков, он направился в сторону Храмовой улицы. Лавочники провожали его взглядами. Девушки, раздернув занавески, протирали запотевшие стекла. Откуда ни возьмись появился дурачок Шацкеле, и Вульф Бер протянул ему несколько монет. Даже собаки у мясной лавки приветливо виляли хвостами.

Слава Богу! На Песах он будет дома. Циля приготовит седер[1], он выпьет положенные четыре бокала, поест оладушков из мацы, шариков из мацы, заливной рыбы. Поскольку он неплохо подзаработал, он оденет всю семью. С его ремеслом лучше тратить деньги не откладывая. Вдруг Вульф Бер уловил знакомый запах. Он проходил мимо мацопекарни. Вульф Бер остановился и заглянул в окно. Женщины, с раскрасневшимися лицами, в косынках и белых передниках, раскатывали тесто, то и дело останавливаясь, чтобы почистить скалки кусочками стекла. Одна женщина лила воду, другая замешивала тесто, третья острой палочкой протыкала дырочки в маце. Мужчина вынимал из печи на лопате готовую мацу. Рядом с ним, хмуря брови и отчаянно жестикулируя, стоял еще один мужчина, с пейсами и в ермолке, — машгиах[2]. Вульф Бер вспомнил своих родителей. Где они сейчас? Наверное, в раю. Конечно, их сын ведет не слишком праведный образ жизни, зато он поставил памятник на их могиле. Каждый год в их память он зажигает свечу, нанимает человека изучать Мишну[3] и читает по ним кадиш[4]. Бог милостив к грешникам. Если бы это было не так, Он давно бы наслал на землю новый потоп.

2

Когда Вульф Бер дошел до Храмовой улицы, ему ни с того ни с сего стало страшно. Какая-то сила, знающая больше, чем дано знать человеку, казалось, предупреждала его: радоваться — рано. Внутренний голос говорил ему: еще не Песах, ты еще не на седере. Вульф Бер остановился. Может быть, Циля заболела? Или что-то случилось с девочками? Или ему, Вульфу Беру, все-таки суждено закончить свои дни в тюрьме? Но почему? Он никогда не оставлял следов. Стараясь отогнать от себя дурное предчувствие, он быстро зашагал мимо островерхих заборов, за которыми виднелись низенькие, словно построенные для карликов дома. Из подтаявшего поздреватого снега торчали стебли прошлогодних подсолнухов. На крыше дома Марчинского вернувшиеся аисты чинили свое гнездо. А вот и его дом, с крышей, похожей на грибную шляпку. Из трубы поднимался белый дымок. В оконном стекле полыхало полуденное солнце. Все в порядке, успокоил себя Вульф Бер. Он открыл дверь и увидел свою се-

1. Седер — вечернее пасхальное застолье.
2. Машгиах — эксперт, следящий за приготовлением пищи в соответствии с еврейскими религиозными предписаниями.
3. Мишна — основной законодательный источник иудаизма, книга, состоящая из шестидесяти трех трактатов.
4. Кадиш — поминальная молитва.

мью. Циля стояла у печки в короткой юбке и красных тапочках, белокожая и юная на вид, как девочка. Светлые волосы собраны узлом на затылке. Узкая талия и стройные ноги, широкие в икрах и тонкие в лодыжках. Никогда еще она не казалось ему такой свежей и привлекательной. Дочери, сидя за столом, играли в какую-то игру костяными палочками.

Поднялся радостный гвалт; все, толкаясь, кинулись к нему. Циля чуть не опрокинула горшок с кашей. Девочки повисли на нем, осыпая его поцелуями. В соседней комнате пронзительно заверещал попугай, очевидно узнав голос хозяина. Едва Вульф Бер прикоснулся губами к Цилиным губам, его охватило желание. Он целовал и целовал ее и никак не мог оторваться. Маша с Анкой дрались за него. Чуть погодя он открыл саквояж и достал подарки, что вызвало новую бурю радости. Потом Вульф Бер пошел в комнату поздороваться с попугаем. Птица, сидевшая на одной ножке на клетке, взмахнула крылями и опустилась ему на плечо. Вульф Бер поцеловал попугая в клюв и дал ему крендель, который специально купил ему в подарок в Люблине. Попугай сменил свои зимние перышки на новые — яркие-преяркие.

— Папа, папа, папа! — проскрипела птица.

— Скажи: я люблю папу!

— Люблю, люблю, люблю!

Все хорошо. Тревожиться не о чем. Вульф Бер окинул дом хозяйским взглядом. Все сияло: пол, медные сковородки над печкой, латунный самовар. По традиции каждый год перед Песахом полагалось белить стены, но он не видел ни единого пятнышка.

— Лучшей жены во всем мире не сыщешь, — сказал он вслух.

Сидя в экипаже, он чувствовал себя разбитым и невыспавшимся. А сейчас всю усталость как рукой сняло. Циля принесла ему печенье и рюмку вишневки.

Когда они с Цилей остались в комнате одни, она спросила его, сверкнув глазами:

— Ну, как все прошло?

— Пока у меня есть ты, все идет хорошо, — смущенно ответил Вульф Бер, стыдившийся своего ремесла.

Обычно Циля не задавала ему лишних вопросов, да и сам он редко что-нибудь рассказывал. Со временем она, похоже, примирилась с его способом заработка. Вульф Бер заговорил о новых нарядах для нее и дочерей. Циля сомневалась, что какой-нибудь портной примет заказ — ведь Песах уже совсем близко. Тем не менее они решили, что она пройдется по магазинчикам, торгующим тканями, и что-нибудь подберет. Циле нравилось делать покупки. Вульф Бер вручил ей пачку банкнот, и она ушла, прихватив с собой детей. Они договорились, что заодно она погасит долги. А Вульф Бер прилег на диван отдохнуть. Он знал, что Циля приготовит праздничный ужин, и ему хотелось быть бодрым. Он мгновенно уснул, и ему приснилось, что он в Люблине. Он мылся в корыте в тесном грязном закутке. От его тела исходил дурной запах. Он снова был дубильщиком. Открылась дверь, и в комнату, где он мылся, всунулось чумазое лицо какой-то женщины в растрепанном парике. "Сколько можно мыться? — раздраженно сказала она. — Уже время седера!" Вульф Бер вздрогнул и проснулся. Что за ерунда? Он чувствовал горечь во рту. Сновиденье было удивительно ярким. В ноздрях у него до сих пор стоял отвратительный запах необработанной кожи. Вульф Бер вытащил из нагрудного кармана гаванскую сигару, подарок русского, у которого он выиграл сто пятьдесят рублей в карты. Вообще-то Вульф Бер не курил сигар. Он сворачивал па-

пироски, но сейчас ему захотелось попробовать сигару, стоившую целую полтину. Он вспомнил, что когда-то купил себе янтарный сигарный мундштук с золотым ободком. Если уж курить сигару, то по всем правилам.

Он принялся искать мундштук, но его нигде не было. Вульф Бер не любил, когда у него пропадали вещи. Он заглянул во все ящики, пошарил в самых укромных уголках, обыскал дубовый сундук. На одной из полок в платяном шкафу стояла жестяная коробка, в которой хранились свидетельства о рождении, брачный контракт, документы на покупку дома и прочие важные бумаги. Едва ли мундштук мог попасть сюда, но на всякий случай Вульф Бер открыл коробку. Мундштука не было, зато на брачном контракте лежала бриллиантовая брошка. Вульф Бер оторопел. Это еще что такое? Он разбирался в украшениях. Бриллианты были настоящими. Брошка казалась старинной. Чем дольше Вульф Бер ее разглядывал, тем больше удивлялся. Как она сюда попала? У него такой брошки никогда не было, у Цили тоже. Может быть, Циля тайком от него скопила денег и купила ее за полтыщи рублей? Но в Козлове такую вещь не купишь! Осмотрев брошку со всех сторон, Вульф Бер заметил на обратной стороне две выгравированные буквы: алеф и гимел. Вульф Бер положил брошку в карман. Настроение было испорчено. Он вернулся на диван. Лежа с закрытыми глазами, он пытался разгадать эту внезапно свалившуюся на него загадку. Но сколько ни ломал голову, ответа не было. Он снова уснул и опять очутился в том же самом закутке в Люблине, вновь различил резкий запах сыромятной кожи и химикатов, какими пользуются на кожевенных фабриках. Простоволосая женщина с морщинистым лицом опять сердито позвала его на седер. Вульф Бер проснулся. Что же это такое? Может, Циля завела себе любовника, и эта брошка — его подарок? Вульф Бер ощутил противный вкус во рту. Он рыгнул, у отрыжки был неприятный запах. Вульф Бер сплюнул в носовой платок. Но какое-то объяснение должно быть! И что значат алеф и гимел? Неужели в Козлове нашелся еврей, решившийся на роман с замужней женщиной? И могла ли его Циля пойти на такое? Чем больше Вульф Бер об этом думал, тем непонятней представлялась ему вся эта история. Он зашагал по комнате.

— Может, ты знаешь, в чем дело, — обратился он к попугаю. — Рассказывай.

— Папа, папа, папа! Люблю, люблю, люблю!

Стемнело. Окна позеленели. На стене дрожали алые отсветы заката. Попугай забрался в клетку и приготовился ко сну. Вульф Бер закурил гаванскую сигару и сидел в темноте, делая глубокие затяжки. Непривычный аромат опьянил его. Время от времени он опускал руку в карман и дотрагивался до брошки. Он напряженно прислушивался к каждому звуку, долетавшему с улицы. Где его жена? Почему ее так долго нет? Он решил, что не будет начинать никаких разговоров, пока дети не лягут спать. Вскоре он услышал шаги и голоса. Циля вернулась. Она и девочки — все трое с пакетами в руках — весело ворвались в комнату. Голос Цили звенел от радости.

— Вульф Бер, где ты? Почему ты сидишь в темноте? Ты куришь сигару?

— Русский подарил в поезде.

— У меня от этого запаха голова кружится. Мы, наверное, скупили всю лавку. Погоди. Я зажгу свет.

— Ты не знаешь, где мой янтарный мундштук?

— Нет.

Девочки прыгали вокруг него со свертками в руках. Сначала Циля зажгла настольную лампу, потом ту, что свисала с потолка на бронзовых цепях. К подвесной лампе была приделана бутылочка из тыквы, набитая свинцовами шариками, – грузик, удерживающий лампу в равновесии. Чего только Циля не накупила: и шелк, и шерсть, и бархат. Более того, она уже договорилась с портным Лазарем, что тот сошьет ей несколько платьев до Песаха. Теперь с хозяйской сноровкой она принялась готовить ужин. Обычно дети ложились спать рано, но возвращение отца – праздник! Циля уже пообещала им, что завтра они могут пропустить гимназию.

3

Сидя за столом, Вульф Бер нахваливал Цилины кушанья, но сердце у него было не на месте. Он торопливо поужинал, время от времени бросая на Цилю пристальные взгляды. Сразу же после чая с вареньем и коврижкой он велел девочкам идти спать. Они закричали, что это нечестно, ведь они еще не показали ему свои книги, карты, рисунки. Но Вульф Бер был непреклонен: все это может подождать и до завтра; ночью дети должны спать.

Попрепиравшись еще немного, девочки ушли в свою комнату. Циля взяла его сторону, посылая ему понимающие улыбки. Наверное, ему не терпелось поскорее остаться с ней наедине. Тебе хочется, да? – казалось, спрашивал ее взгляд. Вульф Бер пошел в спальню, разделся и сел на свежезастланную кровать. Его сапоги с жесткими мысками стояли рядом, как в армии. По обыкновению, перед тем как прийти к мужу, Циля вышла на кухню помыться и расчесать волосы. Она надела новую ночную сорочку, побрызгалась духами и почистила зубы пастой, как в больших городах. Да, пожалуй, он мной не отравится, решила она, поглядевшись в зеркало. Циля думала, что Вульф Бер сразу же потушит лампу и займется с ней любовью, но он продолжал неподвижно сидеть на постели, глядя на нее исподлобья.

– Будь добра, закрой дверь.

– Что-то случилось?

– Закрой дверь.

– Она закрыта.

Вульф Бер вытащил из-под подушки брошку.

– Откуда у нас эта вещь?

Когда Циля увидела брошку, ее лицо изменилось – стало растерянным и мрачным.

– Она у нас уже очень давно.

– Что значит "давно"?

– Несколько лет.

– Как она к тебе попала?

Циля помолчала, потом подняла брови и сказала тоном человека, который сам не надеется, что ему поверят:

– Я ее нашла.

– Нашла? Где?

– На женской половине синагоги.

– Ты часто ходишь в синагогу?

– Это было на Рош-ха-Шана[1].

1. Рош-ха-Шана – еврейский Новый год (обычно приходится на сентябрь).

— И ты не спросила, кто ее потерял?

— Нет.

— Почему ты мне ничего не сказала?

Циля пожала плечами:

— А разве я обязана тебе все рассказывать?

Муж с женой говорили тихими голосами, потому что дети в соседней комнате еще не спали. Вульф Бер помолчал немного.

— Здесь выгравированы две буквы: алеф и гимел.

— Да.

— Чья эта брошка?

Циля, не отвечая, подошла к двери и проверила, хорошо ли она закрыта. Было видно, что ей очень не хочется, чтобы девочки слышали их разговор. Впервые в жизни Вульф Бер различил вызов в ее глазах.

— Ты что, следователь?

— Чья она? — повысил голос Вульф Бер.

— Не кричи! Альты Гитл.

В ту же секунду Вульф Бер все вспомнил. Ну конечно! Все только об этом и говорили.

— Но ведь брошка Альты Гитл пропала на Хануку[1], а не на Рош-ха-Шана.

— Ну и что?

— Как она попала к тебе?

— Я ее нашла. На улице.

— Только что ты сказала, что нашла ее в синагоге.

— Какая разница?

— Брошка Альты Гитл пропала на свадьбе Доры Лии, — сказал Вульф Бер не то Циле, не то сам себе. — Ты была там... И даже рассказывала мне потом, что всех обыскивали. Я помню... И где же ты ее спрятала?

Циля усмехнулась.

— Смотрите, как он меня допрашивает! Тоже мне, праведник нашелся.

— В общем, ты ее украла?

— А почему тебе можно, а мне нельзя? — Циля заговорила быстрым шепотом. — Чего ты так расшумелся? Весь город знает, чем ты занимаешься. Нашим детям проходу не дают. Учителя и те над ними издеваются. Когда в гимназии что-нибудь пропадает, все сразу думают на Машу и Анку. Я тебе не говорила, потому что не хотела тебя расстраивать. А мне самой приходится краснеть десять раз на дню. И вот теперь ты разыгрываешь передо мной святого. Если бы я была святой, никогда бы за тебя не вышла. Разве не ясно?

— Значит, ты действительно ее украла?

— Да, украла.

Взгляд Цили выражал насмешку и страх одновременно.

— Как ты это сделала?

— Отцепила от ее накидки, когда говорили поздравления молодым. Сама не знаю, что на меня нашло. Эта брошка лежит у нас уже несколько лет. Зачем ты рылся в моих ящиках?

— Искал мундштук.

— Твой мундштук я не брала.

Наступила тишина. Вульф Бер сидел не шевелясь, с каменным лицом. Даже не злость, а глубокая печаль охватила его. Словно он с опоз-

1. Ханука — праздник в память о победе еврейских повстанцев маккавеев над греко-сирийским царем Антиохом и чуде с храмовым маслом.

данием узнал о кончине близкого родственника. Все эти годы он считал Цилю честной женщиной и постоянно корил себя за то, что опозорил барышню из хорошего дома. Она жаловалась, что из-за его ремесла ее сторонятся соседки, и без конца напоминала ему, как важно, чтобы их дети получили хорошее образование и выросли приличными людьми. А когда несколько лет назад его арестовали и чуть не посадили в тюрьму, именно Циля примчалась в Янов и добилась его освобождения. Потом она рассказывала, как, рыдая, бросилась в ноги прокурору, умоляя его до тех пор, пока он не сказал: "Встань, моя красавица, не могу больше видеть твои слезы". Вульфу Беру никогда прежде не приходило в голову, что у этой истории, возможно, имеется неизвестное ему продолжение. Сколько раз городские женщины пытались завлечь его в свои сети, но он всегда говорил им, что в Козлове его ждет верная жена, чудесная женщина, преданная мать их детей. Он рисковал свободой, чтобы она ни в чем не нуждалась. Даже отказывал себе в дорогих ресторанах и театрах. И вот теперь выяснилось, что все это зря. Что-то внутри него хохотало: ну и дурак же ты, Вульф Бер, ну и дурак! Он почувствовал дурноту; ему показалось, что в эту минуту его настигла старость.

— Потушить свет? — спросила Циля.

— Как хочешь.

Циля задула ночник и ушла на свою кровать. Какое-то время никто из них не произносил ни слова.. Вульф Бер прислушивался к тому, что творится у него внутри. Он чувствовал холод, как будто ему на грудь положили ледяной компресс.

— Ты спала с прокурором?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Прекрасно понимаешь.

— Ты с ума сошел.

Вульф Бер закрыл глаза и вытянулся на холодной простыне. Из-за стены доносились шепот и хихиканье — девочки еще не спали. От порывов весеннего ветра дрожали ставни. Лунный свет проникал сквозь щели. Время от времени кровать Цили начинала скрипеть. Возвращаясь домой, Вульф Бер мечтал о Циле, но теперь желание ушло. Все кончено, сказал он себе. Семь добрых лет позади[1]. Он чувствовал, что в нем что-то умерло. Кто знает, может быть, и дети не от него? Не было больше смысла трястись в поездах, ночевать на постоялых дворах, испытывать судьбу на ярмарках.

— Если она воровка, я должен стать честным человеком, — пробормотал он. — Двух воров в одной семье быть не может.

Вульф Бер сам поразился своей мысли. Но он чувствовал, что другого выхода у него нет. Он еще полежал немного, прислушиваясь к темноте. Потом спустил ноги на пол.

— Ты куда?

— В Люблин.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

— Что ты будешь там делать?

Вульф Бер повернулся к Циле:

— Устроюсь дубильщиком.

1. Аллюзия на библейскую историю Иосифа, предсказавшего египетскому фараону семь лет благоденствия и семь лет голода.

Контрабандист

ЗАЗВОНИЛ телефон. Взяв трубку, я услышал какое-то невнятное беканье и покашливание. Наконец звонивший справился с голосом и сказал:

— Наверное, вы уже об этом забыли, но однажды в Филадельфии вы пообещали подписать мои, в смысле, ваши книги. Вы оставили мне свой адрес и телефон. Адрес у вас прежний, а телефонный номер сменился. Ваша секретарша дала мне его при условии, что я не стану отнимать у вас слишком много времени.

Он попытался напомнить мне, о чем именно я говорил в тот день в Филадельфии, и я понял, что наша встреча произошла лет десять назад.

— Вы скрываетесь? — спросил он меня. — Раньше вас можно было найти в телефонной книге. Я — на свой скромный манер — поступаю аналогичным образом. Я тоже избегаю людей.

— Почему? — спросил я.

— Для того чтобы это объяснить, потребуется время, а я обещал, что не буду вам докучать.

Я пригласил его зайти вечером того же дня. Дело было в декабре — в Нью-Йорке выпал снег. По идиоматическому идишу моего почитателя я понял, что он из тех польских беженцев, что перебрались в США уже после войны. Те, кто приехал сюда раньше, к месту и не к месту вставляли в речь английские слова. Я подошел к окну. Улица была белой, а небо — лиловым. Мелодичное бульканье батареи навеяло воспоминания о нашей изразцовой печке на Крохмальной улице и керосиновой лампе над папиным столом. По опыту я знал, что мои гости сплошь и рядом появляются раньше условленного времени. В любой момент мог раздаться звонок в дверь, но прошло полчаса, а никого не было. Я попробовал разглядеть хотя бы одну звезду, заранее понимая, что едва ли отыщу ее в небе над Нью-Йорком. Вдруг я услышал какое-то царапанье возле входной двери. Выглянув на площадку, я увидел маленького человечка с тележкой, доверху заваленной книгами. На улице стоял мороз, а мой посетитель был в потертом плаще, рубашке с открытым воротом и в тонкой вязаной шапочке.

— У вас нет дверного звонка? — спросил он.

— Кнопка вот здесь, — показал я.

— Где? Я плохо вижу. Старость не радость. Мы умираем по частям.

— Откуда у вас столько моих книг? Входите, пожалуйста.

— Я не хочу пачкать вам ковер. Наверное, лучше оставить тележку за дверью. Вряд ли на нее кто-нибудь позарится.

— Входите, входите! Ничего страшного.

Я помог гостю ввезти тележку в квартиру.

— Никогда не подозревал, что я такой плодовитый, — сказал я. — Неужели я действительно столько всего понаписал?

— Тут не только ваши книги, но и книги о вас, и журналы, и альманахи, и переводы.

Мы прошли в гостиную, и я сказал:

— На улице зима, а вы так легко одеты! Вам не холодно?

— Холодно? Нет. Мой отец, да покоится он в мире, говорил так: "Никто не надевает варежку на нос. Нос не мерзнет. Бедняк весь состоит из носа".

Он улыбнулся, и я заметил, что у него нет зубов. Он был похож на уличного бродягу, типичного обитателя ночлежек. Но его худое лицо и глаза светились добротой.

— Где вы держите все эти книги? — поинтересовался я. — В своей квартире?

Он покачал головой.

— У меня нет своей квартиры. Я как мальчишки-ешиботники[1] в нашем местечке, которые каждый день ели в разных домах. Вот и я тоже — то у одного переночую, то у другого. Два дня в неделю я провожу у зятя, мужа моей покойной сестры. Еще у меня есть друг, домовладелец. В случае чего я могу пожить у него. Раньше у меня был свой угол в Бруклине, но наш дом признали непригодным для жилья и сломали. Однажды я заболел и угодил в больницу. Так пока я там лежал, у меня все украли — кроме книг. Мой друг-домовладелец хранит их у себя в подвале. Я получаю компенсацию от немцев. После того что произошло с моей семьей и с моим народом, у меня пропало всякое желание обзаводиться недвижимостью.

— Чем вы занимались до войны? — спросил я.

Мой гость задумался, потом улыбнулся.

— Делал то, что вы как-то посоветовали делать в одной из статей: занимался контрабандой, прятался, путал следы. Я читал вас еще в Польше. Вы однажды написали, что человек по природе своей не может действовать прямо. Нам всем приходится маневрировать между силами зла и безумия.

Я помню, как во время Первой мировой войны, когда я был еще совсем маленьким, мама с сестрой нелегально вывозили мясо из Галиции, а из-за границы привозили табак и другие запрещенные товары. Иначе мы бы просто померли с голоду. Когда их ловили, им доставалось по первое число. Кроме меня в нашей семье было еще четверо детей, старая больная бабушка и отец, который с утра до вечера изучал Мишну и читал нараспев псалмы и Книгу Зогар[2]. Я как-то спросил его, за что на нас обрушились все эти несчастья, и он ответил вашими словами: у изгнанников не может быть нормальной жизни. Они вынуждены скрываться от тех, у кого есть власть и оружие. Как только человек получает власть, говорил отец, он становится злым. Тот, у кого есть нож, закалывает; тот, у кого есть пистолет, стреляет; тот, у кого есть перо, пишет законы, оправдывающие воров и убийц. Когда я вырос и начал читать светские книги, я понял: то, что отец говорил о евреях, верно в отношении всего человечества и даже в отношении животных. Волки пожирают овец, леопарды задирают антилоп. В нашем местечке жили коммунисты, которые верили, что товарищ Ленин и товарищ Сталин сражаются за мировую справедливость. Но когда те пришли к власти, выяснилось, что они ничем не лучше всех прочих. Сегодня — жертва, завтра — тиран. История не знает исключений. Я читал о теориях Дарвина и Мальтуса. Существуют законы жизни, понял я, — отец знал, о чем говорил. После того как Польша обрела независимость, необходимость в контрабанде отпала, но правило "кто силен, тот и прав" продолжало действовать. Я так и не освоил никакого ремесла. А если бы даже и выучился на портного или сапожника, думаю, у меня все равно не хватило бы терпения по десять часов в день пришивать пуговицы или прибивать набойки к башмакам. Жениться и производить на свет новые жертвы для новых убийц мне тем более не хотелось. Оба моих младших

1. Ешиботник — учащийся ешивы, высшей еврейской религиозной школы, готовящей раввинов и преподавателей иудаизма.
2. Книга Зогар — один из основных трудов по еврейской мистике — каббале.

брата вступили в компартию и в результате оказались в сталинских лагерях на Крайнем Севере. Мой третий брат уехал в Израиль и погиб от арабской пули. Моих родителей и сестру убили нацисты. Да, можно сказать, что я стал контрабандистом. И моей контрабандой был я сам, мое собственное тело. Вершиной моей контрабандистской деятельности следует признать переезд в США в сорок девятом году. Мои шансы выжить и перебраться в Америку были практически нулевыми. Если бы вы спросили, кто я по профессии, я бы сказал, что я еврейский поэт. А как можно определить, поэт человек или не поэт? Если какому-нибудь редактору понадобилось заткнуть дырку в журнале и он опубликовал ваше стихотворение, вы — поэт. Если этого не случилось, вы — графоман. Мне никогда не везло с редакторами, поэтому я принадлежу ко второй категории.

— Можно спросить, зачем вам автографы? — поинтересовался я.

— Небольшой заскок, который, вероятно, есть почти у каждого. Если бы Джек Потрошитель поднялся из могилы, люди бросились бы к нему за автографом, причем женщины — в первую очередь. Я веду непрекращающуюся войну со своим эго, которое все время от меня чего-то требует. Например — есть, а я заставляю его поститься! Или — славы, а я обрекаю его на бесславие. Эго-шмего, вот как я его называю, голод-шмолод! Все всегда делаю ему назло. Оно хочет на завтрак свежих булочек, а я кормлю его черствым хлебом. Оно любит крепкий кофе, а я вынуждаю его пить тепловатую воду из-под крана. Оно все еще мечтает о молоденьких девушках, а ходит в девственниках. Десять раз на дню я говорю ему: "Оставь меня в покое! Ты притворяешься другом, а на самом деле ты — мой злейший враг! Все твои хотения нужны мне, как дырка в голове!" Чтобы это эго-шмего не слишком зазнавалось, я заставляю его читать старые газеты, которые подбираю с пола в метро. Слава Богу, пока я выхожу победителем, по крайней мере мне еще хватает сил сделать его несчастным.

— Вы верите в Бога? — спросил я.

— Да. Ученые полагают, что наша Вселенная возникла двадцать миллиардов лет назад в результате космического взрыва. Недели не проходит, чтобы не открыли какое-нибудь новое свойство атома. И тем не менее, по их теориям, все это случайность. У них теперь новый идол — эволюция! Этой эволюции они приписывают больше чудес, чем все верующие всем святым, вместе взятым. Удобная теория для оправдания своего хищничества. Раз нет ни Бога, ни Божественного замысла, ни цели, можно с чистой совестью обманывать и убивать направо и налево.

— Бог для вас, — спросил я, — что-то вроде Небесного волка?

— Да. Космический волк. Абсолютный диктатор. Ведь все это Его творения: голодные волки, перепуганные овцы, борьба за выживание, рак, инфаркты, безумие. Ведь это Он создал Гитлера, Сталина, Хмельницкого и Петлюру. Говорят, Он каждый день творит новых ангелов. Они славословят Его, поют Ему гимны, а потом Он уничтожает их, как старых большевиков.

Мой гость умолк, и я подписал свои книги для взрослых, книги для детей и журналы.

— Где вы все это взяли? — спросил я.

— Купил. Не украл, — ответил он. — Когда мне удается сэкономить несколько долларов, я покупаю книги. Не только ваши, в основном научные.

— Но вы же не верите в науку, — заметил я.

— Я не верю в космологию и социологию.

— Если хотите, оставьте мне ваши стихи, — предложил я. — Мне было бы интересно их почитать.

— Зачем? — сказал он, поколебавшись немного. — Не стоит.

— Мне кажется, у вас есть талант, — сказал я. — Как знать, может быть, вы великий поэт?

— Нет-нет-нет, никоим образом. Просто человек должен чем-то заниматься, кем-то быть. Вот я и балуюсь стишками. Но спасибо на добром слове. Да и вообще, кому в наше время нужна поэзия? Она уже и самим поэтам-то не очень нужна.

— Есть люди, которым она нужна.

— Нет.

Мой гость протянул мне руку, а другой взялся за тележку. Провожая его к двери, я еще раз предложил ему оставить мне стихи, и он сказал:

— Большое спасибо. Что может сделать поэзия? Ничего. Среди нацистов тоже было немало поэтов. Днем они вытаскивали младенцев из кроваток и сжигали их в печах, а по ночам писали стихи. Уверяю вас, одно не исключает другого. Вовсе нет. Спокойной ночи.

Октавио Пас

Нобелевская премия 1990 года

Сыны праха

Глава из книги

Перевод с испанского Татьяны Ильинской

Традиция разрыва

ЭТА книга – о современной поэтической традиции. Смысл последних трех слов состоит не только в том, что существует современная поэзия, но и в том, что *современное* – тоже традиция. Традиция, которая то и дело прерывается и каждый раз, прерываясь, рождается вновь. Мы понимаем под традицией давно сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение понятия, предания, легенды, верования, обычаи, литературные и художественные формы, идеи, стили; и если этот процесс вдруг прерывается, то традиция исчезает. Но если обрывается связь, которая соединяет нас с прошлым, если нарушается преемственность поколений, можно ли называть традицией то, что обрывает связь и нарушает преемственность? Более того, если представить себе, что из века в век скептики начнут отрицать традицию и повторение этого отрицания из поколения в поколение уже само по себе станет со временем традицией, то будет ли она подлинной традицией, если в конкретный миг станет утверждать не преемственность, а разрыв? Традиция разрыва подразумевает не только отрицание традиции, но и отрицание разрыва... И даже если вместо слов "прерываться" и

© 1974: Octavio Paz
© Т. Ильинская. Перевод, 2003

"разрыв" мы возьмем другое слово, в котором противостояние идеям связи и преемственности будет не столь мощным, например: традиция современная, — это противоречие никуда не денется. Ведь если традиционность основана главным образом на далеком прошлом, как же современность может быть традиционной? Если традиция означает присутствие прошлого в настоящем, как можно говорить о традиции без прошлого и как понимать превознесение того, что отрицает прошлое, то есть сиюминутности в чистом виде?

Несмотря на такое глубинное противоречие и иногда с полным осознанием его, как в случае размышлений Бодлера в "L'art romantique"[1], с начала XIX века принято говорить о современности как о некой традиции и понимать разрыв исключительно как форму перемен. Говоря о современности как о некой традиции, я допускаю маленькую неточность: нужно было бы сказать *другая* традиция. Современность есть традиция полемическая, и она вытесняет традицию господствующую, какой бы эта последняя ни была; но она ее вытесняет, чтобы мгновение спустя уступить место уже другой традиции, которая, в свою очередь, есть другое кратковременное проявление современности. Современность никогда не бывает той же самой: она всегда другая. И характеризуется она вовсе не новизной, а разнородностью. Разнородная традиция, или традиция разнородности, современность приговорена к разнообразию: старинная традиция всегда та же самая, современная — всегда другая. Первая печется о единстве прошлого и нынешнего; вторая подчеркивает разницу между ними, но этим не ограничивается, она еще и утверждает, что прошлое — это не единое целое, оно разнообразно. Традиция современности — гетерогенность, множество прошлых, решительное отчуждение. В настоящем нет прошлого, сегодня родилось не из вчера: разрыв между ними, отрицание их связи — вот что такое современность. Она самодостаточна: едва появляясь, она создает свою собственную традицию. Точно так же смотрит на вещи североамериканский критик Харолд Розенберг в своей несколько лет назад опубликованной книге "The tradition of the new"[2]. Хотя новое не обязательно современно — есть новшества совсем не современные, — дерзкое название книги Розенберга здраво и ясно выражает парадокс, на котором замешаны искусство и поэзия нашего времени. Это определенный интеллектуальный принцип, который их оправдывает и одновременно отрицает, питает и тут же убивает. Искусство и поэзия нашего времени живут современностью и гибнут от нее же.

В истории западной поэзии культ нового, любовь к новизне возникают с регулярностью, может быть и не циклической, но точно не случайной. Есть эпохи, когда эстетический идеал состоит в подражании древним; но есть и другие, когда превозносят новое и неожиданное. Всем известны, как пример последнего явления, английские поэты-"метафизики" и поэты испанского барокко. И те и другие с равным пылом исповедовали эстетику неожиданного. Новизна и неожиданность — понятия не равноценные, но близкие. Образы, метафоры, аллегории и другие речевые фигуры поэзии барокко предназначались для того, чтобы вызывать изумление: новое только тогда ново, когда оно неожиданно. Новизна XVII века не была критической, не отрицала традицию. Напро-

1. "Романтическое искусство" (*франц.*) (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. "Традиция нового" (*англ.*).

тив, она утверждала ее непрерывность; Грасиан[1] отмечает бóльшую изощренность своих современников по сравнению с древними, но не отличие их от древних. Он восхищается определенными современными ему произведениями не потому, что их авторы отрицают стиль предшественников, а потому, что они из тех же элементов создают новые и неожиданные комбинации.

Ни Гонгора[2], ни Грасиан не были бунтарями в том смысле, какой мы сейчас вкладываем в это слово; они не ставили себе задачей изменить идеал красоты своей эпохи, хотя Гонгора фактически его изменил: новое для них было не синонимом изменения, но синонимом изумления. А для того чтобы обнаружить странный союз эстетики неожиданного и эстетики отрицания, нужно подойти к концу XVIII века, то есть к началу современной эпохи. С самого своего рождения современность — это критическая страсть и, следовательно, двойное отрицание — как критика и как страсть — и классической геометрии, и барочных лабиринтов. Страсть головокружительная, ибо в апогее отрицает сама себя: современность есть способ творческого самоуничтожения. Вот уже третий век поэтическое воображение возводит свои замки на грунте, размываемом критикой. И нельзя сказать, чтобы воображение не подозревало о зыбкости почвы... Что отличает нашу эпоху от других, так это не превознесение нового и неожиданного, хотя это, конечно, тоже есть, а наличие разрыва: критика недавнего прошлого, обрыв связи с ним. Мало того, что современное искусство — дитя эпохи критики, но оно еще и критично по отношению к себе самому.

Я уже говорил, что новое не обязательно современно, если только оно не несет в себе взрывоопасную смесь: отрицание прошлого и утверждение чего-то иного. Это *иное* сменило имя и форму за последние два века — проделав путь от *чувствительности* преромантиков до *метаиронии* Дюшана[3], — но суть его неизменна: оно всегда чуждо и странно для господствующей традиции; это гетерогенность, которая вторгается в настоящее и меняет его курс в неожиданном направлении. Иное не только отличается от традиционных вкусов, но и противоречит им: оно есть отчуждение, активное противостояние. Новое нас прельщает не потому, что новое, а потому, что иное; а иное — это уже отрицание, это нож, рассекающий время пополам: на прошлое и настоящее (на прежде и на теперь).

Тысячелетняя древность тоже может объединиться с современностью: достаточно того, чтобы она, вдруг представ перед нами, начала отрицать существующую традицию и предлагать нам иную. И тогда, неся в себе не меньшую силу отрицания, чем новое, древность перестает быть прошлым: она становится началом. Противоречивая страсть ее воскрешает, вдыхает жизнь и превращает в нашу современность. В искусстве и литературе нынешней эпохи есть стойкое направление архаизации: от народных немецких песен Гердера до древнекитайской поэзии, воскрешенной Паундом, от Востока Делакруа до искусства Океании, любимого

1. Бальтасар Грасиан-и-Моралес (1601–1658) — испанский писатель, священник-иезуит, виднейший теоретик барокко.
2. Луис де Гонгора-и-Арготе (1561–1627) — испанский поэт, зачинатель аристократической поэтической школы в испаноязычных литературах.
3. Марсель Дюшан (1887–1968) — французский художник, один из лидеров дадаизма, теоретик и практик "антикультуры" — программы замещения художественного творчества экспонированием реальных вещей. Пас написал о нем книгу "Marcel Duchamp o el castillo de la pureza" (1968).

Бретоном[1]. Но к какой бы эпохе и цивилизации ни принадлежали все эти явления — хоть в живописи, хоть в скульптуре, хоть в поэзии, — их возникновение на нашем эстетическом горизонте всегда означало разрыв, изменение. Новшества столетней или тысячелетней давности не раз прерывали нашу традицию, отчасти превращая историю современного западного искусства в историю воскрешений искусств многих исчезнувших цивилизаций. Целиком принадлежа к эстетике неожиданного и ее мощному влиянию, но главное, воплощая в себе на миг критическое отрицание, произведения, взявшие за образец старое искусство и искусство далеких цивилизаций, естественно вписываются в традицию разрыва. Они суть одна из личин, явленных нам современностью.

Современная традиция стирает противоречия между древностью и настоящим, между далеким и близким. Кислотой, в которой эти противоречия растворяются, служит критика. Но дело в том, что критическое слово вызывает сильный отклик в умах, и поэтому я бы соединил слово "критика" со словом "страсть". Союз этих двух слов подчеркивает парадоксальный характер нашего культа современности. Критическая страсть — это неумеренная, пылкая любовь к критике, ее четкому механизму разрушения, но это также критика, влюбленная в свой объект, критика, увлеченная тем, что критикует. Влюбленная в себя и всегда в раздоре с собой, она не утверждает ничего постоянного, не основывается ни на каком принципе: отрицание всех принципов, вечное изменение — вот ее принцип. Поэтому достичь апогея она может только в страстном стремлении к самой совершенной и самой естественной форме изменения: к *сейчас*. Настоящее уникально, отлично от всего другого. Истинный смысл культа настоящего ускользнет от нас, если мы не заметим, что в основе его лежит любопытное представление о времени, до современной эпохи практически не существовавшее, кроме отдельных, исключительных случаев: для древних сегодня повторяет вчера, для нас оно его отвергает. В одном случае время видится и ощущается как некая упорядоченность, как некий процесс, в котором любое колебание или отклонение кажутся лишь исключением из правила; в другом случае этот процесс — материя неупорядоченная, потому что колебания и отклонения являются правилом. Для нас время не есть повторение одинаковых мгновений или веков: каждый век — и каждый миг — уникален, отличен от другого, *иной*.

Традиция современности скрывает в себе парадокс, более глубокий, чем тот, что состоит в противоречии между старым и новым, нынешним и традиционным. Оппозиция настоящего прошлому в буквальном смысле слова испаряется, потому что время проходит настолько быстро, что несхожесть разных времен — прошлого, настоящего, будущего — стирается или, по крайней мере, делается скоротечной, неощутимой и незначительной. Мы можем говорить о современной традиции, не опасаясь

1. Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803) — немецкий писатель, критик, богослов, философ. Проповедовал национальную самобытность искусства, утверждал историческое своеобразие и равноценность различных эпох культуры и поэзии. Собирал и переводил народные песни; Эзра Лумис Паунд (1885—1972) — американский поэт, основоположник и главный теоретик американского модернизма. Его поэзия насыщена имитациями и стилизациями поэтов античности, европейского Средневековья, Древнего Китая и Древней Японии; Эжен Делакруа (1798—1863) — живописец и график, глава французского романтизма. Значительную часть его творчества занимают произведения на темы Востока; Андре Бретон (1896—1966) — французский писатель, один из основоположников сюрреализма.

впасть в противоречие, потому что современная эпоха так отшлифовала антагонизм между стариной и новизной, между традиционностью и актуальностью, что от него просто ничего не осталось. С ускорением времени не только теряют всякий смысл различия между тем, что уже произошло, и тем, что сейчас происходит, но стирается разница между старостью и юностью. Наша эпоха превозносит молодость и ее ценности так неистово, что превращает это преклонение если не в новую веру, то уж в суеверие точно; тем не менее никогда еще все не старилось так явно и так быстро, как сейчас. Наши художественные коллекции, поэтические антологии и библиотеки полны стилей, движений, портретов, скульптур, романов и поэм, преждевременно состарившихся.

Двойной, головокружительный эффект: событие всего лишь минутной давности — уже в мире бесконечно далеком, но одновременно явление тысячелетней давности бесконечно близко... Вывод напрашивается сам собой: современная традиция и те противоречивые идеи и образы, что стоят за этими двумя словами, есть лишь следствие некоего феномена, еще более потрясающего, а именно: современная эпоха — эпоха ускорения исторического времени. Не хочу сказать, что дни и годы бегут сегодня быстрее, чем раньше, нет, но в них совершается гораздо больше событий. Они насыщены событиями, которые происходят почти в одно и то же время, не одно за другим, а одновременно. Ускорение — это слияние: все времена и все пространства сходятся здесь и сейчас.

Но спроси меня кто-нибудь, вправду ли история сегодня убыстряет свой ход, признаюсь, я не смогу ответить на этот вопрос и полагаю, что никто бы не ответил с полной уверенностью. Возможно, ускорение исторического времени — иллюзия; возможно, перемены и потрясения, что удручают нас либо, наоборот, восхищают, не так уж радикальны и значительны, как нам поначалу кажется. Например, Советская революция явилась перед нами таким сокрушительным разрывом между прошлым и будущим, что некий автор, описавший путешествие в Россию, назвал свою книгу, если я правильно помню, "Визит в будущее"[1]. Сегодня, полвека спустя после этого события, в котором мы видели сияющее воплощение будущего, исследователь или даже просто турист в России изумляется живучести традиционных черт старой Руси. Знаменитая книга Джона Рида, повествующая о жарких днях 1917 года, описывает, как нам теперь кажется, далекое прошлое, в то время как книга маркиза де Кюстина[2], где речь идет о бюрократической и полицейской машине царизма, оказывается сегодня актуальной во многих своих аспектах. Пример мексиканской революции тоже заставляет нас усомниться в так называемом ускорении истории; произошла колоссальная встряска, имевшая целью модернизировать страну, и тем не менее именно особый склад мыслей и чувств — наследие еще доиспанского мира, — является самым примечательным в современной Мексике. То же самое можно сказать и о материи искусства и литературы: в течение последних полутора веков стряслось много перемен и эстетических революций, но как не заметить, что эта череда разрывов есть одновременно и непрерывность? Цель этой книги — показать, что один и тот же принцип вдохновляет немецких и английских романтиков, французских символистов и

1. Точное название книги — "Я видел рождение нового мира". Автор — Линкольн Стеффенс (1866—1936), американский публицист.
2. Астольф де Кюстин (1790—1857) — маркиз, французский литератор. По приглашению императора Николая I посетил Россию. Впечатления от этой поездки легли в основу его книги "Россия в 1839" (тт. 1—4, 1843).

всемирный авангард первой половины XX века. Вот только один пример из многих: не раз Фридрих фон Шлегель[1] определяет любовь, поэзию и иронию романтиков в терминах, которые век спустя использует Андре Бретон, рассуждая об эротике, воображении и юморе сюрреалистов. Влияние, совпадение? Ни то ни другое: неизменность определенного способа думать, видеть и ощущать.

У нас появится куда больше сомнений и они усилятся, если вместо недавнего прошлого мы обратимся к далеким эпохам или совсем иным цивилизациям. В своих исследованиях по сравнительной мифологии Жорж Дюмезиль[2] раскрыл существование некой общей всем индоевропейским народам, от индийского и иранского до кельтов и германцев, "идеологии", которая выстояла и теперь еще держится, невзирая на фактор двойной разобщенности — географической и исторической. Разделенные тысячей километров и лет, индоевропейские народы до сих пор не утратили склонности к троичной концепции мира. Я убежден в том, что подобное происходит и с людьми монголоидной расы как в Азии, так и в Америке. Они просто ждут своего Дюмезиля, который раскроет их глубокое единство. Еще до Бенджамина Ли Уорфа[3], который первым научно обосновал резкую противоположность структур мышления европейцев и народа хопи[4], разные исследователи обращали внимание на тот факт, что все американские индейцы сохраняют первобытное мировоззрение. Тем не менее противостояние цивилизаций, возможно, прикрывает некое тайное единство: единство человека. Кто знает, может, культурные и исторические различия имеют один источник, который почти не меняется. Человеческая природа не иллюзорна: она подлинна и неизменна и рождает перемены и различия в культурах, историях, религиях, искусствах.

Размышляя так, мы могли бы прийти к выводу о том, что ускорение истории — это иллюзия или что перемены затрагивают лишь ее поверхность, не нарушая глубинной реальности. События случаются одно за другим, и бурные волны исторического прибоя скрывают от нас подводный пейзаж недвижных холмов и гор. Тогда в каком смысле мы говорим о современной традиции? Но будь ускорение истории хоть иллюзией, хоть реальностью — сомнение тут вполне законно, — с определенной уверенностью можно сказать только одно: общество, в котором родилось выражение *современная традиция*, — совершенно особое общество. Эти два слова выражают нечто большее, чем логическое и семантическое противоречие: они отражают драматическое состояние нашей цивилизации, которая ищет опору не в прошлом, не в каком-нибудь незыблемом принципе, но в изменении. Можно считать, что социальные структуры меняются очень медленно и что ментальные структуры инвариантны, можно верить в историю и ее беспрестанные превращения, но бесспорно одно: наше представление о времени изменилось. Доста-

1. Фридрих фон Шлегель (1772–1829) — немецкий критик, филолог, философ, писатель.
2. Жорж Дюмезиль (1898–1986) — французский историк культуры и филолог. Исследовал влияние социальных функций на развитие религии, мифологии и эпоса индоевропейских народов.
3. Бенджамин Ли Уорф (1897–1941) — американский языковед, этнограф. Исследовал проблему соотношения языка и мышления, языка и общества. Совместно с Э. Сепиром выдвинул идею о том, что структура языка определяет структуру мышления, специфику духовной культуры общества, говорящего на данном языке (гипотеза Сепира–Уорфа). Исследовал языки американских индейцев.
4. Хопи — племя североамериканских индейцев.

точно сравнить то, как понимаем время мы и как его понимал какой-нибудь христианин XII века, чтобы сразу заметить разницу.

Как только это произошло, тут же нарушилась наша связь с традицией. Вернее, именно оттого, что переменилось само понятие времени, пришло осознание традиции. Народы, строго следующие традициям, живут, сосредоточась на своем прошлом, не пытаясь понять его; не осознав как следует свои традиции, они живут с ними и в них. Тот же, кто сознает, что придерживается некой традиции, сознает себя безусловно уже отдельным от нее, и это сознание рано или поздно приводит к анализу традиции, а иногда и к отрицанию ее. Критика традиции начинается с осознания принадлежности к ней. Наша эпоха отличается от других представлением о ходе времени — нашим осознанием истории. Теперь становится более ясным значение того, что мы называем *современной традицией*, — это выражение нашего исторического сознания. С одной стороны, оно есть критика прошлого, критика традиции; с другой — отрицание, не раз повторявшееся на протяжении двух последних веков, возводящее традицию на уникальном фундаменте, невосприимчивом к критике по своей неотличимости от нее: на изменении, на истории.

* * *

Связь между тремя временами: прошлым, настоящим и будущим — различна в каждой цивилизации. Для примитивных обществ временной архетип, модель настоящего и будущего, есть прошлое. Не вчерашнее прошлое, а давнее, источник всех прошлых, начало всех начал. Словно некий родник, это прошлое прошлых течет непрерывно, впадает в настоящее и, смешиваясь с ним, образует единственную подлинную реальность. Социальная жизнь не история, а ритуал; она состоит не из последовательных изменений, а из ритмического повторения вневременного прошлого. Прошлое — архетип, и настоящее должно подгоняться к этой непреложной модели; кроме того, прошлое присутствует всегда, поскольку возвращается в обряде и в празднике. Таким образом прошлое, будучи образцом, непрерывно воспроизводимым — насколько обычай этого требует, защищает общество от изменений. Двусторонность такого прошлого — с одной стороны, оно неизменное и непроницаемое для изменений время, с другой, является не тем, что произошло однажды, а тем, что происходит всегда, — делает его настоящим. Так или иначе, архетипическое прошлое ускользает от случайного и преходящего; хотя оно — время, но также — и отрицание времени: оно разрешает противоречия между тем, что было вчера, и тем, что есть сегодня, устраняет различия и выводит в победители регулярность и тождественность. Нечувствительное к изменениям, оно по преимуществу норма: все должно происходить так, как происходило в давнем прошлом.

Ничто так не отличается от нашего понятия времени, как понятие времени у первобытных людей: для нас время — это изменения, для них оно фактор, изменения устраняющий. Архетипическое прошлое древних (категория в последнюю очередь временная, в первую — реальность, лежащая по ту сторону времени) является подлинным началом. Эту потустороннюю реальность, примиренную с самой собой, где время покоится (если можно так выразиться), все общества, исключая наше, воображали уже никак не изменявшейся, ибо, возвращенное, неподвижное, прозрачное, время ее остановилось, а если и течет без остановки,

то всегда идентично самому себе. Странное торжество принципа тождества: противоречия исчезают, потому что идеальное время вневременно. Для древних вневременная модель находится не "после", а "до", не в конце времен, а в начале начал. И с самого начала она постоянно воспроизводится, что трудно понять христианину с его представлением о конце времен, несущем гибель или спасение.

Примитивное общество с ужасом взирает на перемены, неизбежно следующие за шагом времени, оно очень далеко от того, чтобы счесть их благотворными, нет, любое изменение — это зло: то, что для нас история, для примитивных народов — ошибка, падение. Цивилизации Востока и Средиземноморья, а также и доколумбовой Америки, смотрели на историю с тем же недоверием, но не отрицали ее так радикально. Они воспринимали прошлое — всегда неподвижное и всегда равное настоящему у примитивных народов — в кругах и спиралях, как разные возрасты мира. Удивительную метаморфозу претерпевает у них вневременное прошлое: оно проходит, подвергается изменению, одним словом, делается временным. Оно оживает, превращается в исходное семя, дающее росток, который тянется вверх и, набирая соки, вырастает в полную силу, а потом начинает сохнуть и умирает — чтобы возродиться снова. Образец продолжает быть прошлым, предшествующим всем временам, счастливой эпохой начала, где царит гармония и неба, и земли. Это прошлое обладает свойствами растений и живых существ; оно является живой субстанцией, чем-то таким, что может изменяться, а главное, рождаться и умирать. История есть деградация начального времени, медленный, но неумолимый процесс распада, ведущий к смерти.

От изменения и угасания спасает возвращение: прошлое — это некое время, которое вновь появляется и ждет нас в конце каждого цикла. Прошлое — это грядущее. Таким образом, будущее выступает перед нами двуликим: оно и конец времен и их начало, оно смерть архетипического прошлого, но оно и его воскресение. Конец цикла — это и реставрация подлинного прошлого, и начало новой неизбежной деградации. Разница между таким представлением и воззрениями христиан значительна, также значительна разница между воззрениями христиан и современных людей: для христиан совершенное время — в вечности, где времени просто нет, а история аннулируется; для современных людей совершенство, если оно вообще есть, может помещаться только в будущем. Другая разница: наше будущее, по определению, не похоже ни на прошлое, ни на настоящее — это область неизведанного, в то время как будущее Древнего Средиземноморья и Древнего Востока неизменно впадает в прошлое. Циклическое время течет, оно есть история; но оно и возобновление и каждый раз, возобновляясь, отрицает и свое течение, и историю.

Время начальное, образец всех времен, эра согласия между человеком и природой, между человеком и обществом, называется на Западе "золотым веком". Для других цивилизаций — китайской, месоамериканской — символом гармонии между людьми и природой было не золото, а нефрит. В зеленом нефрите воплощается постоянное обновление природы, а в золоте материализуется солнечный луч. Нефрит и золото имеют двойной символический смысл — только двойственность может выразить смерть и воскресение, следующие друг за другом в циклическом времени. В одной фазе время сгущается и превращается в твердую и совершенную материю, как будто хочет избежать изменений и связанной с ними деградации; в другой фазе камень и металл становятся мягкими,

время разлагается и становится тленом. Но фаза распада и тления есть также фаза воскресения и плодородия: древние мексиканцы клали на губы умерших кусочек нефрита.

Амбивалентность золота и нефрита отражает амбивалентность циклического времени: временной архетип располагается во времени и принимает форму прошлого, которое возвращается, только вот возвращается оно для того, чтобы снова уйти. Нефритовая или золотая, счастливая эпоха — это время согласия, это согласие времен, которое длится всего мгновение. Это мгновение настоящего согласия, однако время, чудесно сконденсированное в нефритовой капле или в золотом колоске, вдруг начинает испаряться и исчезать. Возвращение предохраняет нас от изменений истории, но только для того, чтобы затем подвергнуть им в более жестокой форме: изменения, перестав быть случайностью, падением или ошибкой, превращаются в последовательные мгновения неумолимого процесса. Даже богам не миновать круговорота. Кецалькоатль исчезает именно там, где исчезают и боги, к которым тщетно взывает Нерваль[1]: это место, говорится в поэме индейцев-науатль, "где вода моря соединяется с водой неба", это горизонт, где заря сливается с закатом.

Нет ли способа вырваться из круга времени? На заре своей цивилизации индийцы представляли далекое прошлое — которое, собственно, и не время, а скорее его отрицание, — как неподвижное бытие, всегда равное себе самому (брахман), или как пустоту, равную неподвижности (нирвана). Брахман никогда не изменяется, и о нем ничего нельзя сказать, кроме того, что он есть; о нирване тоже ничего нельзя сказать, даже того, что она есть. И в том и в другом случае перед нами реальность вне времени и вне языка. Реальность, не допускающая других именований, кроме универсального отрицания: она не это, не то и не что-то запредельное. Она есть ни то, ни другое, и тем не менее она есть. Индийская цивилизация не ломает циклического времени: не отрицая его эмпирической реальности, она его растворяет и превращает в некую несубстанциальную фантасмагорию. Критика времени сводит изменение к иллюзии и таким образом являет собой просто другой способ, возможно самый радикальный, противостоять истории. В великих цивилизациях Востока и Средиземноморья вневременное прошлое примитивных народов становится временны́м, оборачивается временем цикличес-ким; Индия размывает циклы: они в буквальном смысле слова лишь сон Брахмы. Каждый раз, как Бог просыпается, сон рассеивается. Меня пугает продолжительность этого сна; согласно индийцам, эпоха, в которой мы сейчас живем и которая характеризуется несправедливым владением богатствами, продлится 432 тысячи лет. Но еще больше меня пугает мысль о том, что Бог приговорен каждый раз, просыпаясь, снова засыпать и видеть все тот же сон. Этот нескончаемый монотонный циклический сон, ирреальный для того, кто его видит, но реальный для того, кто видится во сне, неколебимо повторяет все одно и то же. Опасность этой метафизической цикличности состоит в том, что человек неизбежно начинает отрицать и себя. Между историей с ее ирреальными циклами и реальностью без цвета, вкуса и свойств — что остается человеку? И та и другая непригодны для жизни.

1. Кецалькоатль — один из главных богов индейцев Центральной Америки. Жерар де Нерваль (наст. фам. Лабрюни) (1808—1855) — французский писатель.

Индус рассеял циклы; христианин их разбил: все случается только однажды. Перед тем как достичь озарения, Гаутама вспоминает свои прошлые жизни и видит, в других мирах и других космических эпохах, других Гаутам, растворяющихся в пустоте; Христос же пришел на землю только один раз. Мир, в котором родилось христианство, был снедаем ощущением своего неостановимого упадка, и люди были убеждены, что они живут в самом конце цикла. Иногда эта идея выражалась в терминах почти христианских: "Земные элементы распадутся, и все разрушится для того, чтобы снова воссоздаться в своей первозданной чистоте..." Эти слова, произнесенные Сенекой, вполне точно описывают то, во что верили и на что надеялись христиане — предстоящий конец света. Одной из причин растущего числа обращений в новую религию была вера в неотвратимость конца; христианство противостояло угрозе, надвигавшейся на людей. Если бы они тогда знали, что мир будет длиться еще несколько тысячелетий, обратилось бы столько человек в новую веру? Блаженный Августин думал, что первая эпоха человечества, от падения Адама до распятия Христа, длилась около шести тысяч лет и что вторая эпоха, наша, будет последней и продлится всего несколько столетий.

Вера в близость конца нуждалась в доктрине, которая бы с бóльшим сочувствием отвечала страхам и чаяниям людей. Круговое время языческих философов содержало в себе возвращение золотого века, но это универсальное возрождение, не говоря уж о том, что оно было всего лишь отсрочкой в неуклонном движении к упадку, вовсе не подразумевало индивидуального спасения. Христианство обещало персональное спасение, вот почему его приход произвел существенное изменение: главным действующим лицом космической драмы становится уже не мир, а человек. Вернее будет сказать — каждый человек. Центр тяжести истории сместился: круговое время язычников было бесконечным и внеличным, христианское время стало конечным и личным.

Блаженный Августин отверг идею кругов. Ему кажется абсурдом то, что мыслящие души не будут помнить, как они проживали все те жизни, о которых говорят языческие философы. Еще более абсурдным ему кажется постулировать мудрость и вечное возвращение одновременно: "...как бессмертная душа, достигшая мудрости, может находиться в зависимости от этих беспрестанных передвижений между иллюзорной благодатью и реальным несчастьем?"[1] Схема, описывавшая круговое время, — от дьявола, позднее именно такой взгляд понудил Раймунда Луллия[2] сказать: "Наказание в аду подобно движению в круге". Конечное и личное, время христианина необратимо; неправда, говорит Блаженный Августин, что философ Платон приговорен к тому, чтобы снова и снова учить в афинской школе, называемой Академией, тех же самых учеников тем же самым идеям: "только один раз умер Христос за наши грехи, только один раз воскрес из мертвых и больше не умрет". Разбив круги и введя идею конечного и необратимого времени, христианство выдвинуло на первый план неоднородность времени, вернее, выявило то его свойство, которое заставляет время разбить себя, разделиться и отделиться, стать совсем другим. Падение Адама означает разрыв вечного настоящего в раю: начало временной последовательности есть начало раскола. Время в своем непрерывном делении только

1. Блаженный Августин. De civitate Dei. (*Прим. автора.*)
2. Раймунд Луллий (ок. 1235 — ок. 1315) — поэт-лирик, христианский философ и миссионер, основоположник и классик каталонской литературы.

повторяет изначальный раскол, разрыв основы: вечное и идентичное самому себе настоящее расщепляется на вчера, сегодня и завтра, отличные одно от другого, единственные в своем роде. Это непрерывное изменение — показатель несовершенства, знак грехопадения. Конечность, необратимость и неоднородность суть проявления несовершенства: каждая минута уникальна и неповторима потому, что она отделена, оторвана от единого. История — синоним грехопадения.

Неоднородности исторического времени противостоит единство времени, которое наступит после всех времен: в вечности стираются противоречия, все примиряется с самим собой и в этом примирении каждая вещь достигает своего устойчивого совершенства, своей первой и конечной целостности. Возвращение вечного настоящего после Страшного суда есть смерть изменчивости — смерть смерти. Онтологическое утверждение христианской вечности ужасает не менее, чем индуистское отрицание, — в пример можно привести отрывок из "Божественной комедии". В одном из первых кругов Ада, а именно в третьем, где мучаются обжоры в смердящей жиже, Данте встречает своего соотечественника, беднягу Чакко (Свинюшку)[1]. Насулив новых бед Флоренции — осужденные на вечные муки обладают даром предвидения, — несчастный просит поэта по возвращении напомнить о нем людям и вновь погружается в гнойную лужу. "Он не поднимется снова, — говорит Вергилий, — пока не прозвучит труба архангела", объявление Страшного суда. Данте спрашивает своего проводника, возрастет ли после "великого приговора" мучение этого бедняги или убавится. И Вергилий отвечает с непогрешимой логикой: он будет страдать еще больше, ведь чем совершеннее существо, тем сильнее оно чувствует и боль, и наслаждение. В конце времен каждая вещь и каждое существо достигнут своего полного воплощения: степень наслаждения в раю и глубина страдания в аду будут пределыными.

Вневременное прошлое первобытных народов, циклическое время, буддистская пустота, снятие противоположностей в брахмане или в христианской вечности — целый веер концепций времени, но все это необычайное разнообразие сводится к одному знаменателю. Все эти архетипы, какими бы различными они ни были, сходятся в одном: они стараются уничтожить или, на худой конец, уменьшить изменения. Множественности времени реального противостоит единство времени идеального или времени архетипического; неоднородности, присущей временной последовательности, противостоит однородность времени вневременного, всегда равного самому себе. Одна крайность — это буддистская пустота или христианская онтология, то есть категоричное утверждение таких концепций, в которых изменение и противоречие, неотъемлемые от шага времени, исчезают совсем, оставляя время без времени. Другая крайность — стремление временных архетипов примирить противоречия, не отменяя их полностью, — так соединяются времена в далеком прошлом, которое непрестанно оборачивается настоящим, так работает идея цикличности мирового времени. Наша эпоха грубо ломает все эти представления. Наследница линейного и необратимого времени христианства, она, как и христианство, противостоит всем циклическим концепциям, но также отрицает и христианский архетип, а утверждает другой, отвергающий все идеи и представления о

1. Божественная комедия. Ад. Песнь VI. (*Прим. автора.*)

времени, когда-либо владевшие людьми. Современная эпоха, которая начинается в XVIII веке и сейчас, возможно, близится к своему закату, первой превозносит изменение и закладывает его в свой фундамент. Различие, разделение, разнородность, множество, новизна, эволюция, развитие, революция, история: все эти слова означают в конечном счете одно и то же — будущее. Не прошлое, не вечность, не время, которое есть, но время, которого еще нет и которое всегда вот-вот наступит.

В конце XVIII века индийский мусульманин, человек острого ума, Мирза Абу Талиб-хан, посетил Англию и по возвращении написал на персидском языке книгу, в которой рассказал о своих впечатлениях[1]. Наряду с техническими достижениями, состоянием наук, искусством вести беседу и легкомыслием английских девушек, которых он сравнивает с "кипарисами земными, отбивающими всякое желание отдохнуть в тени деревьев рая", его больше всего удивило английское понятие прогресса: "У англичан довольно странное представление о совершенстве. Они настаивают на том, что это качество идеальное и что зависит оно исключительно от сравнения; они говорят, что человечество развивается постепенно, от состояния дикаря к благородному достоинству философа Ньютона, но до совершенства еще очень далеко, возможно, в будущем философы будут смотреть на открытия Ньютона с тем же пренебрежением, с каким мы сейчас смотрим на первобытное искусство дикарей". Для Абу Талиба наше совершенство идеально и относительно: оно не имеет и никогда не будет иметь реальности и всегда будет недостаточным, неполным. Наше совершенство не существует в настоящем, оно существует только в будущем. Древние смотрели со страхом в будущее и повторяли магические формулы, тщетно его заклиная; мы отдали бы жизнь за то, чтоб взглянуть на его сияющий лик, который мы никогда не увидим.

1. The travels of Mirza Abû Tâleb, в Sources of Indian tradition (New York, Columbia University Press, 1958). (*Прим. автора.*)

Имре Кертес

Нобелевская премия 2002 года

Эврика!

Стокгольмская речь

Я должен начать с признания — быть может, странного, но вполне искреннего. С той самой минуты, как я поднялся на борт самолета, чтобы, прибыв в Стокгольм, получить Нобелевскую премию по литературе за этот год, я ощущаю спиной строгий взгляд незримого бесстрастного наблюдателя; и в этот торжественный миг, неожиданно оказавшись в центре всеобщего внимания, я отождествляю себя скорее с этим суровым наблюдателем, чем с писателем, которого вдруг стали читать во всем мире. И могу лишь надеяться, что речь, с которой мне дано выступить по столь значительному случаю, поможет мне справиться с этой раздвоенностью, поможет соединить существующие во мне две личности.

Пока мне и самому не совсем понятно, в чем суть ощущаемого мною неразрешимого противоречия между высокой наградой и моим писательством, моей жизнью. Быть может, я слишком долго жил в условиях диктатуры, и не одной, во враждебной и безысходно чуждой духовной среде и потому не обрел писательского самосознания; я о нем никогда даже не задумывался. К тому же мне отовсюду давали понять, что вещи, меня волнующие, и так называемая "тема", меня занимающая, не актуальны, не интересны. Словом, и по этой причине я всегда считал писательство исключительно частным делом, тем более что это вполне отвечало моим убеждениям.

Частным, разумеется, не означает — несерьезным, хотя серьезность эта казалась немного смешной в том мире, где принимали всерьез только ложь. Ведь, в соответствии с философской аксиомой, которая была здесь в ходу, мир — это объективная, существующая независимо от нас реальность. Я же в один прекрасный день весной 1955 года пришел к мысли,

Нобелевская лекция, прочитанная 7 декабря 2002 г. в Шведской Королевской академии.
© The Nobel Foundation, 2002
© В. Середа. Перевод, 2003

что существует единственная реальность, и эта реальность — я сам, моя жизнь, этот хрупкий, врученный мне на неопределенное время подарок, который чужие неведомые силы присвоили, национализировали, детерминировали и проштамповали, но я должен отобрать его у так называемой истории, у этого жуткого Молоха, ибо дар этот принадлежит только мне и распоряжаться им я должен по собственному усмотрению.

Нечего и говорить, что такая позиция противопоставила меня всему окружению, всему, что являлось пусть и не объективной, но тем не менее несомненной реальностью. Я имею в виду коммунистическую Венгрию, становившийся с каждым днем все "здоровее и краше" социализм. Если мир — это объективная, существующая независимо от нас реальность, то и человеческая личность — даже для самой себя — есть объект, а история ее жизни не что иное, как бессвязная череда исторических случайностей, которым человек может разве что удивляться, но сам отношения к ним не имеет. Складывать эту жизнь в единое целое не имеет смысла, ибо в ней могут обнаружиться моменты слишком объективные, чтобы субъективное человеческое "я" могло взять ответственность за них на себя.

Год спустя, в 1956-м, разразилась венгерская революция. И в стране на короткий исторический миг одержала верх субъективность. Но советские танки быстро восстановили объективный порядок вещей.

Я отнюдь не иронизирую, но если в словах моих все же слышна ирония, то прошу вас задуматься над тем, что произошло в двадцатом столетии с языком, со словом. По всей вероятности, самое главное и потрясающее открытие писателей нашей эпохи заключается в том, что язык, каким он достался нам от культуры далеких пращуров, более непригоден для описания реальных процессов, для выражения понятий, некогда столь однозначных. Вспомним Кафку, вспомним Оруэлла, в чьих руках прежний язык рассыпался, они словно окунули его в огонь, чтобы затем предъявить нам пепел, в котором проступили новые, неведомые доселе знаки.

Но я хотел бы вернуться к моему частному делу — писательству. Над вопросами, которые в связи с ним возникают, человек, находящийся в моем положении, как правило, не задумывается. Жан Поль Сартр, например, посвятил целую книжку вопросу о том, для кого мы пишем. Вопрос этот сколь интересен, столь и опасен, поэтому я благодарен судьбе, что мне никогда не приходилось над ним размышлять. В самом деле, в чем же его опасность? Например, если мы решим, что наш долг — не просто доставлять эстетическое удовольствие тому или иному общественному классу, но и влиять на него, то прежде всего нам придется оценить свой собственный стиль: а пригоден ли сей инструмент для оказания нужного влияния? Очень скоро писатель окажется в плену сомнений и вынужден будет сосредоточиться на самом себе. Ибо откуда он может знать, что нужно его читателям, что им нравится? Не опрашивать же ему каждого человека. Да и что это даст? Он может исходить только из своих представлений об этих читателях, из потребностей, которые он им приписывает, из того, *что* могло бы оказать то воздействие, какого он хочет добиться, *на него самого*. Так для кого же пишет писатель? Ответ однозначен: для самого себя.

Во всяком случае, могу утверждать, что к этому ответу я пришел не окольным путем. Правда, мне было легче: у меня не было читателей, и я

не хотел ни на кого оказывать влияния. Писать я начал не из соображений целесообразности, а то, что я писал, никому не предназначалось. Если работа моя и имела какую-то цель, то она состояла в одном — быть верным, с точки зрения языка и формы, предмету творчества. Уяснить это для себя в смешную и вместе с тем грустную эпоху государственного регулирования так называемой ангажированной литературы было делом отнюдь не последней важности.

Труднее ответить на другой, вполне правомерный, но порождающий массу сомнений вопрос: *для чего* мы пишем? Лично мне повезло и тут, ибо случилось так, что раздумывать над ответом на этот вопрос попросту не пришлось. Случай этот, кстати сказать, достоверно описан в моем романе "Фиаско". А произошло следующее: я стоял в пустынном коридоре одного казенного заведения, когда из невидимого мне бокового коридора до слуха донеслись гулкие звуки шагов. Странное возбуждение овладело тут мною: звуки шагов приближались, и, хотя по коридору шел скорее всего лишь один человек, мне вдруг почудилось, что я слышу шаги многих тысяч людей. Казалось, ко мне приближается марширующая колонна, и я вдруг ощутил неодолимую притягательность этой колонны и этих шагов. В эту минуту, стоя в коридоре, я понял, что значит экстаз самоотречения, что значит пьянящее наслаждение сознанием растворенности в массе — то, что Ницше, хотя и в ином, но для данного случая подходящем контексте, назвал дионисийским переживанием. Словно какая-то сила влекла меня, подталкивая влиться в эти ряды, и мне пришлось вжаться в стену, распластаться по ней, чтобы не поддаться этому колдовскому влечению.

Я рассказываю об этом незабываемом мгновении своей жизни так, как я его пережил; источник его, из которого оно вспыхнуло как видение, казалось, был не внутри меня, а где-то вовне. Людям искусства знакомы такие мгновения. Когда-то их называли внезапным озарением. Но то, что пережил я, едва ли можно отнести к разряду эстетических переживаний. Скорее я мог бы назвать это экзистенциальным прозрением. И прозрение это открыло мне путь не в искусство, приемы которого мне еще долго пришлось вырабатывать, — оно вернуло мне мою жизнь, уже почти потерянную. Я испытал чувство одиночества, ощущение более трудной жизни, к которой приведет меня то, о чем я только что говорил, — стремление вырваться из затягивающего в себя строя, из истории, которая тебя обезличивает и лишает судьбы. Я с ужасом понял, что — всего десять лет спустя после возвращения из нацистских концлагерей, еще увязая одной ногой в чудовищном кошмаре сталинского террора, — я сохраняю обо всем этом лишь смутные воспоминания да несколько анекдотов. Словно все это, как принято говорить, произошло не со мною.

Очевидно, что такие мгновенные озарения имеют свою предысторию; Зигмунд Фрейд, наверное, усмотрел бы в этом вытеснение какого-то травмирующего впечатления. И как знать, возможно, он оказался бы прав. Поскольку и сам я скорее рационалист и чуждаюсь любого мистицизма и всякого рода экстаза, то, говоря о видении, скорее всего имею в виду все же нечто рациональное, но облеченное в сверхъестественную форму; внезапную, можно сказать, революционную вспышку давно уже вызревавшего во мне понимания; нечто такое, что древние выражали восклицанием "Эврика!" — "Я нашел!". Но что, собственно, я нашел?

Я когда-то сказал, что так называемый социализм означал для меня то же самое, что для Марселя Пруста – вкус размоченного в чае печенья "мадлен", вдруг напомнивший вкусы и ароматы утраченного времени. После подавления революции 1956 года, прежде всего не желая утратить язык, я принял решение остаться в Венгрии. И получил возможность наблюдать диктатуру в действии – теперь уже не ребенком, а человеком взрослым. Я видел, как вынуждали народ отказываться от своих идеалов, видел первые, робкие поначалу телодвижения приспосабливающихся к режиму людей и понял, что надежда – инструмент дьявола, что мораль, кантов категорический императив, – всего лишь податливая служанка самосохранения.

Можно ли представить себе бóльшую свободу, чем та, которую писатель имеет в условиях относительно ограниченной, можно сказать, усталой, более того, упаднической диктатуры? В шестидесятые годы венгерская диктатура достигла того состояния консолидированности, которое при желании можно было назвать даже общественным консенсусом и которое западный мир позднее с добродушной снисходительностью именовал "гуляш-коммунизмом"; казалось, для Запада, испытавшего поначалу некоторое неудовольствие, венгерский коммунизм стал излюбленным коммунизмом. В болотной трясине такого консенсуса человек либо окончательно отказывался от борьбы, либо находил все же извилистые тропы, которые приводили его к внутренней свободе. Писательское ремесло – дело не слишком затратное, чтобы им заниматься, достаточно бумаги да карандаша. Каждый день, просыпаясь с отвращением и подавленностью, я сразу оказывался в том мире, который хотел описывать. Достаточно быстро я осознал, что описываю человека, страдающего под гнетом тоталитарной логики, перенося его в систему другого тоталитаризма, и это делало язык моего романа гипнотическим медиатором двух реальностей. Откровенно оценивая тогдашнее свое положение, я не думаю, что, живи я на Западе, в свободном обществе, я написал бы именно ту книгу, которая известна сегодня как роман "Без судьбы" и которую Шведская академия удостоила высшего признания.

Нет, вероятно, я бы стремился писать иначе. Тоже, наверное, правду, но какую-то иную правду. На свободном рынке книг и идей я тоже, быть может, ломал бы голову над более яркой, заманчивой формой романа: например, я мог бы разрушить романное время, чтобы поведать только о самых впечатляющих эпизодах. Но в моем повествовании герой, брошенный в концлагерь, живет не в собственном времени, он лишен всего – и времени, и языка, и личности. Он не вспоминает, он только существует. Поэтому моему несчастному герою оставалось прозябать в безысходной серости последовательного повествования, он не имел возможности обходить мучительные для него подробности. Вместо серии запоминающихся, трагических и великих, мгновений ему пришлось пережить *все*, а это не менее тягостно и однообразно, чем сама жизнь.

Однако этот опыт дал мне поразительные уроки. Принцип последовательного повествования требовал воспроизведения всех без исключения возникающих ситуаций. И не позволял, скажем, с легкостью перепорхнуть через двадцать минут только по той причине, что эти двадцать минут зияли передо мною как неведомая и жуткая черная яма, подобная братской могиле. Я говорю о тех двадцати минутах на железнодорож-

ной платформе лагеря уничтожения Биркенау, по истечении которых люди, выбравшиеся из вагонов, оказывались перед офицером, занимавшимся "селекцией". Сам я в общих чертах запомнил эти двадцать минут, но роман требовал от меня не верить собственной памяти. Однако сколько бы отчетов, свидетельств и воспоминаний я ни читал, почти все они совпадали в том, что события развивались стремительно и понять что-либо было действительно невозможно: внезапно распахивались двери вагонов, слышались крики и лай собак, мужчин отделяли от женщин, в безумной неразберихе люди оказывались наконец перед офицером, который, окинув их беглым взглядом, куда-то показывал рукой, и вскоре они уже оказывались в робе узников.

Мне эти двадцать минут помнились по-иному. И, разыскивая первоисточники, первым делом я прочитал пронзительные и до самоистязания жестокие рассказы Тадеуша Боровского, в том числе тот, что называется "Пожалуйте в газовую камеру, дамы и господа!". Потом мне попалась в руки серия фотографий, найденных американцами в освобожденном ими лагере Дахау: солдат-эсэсовец снимал живой товар на железнодорожной станции Биркенау. Потрясенный, глядел я на эти снимки. Красивые улыбающиеся женские лица, молодые люди с пытливыми глазами, преисполненные добрых намерений и готовности к сотрудничеству. И я понял, как могли, почему могли расплыться в их памяти эти двадцать постыдных минут бездействия и беспомощности. И когда я подумал о том, что все это в той же форме повторялось изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц на протяжении долгих лет, мне приоткрылась технология ужаса, объяснявшая, каким образом можно обратить против человеческой жизни само человеческое естество.

Так, шаг за шагом, я продвигался по нескончаемому пути открытий; в этом был, если можно так выразиться, мой эвристический метод. Вскоре я осознал, что самое важное для меня не то, для кого я пишу, и даже не то, почему я пишу. Меня волнует всего лишь один вопрос: *что* меня вообще еще связывает с литературой? Ибо мне было ясно, что от литературы, от тех идеалов и той духовности, которые ассоциируются с понятием литературы, меня отделяет непреодолимая черта, и называется она — как и многое другое в моей жизни — Освенцим. Когда мы пишем об Освенциме, мы должны понимать, что Освенцим — в определенном смысле — действительно сделал литературу невозможной. Об Освенциме можно написать разве что черный роман или — да простят мне такое выражение — дешевый кич с продолжением, начинающийся в Освенциме и длящийся по сей день. То есть, иначе говоря, после Освенцима не произошло еще ничего, что его опровергло бы. В моих произведениях холокост никогда не представал в прошедшем времени.

Обо мне говорят, иногда в качестве похвалы, иногда же, напротив, пренебрежительно, как о писателе одной темы — темы холокоста. Мне нечего возразить, с определенными оговорками я действительно мог бы занять то место, которое мне отводят на соответствующих полках библиотек. Ибо существует ли современный автор, который не был бы писателем холокоста? Полагаю, что для того, чтобы люди услышали тот надломленный голос, который на протяжении десятилетий господствует в современном европейском искусстве, по-моему, вовсе не обязательно избирать холокост в качестве темы творчества. Скажу больше: я не

знаю такого подлинного, достоверного искусства, в котором не слышался бы этот надлом, напоминающий глас человека, затравленно и беспомощно озирающегося в мире после кошмарной ночи. Круг вопросов, объединяемых понятием холокоста, я никогда не рассматривал как некий неразрешимый конфликт между немцами и евреями; я никогда не считал холокост новейшей главой из истории страданий евреев, логически вытекающей из предшествующих испытаний; я никогда не рассматривал его как случайный и единичный сбой так называемой истории, как погром, отличающийся от всех предыдущих погромов только своими масштабами, как предпосылку для возникновения еврейского государства. Я открыл в холокосте человеческую ситуацию, низшую точку великого путешествия, которой достиг — со своей более чем двухтысячелетней морально-этической культурой — европейский человек.

Сегодня нам следует думать только о том, куда же нам двигаться с таким багажом. Проблема Освенцима состоит не в том, подвести ли нам здесь, так сказать, черту или не подвести; хранить ли нам память о нем или спрятать ее в долгий ящик истории; поставить ли памятник миллионам убитых и, если поставить, каким ему быть. Истинная проблема Освенцима — в том, что он *был*, случился, и факт этот уже не изменят ни самые благие, ни самые гнусные побуждения. Наверное, самым точным словом эту тяжкую ситуацию охарактеризовал венгерский поэт-католик Янош Пилински, назвав ее "скандалом", очевидно имея в виду, что все это произошло в сфере христианской культуры, и потому в духовно-метафизическом смысле случившееся — непоправимо.

Былые пророчества говорят нам о том, что Бог умер. Несомненно, после Освенцима мы остались одни. Свои ценности мы должны создавать теперь сами, создавать ежедневным упорным, пускай и не видимым никому трудом, который в конце концов, может быть, приведет к результату, и ценности эти лягут в основу новой европейской культуры. Премию, которой Шведская академия сочла возможным удостоить именно мой труд, я расцениваю как знак того, что для Европы снова стал важен опыт, который пришлось обрести свидетелям Освенцима, свидетелям холокоста. Такая позиция — если мне позволено так сказать — свидетельствует об определенной смелости и даже готовности к риску, ибо те, кто решил предоставить мне эту трибуну, очевидно, догадывались, о чем я буду здесь говорить. Но ведь действительно — мы обязаны понять все, что открылось миру через Endlösung[1], через "концентрационную вселенную", и лишь в осознании нами этой низшей точки заложена единственная гарантия выживания и сохранения созидательных сил. Разве ясное видение не плодотворно само по себе? В глубине великих прозрений, даже если они возникают из неизбывных трагедий, всегда содержится зерно свободы — величайшая европейская ценность, которая придает нашей жизни некий качественный плюс, пробуждая сознание реальности нашего бытия и нашей ответственности за него.

Для меня особая радость, что этими мыслями я могу поделиться с вами на своем родном языке — венгерском. Я родом из Будапешта, из еврейской семьи, материнская линия которой происходит из трансильванского Коложвара, отцовская же — из мест, расположенных к юго-западу

1. Имеется в виду "окончательное решение" еврейского вопроса.

от Балатона. Мои бабка и дед по пятницам, встречая шаббат, еще зажигали свечи, но фамилию свою уже сменили на венгерскую. Они считали естественным, что еврейство для них — религия, а родина — Венгрия. Родители моей матери погибли в огне холокоста, родителей же отца отправила на тот свет коммунистическая диктатура Ракоши, выселившая еврейский дом престарелых из Будапешта в северное пограничье Венгрии. Мне кажется, эта короткая семейная история вбирает в себя и символизирует историю страданий моей страны в новейшую эпоху. Все это учит меня тому, что в скорби содержится не только горечь, но и большой нравственный потенциал. Быть евреем? По-моему, в наше время это снова задача прежде всего этическая. И если холокост сегодня оказался способен творить культуру — а это именно так, — то цель ее только в одном: усилием духа породить из непоправимой реальности единственно возможное искупление — катарсис. Именно это стремление вдохновляло меня во всем, что я делал.

Хотя я сказал уже почти все, что хотел сказать, признаюсь честно: мне так и не удалось обрести успокоительное равновесие между собственной жизнью, писательством и Нобелевской премией. В эту минуту я ощущаю только глубокую благодарность — за любовь, которая спасла меня и по сей день позволяет мне жить. Но все-таки согласитесь, что в этом едва различимом пути, в этой моей, если можно так выразиться, "карьере" есть нечто поразительное, нечто абсурдное, нечто такое, что немыслимо осознать, не поддавшись искушению веры в существование сверхъестественного порядка вещей, провидения, метафизической справедливости, иными словами, искушению самообмана — то есть подвергнуть себя опасности напороться на рифы, погибнуть, утратив глубинную и мучительную связь с миллионами тех, кто погиб, так и не познав, что есть милость. Трудно быть исключением; и коль скоро судьба уготовила нам такую участь, нам должно смириться с абсурдным порядком вещей, который с непредсказуемостью расстрельной команды распоряжается нашей жизнью — заложницей бесчеловечной власти и кошмарных диктатур.

И все же, пока я готовился к этой речи, случилось одно из ряда вон выходящее событие, и оно в некоторой мере восстановило мое душевное равновесие. Я получил по почте большой коричневый конверт. Отправителем значился директор мемориального комплекса "Бухенвальд" доктор Фолькхард Книгге. Наряду с любезными поздравлениями в пакете был еще один, небольшого размера, конверт, о котором на случай, если у меня недостанет сил вскрыть его, доктор Книгге написал мне отдельно. В конверте лежала копия ежедневной сводки о личном составе лагеря по состоянию на 18 февраля 1945 года, где в графе "Abgänge", что значит "убыль", я прочел о смерти узника № 64921 Имре Кертеса, 1927 года рождения, еврея, заводского рабочего. Ложные сведения о годе рождения и роде занятий попали в лагерную статистику не случайно: когда в конторе Бухенвальда записывали мои данные, я прибавил себе два года, чтобы не попасть в категорию детей, и назвался рабочим, а не учащимся, чтобы они сочли меня более полезным.

Так что однажды я уже умер — умер для того, чтобы выжить. Наверное, это и есть моя подлинная история. Свои книги, родившиеся из смерти ребенка, я посвящаю миллионам погибших и всем, кто еще о них помнит. И поскольку в конечном счете речь идет о литературе — которая, по опреде-

лению вашей Академии, является вместе с тем свидетельством об эпохе, — то, возможно, моя работа окажется небесполезной для будущего, больше того, я всей душою хотел бы, чтобы она служила ему. Ибо мне представляется, что, думая о травме Освенцима, я приближаюсь к фундаментальным вопросам жизнеспособности и творческих возможностей современного человека; и, думая об Освенциме именно так — пусть это выглядит парадоксально, — я думаю не о прошлом, но скорее о будущем.

Перевод с венгерского Вячеслава Середы

Будапешт: необязательное признание[1]

В самом деле, пришло время прояснить мои отношения с городом, в котором я живу шестьдесят восемь лет и который все меньше знаю. Взяться за это побудило меня предложение со стороны — от редакции "Zeit-Magazin", — что представляется мне чрезвычайно удачным. Сие означает, что я свободен, не связан плоской реальностью, которую мои соотечественники ежеминутно совали бы мне под нос. Например, я описываю улицу, от которой медленно наплывает ледяное дыхание неуюта, словно тянется она по какому-нибудь безжизненному городскому пейзажу де Кирико, залитому беспощадным светом, — и мои соотечественники тут же разражаются возгласами: ага, мы сразу узнали, это улица Мункачи, но где же бакалейная лавка и тот балкончик под окном на третьем этаже, где всегда цветет герань, а еще тот шаловливый щенок пули в соседском саду, который такую забавную суматоху подымает по утрам, когда звонит почтальон?! Что правда, то правда, как раз этих трех деталей случайно не оказалось в моей зарисовке; но зато имеются, скажем, три другие, которые мои сограждане, как правило, оставляют без внимания. Иными словами — к чему я и веду речь — реальность не что иное, как продукт нашего воображения, и хотя живем мы в одном и том же владении, под одним и тем же номером, я, по-видимому, обитаю в другом доме, в другом городе, не в том, где живут мои соседи.

Таким образом, вы услышите здесь о моем, лично моем Будапеште, который существует скорее в моей фантазии, уходит в глубь моих воспоминаний. "Достоверный" облик "подлинного" Будапешта? Что мне до этого? Я — потенциальный эмигрант, который вот уже несколько десятилетий никак не соберется обзавестись выездными документами, но в то же время опасается глубже укорениться в этом городе, ведь в любой момент в дверь может постучаться почтальон с соответствующими бумагами; думаю, вряд ли я мог бы более точно охарактеризовать мои отношения с этим городом, а пожалуй, и с самой жизнью. О чем бы я здесь пожалел, если б однажды все-таки пришлось собираться в дорогу? Пожалуй, стоит немного остановиться на этом вопросе — тогда, быть может, мне удалось бы несколько приблизиться к тайне, которая, начиная со случайности рождения, сокрыта в длинном ряду наших решений, сознательного и бессознательного выбора.

Прежде всего, мне было бы жаль расстаться с этим пейзажем, иначе говоря, с Будапештом как с природной средой. Приезжий, если только он остережется вступать в разговоры с кем бы то ни было — или, по случайнос-

© Imre Kertész, 2001
© Е. Малыхина. Перевод, 2003
1. Для журнала "Zeit-Magazin", 1998

ти, просто окажется глухонемым, — тотчас станет здесь космополитом. В самом расположении Будапешта, в его архитектуре, хотя, к счастью, он лишен монструозности, что делает большие города непригодными для жизни, таится некое обещание — которое всякая современная, легко возбудимая нервная система, словно чувствительная антенна, "принимает" мгновенно и с готовностью настраивается на него, — обещание того, что тебя здесь, возможно, примут и ты станешь *своим;* его навевает, наверное, величественный простор городского пейзажа и вместе с тем вселяющие умиротворенность зримые его пределы. В детстве я был особенно восприимчив к его завораживающей красоте. Я любил прорезавшие Будапешт бесконечные трамвайные линии, которые из гущи домов Йожефвароша внезапно вырывались на открытый простор, переносились через реку на другой ее берег и убегали вдаль, к призрачной голубизне будайских холмов. Нынче большей части этих маршрутов уже нет, и лишь немногие улицы сохранили знакомые с детства названия. История прокатилась здесь таким катком и была столь полновластна — я бы сказал, тотальна, — что потребовала себе не только души людей, но даже названия улиц. Я знаю, например, пять названий проспекта Андраши, этой задуманной по образцу Елисейских Полей или Курфюрстендамм магистрали, которая начинается почти от самого Дуная и оканчивается широкой площадью у Варошлигета, городского парка. Поначалу этот проспект, лучом пронзающий город, так и назывался — Лучевой проспект. Позднее его переименовали в проспект Андраши — в честь бывшего премьер-министра. После Второй мировой войны он был проспектом Сталина, во время революции 1956 года стал "проспектом Венгерской молодежи", а вскоре кадаровская реставрация окрестила его "проспектом Народной республики". Центральный перекресток проспекта, в соответствии с геометрической формой его застройки, изначально именовался Октогоном, затем стал площадью Муссолини, позднее — площадью 7 ноября.

Однако мне не хотелось бы продолжать в бездушной манере бедекеров. Просто меня самого удивляет, как торопливо, равнодушно я пересекаю сейчас Октогон, когда мне случается здесь бывать. Ни намека на ностальгию, хотя бы на какие-то ассоциации. Разумеется, я храню в душе некую будапештскую площадь — некий образ Октогона, но точно так же я хранил бы эту картину, где бы ни оказался, в Берлине, Лондоне или Сольноке. Да, мне живо и не без душевной боли помнились его кафе — "Кларидж", в особенности же "Савой" и "Аббазия"; но все это рассказывает мне память, а не реальный Октогон, по которому я прохожу не видя. У человека несколько жизней, решительно отличающихся одна от другой, и прошедшее время меняет, а то и вовсе словно бы размывает время сегодняшнее. Речь не о том, что мы "перерастаем" свой город или, напротив, "отстаем" от него, речь скорее о том, что вдруг, как бы ни с того ни с сего — и, кажется, это особенно поражает нас самих — мы начинаем озираться в нем как чужие, словно никогда еще здесь не бывали. И на следующий день, поймав себя на том же чувстве отчужденности, вынуждены с тихим смирением принять к сведению, что изменить это уже не в состоянии. Недавно, можно сказать, с заранее обдуманным намерением *вспомнить*, я посетил одну улицу у подножья Холма Роз; однако вскоре мне пришлось признать, что этот выезд "на место" не только не помогает, а скорее мешает вспомнить ее. Я не обнаружил здесь ни следа, ни малейшего следа той тенистой, тихой и чуть ли не аристократичной будайской улочки, куда, за год или за несколько лет до войны, переселилась моя мать со своим новым мужем. Я едва заставил себя оторвать глаза от окруженного асфальтовой пустыней, прозванного словно

в насмешку отелем, бетонного сооружения, пригрезившегося здесь злому духу социалистического градостроительства, чтобы попытаться воспроизвести в памяти таинственный маленький дворец из моего детства, наполовину скрытый оградой и пышной зеленью раскинувшегося за нею парка. В свое время это было здание турецкого посольства, знаменитое место, где весной тысяча девятьсот сорок четвертого года скрывался тогдашний премьер-министр, спасаясь от немецких оккупантов, поскольку как раз в то время он впутался в очередные тайные (впрочем, безнадежные) переговоры о сепаратном мире с англосаксонскими державами. Когда, первым послевоенным голодным и нищим летом, я снова увидел эту улочку, на месте дворца в стиле необарокко — а может быть, рококо? — высилась лишь груда отнюдь не живописных развалин, ограды не было вовсе, и в одичавшем парке блеяла только коза с раздувшимся выменем, привязанная к небрежно вбитому колышку; когда же я вздумал из любопытства подойти ближе, она встретила меня весьма недружелюбно, низко опустив голову и настроившись бодаться.

Вот она — история, которая уже в ранние годы разрушила гармонию моих отношений с этим городом. Отец мой ухаживал за одной дамой, на которой впоследствии женился; однако этот сюжет возвращает меня из Буды прямо в гущу пештской части города. Однажды вечером, когда мы шли домой после свидания и пересекали площадь Шандора (ныне Гутенберга), отец внезапно застыл на месте и знаком приказал мне молчать. Со стороны Бульварного кольца слышались невнятные вопли. Отец сказал, что на этот раз нам лучше идти домой не обычной дорогой, а сделать небольшой крюк. Чуть ли не бегом он тащил меня по каким-то темным закоулкам, я уже не понимал, где мы. Завывания мало-помалу стихли, оставшись позади. Отец объяснил мне, что в ближайшем кинотеатре показывают немецкий фильм "Еврей Зюс" и толпа, вывалившись после сеанса на улицу, ищет среди прохожих евреев и устраивает погромы. Он же, со своей красивой шапкой густых черных волос, с лицом, несколько напоминающим левантийский тип, легко мог быть заподозрен, что он действительно тот, кем и был, — еврей. Мне было тогда лет девять, и я еще никогда не слышал слова "погром". Поэтому сразу спросил отца, что это такое. Но он как-то не сумел мне объяснить. А может быть, и не захотел. Однако его дрожащие руки, все его поведение объяснили мне самую суть этого слова. Я понял: из-за каких-то моих особенностей, о которых я мало что знал, мне следует бояться людей. Но глубже всего мою детскую душу ранило неожиданное открытие, что меня здесь откровенно не любят.

И все-таки позднее я дважды сознательно выбирал своим местом жительства Будапешт. Из этих двух решений первое, пожалуй, не было таким уж сознательным. Точнее говоря, сознание, просуществовавшее на свете неполных шестнадцать лет, еще не очень-то сознавало значительность принимаемого им решения. Я уже писал однажды, что вернулся сюда, повинуясь инстинкту, словно отбившаяся от дома собака. О том, что можно было бы отправиться куда-то еще, я даже не помышлял, хотя в бухенвальдском концлагере, который к концу весны 1945 года преобразован был во временное принудительное место жительства для "displaced persons" — так называемых "перемещенных лиц", — меня просто осаждали с самыми заманчивыми предложениями. Предлагали ехать в Швецию или Швейцарию, где меня подлечат, потом я могу попасть и в университет, где-нибудь в Соединенных Штатах. Мне показали фотографию, снимок Будапешта военного времени, напечатанный, вероятно, в американской газете. Я тотчас узнал площадь Кальвина. Должен заме-

тить, что довоенная площадь Кальвина была совсем не похожа на теперешнюю, носящую то же название. Эта площадь была одним из украшений города, посреди нее бил фонтан, над которым возвышался Нептун, вокруг стояли роскошные дома; я хорошо знал эту площадь, ведь через нее, выныривая из Кечкеметской улицы и устремляясь в сторону улицы Барош, шел мой любимый 16-й трамвай. Судя по фотографии, теперь это были сплошные руины. Обрушившиеся дома, порванные трамвайные провода, лошадиные трупы. Ты хочешь сюда вернуться? — спрашивали меня. Да, я хотел вернуться, и мне, правда не без трудностей, это удалось.

Во втором случае я полностью сознавал всю важность своего выбора для дальнейшей моей судьбы. Мне было тогда двадцать семь лет, только что было подавлено восстание 1956 года. Каждой своей клеточкой, каждым нервом я рвался отсюда прочь; однако чуть раньше я уже принял решение, иначе распорядившееся моей жизнью, оно-то и удержало меня. Незадолго до того — может быть, два-три года назад — со мной произошла странная вещь: из моей дешевой шариковой ручки с красными чернилами, переполнившейся жизненным опытом двух видов деспотии, двух типов тоталитаризма, вдруг, словно из иглы, всаженной мне в вену, на бумагу красным потоком хлынули слова. Я начал писать и чувствовал, что бросить это занятие не хочу. Но если уеду отсюда, где люди говорят на моем языке — я это прекрасно знал, — больше никогда не буду писать. Поздно. В шестнадцать лет я еще мог бы освоить какой-нибудь чужой язык, но в двадцать семь... Поздно.

Итак, мне пришлось остаться, а коль уж остался, то, само собой разумеется, спектакль, растянувшийся на десятилетия, которые последовали за разгромом революции, это зрелище столь же потрясающее, сколь и угнетающее, а также приобретенный опыт коренным образом формировали мою жизнь и образ мыслей. Разумеется, не только формировали: несомненно, и деформировали. Однако я никогда не жалел о том, что остался здесь, ведь со временем учишься ценить выпавшие на твою долю испытания, ибо они помогли подняться до осознания высшего смысла вещей. Мне довелось быть участником особого периода в жизни Будапешта, его серого прозябания в беспросветной пустыне будней, которые здесь называли социализмом, и думаю, что я разглядел истоки и стимулы жизнеспособности этого города, которые помогли ему, притом почти незаметно, пережить эти пустынные десятилетия. В сущности, все мои книги говорят именно об этом: о навязанном и унизительном процессе выживания. В каждой из моих книг — их не слишком-то и много — оживает Будапешт, и всякий раз он другой: вот Будапешт во время войны, а вот Будапешт, изнывающий под бременем "разрухи тотального мира" (если воспользоваться цитатой из моей повести "Английский флаг"); вот он изображает радостную гримасу "гуляш-социализма", столь высоко ценимого Западом, а вот возникает лицо посткоммунистического Будапешта. Я описывал город, а узнал — самого себя.

Теперь я уже твердо знаю, что в конечном счете страсть к писательству оторвала меня от города, в котором я живу и сегодня. Ведь эта страсть — писательство — для меня всегда была только на то и пригодна, чтобы вырваться из-под гнета окружения и обстоятельств. И, таким образом, вновь и вновь описывая Будапешт, я желал не столько увековечить его, сколько, и в гораздо большей степени, старался от него освободиться. Так, с помощью каждого следующего моего сочинения я постепенно покидал этот город, в действительности никуда не уезжая — и не имея возможности уехать.

Сегодня я уже могу это сделать, и не в воображении, а практически. Это великая перемена, и, конечно же, ее смысл не мог ускользнуть от моего внимания. В последней моей книге – "Кто-то другой" – я нахожу фразу, датированную 1991 годом: "Невозможно пережить свободу в том месте, где мы переживали рабство". Так что же мне все еще нужно здесь? К свободному Будапешту моя судьба больше не привязывает меня, ведь именно свобода – и его и моя свобода – эту связь развязала. Я живу здесь, но могу жить и где-нибудь еще: в том, чтобы мне жить здесь, больше нет необходимости, и это беспокоит меня, как разорванные отношения, которые отчего-то все же никак не кончаются. В духовном смысле мое пребывание здесь неоправданно, тогда как во время диктатуры – парадоксальным образом – было оправданно. Выражусь точнее: в том, что я здесь живу, уже нет *смысла*. Будапешт больше не духовное место, хотя бы даже как негативный импульс; духовная атмосфера в нем просто отсутствует. Будапешт беспамятный город, где вместо вибрирующего волнения самопознания и обдуманных откровений рождаются скорее одни лишь легенды и лживая ностальгия. Возможно, он в этом нуждается, возможно, именно этой амнезии или, если вам так больше нравится, духовной гибкости он обязан своей жизнестойкостью, вечной молодостью. Этот город всегда готов к любым переменам; да только перемены, происходящие в последнее время, в определенном смысле ко мне отношения уже не имеют, ибо не обогащают меня новым экзистенциальным знанием, не подвергают испытанию мою способность к нравственному противостоянию. Одним словом, для меня этот город лишний, как и я стал в нем лишним; моя жизнь здесь не результат моего нового выбора, напротив, это результат упущенного выбора, и я живу здесь не потому, что не могу обойтись без здешней обстановки, не потому, что у меня еще остается тут некое чрезвычайно важное дело, которое я непременно должен закончить. Красота Будапешта завораживает меня и сейчас, так же как в детстве; однако духовный образ жизни, который я сформировал в себе в противовес образу жизни этого города, немного мешает безоглядно им любоваться. Я – эмигрант, который постоянно откладывает эмиграцию, никак не соберется запросить дорожные документы. В сущности, не так уж это и срочно. Зачем отрицать, я неплохо здесь обустроился. У меня есть рабочий кабинет, и пара голубых глаз сопровождает меня по жизни. И если так уж необходимо признание, что ж, признаю: я счастлив. А все ж не мешает держать чемодан наготове – пусть он как предостережение всегда стоит в моей комнате.

Веймар зримый и незримый[1]

По правде говоря, мне уже немного надоел стереотип Веймара. Видеть рядом немецкий классицизм и нацистский концлагерь – согласитесь, есть в этом какое-то извращение. С другой стороны, если присмотреться внимательнее, быстротекущее время как будто бы наполняет постепенно современным содержанием это специфическое сочетание. Позор так же бессмертен, увы, как и величие, и связь между ними не столь отдаленна, как нам стремятся внушить. Гёте провозгласил источником вдохновения душевную окрыленность, но где искать этот источник современному художнику, который вместо окрыленности испытывает

1. Для гамбургского журнала "Меридиан", 1994.

лишь позор, отвращение и страх, полное неприятие, если не отрицание? Ему, современному художнику — коль скоро он относится к своему искусству серьезно, — приходится в отрицании отыскивать источники творчества, в страдании и отождествлении себя со страдающими.

Я сознательно говорю *страдающие*, а не жертвы. Чтобы весь мир издал горестный стон и чтобы мы узнали в этом стоне свой собственный голос, вовсе не обязательны растерзанные жертвы Балканской войны или умирающие от голода сомалийцы. Сегодня, когда социальное и метафизическое одиночество человека стало очевидным фактом, в мире действительно уже нет обособленных людей. Тотальность, этот термин высокой философии, опошленный до языка геббельсовской пропаганды, ныне стал отражать реальное состояние мира. Страдание сегодня обрушивается на человека как приказ, и демонстративный протест против него — это и есть искусство сегодня, и иным оно быть не может.

Таким образом, коль скоро я художник, то, может быть, именно счастливая судьба забросила меня в Веймар, точнее — в Бухенвальд: в конечном счете, по-моему, достойнее учиться уму-разуму на собственных страданиях, чем на чужих. Оно так, однако и боль, чтобы она длилась, нуждается, вероятно, в некоем реквизите, ведь и страсть без живого ее объекта атрофируется. Этот реквизит я хранил в себе в виде картин, которые при соответствующей интенсивности воспоминания иногда пробуждают живое чувство.

Но какое оно, это чувство, на самом деле? Да, тут была тайна, и мне хотелось в этой тайне разобраться. Вот, например, одна из таких моих картин: ранней весной 1945 года, завернувшись в одеяло, я сижу на выставленной перед бухенвальдским больничным бараком переносной параше — вроде герцога Вандомского, принимающего пармского епископа. Мои челюсти пережевывают американскую жвачку, взгляд скучливо блуждает между тифозными бараками, что напротив меня, и дальше, к еще открытой общей могиле, в которую свалены, словно бревна, облитые гашеной известью трупы. И вдруг глазам моим представляется невероятное зрелище: подымаясь по склону холма, к лагерю приближается процессия, дамы и господа. Ветер раздувает юбки, на женщинах праздничные шляпки, мужчины в темных костюмах. Позади — несколько американских военных. И вот они у общей могилы, все умолкают, медленно подходят ближе. Мужчины, один за другим, обнажают головы. Некоторые дамы прижимают к глазам носовые платки. Минуту-другую — немая сцена. Затем замершая, оцепеневшая группа вновь оживает. Лица обращаются к американским офицерам, руки взлетают вверх, в стороны, падают вниз, к бедрам, и снова взлетают. Головы качаются и трясутся — отрицают. Мне вовсе не нужно объяснять, что по распоряжению американского военного командования в лагерь привели именитых веймарских граждан, пусть видят, что вершилось здесь от их имени: немая сцена понятна и так. Они ничего не знали. Никто ничего не знал.

И что же мне делать с этой картиной? Она, конечно, вполне подходит для того, чтобы я, если угодно, претворил ее в нравственный приговор. Но истина этой сцены в другом. Возмущение есть рефлексия, следовательно, искусственное чувство: оно хорошо лишь затем, чтобы снять изначальный, куда более жгучий вкус этого мгновения. Задача искусства — этому я научился быстро — не в том, чтобы осуждать людей, а в том, чтобы воссоздать мгновение. И с этой точки зрения картины боли равноценны картинам безоблачного счастья. Так вот, несколько недель спустя после этой сцены я и другие узники отправляемся в "близлежащий город". Тот факт, что этот город звался Веймаром, насколько я помню, значил для нас немного. Был ясный день, солнце припекало по-

летнему. Мы шли в своих лагерных полосатых робах, на перекрестке в центре города стоял на возвышении американский полицейский в белой каске, он остановил движение, чтобы освободить для нас дорогу, и салютовал нам, когда мы проходили мимо. Обедали мы в бельэтаже элегантного ресторана. Нам подали вегетарианский обед, я и сейчас живо помню зеленый цвет того соуса из ревеня. Расплачивались мы какими-то талонами, метрдотель при этом особого восторга не выразил.

Невосстановимое и не имеющее названия чувство таят в себе эти мгновения. Если бы я мог пережить их заново, то сказал бы, что победил время, победил жизнь. Однако человек не для того создан: самое большее – для того, чтобы помнил. И чтобы время от времени проверял верность своей памяти и ее незыблемость.

По прошествии шестнадцати лет зрелый мужчина вернулся в этот город, чтобы на месте вспомнить былое. Этот мужчина – я – точно знал, что он ищет. И не нашел ничего. Ни того ресторана, ни перекрестка. Но самое главное – не нашел самого себя, объект и субъект однажды пережитого мгновения. Как чужой бродил он по чужим местам, зримый Веймар оказался для него помехой. Гигантской сценой, за переставленными кулисами которой, словно в лабиринте, он окончательно утерял путеводную нить. Он поднялся на Эттерсберг, остановился на горном хребте и ждал, что открывшаяся перед ним картина потрясет его и сразит наповал. Но глазам его предстал лишь оголенный склон, поросший травой и полевыми цветами. И тогда до его сознания дошло то, что принято называть бренностью всего сущего, и он понял, насколько дорого ему то, что может исчезнуть без следа.

Это определило его жизнь – мою жизнь. Я понял, что если хочу удержать уходящего в прошлое самого себя и меняющиеся картины былого, я должен все это воссоздать, опираясь на свою творческую память. С другой стороны, это освободило меня от дальнейших метаморфоз Веймара. В последний раз, когда я видел его, это был аккуратный городок, угрюмость которого навряд ли превосходила собственную мою подавленность. Тогда я уже два месяца жил стипендиатом в так называемой Германской Демократической Республике, в этой особенно неприятной камере тюрьмы народов, то бишь социалистического лагеря. Памятник, поставленный к тому времени на горе Эттерсберг, я ни на секунду не мог рассматривать как свидетельство искренней скорби свободного народа: скорее это было memento, адресованное брошенному в тюрьму народу, и служил он лишь подтверждением позора. Я стоял перед ним, униженный и обокраденный, как человек, которого лишили права даже на собственную боль: ведь его унижение стало всеобщим.

Веймару сейчас предстоят новые метаморфозы. Кто знает, что ждет его. Возможно, будет так, как пишет Жан Амери: "Страны, языки, культуры – сравняется все. С тех пор как Германия потеряла интерес не только к разного рода упрощенным толкованиям, но к самой сути своей многоликой реальности, она непредсказуема: это уже не тупая сонная страна, не гладкая поверхность величественной и беременной смертью самоуглубленности – она уже сама не знает себя. Так кому же предстоит открыть ее?"

Впрочем, скорее всего не мне. Ведь кто знает, какие метаморфозы ожидают еще и меня самого. Быть может, однажды я, эдаким хладнокровным европейцем-путешественником, вновь окажусь в этом городе. Загляну в дом Гёте и склоню голову перед эттерсбергским памятником.

Перевод с венгерского Елены Малыхиной

Вислава Шимборская

Нобелевская премия 1996 года

Две обезьяны Брейгеля. Утопия. Тень

Переводы с польского

От редакции

Ее остров издали кажется загадочным, а при близком знакомстве приносит радость и счастье. Этот остров с богатой фауной и флорой свободен от загрязнений как в материальной области, так и в области языка и духа. Духовный биотоп благоприятен для нашего здоровья. В руках Шимборской незамутненное, вовсе не столь модное сейчас кривое зеркало. <...> Каждое стихотворение — проблема, всякий раз другая.

Карл Дедециус, немецкий переводчик
польской и русской поэзии

Вислава Шимборская — немногословный поэт. Если сложить вместе выходившие на протяжении полувека томики ее стихов и сравнить с полным набором книг других поэтов-нобелиантов, стопка Шимборской окажется едва ли не меньше всех, но на весах кое-кого и перетянет. Глубина и сдержанность, редкостная наблюдательность и тонкий юмор, умение показать значительность казалось бы самых заурядных событий, раскрыть их философский смысл, простыми словами передать подлинный драматизм — заметные с первого взгляда свойства ее поэзии. Четкость, логичность, "неслыханная простота" стихов требуют от тех, кто берется перевести их на другой язык, немалого искусства. В России у Шимборской есть преданные ей переводчики — все они представлены в предлагаемой на этих страницах подборке. Ее стихи неоднократно печатались в нашем журнале, вошли

в состав нескольких антологий и сборников. К сожалению, на русском языке пока нет целой ее книги; впрочем, некий вариант — "книга в журнале" — уже существует: последний сборник поэтессы "Мгновение" в переводе Асара Эппеля полностью опубликован в февральском номере журнала "Октябрь".

Для настоящей публикации выбраны три давних стихотворения Вислава Шимборской в интерпретации разных переводчиков. Представлены и два перевода на английский: мы полагаем, что нашим читателям, которые владеют этим языком (а таких сейчас немало), будет небезынтересно с ними познакомиться.

D*wie małpy* B*ruegla*

Tak wygląda mój wielki maturalny sen:
siedzą w oknie dwie małpy przykute łańcuchem,
za oknem fruwa niebo
i kąpie się morze.

Zdaję z historii ludzi.
Jąkam się i brnę.

Małpa, wpatrzona we mnie, ironicznie słucha,
druga niby to drzemie –
a kiedy po pytaniu nastaje milczenie,
podpowiada mi
cichym brząkaniem łańcucha.

T*wo* M*onkeys by* B*rueghel*

I keep dreaming of my graduation exam:
in a window sit two chained monkeys,
beyond the window floats the sky,
and the sea splashes.

I am taking an exam on the history of mankind:
I stammer and flounder.

One monkey, eyes fixed upon me, listens ironically,
the other seems to be dozing –
and when silence follows a question,
he prompts me
with a soft jingling of the chain.

Translation by MAGNUS Y. KRYNSKI, ROBERT A. MAGUIRE
Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wisława Szymborska.
Princeton University Press, 1981.

Две обезьяны

Вот мой великий сон на аттестат зрелости:
Сидят у окна две обезьяны, скованные цепью,
За окном колышется небо
И плещется море.

Я сдаю экзамен по истории человечества.
Плаваю, заикаюсь.

Одна обезьяна слушает, иронически глядя в упор,
Другая якобы в дремоту погружена,
Но когда вместо ответа воцаряется тишина,
Она мне подсказывает тихим бренчаньем оков.

Перевод Андрея Базилевского
В кн.: Польская поэзия: XX век. М., Вахазар, 1993.

Две обезьяны Брейгеля

Таков мой вечный экзаменационный сон:
в окне сидят две обезьяны, скованные цепью,
а за окном
плещется море и порхает небо.

Сдаю историю людей.
Плету и заикаюсь.

Глядит с иронией одна из обезьян,
другая как бы спит в оцепененье,
когда же на вопрос молчу, замявшись, я,
она подсказывает мне
тихим позвякиваньем цепи.

Перевод Натальи Астафьевой
В кн.: Поэты – лауреаты Нобелевской премии, М., Панорама, 1997.

Две обезьяны Брейгеля

Вот так выглядит во сне мой экзамен
на аттестат зрелости: в оконном проеме
сидят на цепи две обезьяны; за ними
порхает небо и плещется море.

Я сдаю историю людей.
Мямлю что-то невразумительное.
Обезьяна анфас насмешливо слушает.
Та, что в профиль, клюет носом,
а когда я вконец запутываюсь,
подсказывает,
тихонько позвякивая цепью.

Перевод Дмитрия Веденяпина

© Д. Веденяпин. Перевод, 2003

Две обезьяны Брейгеля

Сон накануне экзамена на аттестат, подтверждающий зрелость:
две обезьяны прикованы цепью в проеме оконном,
небо снаружи порхает,
купается море.

Вот мой билет по истории рода людского.
Путаюсь и вру.

Взгляд обезьянки, что слева, иронии полон,
Дремлет как будто другая, —
когда ж повисает молчание,
знак подает мне
бренчанием цепи негромким.

Перевод Марины Курганской

Две обезьяны Брейгеля

Мой последний экзамен, застывший во сне:
там сидят на цепи две мартышки в окне,
за окном кувыркается небо
и купается море.

По истории рода людского
плутаю, сбиваясь.

Обезьяна, меня изучая, иронично внимает,
дремлет вторая, но словно нечаянно,
когда после вопроса наступает молчание,
тихим бренчаньем цепи
мне помогает.

Перевод Ирины Адельгейм и Алексея Хованского

Две обезьяны Брейгеля

Таков мой неотступный сон выпускницы:
две скованных цепью обезьяны в нише окна,
а за окном — пляшет небо
и море резвится.

Сдаю историю человечества.
Запинаюсь и плаваю.

© М. Курганская. Перевод, 2003
© И. Адельгейм, А. Хованский. Перевод, 2003

Одна обезьяна, не сводя с меня глаз, благосклонно внимает,
вторая – похоже что в забытьи,
а когда после заданного вопроса молчание повисает,
та, другая, подсказку мне посылает
тихим позвякиваньем цепи.

Перевод Ирины Подчищаевой

U*topia*

Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia.

Tu można stanąć na gruncie dowodów.

Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia.

Krzaki aż uginają się od odpowiedzi.

Rośnie tu drzewo Słusznego Domysłu
o rozwikłanych odwiecznie gałęziach.

Olśniewająco proste drzewo Zrozumienia
przy źródle, co się zwie Ach Więc To Tak.

Im dalej w las, tym szerzej się otwiera
Dolina Oczywistości.

Jeśli jakieś zwątpienie, to wiatr je rozwiewa.

Echo bez wywołania głos zabiera
i wyjaśnia ochoczo tajemnice światów.

W prawo jaskinia, w ktorej leży sens.

W lewo jezioro Głębokiego Przekonania.
Z dna odrywa się prawda i lekko na wierzch wypływa.

Góruje nad doliną Pewność Niewzruszona.
Ze szczytu jej roztacza się Istota Rzeczy.

Mimo powabów wyspa jest bezludna,
a widoczne po brzegach ślady stóp
bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza.

Jak gdyby tylko odchodzono stąd
i bezpowrotnie zanurzano się w topieli.

W życiu nie do pojęcia.

© И. Подчищаева. Перевод, 2003

U*topia*

An island on which all becomes clear.

Here you can stand on the solid ground of proof.

Here are no points of interest except the point of arrival.

The bushes fairly groan under the weight of answers.

Here grows the tree of Right Conjecture
with branches disentangled since all time past.

The dazzlingly simple tree of Comprehension
hard by the spring that's named It's Just That Easy.

The deeper into the woods, the wider opens out
the Valley of the Obvious.

If doubt exists, it is dispelled by the wind.

Echo unevoked clamors to be heard
and eagerly explains the secrets of the worlds.

Off to the right a cave wherein lies Reason.

Off to the left the lake of Deep Conviction.
Truth breaks off from the bottom and lightly floats to the surface.

Towering over the valley stands Unshakable Certainty.
From its peak emerges the Crux of the Matter.

For all its charm, the island is uninhabited,
and the faint footprints seen along the shore
point without exception in the direction of the sea.

As if this were a place just for leaving
and for immersion in a depth with no return.

In a life that's not for comprehending.

Translation by MAGNUS Y. KRYNSKI, ROBERT A. MAGUIRE
Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wisława Szymborska.
Princeton University Press, 1981.

У*топия*

Остров, на котором во всем абсолютная ясность.
Здесь можно встать на твердую почву доказательств.
Нет иных путей, чем единственно правильный путь.

Здесь растет ветвистое
Древо Озарения.

И поразительно прямое Древо Понимания
над источником, что зовется — Ах, Вот Оно Как.
Чем дальше в лес, тем лучше видна
Долина Очевидного.
Стоит только возникнуть сомнению,
ветер тут же его развеет.

Эхо, взяв слово по собственному желанию,
охотно вам раскроет тайны мироздания.

По правую руку пещера, в которой покоится Смысл.

Слева озеро Глубокого Убеждения,
со дна его легко отрывается Истина и
всплывает на поверхность.

Над всем господствует пик Непоколебимой Уверенности.
С него открывается вид на самую суть вещей.

Несмотря на свои преимущества, остров необитаем.
Мелкие следы ступней на прибрежном песке
все без исключения ведут в сторону моря.

Как если бы отсюда только уходили
и безвозвратно тонули в пучине вод.

В жизни непостижимой.

Перевод Андрея Базилевского
В кн.: Польская поэзия: XX век. М., Вахазар, 1993.

Утопия

Остров, где все беспрекословно ясно.

Здесь можно стать на твердом грунте аргументов.

Здесь нет иных путей, лишь путь, ведущий к цели.

Кусты аж гнутся от ответов.

Растет здесь древо Мудрого Предвиденья,
ветвящееся вечно.

Прямолинейнейшее древо Пониманья
возле источника Ах-Значит-Это-Так.

Чем дальше в лес, тем шире открывается
Долина Непреложного.

Если и есть сомненье, ветер его развеет.

Не вызванное эхо берет голос
и тайны миров объясняет охотно.

Направо пещера, где пребывает смысл.

Налево озеро Глубокого Убежденья.
Со дна отрывается истина и легко всплывает.

Высится над долиной Неколебимая Вера.
С ее высоты открывается Суть Вещей.

При всех соблазнах остров сей безлюден,
на берегах следы ступавших ног,
все они без исключения в сторону моря.

Как если б все лишь уходили прочь
и безвозвратно погружались в бездну.

В жизнь, что нельзя постичь.

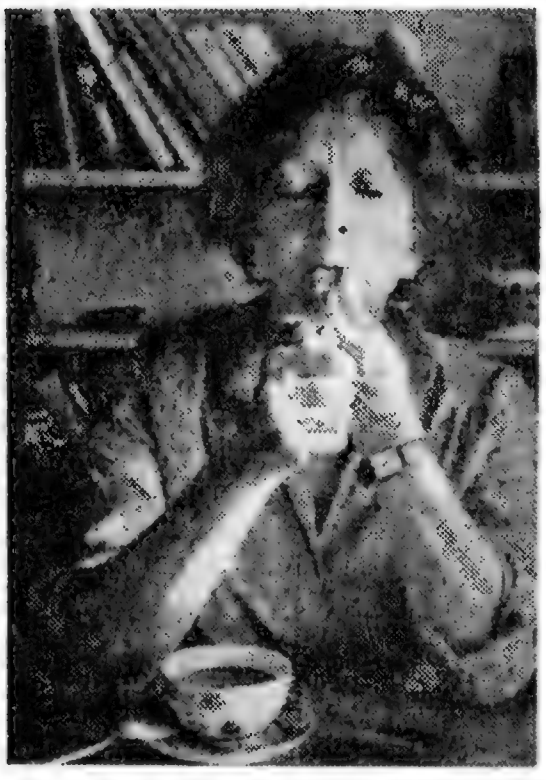
Перевод Натальи Астафьевой
В кн.: Поэты — лауреаты Нобелевской премии. М., Панорама, 1997.

Утопия

Вот оно: царство вожделенной Ясности,

остров Достоверности,

где даже кусты сгибаются под тяжестью точных ответов,



© Д. Веденяпин. Перевод, 2003

а дороги, все как одна, ведут к цели.

Здесь растет дерево Прозрения,
и его ветви прекрасны, как солнечные лучи.

У родника, имя которому Ах Вот Оно Что,
цветет стройное дерево Понимания,

и с каждым шагом все шире распахивается
Долина Безусловности.

Ветер легко развеивает случайные сомнения,

а нежданное эхо поверяет
последние тайны вселенной.

Справа — пещера Смысла,

слева — озеро Глубокой Уверенности,
пронизанное светом Истины.

Впереди — высится гора Неколебимой Веры,
с которой открывается Суть Вещей.

Однако остров безлюден,
а цепочки следов на песке
тянутся к морю.

Как будто все только уходят отсюда,
чтобы уже навсегда исчезнуть в волнах

необъяснимой жизни.

Перевод Дмитрия Веденяпина

Вислава Шимборская. Две обезьяны Брейгеля. Утопия. Тень

Утопия

Остров, где находит просветление.

Здесь можно постоять на почве доказательств.

Здесь нет иных путей, лишь те, что прямо к цели.

Кусты сгибаются под тяжестью ответов.

Стоит Предположений Верных древо
с развесистой, так повелось уж, кроной.

Стрелой взмывает древо Понимания
у родника — зовется он Ах Вот Как.

Чем дальше в лес, тем шире перед вами
Долина Ясности.

Чуть где сомненье — враз развеет ветер.

Эхо никогда не просит слова,
первым говорит о тайнах мирозданья.

Скрытый смысл найдешь в пещере справа.

Слева — озеро Глубоких Убеждений.
С дна его легко всплывает правда.

Над долиной пик Уверенности Твердой,
Суть Вещей с него видна как на ладони.

Но заманчивый безлюден остров,
ног следы по берегам песчаным
все без исключенья в море тонут.

Жизнь — выше пониманья.

Перевод Марины Курганской

Утопия

Остров, где все становится ясным.
Где можно опереться на доказательства.

Где нет путей иных, кроме пути к цели.
А кусты сгибаются под множеством ответов.

© М. Курганская. Перевод, 2003
© И. Адельгейм, А. Хованский. Перевод, 2003

Растет тут дерево Догадки Верной
С распутанными издавна ветвями.

Удивительно прямое дерево Понимания
Над источником, зовущимся Ах-вот-как...

Чем дальше в лес, тем шире открывается
Долина Очевидности.

Если залетает сомнение, ветер его развеивает.

Незваным советчиком откликается эхо
И охотно толкует тайны мироздания.

Направо — пещера, в ней содержится смысл.

Налево — озеро Глубокой Убежденности.
Со дна поднимается истина и всплывает легко на поверхность.

Над долиной господствует Твердыня Уверенности.
С вершины ее разглядеть можно Сущность Вещей.

Несмотря на такие соблазны, остров безлюден,
Лишь берег привычно хранит следы,
Все до единого обращенные к морю.

Будто отсюда только уходили
И безвозвратно погружались в пучину.

В непрозрачные воды жизни.

Перевод Ирины Адельгейм и Алексея Хованского

Cień

Mój cień jak błazen za królowej.
Kiedy królowa z krzesła wstanie,
błazen nastroszy się na ścianie
i stuknie w sufit głupią głową.

Co może na swój sposób boli
w dwuwymiarowym świecie. Może
błaznowi źle na moim dworze
i wolałby się w innej roli.

Королева с окна сиę wychyli,
a błazen z okna skoczy w dół.
Tak każdą czynność podzielili,
ale to nie jest pół na pół.

Ten prostak wziął na siebie gesty,
patos i cały jego bezwstyd,
to wszystko, na co nie mam sił
– koronę, berło, płaszcz królewski.

Będę, ach, lekka w ruchu ramion,
ach, lekka w odwróceniu głowy,
królu, przy naszym pożegnaniu,
królu, na stacji kolejowej.

Królu, to błazen o tej porze,
królu, położy się na torze.

Тень

Тень моя – шут при королеве.
Привстанет королева с кресел,
а шут в дурацком перепеве –
скок! – в потолок башкою треснет.

И мучится, быть может, болью
в своем двухмерном свете. Может,
он при дворе моем не может
довольствоваться жалкой ролью.

Она склонится из бойницы,
а шут и спрыгнет с вышины.
Всем ухитрились поделиться –
вот только доли не равны.

Дурак присвоил жестов живость,
бесстыдство пафоса и лживость –
все то, на что меня не стать:
порфиру, скипетр и фальшивость.

Ах, буду легкой в повороте,
ах, запрокинусь в той келейке,
король, когда вы прочь уйдете,
король, на той узкоколейке.

Король, счастливых вам дорог,
не я – мой шут на рельсы лег.

Перевод Асара Эппеля
В “ИЛ”, 1974, № 7.

Тень

Тень — точно шут за королевой.
Лишь королева с кресла встанет,
он по стене взлетит нелепо
и в потолок башкою грянет.

Хранит свои, наверно, боли
двумерный мир его. Наверно,
ему в тиши дворцовой скверно,
и об иной мечтал он роли.

Едва склонюсь я на перила,
бедняга выброситься рад.
Судьба во всем нас поделила,
да жаль — не поровну расклад.

Себе забрал он позы, страсти
с бесстыдным пафосом и пылом,
и знаки королевской власти —
все, что самой мне не по силам.

Ах, как легко качну плечами
и вскину голову в короне,
с тобой, король мой, без печали
простясь, король мой, на перроне.

Король мой, это шут с откоса,
король мой, прянул под колеса.

Перевод Анатолия Гелескула
В кн.: Польская поэзия: XX век. М., Вахазар, 1993.

Моя тень

Тень — это шут при королеве.
Шагнуть мне стоит за порог —
мой шут уперся в потолок,
скосил затылок в глупом гневе.

А это больно, может быть,
жить в тесноте двух измерений,
среди придворных превращений.
Хотел бы шут шутом не быть.

В окно взгляну, и поневоле
на землю прыгает дурак.
Мы поделили наши роли
не пополам, не так на так.

Он жесты взял, их щедро мечет,
в бесстыдстве пафоса кипит,
он взял все то, что давит плечи:
корону, мантию и скипетр.

Ах, буду легкой я вдвойне,
в походке легкой и в поклоне,
когда, король, придется мне
с тобой проститься на перроне.

Король, король, ты видишь, лег
мой шут на рельсы поперек.

Перевод Святослава Свяцкого
В кн.: Строфы века – 2. М., Полифакт, 1998.

Тень

За мною тень, как шут придворный.
Родство не означает сходства:
я встану – шут мой поскользнется
И въедет в потолок невольно

Башкой садовой. Больно все же
бывает и в двухмерном мире.
Роль непроста. В моей порфире
шуту не по себе, быть может.

Вот госпожа в окошко взглянет,
а шут с окна сорвется вниз.
Мы неразлучны, но не равны:
капризы мне – ему карниз.

Простак себе взял тяжесть жеста,
бесстыдство пафоса и вместо
бубенчиков – нелегкий груз
моих регалий королевских.

Легко, король, пожму плечами,
легко, король, я отвернусь
при расставанье на вокзале
в последнюю минуту. Пусть,

Король, ты не заметишь даже,
как шут на рельсы молча ляжет.

Перевод Марины Курганской

© М. Курганская. Перевод, 2003

Тень

Тень моя, как шут при королеве,
Неотступно следует за мной.
Чуть привстану, тень — в слезах иль в гневе —
Стукнется о стену головой.

Не пытаясь закричать от боли,
Съежится, коль сяду я опять...
Может быть, совсем иные роли
Ей при мне хотелось бы играть...

Я к окошку подойду украдкой,
Не ступив и взглядом на карниз,
А она, бедняга, без оглядки
Норовит туда,
на камни,
вниз.

Тень, как шут, своим нелепым жестом
Королеву выставит на смех
И величья царственного вместо
Обнажит отчаянье при всех.

При разлуке с королем любимым
Легким будет шеи поворот...
Только тень, скользнув неслышно мимо,
Горестно на рельсы упадет...

Перевод Виктора Кульницкого

© В. Кульницкий. Перевод, 2003

Вислава Шимборская. Две обезьяны Брейгеля. Утопия. Тень

Документальная проза

Тадеуш Конвицкий

Памфлет на самого себя

Фрагменты книги

Перевод с польского и вступление К. Старосельской

Публикуемые фрагменты взяты из последней написанной Тадеушем Конвицким книги, жанр которой однозначно определить сложно — проще увидеть в ней произвольное смешение разных жанров: автор, не утруждая себя соблюдением строгих литературных законов, размышляет о том о сем — о жизни и смерти, о Боге и литературе, о высоком и банальном. Читая "Памфлет", будто напрямую слушаешь писателя (а кто знаком с Конвицким, тот и слышит отчетливо его характерный хрипловатый голос), следишь за прихотливыми извивами его острой, живой, часто парадоксальной мысли. Не случайно существуют целых две книги, представляющие собой записи бесед с писателем, тоже названные весьма специфически: "Полвека чистилища" (1990) и "Помню, что было жарко" (2001). Несколько маленьких отрывков из последней, в основном посвященной кинематографическому творчеству Конвицкого, включены и в нашу публикацию.

Каким образом человек обрел сознание? Свое величайшее сокровище и свое несчастье. Добыл с позволения Всевышнего или вопреки воле Великого Экспериментатора?

Человеческий разум, загадочная основа сознания, подвижная, не знающая покоя человеческая мысль нарушает законы эволюции. Рано или поздно мысль оборвет наше существование — неизвестно кем вызванный и какую цель преследующий процесс. Конец света, конец этой

© by Tadeusz Konwicki, Warszawa 1995
© К. Старосельская. Перевод, вступление, 2003

формы существования — одной из бессчетного количества возможных — спровоцирует сам человек. Господь Бог будет беспомощно наблюдать за такой кончиной — одной из множества возможных.

Кажется, в начале 1964 года я болел ангиной. Традиционные средства почему-то не помогали, и сострадательные друзья-врачи решили применить новый антибиотик. Но они не помнили дозы. И, поразмыслив, назначили мне лекарство с походом — из лучших побуждений, чтобы наверняка подействовало.

Ночью со мной стали твориться странные вещи. За окном зима, лютый мороз, метель, тишина спящего города, а на меня накатывает страх, ужас, нестерпимая паника.

Не хватает воздуха, голова раскалывается, в горле ком — мне страшно оттого, что я есмь, я существую и во мне бушует сознание, от которого никогда не избавиться.

Это сознание, что у меня есть сознание, что я — узник чего-то невидимого, пульсирующего во мне и вокруг меня, засыпающего меня клочками разбегающихся мыслей, неизвестного и непознаваемого, родом, возможно, из иных миров, — это сознание, которое складывается из пестрых обрывков сознаний, одолеваемых предчувствиями, именно это сознание, а может быть, другое, конкурирующее, порожденное глобальным сознанием, тем, что окружает нашу Землю и служит нам, помогая выжить, — итак, это лучшее, более доброжелательное сознание приказало мне вскочить с кровати и подбежать к балконной двери, за которой была снежная белизна и обледеневшие плиты тротуара.

Я принялся дергать дверь, плотно законопаченную на зиму. Она примерзла, обросла льдом и ни в какую не поддавалась. Но тут я вспомнил, что у меня есть жена, что в этом пустынном мире есть расположенный ко мне человек. Я разбудил ее, она напоила меня чаем и, держа за руку, не спеша ввела в привычную повседневность.

Финское телевидение снимало обо мне фильм. Мы поехали в Новую Вилейку под Вильно, сейчас ставшую уже частью города. Я хотел показать авторам фильма Летнюю улицу и дом, где я родился. Но на месте оказалось, что Летней улицы нет. Исчезла, пропала, сгинула, если вообще когда-либо существовала.

В некотором замешательстве я метался между жилыми домами, характерными для советского строительства, между этими каменными бараками, расспрашивая стариков, еще помнящих былые времена, о моей Летней улице. Безрезультатно.

Затем мы поднялись на мостик, перекинутый через Виленку, ту самую, что течет и через Колонию Виленскую; опершись на перила, я загляделся на мою извилистую речку, в ее золотисто-коричневую глубь с длинными прядями водорослей у самого дна.

— Только Виленка такая же, как была и какой всегда будет.

Сказал — и тут же устыдился своей банальной выспренности. Потому что вода в моей реке вовсе не была золотисто-коричневой. Подо мной текла бурая жижа, омывающая ржавые тазы, старые автомобильные покрышки, испорченные телевизоры.

Моя река тоже умирает. Может, когда-нибудь, в такой же зимний день, мы с ней разом остановимся на бегу.

Вчера вселенная была бесконечной + сегодня она конечна + завтра будет не совсем бесконечной + вчера имелось олицетворение Бога + сегодня Он непостижимая загадка всего сущего + завтра Он, возможно, будет суеверием + а что будет со мной

Всех тянет в прошлое. У дороги две полосы. Мы мчимся вперед, потому что жизнь нас несет, и одновременно упорно возвращаемся назад.

(Из книги "Помню, что было жарко")

В детстве я состоял из скольких-то там килограммов костей, небрежно обтянутых веснушчатой кожей. Наружность моя доставляла мне массу огорчений, в особенности летом, когда, практически нагишом, я болтался с дружками по Нижней Колонии. Каждая встречная дама считала своим долгом выразить мне соболезнование по поводу моего тщедушного сложения и погладить по головке.

А ведь я был честолюбив. На каменистом пляже над Виленкой я старался компенсировать промахи природы. Шастал по берегу среди дачников, выпячивая до предела свою хилую грудь. Я набирал сколько мог в легкие воздуха — очень приятного, впрочем, пахнущего крапивой и мятой — и, заглотнув его с кубометр, с втянутым животом, побагровев от напряжения, шествовал по горячему песку, чувствуя себя сверхчеловеком. На мою могучую, атлетическую грудную клетку с робким уважением поглядывали детки из хороших домов.

Но зимой я возвращался к своим нормальным размерам, и начинались болезни.

Конечно, к нам захаживал врач, пожилой и седоватый, как все врачи, — однако не слишком часто. Лечились мы по старинке, народными средствами, а еще нас лечила сама жизнь. Так, если болело горло, полагалось давать мед с растертым имбирем. При расстройстве желудка обходились александрийским листом. Жар сбивали настойкой липового цвета. Важное место в домашней аптечке занимал очиток, таинственное растение, которое я никогда не видел зеленым. В ходу был также чабрец и другие травы, имевшие у нас свои, местные названия; с тех пор как они забрели в стихи великого поэта Мицкевича, над ними десятилетиями ломали голову почтенные литературоведы.

Старшие воевали с ревматизмом. То кого-то продуло, то кто-то подхватил простуду. Дедушка с бабушкой перед сном натирали друг дружку скипидаром. Обычный это был скипидар или какой-то особый, целебный, не помню. Помню только магический ореол этого обряда. Вздохи, кряхтенье и страдальческие стоны.

Но вообще-то взрослые старались не болеть. На это не было ни времени, ни денег, ни охоты.

Любопытно, что в ту пору, в первой половине XX века, на Виленщине люди не умирали. Не помню, чтобы в моем детстве или ранней молодости кто-нибудь умер. Конечно, без исключений не обходилось, и, вероятно, время от времени кое-кто украдкой перекочевывал на тот свет. Но вообще-то умирать было не модно.

Смерть в моем представлении была пугающей метафизической легендой. Смерть висела над нами в тучах, таилась в лесах, подстерегала в

топях. Однако то была всего лишь угроза осерчавшего Бога. Мы боялись смерти, но никто ее не ждал и всерьез не принимал.

Только война сблизила нас со смертью. Нет, что я говорю: только современность разжаловала и демократизировала человеческую смерть. Сегодня я уже безучастно, прихлебывая чай, смотрю на пирамиды трупов на телеэкране, как делают это миллионы моих собратьев, обреченных на заклание.

В моей разветвленной, разбросанной по всей Виленщине семье попадались и знахари. Одни достигли больших высот в своем деле — добились всего, чего можно было добиться. Некий дядя Юзеф, международная знаменитость, лечил членов советского Политбюро и маршалов. А вот в НКВД его залучить не смогли, хоть и очень старались. Были и другие, оставшиеся скромными "шептунами", как у нас называли знахарей.

В легкомысленной молодости я, естественно, стеснялся этих своих родственников. Но когда повзрослел, понял, как много они приносили пользы.

Любой ребенок знает, что вылечиться человек может только сам. Наш организм задуман так, чтобы отражать напасти, угрожающие сохранности вида. Если родственники, когда мы заболеваем, вызывают врача, мы как бы слагаем с себя обязанность бороться с недугом. Медицинские титулы, стетоскопы, шприцы, аппараты для измерения давления, таблетки, вся эта врачебная машинерия, весь этот медицинский церемониал демобилизует нас, разоружает и отбивает охоту сопротивляться. Мы пассивно наблюдаем, как бедный доктор ведет подчас безуспешную борьбу с вирусами или всякими там кокками.

Знахарь, который, быть может, общается с заоблачным миром, не тратит силы на возню с бактериями или неподатливой толстой кишкой и сразу принимается за нашу психику, поднимает наш дух, и, завороженные харизмой целителя, мы бросаемся на борьбу с болезнью. Знахарь — кудесник, который превращает нас, взмокших от жара слабаков, в Бэтменов и Суперменов.

Итак, болезни. И у хворей, несомненно, бывают свои золотые деньки, периоды расцвета. В мое время, к примеру, популярностью пользовались корь и скарлатина, а оспа, от которой в нашей семье пострадала тетя Казя — добрая, славная и навсегда оставшаяся рябой, переживала упадок.

Наибольший же успех выпал на долю чахотки. Кстати, и моего отца унесла чахотка, самая демократичная в ту пору болезнь, атаковавшая богатых и бедных, молодых и старых, юных красоток и столетних ведьм.

Поначалу я переболел всеми детскими болезнями. Смутно помню скарлатину, корь, ангину, хроническую простуду. Потом ко мне привязался какой-то загадочный недуг, на полгода приковавший меня к постели и не желавший отпускать; все уже смирились с тем, что Тадя помрет. Я лежал и лежал, и конца этому не было видно, и мир мой ограничивался окном, выходившим на юго-запад, то есть в самую чудесную сторону света. Ну я и смотрел в окно — утром, днем, вечером и ночью. Это был мой экран, на котором разыгрывались мелкие, скромные сценки тогдашнего быта. Сперва были бескрайние снега, поутру розовые, под вечер синие. По снежному полю брели черные фигуры, иногда проносились сани, бойко звеня "бразгунами" (это всего-навсего усаженный бубенцами ременный нашильник, заменявший в те времена автомобильный клаксон).

Итак, в окне много дней стояла стародавняя лютая зима, погожая, с ясным голубым небом, с заиндевелыми деревьями. Я слышал крики своих одноклассников, бегавших наперегонки на лыжах, в стороне проносился в густом белом облаке поезд, а ночью я прислушивался к вою волков и нервному лаю наших собак. Насчет волков я, пожалуй, немного загнул, за что прошу меня простить.

Потом в окне появилась весна, такая, какой ее видывал Мицкевич и другие виленские поэты, потом наконец пришло лето, и я выздоровел. Вот так.

Согласно тогдашней моде, я не избежал и чахотки. В начале войны медицинская комиссия обнаружила у меня первую стадию туберкулеза легких. Не знаю, то ли меня хотели спасти от угона в Германию, то ли я и вправду был болен. Так или иначе, я температурил, потел и поплевывал кровью. Настроение было приподнятое: ведь я уже стоял одной ногой в могиле и мог свысока поглядывать на нашу жизнь под немцами и примелькавшуюся войну.

Однако немного погодя ход событий ускорился, я рванул в партизаны, желая умереть за родину с пулей в сердце, а не с каверной в легких, время для меня понеслось с молниеносной быстротой, и в конце концов, как того требует happy end, я очутился в Ягеллонском университете на отделении польской филологии. Тамошняя медкомиссия что-то углядела у меня в легких, я даже получал какие-то дополнительные посылки из ЮНРРА[1] для укрепления организма, но болеть уже было некогда. Надо было работать, учиться и бегать на первые настоящие, головокружительные свидания. Чахотка деликатно ретировалась.

Моя Колония Виленская перед самой войной должна была получить статус здравницы. Потом, после войны, когда она уже называлась по-литовски Павильнис, советская власть, кажется, собиралась устроить в этом самом Павильнисе курорт. Однако дальше намерений дело не пошло. Социалистическая индустриализация отравила Вилейку, истребила леса, превратила луга в пустыри.

А в мое время это было необыкновенное место, где хозяйничали сверхъестественные силы, природа вытворяла чудеса и благодаря таинственной эманации даже такие дохляки, как я, становились бессмертными.

И все же, если вас настигнет эта старуха с косой или — по нынешним временам — с электрической газонокосилкой, итак, если вы почувствуете, что настал последний момент монотонного странствия вокруг Солнца, порадуйтесь минуте, которая принесет неожиданную перемену, наконец хоть какой-то сюрприз и решение вечной загадки. А если ничего не принесет или принесет небытие, тоже хорошо.

Как большинство двуногих млекопитающих, я всю жизнь бился головой о стену. Чем бы ни занимался — ел, гулял, работал, — постоянно думал: что же там, по другую сторону? Неведение мучит нас и унижает.

1. Администрация Объединенных Наций по вопросам помощи и восстановления (действовала до 1947 г.). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Бывали минуты, когда мне хватало дерзости предположить, будто я близок к разгадке, будто вот-вот мрачная тьма на мгновенье расступится и я хоть что-то пойму. Я старательно записывал проблески предчувствий и внезапные озарения, которые через секунду гасли навсегда, пролетая через заклятое решето памяти в бездну неведения.

Теперь я все ближе к последней черте и все дальше... от чего?

Я уже забываю даты, цифры, фамилии, то есть теряю энциклопедическую память, не помню таблицу умножения, однажды в чужом городе за границей забыл название своей гостиницы, не запоминаю анекдотов, не помню собственной биографии, своих книг, благородных и недостойных поступков.

Хотя тут я, пожалуй, немного слукавил. Кое-какие недостойные поступки мне крепко запомнились. Так и вижу их перед собой, будто наклеенными на оконное стекло. Не могу от них отмахнуться и не могу забыть. Ничего не поделаешь: были они в моем жизненном багаже — там и останутся. Возможно, какие-то другие поступки, не очень значительные, я оправдал перед своей внутренней судейской коллегией и предал забвению. Но те, что унижают мою честь и достоинство, дискредитируют меня в собственных глазах, прочно застряли в моей ненадежной памяти и последуют за мной на тот свет.

Так что же я помню? Не знаю, как это объяснить. Если ясновидцы говорят, что наблюдают вокруг отдельных личностей серебристо-серую ауру, то и я готов поклясться, что запоминаю только те личности и события, которые окружены заметной мне аурой необычности, колдовского обаяния, будоражащим отсветом иных миров.

Отсюда же берется своеобразие — если мне позволено так считать — моей писательской памяти. Я не помню реальных вещей, зато помню то, что нереально. И на подмогу этой нереальности, которая живет во мне, которая неотторжима от меня, спешат клетки памяти, запечатлевшие яркую деталь, волнующее настроение, дрожь предчувствий, что сопутствуют нам в нашем странствии по жизни.

Словом, мертвый экран памяти иногда вспыхивает живыми красками, в которых стоило бы поискать силуэты людей из моих снов — если бы я умел видеть сны — и контуры событий — если бы они не прошли мимо меня.

Влюбиться в себя + обожать себя + отыскивать в себе таинственные голоса + восхищаться собой + вожделеть себя + вот способ прожить земную жизнь + но что дальше

Далеко не сразу я понял, что память — моя мудрая, чуткая и верная подруга. Только властолюбцы вступают в конфликт с памятью. Те, что постоянно тренируют тело, волю, дух и невинную память.

Моя память заботливо меня опекает и преданно мне служит. На каждом очередном этапе жизни она изымает из своей сложной конструкции все те взаимосвязанные цепочки, в которых больше нет нужды. А также следит, чтобы я не перегрузил свое сознание и подсознание случайным балластом. И собирает едва заметные блестки тайн на моем извилистом пути. И, наконец, постоянно мне напоминает, что я кружусь на крохотном мокром волчке в темно-синем безмолвном пространстве.

Благожелательные читатели иногда спрашивают, когда я напишу большую книгу, эпопею, дающую полную картину нашего бурного времени, вместившего, кажется, самую суть XX века. Я улыбаюсь, вздыхаю, смущенно что-то бормочу, но толком ничего не могу сказать. Не могу ответить на этот банальный вопрос, откликнуться на риторическое пожелание — лакомство, какими потчевали писателей пятьдесят лет назад.

Да, когда-то, лет сто назад, литература была зеркалом эпохи. Из книг узнавали, как живет французская аристократия или как выглядит Нью-Йорк, в романах находили описание китайских церемоний и путешествий по Африке. Но сейчас? В эпоху кино, радио, телевидения и доступных многим туристических поездок? Достаточно включить телевизор, чтобы за полчаса узнать, как выглядит мир и что там происходит.

Впрочем, и сегодня еще второсортное чтиво, сочинения кошмарных американок и англичанок, все эти увесистые кирпичи заполнены банальными описаниями вещей и событий, и без того известных читателю, но читатель привык к подобному кичу, и его желудок домогается жвачки.

Я свою современность вижу в свете блица. Я записываю ее в момент вспышки, когда молния озарения ярко освещает передний план, зачерняя все остальное — неведомое — непроглядной тенью.

Проза приближается к поэзии. И я вместе с ней.

В своих книгах мне случалось угадывать смутные очертания исторического будущего. Иногда я предсказывал чью-то судьбу или ее финал. Я бы охотно признался, что мое хилое тело — средоточие неизвестных духовных сил. С удовольствием похвалялся бы своим загадочным подсознанием или Юнговым бессознательным. Однако моя честь — общающаяся, впрочем, сама с собой и незаметная чужому глазу, — моя честь запрещает мне тешить себя этими мелкими обманами, которыми балуются самозваные боги, одержимые пророки, а иногда даже посредственные литераторы.

Мой дар предвидения порожден пессимизмом. Когда я пытался пророчествовать в оптимистическом ключе, ничего не вышло, и меня до сих пор то и дело за это высмеивают.

Ибо пессимизму пророчества удаются лучше, нежели оптимизму.

Всем в Европе известно это странное сооружение, воздвигнутое в центре Варшавы; в ясную погоду его видно даже из Дублина и Лиссабона. Называется оно Дворец культуры и подарено нам Советским Союзом. Строили Дворец русские, стараясь угодить польским — в их представлении — вкусам. Поэтому небоскреб щедро украшен деталями, каковые советские архитекторы приметили в маленьких городках, в костелах и на железнодорожных вокзалах.

И я возвожу свой дворец культуры из моих книг. Я сооружал его из разных элементов, повторяющихся в том или ином виде, лепил из собственного стройматериала, прихваченного в краю моего детства и в городах, куда меня потом забрасывала судьба. Везде, в подвалах, на первом этаже и на острие шпиля — папиллярные линии моих пальцев, а также следы моих тяжких трудов, приступов отвращения и кратковременного энтузиазма. Конструкция эта в отдельных своих фрагментах уродлива, неудачна, едва держится.

Я часто без стыда и совести выставляю себя напоказ. Книга "Бохинь" начинается словами: "Моя бабушка, Хелена Конвицкая...". В "Польском комплексе" милиционер, проверяя у меня документы, говорит: "Пан Конвицкий". Литераторы, как правило, стесняются автобиографичности, делают вид, будто пишут из головы, то есть все выдумывают. Моя же проза, напротив, – прошу прощения за высокий слог – креативна, иначе говоря, я никоим образом от себя не отказываюсь. А чтобы текст не получился холодным, трудным для восприятия, ввожу собственную персону, стараюсь придать тому, что пишу, почти документальный характер личного признания. Вместо того чтобы маскировать биографический материал, я лгу и навязываюсь читателю.

(Из книги "Помню, что было жарко")

Книга, хорошая или плохая, – автопортрет автора.

Я знаю, как заглушить проклятое сознание. Надо включить воображение. Рожденные под знаком Рака, под моим знаком – дети фантазии и ее рабы. Иными словами, изрядную часть человечества можно усыпить игрой воображения.

Уже не помню, когда я открыл в себе эту склонность, эту удивительную способность выпутываться из силков жизни. Наверное, еще в детстве, над речкой Виленкой, когда перемогал страхи перед неведомым, перед будущим. Я выпустил на волю свои невесомые, летучие мысли, и они взмыли выше тамошних холмов и полетели в мир запомнившихся книг, увиденных фильмов, услышанных от кого-то рассказов. Уже из этого первого путешествия я, вероятно, как ни старался, не мог вернуться. Хотел, но не мог снова окунуться в повседневность.

Со временем, конечно, я к этому пристрастился. Едва что-то начинало мерцать в голове, нет, пожалуй, в сердце, нет, не так – там, где располагается сознание, называемое также душой, в извилинах мозга, а может, среди волн, что текут из меня непрерывно, как течет в жилах кровь... так вот, едва появлялось знакомое ощущение, я нажимал внутри какую-то кнопку и уносился в безопасную вселенную, мной созданную и мною же оживляемую.

Мои полеты на крыльях фантазии в далекие страны и континенты, мои счастливые каникулы в краю чудесных происшествий, мои набеги в космос, где у меня на глазах рождались и умирали звезды, которых я почти мог коснуться рукой, ну и мои безумные романы с идеальными – ибо мною вызванными к жизни – девушками.

Тут необходимо добавить, что мой воображаемый мир не был схематичным, то есть пустоватым, лишенным сочных деталей. Мысленно я ни в чем себе не отказывал. Украшал выдуманные события выразительным, динамичным орнаментом, инкрустировал подмечаемой там и сям роскошью беззаботного бытия, расцвечивал всеми красками бесстыдной наивности.

Но в какой-то момент, уже в зрелые годы, выяснилось, что я угодил из огня да в полымя. Воображение оказалось ничуть не лучше сознания. Оно отравляло меня, затягивало в омут, забивало глотку омерзительной патокой лжи.

В своем разгулявшемся воображении я пережил все лучшее, что может предложить наше существование. Ничего более прекрасного ждать уже не приходилось. Будь у меня побольше наглости, я сумел бы стать

властелином своего созвездия, приводимого в движение туманностями мыслей.

Теперь я только и делаю, что убегаю и от сознания, и от его злой сестры или смахивающей на ведьму дочки — фантазии.

Расцвет сознания сопровождается кровоизлияниями; кое-кто называет это совестью. Речь идет, разумеется, о панорамном сознании.

Совесть растет и развивается вместе с нами. И что любопытно, с годами не увядает, не тускнеет и не тупеет, как прочие детали нашей биологической и психической аппаратуры. Напротив, к старости она набухает, разрастается и уподобляется огромной раковой опухоли, от которой невозможно избавиться даже в лучших хирургических или психиатрических клиниках.

И тут человек с больной совестью принимается истово молиться, бегать в церковь и, не считаясь с затратами, покупать индульгенции.

Нет-нет кто-нибудь да скажет: "У меня совесть чиста". Это означает, что у данного человека просто нет совести. Он знает, что совесть существует, но, поскольку ему не докучает, следовательно, она в порядке: не заражена, не отравлена грехом, не осквернена угрызениями — сыпью, что свербит всю жизнь.

Люди, не имеющие совести, охотнее других рассуждают об этой удивительной функции панорамного сознания, любят на нее ссылаться и шантажировать ею прочих двуногих млекопитающих.

Но и те, у кого есть совесть, и те, кто ее лишен, в сходных обстоятельствах отбывают в голубую даль, то есть в вечность, и неизвестно, был ли кто-либо когда-либо вознагражден за то, что прислушивался к совести.

Моя совесть — комок обнаженных нервов. Моей совести помогает, а точнее, ее растравляет вредное воображение. Совесть и воображение, слившиеся в любовном объятии, — это кошмар.

Совесть, если ее не лечить (а кому под силу лечить совесть?), превращается в хроническое ощущение вины.

У меня эта болезнь началась, пожалуй, еще в ранней молодости. Я чувствовал себя в ответе за неразумное правительство моей страны и армии захватчиков, за ООН и "Красные бригады", за Господа Бога и историю.

Мое чувство вины с возрастом обострялось. И настало время, когда, читая в газете заметку об изнасиловании старушки, я цепенел от страха: а вдруг это я — бессознательный насильник, в минуту торжества психической энтропии совершивший мерзкое преступление? Я начал бояться газет, телевидения и объявлений о розыске преступников.

Слово "совесть" звучит красиво и возвышенно. Совесть страны, совесть народа, совесть литературы. В цене, как правило, дефицитный товар.

Совестью может быть страх перед возмездием судьбы. Или перед заслуженным наказанием от руки незримого правосудия. Но ведь судьба бесстрастна и безнравственна, а негодяев кара настигает очень редко.

Совесть — это фора, которой наделяют случайных индивидов для поддержания безопасного уровня греховности в сосуде, именуемом Солнечной системой.

Существовала когда-то область искусства, именовавшаяся литературой. В те времена попадались специальные магазины, где продавали предметы, которые мы называли книгами. Книга — это несколько сот сшитых и переплетенных страниц. На страницах чернели буквы, складывавшиеся в слова, а слова — в предложения. Получались романы, стихи, эссе или воспоминания. Читали их в кровати, в кресле, за столом, на скамейке в парке или в дороге.

Роман — это цепь приключений, зачастую многообразных и драматичных, некой личности, называвшейся героем романа. Стихи немногим отличались от современных песен, исполняемых молодежными группами. А эссе или воспоминания, как правило, были похожи на сегодняшние ток-шоу, только, понятно, намного скучнее.

В качестве любопытной детали стоит отметить, что читатель — будь перед ним роман, стихи или эссе — оставался наедине с книгой, в полной тишине, без звукового и визуального сопровождения; ничто не влияло на процесс передачи информации.

В начале XXI века в результате бесшумной революции настала эпоха жестких дисков. Стремительное развитие электронной техники быстро привело традиционную литературу к упадку, и сегодня познакомиться с ней можно лишь в клубах любителей старого искусства, которых, о чудо, становится все больше.

Я на ниве этой литературы, которой все предрекают скорый конец, тружусь в поте лица — или, если угодно, мараю бумагу — пятьдесят лет. Начинал я, когда литература еще прочно стояла на ногах и, казалось, немало могла рассказать о недавнем страшном прошлом и многообещающем будущем. Я был ее продуктом или, возможно, внебрачным ребенком. Для моего поколения литература была наркотиком и допингом. Испещренные печатными знаками страницы толкали нас в военную бучу и побуждали браться за рациональное переустройство вечно хромающего мира. Стыдно сказать, но — так было. Такое поразительное, деспотичное влияние оказывали на нас скромные черные буковки на непрочной белой бумаге.

Три четверти людей на земле тогда не умели читать и писать. А те, что умели, — писать боялись. Это считалось колдовством, тайной литургией, едва ли не святотатством.

На углах улиц были конторы, где за небольшую мзду какой-нибудь грамотей мог написать за вас прошение, письмо невесте или анонимный донос на соседа.

Но прежде чем скончаться, литература подверглась стремительной демократизации, как, впрочем, и все иные области человеческой деятельности в переломной второй половине XX века. То есть перед смертью заразила все слои общества, все социальные группы. За одно-два десятилетия были написаны сотни тысяч романов, миллионы воспоминаний и миллиарды стихотворений. Сочинители описали все, что видели, помнили или воображали. Описали всевозможные преступления, отклонения от нормы и извращения, душевные болезни и кровосмеси-

тельство, вырождение человека и закрепляющееся в генах слабоумие, свергли богов всех религий и пали ниц пред новым богом — богом хаоса, взорвали хранилище достижений рода человеческого и нагадили в космос, расписали в миллионах томов несложный процесс совокупления и в мириадах абзацев представили на всеобщее обозрение скрываемые прежде детородные органы. А потом уже не о чем стало писать, и литература испустила дух.

Стоп, минутку, это не совсем так. Какая-то ее часть уцелела. И стала хлебом насущным диких, примитивных народов, заселяющих призрачные пространства гигантских метрополий. Ошметками этой литературы питаются племена секретарш, домохозяек, орды гостиничных администраторов и работников автозаправочных станций, своры прогуливающих занятия шестиклассников и банды художников-абстракционистов.

Если Бог существует, то в конце XX века наслушался много неприятного.

Теологи спорили, обладает ли Бог сознанием. Того и гляди изобретут бога-недоумка. Может, оно и к лучшему.

Сегодня успех легко приходит и еще легче уходит.

В далекие времена, во времена моей молодости романы писали пером или карандашом; авторучки появились позже. Слыхал я и о романистах, отстукивавших свои сочинения на пишущих машинках.

Я, естественно, писал вечным пером с резиновой емкостью внутри — каучуковой пипеткой, выталкивавшей чернила весьма неохотно. Так что приходилось не только насиловать свой скромный талант, но и сражаться с тогдашней неподатливой техникой.

Разумеется, не секрет, что я производил свои романы в горизонтальном положении, то есть лежа, дабы полностью расслабить мышцы и по возможности сосредоточиться. Пописывал время от времени, чуть ли не украдкой, поздним вечером или ночью. Возможно, каждую из книг я бы написал лучше, если б писал в другие дни, в другое время суток, если бы в эту пору мои внутренние органы функционировали исправнее или успешнее действовали внешние стимулы. Но было так, как было, и это тоже документальное отражение минуты, обстоятельств, расположения созвездий и некой точки на пути дао.

Мои соперники, даже те, что никогда обо мне не слышали, а им несть числа, так вот, мои соперники писали по-разному, всякий на свой лад. Одни утром, другие вечером; одни ежедневно, как на службе, выдавая свои три-четыре страницы, другие — реже, нерегулярно, зато по дюжине страниц сразу. Кто-то писал легко, слова у них сами слетали с кончика пера; кто-то подолгу трудился над каждой фразой. Одни были нормальные, другие — психопаты; попадались больные и увечные, спортивные и красивые; некоторые увлекались психологией, иные обожали "экшн", кое-кто погружал сюжет в мрачную атмосферу страха, тогда как их коллеги специализировались на юморесках.

Было предложение, был спрос. А всему бизнесу покровительствовали гении XIX века, которые ушли, не оставив потомства, ибо так распорядилось Провидение.

У меня панорамное сознание. Я все вижу одинаково отчетливо. Моя внутренняя лаборатория молниеносно производит тысячи замеров и анализов. Я знаю все причины и предугадываю следствия. И потому я несчастлив, если я несчастлив.

Минутку. Пожалуй, такие, как я, первым делом составляли в уме некую схему — ей надлежало стать осью сюжета, или, скорее, мотором, а может, лентой транспортера. Потом придумывались персонажи, их характеры, индивидуальные особенности, а также их функции в разворачивающихся событиях. Затем мысленно записывались сцены или сценки, и для них изобреталось оригинальное оформление и нестандартная атмосфера.

Наконец, после долгих размышлений и множества фальстартов, дело сдвигалось с мертвой точки. И вдруг на тебе: сцена, которой надлежало быть пространной и ударной, съеживается донельзя. А герой, задуманный как новый психологический феномен, с трудом тянет на статиста и ни за что не желает расти и обретать крылья. Между тем какой-то эпизодический персонаж вырывается на авансцену, а запланированное авторское отступление, сюжетная пауза оборачивается грандиозным действом.

Бешеное движение мысли, ужасающее искрение клеток мозга, а под спудом — океаны надежд, где по берегам — вулканы эйфории, а сверху небо, полное божественных предчувствий, — и все это под ветшающими обложками миллионов книг, которые уже никто не читает.

Куда я забрел? Зачем мне все это? Я отравился этой литературой, подавился ею, испортил себе жизнь. Но чем-то надо было себя занять. Над чем-то надо было корпеть, чтобы быстрее летело время. Чтобы худо-бедно продержаться с рассвета рождения до вечера смерти.

Я уж не говорю о своем коте Иване, который, без сомнения, существо высшего порядка. Но вот я наблюдаю за знакомым псом во дворе. Чего достиг он как Божье творение? Он ощущает голод и жажду и способен как-то их удовлетворить, весной пережил большую любовь, справляется со страхами, иногда даже метафизическими, ревнует своего хозяина, то есть друга, умеет пошутить и любит играть. Скучает по своим близким, если его оставляют одного дома, — тогда он плачет и не дает покоя соседям; иногда погружается в рассеянную задумчивость; а случается, на него нападает хандра.

Он только не умеет на песке двора написать лапой: $E = mc^2$.

Изредка меня узнают на улице, и я понимаю, что в эту минуту должен бы скакать на огнедышащем рысаке в серебряных доспехах и с радужным султаном на шлеме или, на худой конец, шагать вразвалочку в небрежно расстегнутом камуфляже с автоматом на груди. А я тем временем неуверенно топаю по тротуару, невзрачный тип в клетчатой кепке и долгополом пальто.

И тогда у меня возникает непреодолимое желание сказать “извините” и провалиться сквозь землю.

Кажется, в самом начале нашего, уже почти забытого XX века были замечены первые симптомы малокровия литературы. Она еще цвела, но

ей уже предсказывали увядание. Все рвались ее лечить. Предлагались сотни терапевтических методов, даже тогдашние тоталитарные режимы взялись за исцеление литературы.

Но лишь под конец века недуг развился всерьез. Литература покрылась прыщами, кожа потрескалась, волосы свалялись, начали гнить внутренности, выросли рога и рахитичные крылья, ноги распухли от слоновой болезни, в голове забулькала вода, вскрылась грудная клетка. Предпринимались отчаянные попытки прикрыть загибающееся чудовище саваном, но в этом уже не было нужды. Литература аннигилировалась.

Остался только глаз с кровавым клубком нервов.

Кто-то спускается по ступеням с небес + я вижу белую бороду, развевающиеся одежды и вытянутые, как у слепца, руки + это Господь Бог + но Он проходит мимо + исчезает в ночи + тускло освещаемой редкими фонарями звезд

Я написал немало никудышных страниц. Долго искал свой голос, свой тон, свою ноту. Возможно, мне пришлось открыть самого себя, хотя, честно говоря, обнаружилось немного. Немного в масштабе бесконечного разнообразия сущего.

Я преклоняюсь перед так называемой трудной литературой. На днях одна ученая дама пожелала почтить память недавно скончавшегося писателя, которого мало кто читает. Она сравнила его с Джойсом. Сравнения — горькая услада неудачников. Джойс писал на главном языке мира, во славу писателя трудятся сотни клубов его почитателей, тысячи университетов раздувают до небес его фразы, слова, запятые и точки. Над Джойсом мигает огоньками, скрипит колесиками, шипит трубками с загадочными растворами гигантская реанимационная аппаратура. По могиле мэтра ползает божья коровка, утешительница скорбящих.

Однако я не по расчету остался в стороне от ухабистой дороги авангардной прозы. Нет-нет, мне хотелось подружиться с ровесниками. Хотелось приятнее и веселее провести данное мне время, то есть эту паузу неведомо в чем, неизвестно кем учрежденную. Меня тянуло поболтать о разных вещах, а поскольку я нетерпелив и несдержан, то и трепался обо всем, что видел из окна, хотя там, за окном, все сиюминутно, случайно: возникнув, тут же уходит в небытие. Мне хотелось поговорить, просто чтобы поговорить. И уже неинтересно, что из этого получилось. Если получилось скверно — неважно. Все равно затеряется в вечном мелькании космического калейдоскопа.

Вот именно. Склонность к патетике и страх перед патетикой. Нет, не страх, а стыд и смущение. Отсюда — прыжок в вульгарность, вернее, в раздражающий натурализм. А оттуда рукой подать до рискованных границ, за которыми маячит предчувствие — не поддающееся проверке, сомнительное и легко опровергаемое.

Попытки эксплуатировать себя, свою физиологию, свои нервные узлы и серое вещество. И боязнь самого себя, то есть собственной ничтожности, случайности, опасливого балансирования на какой-то грани, о которой мне ничего не известно.

Отчаянная автодокументальность с лирической эсхатологией на заднем плане.

Большая котловина, в которой сходились две реки — легендарная Вилия и ее дочурка Виленка, была своего рода биологическим компьютером. В таинственной впадине, окруженной дубравами, вне всяких сомнений накапливалось и сгущалось коллективное сознание — в этот удивительный банк памяти помещали свои вклады различные культуры, обычаи, религии и все еще не забытое здесь язычество.

Я вспоминаю свой класс в гимназии — очень хорошей, с высокими задачами, но все же провинциальной школе, словно бы по воле истории оставшейся в XIX веке.

В этом небольшом сообществе за партами сидели мальчишки разных национальностей. Немец — самый способный из нас; француз; итальянец — о диво, самый светловолосый в классе; еврей — замкнутый, отчужденный; литвин, скрывающий свое происхождение; караим из польской столицы караимов Тракая; русский — с аристократической внешностью и такими же манерами; наверняка был среди нас белорус, и даже не один, но этого я не помню, потому что они старались не выделяться. Если хорошенько приглядеться, обнаружился бы и какой-нибудь татарин, еще из липков[1], переселенных сюда в древние времена Великим князем Витольдом. А шведы — как же могло обойтись без шведов, ведь они соседствовали с давней исторической Литвой.

То был маленький Вавилон в тогдашнем неповоротливом, стабильном мире, в нашем мирке на краю латинской цивилизации. Воздух этой долины наполняли биты противоречивой информации, и в воде они были, везде мы глотали их, грызли вместе с яблоками, росшими в старых, вечных садах.

Я нафарширован противоречиями, как русский пельмень.

À propos[2]. Когда русские откуда-нибудь уходят, они говорят: "Мы еще вернемся". И всегда сдерживают слово.

Ради удовлетворения своей интернациональной ксенофобии добавлю еще, что и с немцами мне не везло. Аж с 1939 года.

Я уже где-то упоминал о странном явлении, с которым столкнулся, работая над фильмами. Есть какая-то жила, какой-то невидимый нерв, какой-то поток ионов, который снабжает энергией, наделяет выразительностью, насыщает биотоками так называемое произведение искусства.

Особенно это заметно и ощутимо, когда лепишь фильм. Личность автора начиная от страничек сценария, через атмосферу на съемочной площадке и вплоть до шаманства монтажа и озвучивания спаивает все эти разнородные этапы, сливается с ними и склеивает их антагонистическую фрагментарность. Через произведение искусства бежит переменный ток, генератором которого является автор.

То же и в литературе. Дыхание автора, папиллярные линии его пальцев, следы болезней, взлетов и приступов отчаяния — все это переплавляется в двадцать восемь или тридцать два знака алфавита. В синтаксис фраз, подбор слов, в ритм настроений, отзывается неуловимым трепе-

1. Липки — литовские татары (от искаж. литовский — липковский). Поселились на территории Великого Княжества Литовского в XIV—XV вв.; служили в литовских войсках, получая за это земельные наделы.
2. Кстати (*франц.*).

том предчувствия тайны, не дающей нам покоя с той минуты, когда мы слезли с деревьев.

Несколько раз в жизни я умирал как автор. Последний раз, когда публиковал свои книги в так называемом "самиздате", детище оппозиционного подполья конца семидесятых — середины восьмидесятых. Тиражи были небольшие, книги доходили лишь до кучки варшавских читателей — остальные привыкли к мысли, что я уже умер и тихо переместился в историческое прошлое.

В начале военного положения в атмосфере патриотического подъема даже несколько раз служили заупокойные мессы за мою душу.

Интересно, чем кончится очередная моя, сегодняшняя смерть.

Я не гожусь в приверженцы восточных религий и философий. Созерцательность — не самая характерная моя черта. Для меня сосредоточенность, неподвижность, погружение в себя — начало смерти.

Мое нетерпение, потребность все время куда-то бежать без оглядки не позволяют мне больше пяти минут продержаться в одном состоянии, в одной теме, в одной интеллектуальной системе координат. Какой-то бес искушает меня: внеси свою лепту, вмешайся в ход событий, попытайся его повернуть. Кому-то, кто меня не знает, может показаться, что я родился с задатками провокатора.

Особенно это заметно в моих поздних фильмах. Изменчивость материи и образа, изменчивость света и звуковых эффектов. В "Долине Иссы"[1], где действие происходит в деревне, я тосковал по кирпичной стене, по конструкции из стекла и бетона.

И в прозе своей я то и дело нарушаю сюжетный ритм, меняю фактуру фраз, вставляю отступления, взбираюсь на котурны возвышенного и очертя голову кидаюсь в омуты юмора.

Кому-то это может показаться хаосом — кому-то, кто любит, чтобы на всем пространстве книги, от корки до корки, не было ухабов и рытвин, кто обожает жидкую, без комков кашку, обволакивающую воспаленное нутро. Но в моем хаосе есть свой порядок, особая подспудная драматургия, сплетенная из эмоций и интеллектуальных забав.

Да, но такое объяснение убедит лишь тех, кому нравится то же, что и мне. "Всяк сходит с ума по-своему", как говорят братья-россияне.

Я настолько терпим и испытываю такое отвращение к морализаторству, что не протестую, наблюдая, как мое семейство гоминидов готовится к самоубийству.

Если б можно было выключать сознание, как телевизор. Если б можно было заморозиться в холодильнике хоть на пару месяцев. Да, но тогда большинство из нас пристрастилось бы сокращать таким способом срок своего земного приговора. Я бы даже на футбольные матчи не вылезал из морозильника.

Я оптимист. Если мы исчезнем с лица планеты, на ней наверняка разовьется какая-нибудь новая форма жизни.

1. "Долина Иссы" — фильм Тадеуша Конвицкого по одноименному роману Чеслава Милоша.

Моя задача — не давать роздыха читателю, не позволить ему задремать, заснуть. Я б хотел, схватив его за глотку, приводить в чувство ударами моего пульса, будоражить электрошоками моей биоэнергии, одурманивать чадом совместной психодрамы.

Но кто такое выдержит.

Литература так дифференцировалась в процессе своего развития, что в конце концов разбилась на атомы и растворилась в воздухе. Стала частью смога, надгробным плачем по нашему существованию. Аминь.

Мой покойный друг, прекрасный художник и удивительно оригинальный писатель, в своем романе — к сожалению, не очень популярном — через весь странный и сложный сюжет красной нитью провел тему "греха" или, может быть, "преступления" подражательства.

Читая роман много лет назад, я воспринял этот мотив как интеллектуальную шутку или как характерную для автора художественную провокацию. Однако со временем этот грех, или преступление, а точнее, грешок, безвредный для общества проступок навел меня на мысль: уж не издержки ли это профессии?

Мы вечно читаем в газетах либо слышим о том, что кто-то кого-то обвиняет в плагиате. Еще недавно это было чревато серьезными неприятностями. Подобные обвинения портили пишущим карьеру, лишали их академических кресел, сталкивали в пропасть забвения. Сейчас виновникам преступления ничего такого не грозит. Мы освоились с геноцидом, терроризмом, бандитизмом — и с явлением плагиата тоже свыклись.

Наглый плагиатор живет себе припеваючи, становится классиком, может даже выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Кошмарный культ, ужасное стремление к оригинальности. Прямо-таки навязчивая идея. Сотни тысяч разного рода художников сутки напролет ломают голову, дабы придумать что-нибудь эдакое, чего еще не было. Этой идеей одержимы также менеджеры художественного производства: издатели, продюсеры фильмов и музыкальных записей, директора музеев и, прежде всего, творцы рекламы, так как и реклама стала произведением искусства.

В итоге: непрестанные сполохи оригинальности и перманентные судебные процессы по обвинению в плагиате под аккомпанемент ревущего водопада наличных, предназначенных для возмещения ущерба.

Подражательство — двойник оригинальности. Упорно шагающий за ней след в след. Подражательство — элемент нашей культуры. Мы, как дети, подражаем старшим, учась ходить, есть, говорить. Потом мы подражаем учителям, воспитателям и историческим личностям. Наконец, подражаем своим соперникам, а также кинозвездам и всякой эстрадной шелупони, чтобы в конечном итоге последовать примеру наших родителей — лечь в могилу.

Рефлекс подражательства — двигатель общественной жизни. Светские и салонные моды, истерические перепады настроений, политические течения, эстетические и кулинарные пристрастия, забавы и развлечения — все это распространяется по свету благодаря той жилке

подражательства, которая в области искусства слывет грехом и даже преступлением.

Но и среди художников многие живут за счет подражательства. Собственно, целые орды ремесленников, действуя по законам конкистадоров, зарабатывают на том, что имитируют гордо шествующее впереди высокое искусство. Кто-то на свой лад подражает примитивистам, кто-то — Пикассо. Есть особая категория — копиисты, которые с маниакальным упорством, чуть ли не впадая в религиозный экстаз, всю жизнь копируют старых мастеров. Стоит упомянуть и об армии тех, кто имитирует произведения большого искусства не только ради больших денег: они чувствуют к этому какое-то странное, необъяснимое призвание.

В литературе также можно обнаружить целое подражательное направление, с которым литературоведы, отчаявшись, в конце концов смирились, назвав его эпигонством. А фальсификаторы, которые обогатили мировую словесность шедеврами типа "Песен Оссиана"[1] или "Слова о полку Игореве", доставив ученым немало хлопот? Даже у нас, с нашим скудным запасом литературных мистификаций, нашлись подозрительные письма Шопена к Дельфине Потоцкой.

Существует грубоватый синоним слова "подражать" — обезьянничать. Обратите внимание: смекалистый народ не выдумал, например, термина "лошадничать" или "рыбничать" — нет, именно "обезьянничать". Таким образом, было проницательно подмечено, что подражают нам ближайшие наши родичи — обезьяны. Тут есть над чем поразмыслить.

А попугаи? А хамелеоны? А все эти бедные твари, принимающие облик веток, цветов, камней или даже хищников? И здесь есть над чем подумать.

Однако чересчур просто было бы назвать подражательство одним из способов выжить — и этим удовлетвориться.

Почему тучи и облака на небе напоминают парусники, античных богов или разбитые сердца безутешных влюбленных?

В моей литературной биографии наверняка найдется много примеров бессознательных подражаний. А то и краж. Какая-то мысль, метафора, любопытная картинка — все это могло самочинно укорениться в памяти. Спустя годы участливая память без комментариев подсунула мне краденый предмет, а я легкомысленно посчитал его своим.

Но я ведь и сознательно подражал, и эти позорные поступки доставляли мне странное, нездоровое удовольствие. Особенно меня притягивали отдельные черты близких людей, сыгравших в моей жизни важную роль.

В первую очередь тут надо назвать Антония Слонимского, поэта, и Станислава Дыгата, прозаика. Что касается Антония, мне нравился его стиль — и стиль поведения, и манера писать. Конечно, можно заподозрить, что кое-какие элементы этого стиля он позаимствовал у своих любимых англоязычных писателей: Шоу, Уэллса или Марка Твена. Можно заподозрить, но не хочется.

1. Оссиан — легендарный кельтский воин и бард. "Сочинения Оссиана, сына Фингала" (1765) — литературная мистификация шотландского писателя Джеймса Макферсона (1736–1796).

Конечно же последняя фраза целиком содрана у Антония. И делаю я это для того, чтобы доставить себе удовольствие и скрасить Антонию хоть один день, возможно пасмурный и дождливый, на небесах.

В моем романе "Чтиво"[1] вся любовная линия — пастиш прозы Дыгата. Его героини загадочны, непроницаемы и двуличны. И я в честь друга, испытывая прямо-таки неодолимую потребность, состряпал как умел эмоциональный сюжетец на дыгатовский манер.

У Дыгата, великана, возвышавшегося над нашей литературной братией, лицо было тоже не маленькое и довольно полное. А на этом лице, под внушительным носом, располагался небольшой ротик. И рот этот имел странное обыкновение путешествовать по лицу в зависимости от настроения моего друга. Если Дыгат был чем-то очень доволен, губы его отправлялись к самому глазу. Полагаю, что моя дружеская акция вызвала там, на небесах, такую сенсацию среди посвященных, что рот Дыгата переместился на его высокое, благородное чело.

Разумеется, плагиат, подражание, заимствование — не одно и то же. Но природа этих художественных преступлений, пожалуй, схожа.

Есть в нашем ремесле мелкие воришки, которых не стоит преследовать. Но попадаются и весьма почитаемые творцы, которые без зазрения совести крадут у коллег самые эффектные куски, следуя морали ребенка: это красиво, значит, это — без всяких оговорок — мое.

Бывает также, что кто-то, закончив писать, осознает, что совершил кражу, или ему на это указывает жена. Тогда не остается ничего иного, кроме как с бухты-барахты посвятить свой опус обокраденному, якобы таким способом заявляя о продолжении художественных поисков мэтра.

Но ведь, в сущности, все мы убеждены в своей оригинальности и грозно поглядываем по сторонам, высматривая воришек, которые норовят чего-нибудь отщипнуть от нашей неповторимости. Неповторимости, повторяющейся испокон веку.

Мне хочется воздать хвалу банальности. Которую так высмеивают, над которой так глумятся банальные интеллектуалы. Этому универсальному языку, философскому эсперанто, объединяющему наш погрязший в раздорах разноязыкий мир.

Банальность — пожалуй, единственное, что понятно каждому: австралийскому аборигену и якуту из Сибири, африканскому кочевнику и польскому литератору, лауреату Нобелевской премии и главе одесской мафии. Банальность позволяет нам достичь взаимопонимания в интеллектуальной и художественной сфере. Банальность легче всего поддается переводу, в каждом наречии для нее найдутся замечательные, точные эквиваленты.

Банальность, как некогда деньги, правит миром. На банальности можно построить бизнес, и многие так и делают. Эта золотая жила позволяет сколотить целые состояния. Кого ни возьми: литераторы, кинематографисты, музыканты, политики, журналисты, проповедники, художники, актеры, философы, юродивые — все усердные производители банальностей, завоевавших, как кока-кола, целые континенты и острова в океанах.

1. См. "ИЛ", 1996, № 1.

Я получаю истинное наслаждение, наблюдая за индивидом, который с горящим взором, бурно жестикулируя, патетически изрекает возвышенные банальности, будучи свято уверен, что указует человечеству новые пути на бездорожье многотрудной эволюции вида.

Уж не стоит ли ввести банальность отдельным предметом в школьные программы и изучать этот предмет, как закон Божий?

Утонченные создатели банальностей, устав производить однообразную продукцию, иногда забавы ради изобретают банальные антибанальности. Первооткрывателями сего жанра, захватчиками девственного края были незадачливые писаки, поставлявшие тексты в парижские театрики. Это они изготовили вкусную интеллектуальную пищу для привередливых французских мещан. Постепенно мода на банальные антибанальности выплеснулась за пределы Франции и мало-помалу охватила всю Европу и часть Америки. Меня так и подмывает назвать парочку классиков этого жанра у нас и за границей. Однако надо соблюдать осторожность. Похвалишь кого-нибудь, а тот обидится и давай перечислять мои грехи: никто ведь не свободен от пристрастия к банальностям — как и к банальным антибанальностям.

У меня как литератора чаще всего крали банальности.

Я помню смерть отца — вижу ее как на обрывке фотографии. Но что это смерть, я не понимал. Потом, вероятно, я изредка видел смерть в костеле, на катафалке, заслоненную цветами, размытую трепещущим пламенем свечей. Вблизи я к ней не приглядывался, однако знал: смерть — что-то страшное, не принадлежащее к моему, к нашему общему миру.

И вот я увидел настоящую смерть, родившуюся на моих глазах. Человека вытащили из-под поезда. Он был уже восковой, без кровинки в лице, зато сквозь рвань рубашки виднелась большая лужа сукровицы. Я не помню лица, волос, шеи, рук. Помню только это озерцо водянистой крови в животе и судорогу страха перед чем-то мне неведомым, но существующим где-то за горами, за лесами, а может быть, среди нас — невидимым, зловещим, неотвратимым.

Бывали дни и даже недели, когда я боялся смерти. Но иногда я годами о ней не думал, как не думают о движении звезд, медленно замирающем после гипотетического Великого Взрыва.

Но если я и боялся смерти, то лишь потому, что меня этому научили. Вся наша коллективная память, наше сознание, подсознание и бессознательное пропитаны страхом смерти — загадки нашего бытия.

У меня есть ощущение, предчувствие, догадка, что в ином своем воплощении я весьма легкомысленно купил путевку на земные каникулы. Но каникулы не очень-то удались.

"Промашка вышла", как сказал один партийный деятель, когда на торжественном первомайском собрании обвалилась сцена вместе с сидящим на ней президиумом.

Можно выжать из жизни все. Как та престарелая французская маркиза, которая в конце обеда воскликнула: "Давайте быстрее десерт, пока я не умерла".

Можно выжать из жизни все. Но не стоит.

Большинство двуногих млекопитающих с поразительным упорством стараются продлить земную жизнь, создавая себе монументы славы, придумывая красивые легенды, навечно связывая свои имена с общественными организациями либо, на худой конец, передавая их следующим поколениям сыновей и внуков. Во власть этой иллюзии попал даже хитроумный Сталин, вопреки законам природы осуществлявший идею достославных строек коммунизма (поворот рек); да и уважающий себя мещанин загодя сооружает мраморный склеп с собственным бюстом.

Однако каждый ребенок — разумеется, неглупый ребенок — понимает, что мы влачим свои дни на окраине космоса, в скромном захолустье вселенной, и наша жизнь (по сравнению с тем, что подсказывает воображение) не столь уж и прекрасна — напротив, для человека взыскательного она, вполне возможно, просто невыносима.

Казалось бы, зачем тогда инвестировать такое жалкое и ненадежное предприятие? Но есть, видимо, какие-то основания, подсказанные интуицией, а может быть, внутренней необходимостью или кодом замутненной памяти, кодом, дошедшим из таинственного прошлого невесть куда несущихся звезд.

Я уже не увижу, каково придется моему виду, когда вымрет все живое (уцелеют разве что мухи, еще какие-нибудь насекомые да крысы), когда люди останутся в одиночестве на лысой планете, лишенной лесов, среди пустынного ландшафта бесплодной земли, где слышен будет только далекий монотонный шум отравленных морей.

Но надо же придумать способ, как выжить. Надо прямо сейчас начинать борьбу с теми опасностями, в которые пока никто не верит, а если и верит, то не воспринимает всерьез. А может, во всеобщей суете, в шумном столкновении несхожих эгоистических интересов, в глобальной схватке неведомо за что, в растущем ото дня ко дню хаосе никто просто не заметит конца света.

Это тоже выход. Только неизвестно куда.

Многих событий, инцидентов, новостей я уже не увижу и не услышу. Но ведь я по природе своей нелюбопытен. Гораздо увлекательнее то, что меня ждет по другую сторону. По другую сторону чего: времени, реальности, черной и глухой стены тайны? Ждет ли, да и вообще есть ли там что-нибудь?

Говорят, в последнюю минуту перед глазами проносится вся прожитая жизнь. Но я ведь ничего не помню. Перед моими глазами постоянно кружат какие-то клочки, словно бы обрывки старых фотографий. Плавно спускаются с неба, будто отравленные серой хлопья позапрошлогоднего снега.

Зимнее окно, позолоченное светом керосиновой лампы; под окном огромный сугроб, который растает только весной. Пруд возле школы, где мы ловим тритонов. Карусель, вращающаяся на тележной оси, вбитой в толстый февральский лед; мы крутимся вместе с ней на самодельных коньках. Вилия: я тону — репетиция смерти в золотисто-зеленой воде, пахнущей лесными мхами и верткими водорослями. Голос мандолины в цветущей сирени. Зажигательные бомбы, сброшенные с самолетов, и наш мир, совершенно на себя непохожий, испятнанный темными тенями. Погоня, от которой во что бы то ни стало надо убежать. Светя-

щиеся штрихи трассирующих пуль у меня над головой: пули летят по косой к бронепоезду, который мы должны захватить, а я чихаю от едкого запаха нагретых солнцем помидорных кустов. Партизанские рейды по оцепенелым полям овса, а может, пшеницы. Орион в небе. Южный Крест. Хорошенькая китаянка — агент спецслужб, за которой я ухлестываю в Пекине, куда приехал в составе писательской делегации. Поиски тасманского дьявола по всему залитому солнцем и дождями острову. Шатанье по Америке. Утомительные хлопоты и невзгоды — результат лояльности к соплеменникам, обитающим в долине Вислы; кратковременные надежды и бесконечное отчаяние. Угар ничем не завершившихся флиртов и постепенное знакомство со смертью. Поначалу, в аромате свежих еловых веточек и церковного пения, она была почти мистической, потом стала обретать черты реальности, подступала со всех сторон, пока не обернулась повседневностью, чем-то не заслуживающим внимания, чихом, икотой, компостированием билета в городском автобусе.

Вот и все, что я нажил за годы предварительного заключения. Пока мне еще не предъявлены обвинения.

Отдохнуть + отдохнуть + отдохнуть + от чего отдохнуть + не помню уже, от чего отдохнуть

Алексей Зверев
Шутовство с петлей на шее

Читателя недавно появившегося по-русски в переводе К. Старосельской романа Тадеуша Конвицкого "Польский комплекс"[1] не оставляет чувство, что этот текст ассоциируется с чем-то знакомым, причем издавна и коротко. Впрочем, не сразу удается понять, отчего это чувство крепнет от эпизода к эпизоду. Может быть, дело в том, что для людей постарше так узнаваема атмосфера, в которой происходят тривиальные события, составившие канву рассказа? Поздняя стадия "реального социализма", очередь, мерзнущая перед ювелирной лавкой. Должны завезти товар, который тут же с жадностью расхватают, потому что скверное золотишко обручальных колец все-таки представляет некоторую ценность, не то что засаленные купюры, каждый день падающие в цене. Какая-то тетка, сумевшая внедриться в первый десяток, хотя народ стоял с рассвета, а она появилась чуть ли не перед обедом, какая-то приехавшая из деревни спекулянтка со свежей телятиной, сразу уведенная заведующей в подсобку. Ругань, склоки, опасливое — стукач, само собой, найдется в любой толпе — ворчанье на непорядки и невыносимый быт. Арестанты под конвоем, лениво скалывающие лед со скользких тротуаров, пенсионер, в своей квартире с протекающим потолком и вечно гаснущим светом наладивший подпольный бизнес: сто грамм в высокой стопке, мутный свиной холодец на закуску — "бинокль с медузой", как выражаются его клиенты.

Книга Конвицкого была написана в 1977 году и, разумеется, появилась в самиздате. Польская цензура, хоть и сказочно либеральная по нашим меркам, все-таки никак не могла допустить подобного издевательства над "идеалами". Известность Конвицкого как писателя и кинорежиссера, которого широко знали в Европе (но не в России, где, кроме "Современного сонника", не было напечатано ничего), только заставляла власти следить за ним с особым недоверием. Тем, кто еще не забыл тогдашние призывы к "бдительности" и каждодневные напоминания об "идеологической борьбе", не нужно объяснять — отчего.

Вспоминая не такие уж давние времена, Конвицкий теперь иронизирует по поводу того, что смерть автора, ставшая модной темой благодаря Ролану Барту, для него была не теоретической выкладкой, а вполне реальной ситуацией, ведь в костелах даже служили заупокойную по его душу. Видно, ему и тогда не изменяло чувство юмора. Хотя оно никогда не приглушало преследующее его — и очень ярко проступившее на страницах "Польского комплекса" — сознание собственной вины за всю гадость, которая вокруг. За убожество, скуку, ложь, продажность, всеобщее отупение, за стерилизованные мозги и души, —

1. Тадеуш Конвицкий. Польский комплекс. М., МИК, 2002.

словом, за тот бред, который именуется новейшей историей.

И вот, как раз отметив для себя этот парадокс Конвицкого — его способность ощущать чудовищное как смешное, а вместе с тем видеть, что анекдотические положения с густым оттенком гадости и бреда неизменно подводят к самым глубоким, самым неразрешимым загадкам национальной судьбы, да и человеческого удела, — постигаешь, какие воспоминания преследуют открывшего его книгу, какие параллели вызывает она, по крайней мере, у русского читателя. Их несколько, но есть одна несомненная и самая близкая — Венедикт Ерофеев. "Москва — Петушки", поэма в прозе, сочиненная зимой 1970 года и почти двадцать лет тоже гулявшая по самиздату, что не помешало ей воспитать целое поколение.

Тут очень много точек соприкосновения — конечно, непроизвольного. Банальная исходная ситуация: электричка у одного писателя, очередь у другого, самые что ни есть "типичные характеры в типических обстоятельствах", как говорилось в школьных учебниках литературы в разделе о реализме. Фарс, который без нажима, как бы самопроизвольно, но все отчетливее начинает напоминать будничный апокалипсис. Неприхотливый моментальный снимок с реальности; жизнь, застигнутая врасплох и запечатленная без ретуши; чуть ли не репортаж, который, оставаясь неукоснительно правдивым, постепенно приобретает черты сюрреалистической метафоры. Особенно в финале.

У Ерофеева Веничка, прибывший на конечную станцию, бежит от невесть откуда взявшихся угрожающих рож с налетом чего-то классического и глазами цвета жижи, плещущейся на дне вокзального туалета. А в "Польском комплексе" повествователь, некто пан К., он же Конва, или Тадек, или — впрямую — Конвицкий, бывший мэтр соцреализма (каким он, правда, никогда не был), подходит к работягам, сваривающим трубы, на которых повесят плакат "Дни Москвы в Варшаве", и просит разрезать автогеном его окоченевшее тело, но слышит в ответ: "Надрался под облатку... Катись отсюда, засранец".

Есть и совпадение не настолько явное, но, пожалуй, самое любопытное — совпадение интонации. В очереди пана К. осеняет мысль как-нибудь составить трактат о трагизме и шутовстве, и мысль его та, что реальность предельно сблизила эти внешне несовместимые понятия. Замечательно, что это произошло, что появилось "это двусмысленное родство, этот рискованный симбиоз", ведь гений народа обречен существовать и в той и в другой ипостаси. "Наш трагизм мерцает, смутно переливается, клокочет бесстыдством, вплотную подступает к границам пошлости, давится истерическим хохотом. У нашего шутовства рыдания рвутся из груди, наше шутовство до крови обгрызает ногти, наше шутовство набрасывает петлю себе на шею". Конвицкий говорит о себе, но, кажется, и о стилистике Венедикта Ерофеева невозможно сказать точнее.

Облатка у Конвицкого играет ничуть не менее важную роль, чем розовое крепкое за рупь тридцать семь или знаменитый коктейль "Слеза комсомолки" в поэме "Москва — Петушки". Время действия у Конвицкого — сочельник, через промерзшие окна магазина, куда вместо колец в итоге привезут советские латунные самовары, слышен оркестр инвалидов, где-то поблизости играющий колядки. Становится чертовски жалко чего-то, когда к оркестру присоединяются нео-

крепшие детские голоса или вдруг та же мелодия доносится из слабо освещенных окон разваливающегося дома, где семейство сидит за скудным праздничным столом. Герой вспоминает первое послевоенное Рождество, когда у себя в студенческом общежитии он размышлял про прелестную сказку, придуманную Богом и людьми, и вдруг заметил бредущую в сумерках по сугробам сгорбленную фигуру, которая так для него и осталась "загадочным предвестием беды... дерзким вызовом извечной традиции". Все происходящее в романе Конвицкого заполнено и отзвуками этой прелестной сказки, и напоминаниями об этом вызове, особенно неотступными как раз из-за того, что настолько бесцветен, жалок описываемый сочельник. Так и в поэме Ерофеева Веничка, глотнув кубанской, думает о скорби, о страхе, о смерти, о том, что, симулируя душевное здоровье, люди и он сам безнадежно больны душой. И его мысли не могут восприниматься просто как дань литературе, потому что трагизм тут, говоря словами Конвицкого, "ходит рука об руку с шутовством": патетика снята, но реальная боль вовсе не уничтожена. Отвлеченно рассуждая, такой симбиоз и правда рискован, но читавшие Ерофеева не усомнятся, что там, в поэме, он абсолютно органичен. Никому не покажется условностью или натяжкой, что всякий раз, упершись в неизбежный тупик, Веничка, как и все его спутники, тянется за своим зельем и, кощунствуя — или, может быть, действительно ощущая сакральность этой минуты? — на перегоне Электроугли — 43-й километр пьет во Имя Твое.

В своем прошлогоднем интервью польскому изданию журнала "Ньюсуик" Конвицкий говорил, что не в силах подавить собственный интерес к смыслу жизни, хотя прекрасно понимает, что поиски этого смысла никогда не принесут ответа, и они смешны ему самому. Но смех над собой для него творчески предпочтительнее, чем нынешняя повальная "мода на истеричность, на взрывы экстаза, на дешевую метафизику". Венедикт Ерофеев, наверное, мог бы выразить свое понимание литературы примерно так же. Оттого, чаще напоминая друг друга, но порой существенно расходясь и по главным мотивам, и по характеру повествования, два эти памятника своему времени — "Польский комплекс", "Москва — Петушки" — представляют собой прозу родственного типа. Того, о котором Конвицкий в "Памфлете на самого себя", публикуемом в этой книжке "ИЛ", сказал так: "Отчаянная автодокументальность с лирической эсхатологией на заднем плане".

Теперь такая литература не в чести — у нас и, сколько можно судить, у поляков тоже. Конвицкий сам называет себя старомодным автором из-за того, что так и не усвоил востребованной в наше время иронии по поводу всего на свете, не разучился без страха высказываться по поводу неразрешимых загадок, хотя самое бы лучшее оставить их в покое, раз они все равно неразрешимы. Поэма Ерофеева признана современной классикой и благополучно отправлена на "золотую полку", откуда ее редко достают именно по той причине, что в ней избыток эсхатологии, а подобные настроения уже не в ладу с возобладавшей теперь литературной тональностью. Заслуги оценены, у платформы Петушки водрузили бронзовую девушку с косой до попы, произнесли подобающие слова, и можно со спокойной душой окунуться в очередной исторический пастиш или иронический детектив.

Мы все никак не закончим поминки по литературе времен "реального социализма" и на этих ернических тризнах незаметно промотали замечательное наследие, которое она нам оставила. Как будто вместе с социализмом сгинули в небытие и вечные проблемы, и неизживаемые комплексы, которые описаны этой литературой. Как будто теперь никому уже ничего не говорят отчаянные попытки героя поэмы убедиться в "серьезности своего места под небом", таким хмурым и равнодушным, независимо от колебаний общественного климата. Как будто с социальными переменами сдана в архив необходимость "ежедневно разбираться со своей совестью, пересматривать мораль, под угрозой утраты чести или головы делать выбор между раем и адом". Та самая, которая, по Конвицкому, веками порождала на его родине особый тип сознания, который "недоступен пониманию 'граждан мирных, стабильных, сонных, лениво переваривающих пищу сообществ'".

Веничку не так уж заботит, какие у него отношения с властью или как его маршрут вписывается в типовую русскую судьбу, хотя, когда Ерофеев стал знаменит, по этому поводу было наговорено очень много. Роящиеся мысли Венички устремлены к Господу, который молчит, и его тоска, заглушаемая розовым крепким, в самом точном смысле "транс-цен-дентальна", как бы само слово ни занижалось контекстом начиная с той сцены, когда некто умный-умный в коверкотовом пальто у станции Карачарово опрокидывает стакан под этот философский комментарий. Конвицкий — тут, пожалуй, основное различие между двумя текстами — открыто и прочно привязывает "лирическую эсхатологию" к национальной судьбе.

В его романе есть две вставные новеллы, по времени действия отнесенные к польскому восстанию 1863 года. На его страницах мелькают великие тени мученической польской истории: Костюшко, Домбровский. Для пана К. все начинается с той декабрьской ночи 1944 года, когда он ушел из дома, чтобы сражаться в Армии Крайовой. А его давний знакомец, сосед по очереди Койран, вспоминает, как в пятьдесят первом должен был, но не привел в исполнение приговор изменнику Тадьке, который отрекся от старой Польши, уверовав в новую, под советской опекой.

В "Памфлете на самого себя" Конвицкий пишет: "Я свою современность вижу в свете блица. Я записываю ее в момент вспышки, когда молния особой минуты ярко освещает передний план, зачерняя все остальное — неведомое — непроглядной тенью". Он и правда прозаик, от которого напрасно ждать эпических полотен, его стихия — эпизод, обособленный словно бы совсем произвольно, однако освещенный настолько яркой вспышкой, что на переднем плане всякий раз видны ключевые моменты личного опыта, которые непременно привязаны к национальной истории и судьбе. Герой Конвицкого, его alter ego, все убеждает себя, что он европеец, гражданин мира, космополит, эсперантист, но снова и снова выясняется другое: нет, он все-таки поляк. "Темный, злобный, фанатичный" — какой угодно, но поляк, которому никогда не избавиться от "эмоциональных, моральных, интеллектуальных установок разрушенных городов на берегах Вислы". Которому не освободиться от польского комплекса, этого сложного сочетания романтики, благородства, возвышенной мечты об отечестве, ставшем "огромным садом, где пышно цветет ин-

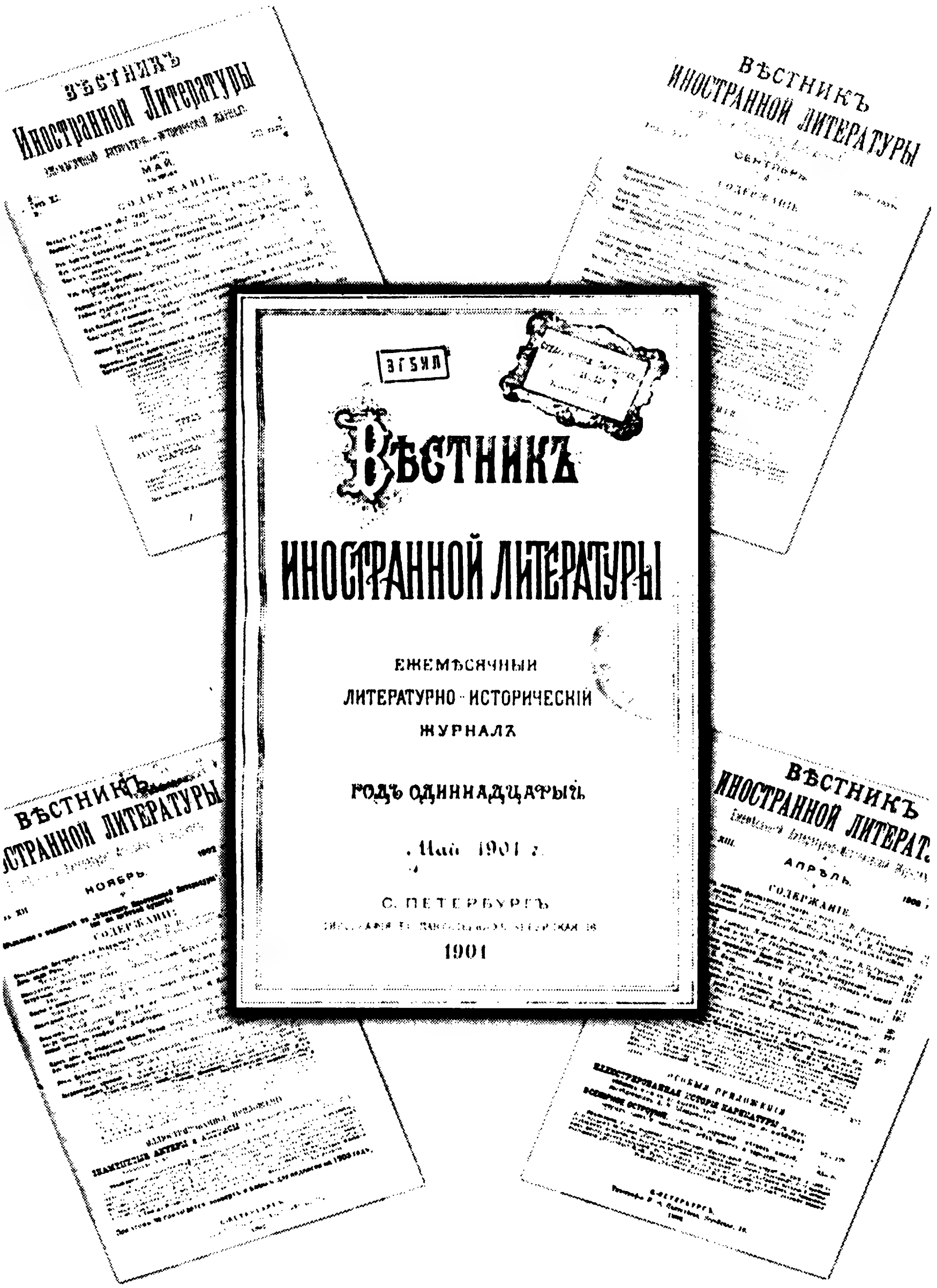
дивидуализм", самонадеянности, самовлюбленности, обиды на целый мир за то, что миру безразличны и упования, и бедствия глухой европейской окраины. Для Конвицкого — надо оценить его смелость — вся эта причудливая гамма густо окрашена еще и моралью рабов, дискредитирующей "сентиментальную приподнятость" деклараций, что Польше назначено, пройдя через страдания, стать белым ангелом для всего людского сообщества.

Наверное, не все на родине простили ему вмонтированную в повествование большую историческую новеллу о 1863 годе, о юном патриоте, приехавшем из Италии, из офицерской школы, в Беловежскую пущу, чтобы возглавить повстанческий отряд. В этом рассказе "польский комплекс" напоминает о себе поминутно — возвышенными порывами и пламенными иллюзиями, проклятьями москалям, торжественными речами о вымоленной Польше, которая уже выходит из тьмы, покидая кладбище народов. И еще тем, что вместо обещанных четырехсот солдат на месте оказалось всего десяток-другой юнцов, а мужики ушли, потому что пора косить сено. И паникой при первой же стычке с казаками, которые одним-единственным выстрелом разогнали все воинство патриотов. И финальным эпизодом, когда лесники вяжут своего освободителя по рукам, а потом, вызвав жандармов, помогают погрузить пленника в повозку, из которой его ноги торчат позорно раскоряченные, как у распотрошенного борова.

"А стоило ли?" Восемьдесят один год спустя пан К., тогда еще просто Тадек, покидающий дом, чтобы сражаться за свободу, ни на секунду не задумается над этим извечным вопросом. Но от него никуда не деться каждому, кто ощутил себя причастным к польской участи. И перед Конвицким, когда его, известного писателя, выпустят в Америку, тот же вопрос встанет во всей прямоте после встречи с бывшим своим командиром, теперь, после долгих мытарств и злоключений, умирающим на Лонг-Айленде, где в забегаловке этот немощный, худой старик, давясь подозрительным гамбургером, с упоением вспоминает героику партизанской войны. И те же мысли преследуют пана Конву, встретившего в очереди за кольцами своего потенциального палача, а еще некого Душека, который двадцать с чем-то лет назад занимался этим безвольным палачом в тюрьме госбезопасности.

Для поколения 1863 года все кончилось виселицами генерала Муравьева и бегством уцелевших в эмиграцию, где они снова распаляли себя риторикой о Польше — отечестве свободы и питомнике терпимости. Для поколения пана К. все завершилось "народной" Польшей с непременными стукачами, подъездами, где воняет мочой, и очередями за дефицитом. На вопрос "А стоило ли?" Конвицкому очень трудно ответить да или нет. Он и уходит от однозначных ответов, зная, что чаще всего они оказываются самыми сомнительными. Но зная и другое — что он с теми, кто "в море анонимности исполняют бесхитростный человеческий долг", пусть даже от этого ничего не меняется ни в мире, ни в польской судьбе. Все равно должны быть такие, кто "во мраке безнадежности преграждают своими костями путь паводкам несомого временем или историей зла".

Вестник иностранной литературы, 1901–1908



Первого декабря 1900 года завершилось первое десятилетие существования "Вестника иностранной литературы". И во второе десятилетие в своих ежегодных обращениях к гг. подписчикам редакция нового литературно-исторического журнала неизменно подчеркивала верность программе, провозглашенной в дебютном номере. Журнал, по мнению редакции, должен стремиться не только как можно скорее ознакомить читающую публику с выдающимися новинками иностранной художественной литературы, но и быть внимательным летописцем иностранной политической, общественной, научной, литературной и художественной жизни, быть посредником между западной мыслью и русским читателем. Характер, направление этого посредничества, его конкретные задачи за эти годы естественно корректировались, уточнялись, по-иному расставлялись акценты, но основная цель — ориентируясь на потребности русских интеллигентных читателей, "давать ясную картину главнейших умственных и общественных течений Запада" — оставалась прежней.

Уже к концу первого десятилетия существования "Вестника" журнал значительно "потолстел" за счет "Заграничной хроники". А четырнадцатый год издания "Вестника иностранной литературы" был отмечен, как с удовольствием сообщают своим подписчикам издатели журнала, "одним существенным улучшением: **статьи и заметки "Заграничной хроники"** — обо всех выдающихся событиях заграничной политической и общественной жизни, обо всех наиболее значительных иностранных изобретениях и открытиях в области науки и прикладных знаний, обо всех крупных и характерных явлениях в литературе, театре, музыке и искусстве — сопровождаются по мере надобности ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ В ТЕКСТЕ, что дает возможность еще более расширить содержание **"Заграничной хроники"**, так как многие статьи заграничных иллюстрированных изданий раньше не заимствовались "Вестником" только потому, что нуждались в пояснительных рисунках".

С того же 1904 года в "Вестнике" стали печататься и карикатуры из лучших сатирических журналов Европы и Америки.

Вступая в шестнадцатый год издания, редакция "Вестника" сочла необходимым в анонсе подчеркнуть важность поиска "произведений молодых авторов, отмеченных печатью ума, таланта, оригинальности: следить за нарождением новых течений, за образованием новых форм в литературе — такова одна из главных задач "Вестника". Заметим все же, что новейшие течения в зарубежной поэзии воспринимались редакторами "Вестника" отнюдь не благосклонно, а в некоторых статьях определялись не иначе, как "вырождение поэзии".

И еще одно нововведение тех лет. Читатели, подписавшиеся на "Вестник" на целый год, стали получать бесплатно и отдельное книжное приложение.

В 1901 году — это три иллюстрированных классических произведения французской литературы: "Исповедь" Жан-Жака Руссо, "Жиль Блаз" Лесажа и — впервые на русском языке — "Комический роман" Скаррона.

В 1904 и 1905 годах — это четыре тома полного собрания песен Беранже в переводе русских поэтов, с многочисленными иллюстрациями, а также "с автобиографией знаменитого французского поэта и критическими оценками его литературной деятельности". И — дополнение к этому объявлению: "Желающие получить отдельное приложение "ПЕСЕН БЕРАНЖЕ" в изящных коленкоровых золотом тисненных переплетах приплачивают по 60 коп. за каждый том".

В 1907 году — по примеру прежних лет — обладатели годовой подписки "Вестника" бесплатно получили приложение в пяти томах — "Происхождение современной Франции" Ипполита Тэна. В издательской аннотации сообщается: "Это бессмертное сочинение знаменитого историка и критика до сих пор не было переведено на русский язык. И. Тэн посвятил этому труду всю жизнь и положил конец запутанной легенде Революции. "ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ"

является крупным и необходимым дополнением библиотеки русского интеллигентного читателя".

Выход в России в эти годы труда о "запутанной легенде Революции", конечно же, не случаен, и позиция журнала здесь очевидна. Издание этого пятитомного приложения ввело редакцию "Вестника", по ее собственному признанию, в "весьма значительный расход", но тем не менее подписная цена на год осталась прежней. Редакция только выразила надежду, что "гг. подписчики окажут свое содействие к возможно большему распространению 'Вестника'".

Выполняя обещание "давать общедоступное, разнообразное литературно-художественное чтение", "Вестник" в рассматриваемый период поместил на своих страницах произведения А. Конан Дойля, Г. Уэллса, Джерома К. Джерома, Ф. Бретгарта, Марка Твена, Г. Сенкевича, А. Франса, Г. Д'Аннунцио, Г. Шпильгагена, Э. Ожешко, С. Пшибышевского, М. Метерлинка, С. Жеромского, М. Прево, Р. Киплинга, Кальдерона, К. Гамсуна, С. Лагерлёф. Сочинения Мопассана ("Мои маленькие путешествия") и Бальзака ("Среди ученых. Сцены из парижской жизни") переводились с рукописи. То есть в санкт-петербургском "Вестнике иностранной литературы" они были напечатаны раньше, чем во Франции или где-либо еще. Трижды за это время журнал обращался к творчеству некогда очень известного, а теперь прочно забытого немецкого прозаика и драматурга Вильгельма фон Поленца. Роман В. Поленца "Крестьянин" появился в "Вестнике" с предисловием Л. Н. Толстого. Великий русский писатель назвал этот роман Поленца лучшим из нынешних немецких романов, считал, что он заслуживает самой широкой популярности.

Большое внимание журнал уделял и мемуарной литературе, очеркам, путевым заметкам. Назовем в этой связи "Автобиографию" Г. Спенсера, "Индию и Китай" — путевые письма Пьера Лоти, французского писателя, флотского офицера, долгое время жившего на Ближнем и Дальнем Востоке, "Воспоминания" "всесветной, легендарной дивы" Сары Бернар, очерк деятельности великого изобретателя Эдисона.

Справедливо полагая, что русский читатель имеет законное право интересоваться всем, "что касается нашей великой отечественной войны 1812 года", редакция тщательно отмечала все, что по этой части появлялось в иностранной литературе. Так, напечатав в "Вестнике" пространное извлечение из книги сержанта Бургоня о его походе в Россию, редакция предложила своим читателям новый материал, "новые записки участника несчастного похода", на этот раз — прусского полковника фон Зукова, а вскоре опубликовала и еще одно документальное свидетельство — "Воспоминания" польского генерала Дезидерия Хлаповского, одного из приближенных знаменитого императора, участника испанской кампании Наполеона и его похода на Москву. "По отзыву известного партизана Д. В. Давыдова, это был человек замечательного ума и беззаветной храбрости, который умел внушить всем знающим его уважение и удивление", — пишет во вступлении к "Воспоминаниям" Хлаповского К. А. Военский.

На страницах "Вестника" в 1902 году были опубликованы письма И. С. Тургенева к его французским друзьям — Г. Флоберу, Ж. Санд, Ги де Мопассану, Т. Готье, Ш. Сент-Бёву, П. Виардо и многим другим. Эти письма, собранные Е. Гальпериным-Каминским, неутомимым исследователем творчества Тургенева, и изданные им в Париже отдельной книгой, "конечно, заслуживают, — считает редакция, — полного внимания русской публики".

В "Вестнике" за эти годы было напечатано немало философских, публицистических трактатов, а также аналитических статей по самым разным актуальным вопросам — об англо-бурской войне, затем о русско-японской, "об изменении климатов и странствии океанов", о психологии толпы, о природе гениальности, о женской эмансипации. Некоторые умозаключения авторов вызывают сегодня улыбку, но и они дают представление о характерных веяниях и настроениях того

времени, они тоже являются фрагментами той "картины главнейших умственных и общественных течений Запада", с которой и вознамерились ознакомить русских читателей издатели "Вестника". Приведем несколько пассажей из "сердитых" материалов "Заграничной хроники" этого периода.

1

Декадентство, охватившее чуть не целый мир в конце прошлого XIX века и давшее новое, довольно-таки бессмысленное направление изящным искусствам, породило в Париже целый ряд курьезных и оригинальных явлений, к которым бесспорно стоит причислить и ставшие теперь "знаменитыми" монмартрские кабачки. ("Монмартрские кабачки")

2

Факт раздражительного действия литературы на страсти юных читателей признается медициною. Кто не знает "Павла и Виргинию" Бернардена де Сен-Пьера? У Флобера г-жа Бовари зачитывалась этим романом, и вышло так, что он послужил причиною ее страшной экзальтации и так или иначе подготовил ее падение... Как спирт, так и чтение могут быть полезны в надлежащей дозе и убийственно вредны, если потребление их принимает вид запоя. В настоящее время в Париже расплодилось великое множество кабинетов для чтения и частных библиотек, почти столько же, сколько кабачков. В них молодые девушки и женщины отравляются литературою, как мастеровщина и простонародье отравляются в кабаках излюбленною "полынною" (абсентом). Главный "товар", предлагаемый библиотеками, — это роман. Есть зелья и снадобья, поднимающие чувственность, есть и романы такого же точно качества. Лекарства усыпляют нервы, романы успокаивают совесть. Особенно вредны романы, в которых любовь и ревность трактуются как естественное, врожденное право человеческой личности. Никто, кажется, не питает такой теплой веры в возбудительное действие романов, как специалисты-соблазнители. И случаи из судейской практики подтверждают это... Романисты думают сложить с себя всякую ответственность, опираясь на исключительные права, принадлежащие неотъемлемо таланту, художественному творчеству. Положим, писатель не обязуется работать исключительно на премию за добродетель, но он не должен также работать и на уголовный суд. ("Современный роман как возбудитель страстей")

Однако отдельные суждения авторов "Заграничной хроники", прочитанные сегодня, через сто лет после того, как они были высказаны, поражают проницательностью и актуальностью. Приведем два из них.

1

Есть государства, которые сами по себе представляют мало интереса, но все-таки находятся в центре общего внимания. Чем, например, знаменит Афганистан, эмир которого, Абдуррахман умер 20 сентября в Кабуле? Достаточно сказать, что площадь этого государства насчитывает всего-навсего 900 верст в длину и 750 в ширину и что в провинциях его еще существует феодальное право, чтобы понять, как жалок и ничтожен этот маленький уголок, совершенно тонущий в необъятных просторах Азии. И тем не менее Афганистан давно уже приковывает к себе всеобщее внимание, а когда недавно умер его эмир, в Европе стали поговаривать о предстоящих крупных политических событиях. Таких государств в Азии несколько, и все они, ничтожные сами по себе, заставляют по временам европейцев следить за их судьбами с большею лихорадочностью и волнением, чем за судьбами собственных стран. В чем же тайна? ("Смерть эмира Абдуррахмана и афганский вопрос")

2

Человеческая суетность остается неизменною во все времена и у всех народов, но сообразно с ходом культуры она принимает различные внешние формы. В насто-

ящее время, по-видимому, установилось мнение, что без популярности, т. е., другими словами, без рекламы в той или другой форме, нельзя добиться ни власти, ни славы, ни известности. Побуждаемый этой надобностью в популярности, современный общественный деятель изо всех сил стремится к тому, чтобы заставить о себе говорить. Это стремление зашло так далеко, что даже на обыкновенные частные собрания, на семейные праздники — балы, вечера, рауты, свадьбы и т. д. — стараются привлечь газетных репортеров. Людям мало того, чтобы развлекаться и праздновать у себя дома, в своем интимном кругу, им надо, чтобы обо всем знали, и знали во всех подробностях. Каждый считает это верным путем для того, чтобы познать самому и дать другим почувствовать свою силу, удовлетворить свое чувство чести и даже обеспечить за собою наиболее полное пользование благами жизни. ("Современное царство рекламы")

В рассматриваемый нами период (самое начало XX века) поток зарубежной литературы, выходившей по-русски, с каждым годом все расширялся. Но даже в таких изданиях, как "Вестник иностранной литературы", переводчик все еще оставался в тени, как бы за кадром, иногда он подписывался только инициалами, иногда не подписывался вовсе, но, случалось, не забывал указать и свой титул. Внимание к качеству перевода и к уровню публикаторства, особенно если речь шла о прозаических произведениях или эссеистике, было ослаблено. Русская переводческая школа в целом еще только формировалась. Но в области поэтического перевода Россия в это время переживала небывалый подъем, вызванный расцветом поэзии русского Серебряного века. И лучшие переводческие силы с "Вестником" в эти годы сотрудничали. Это поэт и переводчик Д. Л. Михаловский, прославившийся переводами драм Шекспира и "Песни о Гайавате" Лонгфелло. Это К. Д. Бальмонт, талантливый поэт-лирик, автор целой библиотеки выполненных им переводов, "ненасытный открыватель", как сказал о нем Гумилев, "пожизненный труженик", как назвала его Цветаева. (В "Вестнике" в эти годы в его переводе опубликованы стихи Э. По, Ш. Бодлера и драмы Педро Кальдерона де ла Барка "Стойкий принц" и "Врач своей чести".) Это и Ф. Е. Корш, выдающийся филолог, автор фундаментальных стиховедческих работ, известный не только своими переводами Катулла, Горация и Данте, но и переводами со славянских и на славянские языки. (В "Вестнике" в его переводе мы находим одноактную драму в стихах словенца Антона Ашкерца "Преширн в гостинице 'Золотого Грозда'".) Постоянным автором журнала был и поэт Аполлон Коринфский. (Им переведены стихи М. Метерлинка, Н. Ленау, Р. Баумбаха и многих других, в том числе и армянских поэтов Ов. Туманяна, Ав. Исаакяна.)

С 1891 года в журнале сотрудничал М. П. Чехов, писатель, переводчик, младший брат А. П. Чехова (впоследствии — его первый биограф).

В письме к А. С. Суворину от 10 мая 1891 года А. П. Чехов пишет: "В "Вестнике иностранной литературы" в последней книжке напечатан рассказ Уйда[1], перевод с английского нашего Михайлы, податного инспектора. Зачем я не знаю языков? Мне кажется, беллетристику я переводил бы великолепно: когда я читаю чужие переводы, то произвожу в своем мозгу перемены слов и перестановки, и получается у меня нечто легкое, эфирное, подобное кружевам". Нам неизвестно, какие именно переводные тексты вызывали у А. П. Чехова это желание производить в них "перемены слов и перестановки", вряд ли он имел в виду перевод "нашего Михайлы", ведь адресат письма — влиятельный редактор и издатель газеты "Новое время".

Следующая большая, в нескольких номерах, публикация М. П. Чехова в "Вестнике" — перевод романа Ф. Филипса "Как в зеркале". "Лучший роман одного

1. Уйда (наст. имя Луиза де ля Раме (1840–1909) – английская писательница. Рассказ, о котором упоминает А. П. Чехов, называется "Дождливый июнь". (*Здесь и далее – прим. ред.*)

из талантливейших английских беллетристов" — так представлено это произведение в редакционном анонсе на 1901 год русской читающей публике.

А вниманию нашей читающей публики мы предлагаем очередную подборку материалов из "Вестника иностранной литературы" (на этот раз за годы 1901—1908[1]). И открываем ее стихотворением Сюлли-Прюдома, первого лауреата Нобелевской премии по литературе. Эта премия была присуждена французскому поэту в 1901 году за "поэтическое творчество, отмеченное благородным идеализмом, художественным совершенством и редкостным сочетанием душевных и интеллектуальных достоинств". Стихотворение Сюлли-Прюдома было напечатано в октябрьской книжке журнала за 1901 год, отметим издательскую интуицию редакторов "Вестника", а также их приверженность "благородному идеализму", и той наивной вере в нравственную стойкость человека, в прогресс, справедливость, которая уже многими современниками Сюлли-Прюдома воспринималась как некий анахронизм, характерный для уходящей "прекрасной эпохи". "Hora prima" — это и дань памяти мастеру русского стихотворного перевода Дмитрию Лаврентьевичу Михаловскому. Стихи Сюлли-Прюдома — одна из последних его переводческих работ.

Сюлли Прюдом

H*ora prima*[2]

Перевод с французского Д. Михаловского

Приветствовал я день еще до пробужденья;
Своим лучом уж век моих коснулся он,
Но я не сознавал его прикосновенья,
Когда он заглянул мне в душу сквозь мой сон.

Лежал недвижно я, как мертвый, на постели,
Как изваяния на мраморах могил,
Но мысли светлые в мозгу моем блестели,
Не открывая глаз, я полон солнца был.

Я смутно чувствовал, как, при лучах Авроры,
Ей пел хвалебный гимн крылатый рой певцов,
И в сердце у меня звучали птичек хоры,
В нем веял аромат невидимых цветов.

И вне небытия и, вместе, вне волненья
Житейской суеты, я ощутил вполне
Всю негу сладкую, всю прелесть наслажденья:
Не бодрствуя, не спать, и жить как бы во сне.

№ 10, 1901 г.

1. См. также "ИЛ", 2002, № 6 и "ИЛ", 2002, № 12. И в этом выпуске сохранены некоторые особенности написания личных имен.
2. Час пробуждения (*лат.*).

Мои маленькие путешествия[1]

Неизданные воспоминания Гюи де-Мопассана

Праздничный день

Я бежал от праздника, от отвратительного шумного праздника с его хлопушками и флагами, со всем, что раздирает уши и слепит глаза.

Может ли что-нибудь быть лучше одиночества, полного, полного одиночества! Какое счастье не слышать повторения давно приевшихся глупостей, не видеть знакомых лиц, мысли которых заранее угадываешь по выражению глаз. Ведь знаешь вперед, что скажет данный человек, знаешь, какую шуточку, размышление и мнение услышишь из его уст! Одиночество для души — свежая успокоительная ванна, ванна молчания и покоя.

К чему говорить о том, где я был? Не все ли равно? Я шел по берегу реки. Вдали виднелись три колокольни старинной церкви, возвышавшейся над маленьким городком. Молодая, свежая весенняя трава покрывала весь склон крутого берега до самой воды, и прозрачная вода быстро и весело текла по зеленому блестящему руслу, напоминая резвящееся на лугу животное.

По временам тонкая, длинная удочка, наклонявшаяся к реке, указывала на присутствие скрывавшегося в кустарнике рыболова.

Что это за люди, проводящие целые дни, от утренней до вечерней зари, под палящими лучами солнца, под дождем, сидя на корточках под ивой и с бьющимся сердцем, с тревогой в душе, с глазами, пристально устремленными на поплавок, стремящиеся поймать маленькое твореньице величиной с соломинку?

Кто эти люди? Между ними встречаются и великие артисты, и рабочие, и буржуа, и писатели, и художники. Одна и та же могучая неотразимая страсть приковывает их к берегам рек и речек, страсть сильнее той, которая заставляет влюбленного не отходить от любимой женщины.

Они забывают все на свете: свой дом, свою семью, своих детей, свои дела, заботы — и только смотрят на маленький поплавок, уносимый течением. Никогда пламенный взгляд влюбленного не стремится проникнуть тайну, скрытую в глазах его возлюбленной, с таким отчаянием, с таким упорством, с каким рыболовы силятся разглядеть, какая рыбка дотронулась до приманки там, в глубине воды.

Воспевайте страсть, о поэты! Вот где она, страсть! О, тайна человеческих сердец, неисповедимая тайна привязанности, тайна вкусов, вложенных в человека недоступной нашему пониманию природой. Кто может разгадать ее?

Возможно ли, чтобы люди разумные целые дни с утра до вечера устремляли все желания своей души, все силы своих надежд — к чему? К тому, чтобы в глубине воды поймать стальным крючком крошечную рыбку, которой они, может быть, никогда и не поймают!

Воспевайте после этого страсть, о поэты!

1. Печатается с сокращениями.

На террасе над рекой, облокотясь на балюстраду, мечтала какая-то женщина. Куда летели ее мысли? К невозможной, несбыточной надежде или к уже достигнутому вульгарному счастью?

Что может быть прелестнее мечтающей женщины? Вся поэзия мира в неизвестности ее мысли. Я посмотрел на нее. Она не видела меня. Была ли она счастлива или печальна? Думала ли она о прошлом или о будущем? Над ее головой кружились ласточки, то отлетая в сторону, то описывая над нею кривые линии.

Была ли она счастлива или печальна? Я не мог решить этого вопроса.

***

Я увидел город. Колокольни все вырастали передо мной. Скоро я разглядел флаги. Итак, и здесь я не ушел от праздника. Тем хуже! Но, по крайней мере, я никого не знаю тут.

Я переночевал в гостинице. На заре меня разбудила пальба из пушек. Под предлогом прославления свободы мешают спать людям каких бы они ни были убеждений! На официальные артиллерийские залпы отвечали уличные мальчишки, бросая хлопушки. Пришлось встать.

Я вышел на улицу. В городе уже царило веселье. Буржуа выходили на пороги своих домов и с довольным видом посматривали на флаги. Раздавался смех. Еще бы, ведь и поднялись-то так рано ради торжественного дня.

Народ веселился. Почему? Сознавал ли он, что это за праздник? Нет... Ему сказали, что он должен праздновать... вот народ и празднует. Он доволен, весел и будет весел до вечера, по приказанию начальства. Ну а завтра все кончено.

О, глупость, глупость! Человеческая глупость в бесчисленных видах, в бесчисленных метаморфозах, в бесчисленных проявлениях! Во всей Франции шли празднества с порохом и флагами! Что за причина такой всеобщей национальной радости? Уж не прославляют ли народное богатство накануне нового займа? Празднуют торжество свободы как раз в тот день, когда на сцене появляется республиканская тирания, более страшная, чем императорская или королевская!

Я бродил по улицам до тех пор, пока народное веселье не стало совсем невыносимым для меня. Шарманки и орфеоны ревели, фейерверки трещали, толпа волновалась, орала. И в каждом взрыве хохота слышалось одно и то же глупое довольство.

Случайно я очутился перед церковью, две башни которой я видел издали вчера. Я вошел. Церковь была пуста, высока, холодна, мертва. В глубине клироса как золотая точка светилась лампада перед дарохранительницей. Я сел среди этого ледяного покоя.

Издали, как будто совсем из другого мира, доносились взрывы ракет и крики толпы. Я стал рассматривать громадные расписные окна, озарявшие заснувшую церковь густым фиолетовым светом. И на них изображался народ, народ другого века, также некогда справлявший празднество, наверно, в честь какого-нибудь святого. Маленькие человечки, в странных одеждах, поднимались целой процессией вдоль большого античного окна. Они несли знамена, раку, кресты, свечи. Их открытые рты указывали, что они пели. Некоторые танцевали, поднимая руки и ноги. Итак, в различные периоды вечная толпа проделывает одно и то

же! Прежде бывали празднества в честь Бога, теперь в честь республики! Вот они, человеческие верования!

В уме моем кишели те тысячи мыслей, которые обыкновенно дремлют в самых глубоких тайниках нашего сознания и в один прекрасный день неизвестно почему всплывают на его поверхность. И мысленно я говорил себе: "Как хорошо в церкви, когда нет службы".

***

Послышались чьи-то легкие и быстрые шаги. Я повернул голову — это была женщина! С закрытым вуалью лицом, с опущенной головой, она быстро подошла к решетке у клироса, потом вдруг упала на колени, как падает раненый зверь. Она думала, что она одна, совсем одна: за колонной она не заметила меня; она закрыла лицо руками, и я услышал рыдания...

О, она плакала жгучими слезами великого горя. Несчастная, как должна она была страдать, чтобы так плакать! Что оплакивала она? Погибшую любовь?

Шумные звуки труб, хотя и ослабленные толстыми стенами, все же слышались в церкви. Но весь гул и рокот веселящейся народной толпы казался ничтожным в сравнении с тихим стоном, прорывавшимся сквозь пальцы женщины.

Внезапно я сказал себе: "Ведь это та женщина, которую я видел вчера на террасе".

Я уже не сомневался: это была она. Что же произошло в этой душе со вчерашнего дня? Что она выстрадала? Какая волна горя унесла ее?

Вчера она ожидала. Чего? Письма? Письма, сказавшего ей: "Прощай!" Или в глазах человека, наклонившегося над постелью больного, она прочла приговор! Как она плакала! Ах, все крики радости, весь смех, который я услышу до моей смерти, не заглушат этих вздохов человеческого горя.

И сам готовый разрыдаться (так сильна зараза слез), я подумал: "Если когда-нибудь церкви закроют, где будут плакать женщины?"

№ 9, 1902 г.

Жизнь пейзажиста

Этрата, 3-го сентября

Мой дорогой друг, благодарю тебя за письмо, которое принесло мне вести о Париже. Оно доставило мне большое удовольствие и поразило меня, точно явившись из другого, давно покинутого мною мира. Как, люди, о которых ты мне говоришь, не умерли и продолжают заниматься прежними пустяками? Бульвар волнуется по поводу все тех же нелепостей? Салоны смущены при мысли, что г-жа X., по-видимому, кокетничала с г-ном Z.; тупая политика скачет из колеи в колею, важные господа ежедневно пишут бесконечные столбцы все на те же сюжеты, а наивные люди толкуют о давно знакомых газетных статьях, не замечая, что они десять тысяч раз читали одно и то же.

В это мгновение я живу посреди живописи, как рыба живет в воде. До чего удивились бы многие, если бы они узнали, что такое для нас цвет, если бы они могли постигнуть, какую глубокую радость доставляет он людям, имеющим глаза видеть.

Уверяю тебя, я живу только зрением; я с утра до ночи брожу по долинам и лесам, по скалам и зарослям, отыскивая правдивые тона, еще не подмеченные оттенки, словом, то, что школа, учение, ослепляющее и классическое воспитание мешают знать и постигать.

Мои глаза, раскрытые, точно жаждущий рот, пожирают землю и небо. Да, я чувствую определенное и глубокое искушение проглотить весь мир моим взглядом и переварить тона, как перевариваются мясо и плоды.

И это так ново для меня! До сих пор я работал спокойно, уверенно. Теперь я ищу. Ах, старина, ты не знаешь, ты никогда не узнаешь, что такое ком земли и какое значение имеет тень, которую он бросает. Я на бесконечное время останавливаюсь перед листом, перед маленьким камешком, перед лучом или кустиком травы; и я с жадностью смотрю на них, взволнованный сильнее золотоискателя, нашедшего самородок; я наслаждаюсь таинственным и восхитительным счастьем, разлагая их неприметные тона и неуловимые отблески.

Я замечаю, что до сих пор я ни на что никогда не смотрел. Поверь, все это лучше и полезнее эстетической болтовни перед грудой блюдечек, обозначающих число выпитых пивных кружек.

Иногда я останавливаюсь, пораженный тем, что вижу яркие краски, которых прежде никогда не подозревал. Погляди на деревья и на траву при ярком свете солнца и постарайся их написать. Ты постараешься. Все писали солнечные пейзажи, потому что все слепы. Милый мой, листья, трава, все, на что падает полный свет солнца, не окрашено, а светится, и светится так, что этого блеска нельзя ничем передать. Нельзя написать блеск, нельзя даже дать его иллюзию.

***

В прошлом году я часто ходил здесь вслед за Клодом Моне, искавшим впечатлений. Право, это был не художник, а охотник. Он, бывало, шел в сопровождении ребятишек, которые несли пять или шесть полотен, изображавших один и тот же мотив в различные часы дня и с различными эффектами.

Он поочередно брался за них и бросал их, сообразно с изменениями неба. Художник подстерегал солнце и тени, несколькими ударами кисти ловил луч или проходившее облако и, презирая фальшь и условность, помещал их на свое полотно.

Я видел, как он таким образом уловил блестящий поток света молнии, упавшей на белую прибрежную скалу, и набросал его в желтых тонах, которые странным образом передавали изумительный и мгновенный эффект этой неуловимой и ослепительной вспышки.

Другой раз он схватил обеими руками ливень на море и бросил его на свой холст. Именно дождь написал он, только дождь, который закрывал волны, скалы и небо, еле рисовавшееся за потоками ливня.

Я помню и других художников, работавших в долине Этрета.

Однажды (я был тогда еще очень юн), проходя близ рва Борепер, я заметил на маленькой ферме старика в синей блузе, он писал в тени ветвей яблони.

Художник сидел на складном стуле и казался таким маленьким; крестьянская блуза меня ободрила, и я подошел, чтобы посмотреть на него. Двор был покат; его окружали большие деревья; готовое зайти солнце осыпало их косыми лучами. Желтый свет лился на листья, проходил между ними и падал на траву мелким и светлым дождем.

Старик меня не заметил. Он писал на маленьком четырехугольном холсте, писал спокойно и мягко, почти не двигаясь. У него были седые, довольно длинные волосы, кроткое и улыбающееся лицо.

На следующий день я опять встретил его в Этрета. Этот старый художник носил фамилию Коро.

Другой раз, два или три года спустя, я пришел на побережье, чтобы полюбоваться ураганом.

Бешеный ветер бросал на берег разбушевавшееся море; исполинские волны тяжело бежали одна за другой, медленные и увенчанные белой пеной.

Встретив берег из камней, они вставали, изгибались сводом и падали с оглушающим шумом. Пена, сорванная с их гребней, переносилась с одной скалы на другую и летела к долине над крышами домов.

Подле меня кто-то сказал:

— Подите посмотрите на Курбе; он создает великолепную вещь.

Обращались не ко мне, но я пошел, потому что немного знал художника. Он жил в маленьком доме, выходившем на море и стоявшем на прибрежной скале. Этот дом принадлежал маринисту Эжену Лепуатвену.

В большой пустой комнате толстый, засаленный и грязный человек приклеивал кухонным ножом лепешки из белой краски на большое чистое полотно.

Время от времени он вставал, прижимался лицом к стеклу и смотрел на бурю. Море подходило так близко, что казалось, будто оно бьется о дом, окутанный пеной и шумом. Соленая вода, точно град, ударялась о стекла и текла по стенам.

На камине стояла бутылка сидра, а рядом с нею стакан.

Курбе часто подходил к камину, чтобы выпить несколько глотков сидра, потом возвращался к своему произведению. Это произведение превратилось в "Волну" и произвело известную сенсацию. Три человека разговаривали в уголке мастерской. В их числе был, если я не ошибаюсь, Шарль Ландель.

Курбе, тяжеловесный и веселый, шутливый и простой, тоже говорил. Он обладал неповоротливым, но точным умом, полным здравого смысла, и под грубоватой насмешливостью скрывал свою крестьянскую натуру.

***

Сколько других живописцев я видел в этой долине! Конечно, их привлекало в нее поистине исключительное качество света. Ведь свет на расстоянии нескольких льё изменяется, как бордоские вина. Здесь он ярок, но не резок, ясен, но не груб, и придает всему восхитительные оттенки.

Только нужно уметь видеть или, вернее, нужно открывать. Глаз, самый изумительный из человеческих органов, может бесконечно совершенствоваться; когда разумно воспитывают его, он приобретает чудесную остроту. Как известно, древние знали только четыре или пять

красок. Мы же замечаем бесконечное количество тонов; и настоящих художников, великих художников больше поражает изменение и гармония, достигнутая в одной ноте, чем бьющий эффект, который нравится невежественной толпе.

Всю ужасную борьбу, рассказанную Зола в своем восхитительном "Творчестве", всю эту бесконечную борьбу человека с мыслью, величавый и страшный поединок артиста со своей идеей, с картиной, мелькающей пред его глазами, но неуловимой, переживаю я, слабый и бессильный, но, подобно Клоду, мучимый еле видными тонами, неопределенными аккордами, которые, может быть, примечает только мой глаз... И я провожу мучительные дни, созерцая на белой дороге тень от тумбы и сознавая, что я не могу ее написать.

№ 12, 1902 г.

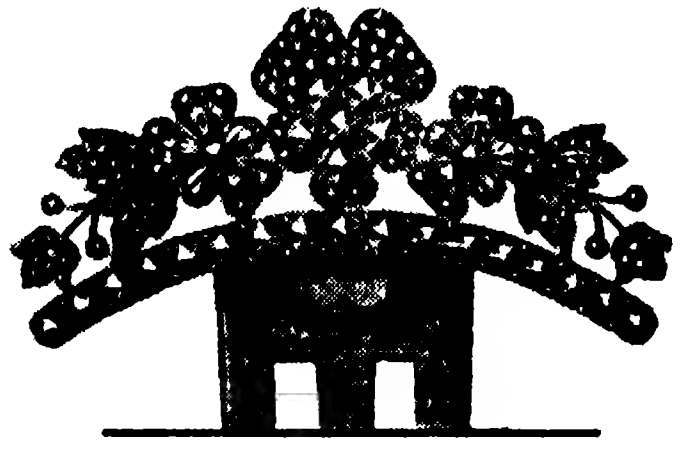
Общественная жизнь

Корона скифского царя Сайтафарна

Лет за двести до Р. Х. в той части обширнейшей страны скифов, которая прилегала к Черному морю, царствовал Сайтафарн. В качестве венценосца он, конечно, должен был иметь корону. Эта корона сохранилась до наших дней и последние годы пребывала в сокровищнице древностей Лувра в Париже; корона, или, правильнее сказать, тиара, — весьма массивная золотая вещь, за которую была заплачена сотня тысяч франков.

Публика ходила в Лувр и, ничего не подозревая, любовалась этим диковинным произведением искусства седой древности. И вот вдруг, с месяц тому назад, разнесся мгновенно подхваченный газетами слух, что корона эта сделана вовсе не две тысячи лет, а всего лишь двадцать тому назад, что делали ее не древнегреческие ювелиры, а парижские, — словом, что это вещь не подлинная, а поддельная.

Можно себе вообразить, какая поднялась сутолока при этом известии. Разоблачителем секрета короны явился некто Мейанс, по прозвищу Элина, моделировщик. Он твердо и торжественно заявил, что корона, хранящаяся в Лувре, моделирована им по заказу золотых дел мастера Барона; Барону же вещь была заказана известным знатоком и собирателем древностей Шпитцером. Дело


ЯНЪ РЕЙМАНЪ

МОДНЫЯ
ДРАГОЦѢННОСТИ
ИЗЪ БОГЕМСКИХЪ
ГРАНАТОВЪ
въ золотѣ 56 пробы.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Невскій, 29 и 31,
МИЛЛІОННАЯ УЛ.
Магазинъ № 16.

происходило, по словам Мейанса-Элина, в 1888 году. Барон дал Элина "мотивы" для исполнения заказа, т. е., надо полагать, рисунки или модели тиары, украшений на ней, надписей и т. п.; по этим мотивам Элина вылепил форму, а по ней Барон изготовил вещь из золота и вручил ее заказчику, т. е. Шпитцеру. После того тиара претерпела, надо полагать, немало странствий, ища себе покупателя, являлась к знатокам и собирателям, побывала, между прочим, и в Британском музее и наконец пристроилась в Лувре. Так как мастер Элина коренной житель Монмартра, а этот квартал Парижа давно прославился искуснейшими фабрикантами всяких древностей, то после разразившегося скандала парижская публика начала звать корону Сайтафарна "монмартрскою короною".

Газетные репортеры кинулись к ученым, к специалистам, к собирателям редкостей. Мнения обнаружились самые сбивчивые и противоречащие одно другому. Правление луврского музея поспешило убрать опасную драгоценность "впредь до выяснения вопроса о ее подлинности". Говорят, что в последние перед ее удалением со сцены дни перед нею толклось до 30 000 народа, жаждавшего поглазеть на эту диковину.

Мы не имеем возможности сообщать здесь все мнения "за" и "против" подлинности короны. В ряду этих мнений для нас любопытно только одно, сообщаемое в газете "Temps" Тиебо-Сиссоном. Он был в 1899 году в Петербурге и здесь имел случай познакомиться с помощником хранителя Императорского Эрмитажа г-ном Веселовским. Разговор у них как раз зашел о тиаре Сайтафарна, и г-н Веселовский сообщил ему о ней интересные вещи. Прежде всего он пригласил его в Эрмитаж, показал точные снимки со знаменитой короны, показал множество вещей, относящихся к тому же времени, к которому должна быть отнесена корона, и путем сопоставления подробностей воочию доказал ему, что эта корона поддельная. Затем о самой короне, о ее появлении на свет и странствиях в поисках за достаточно наивным покупателем г-н Веселовский поведал нижеследующее.

Кто был подделывателем короны, г-н Веселовский в то время не мог сказать с точностью. Он полагал только, что это был один из тех мастеров, которые имеются в достаточном числе в Одессе и в Очакове, где в изобилии выделываются южнорусские древности, босфорские, крымские, скифские и т.п. Ему только удалось дознаться, что сайтафарнова тиара по счету третья вещь, изготовленная одним и тем же артистом. Первая вещь была блюдом, которое он пытался продать собирателю Тышкевичу в 1894 году, но тот не дался в обман; где теперь это блюдо, г-н Веселовский не знает. Вторая вещь была корона, которую подделыватель представил в 1895 году знаменитому немецкому историку Курциусу; к сожалению, Курциус попался — поверил в подлинность короны; и по его настоянию она была приобретена в Берлинский музей. Но местное археологическое общество, рассмотрев вещь, немедленно признало ее грубою подделкою и изгнало из музея. Она после того хранилась у германского консула в Николаеве, не находя покупателей, хотя продавалась и недорого.

И вот вскоре после берлинского скандала с короною г-н Веселовский узнал о том, что какой-то венский купец представил в Лувре золотую тиару и что правление Луврского музея с восторгом приняло эту вещь, признало за подлинную и несомненную древность и приобрело вместе с двумя

другими вещами за 200 000 франков. Любопытно, что две другие вещи — ожерелье и серьги — были подлинные; но такова обычная уловка подделывателей и продавцов подделок: подлинные вещи прочищают путь поддельным, идя рядом с ними. Луврские археологи как-то непростительно забыли историю с берлинскою короною, которая случилась всего за год перед тем. В Лувре вдобавок не было вещей из нашего Херсонеса Таврического, не было и руководящей книги нашего археолога г-на Латышева, представляющей полный и подробный свод греческих и латинских надписей, находимых на северном берегу Черного моря. Было, значит, неведение и повлекло за собой ошибку.

Купец, продавший тиару в Лувр, назвался Гохманом, и с ним был еще какой-то таинственный незнакомец. Между тем, Гохман в гостинице, где стоял, был записан под именем Шимановского. Это узнали потом, а в свое время не справились и не обратили на это внимания. Спутник же его был записан под именем Фогеля. И еще обнаружилась одна любопытная черточка. Деньги, 200 000 франков, были выданы Гохману не сразу, а в два срока: сначала 100 000, а потом, через три дня, остальные. И вот, как только первые 100 000 были получены, Фогель, не медля ни минуты, скрылся с ними из Парижа неведомо куда. Продавцы, значит, опасались, как бы поддельность тиары не обнаружилась как-нибудь внезапно, и спешили бежать с тем, что удалось выманить. Но их тревоги были напрасны: Гохман через три дня беспрепятственно получил остальные 100 000 фр.

Кто именно сфабриковал тиару Сайтафарна (в надписи на тиаре он назван в греческой транскрипции — Saitafarnys), г-н Веселовский, как мы уже упомянули, не знал. Но как только его разоблачения были опубликованы, ими был задет художественный гонор творца тиары и сердце его не стерпело самозваного соперника — монмартрского артиста Элина, столь нахально посягавшего на чужую артистическую славу, и он отозвался. Творец тиары Сайтафарна — наш возлюбленный соотечественник, одесский гражданин Израиль Рухомовский (или Рахумовский, или даже Рамуховский, как его называют во французских газетах). Он громогласно заявил: "Это я!" Из Франции навели справки через своего одесского консула. В ответ была получена из Одессы телеграмма:

"Гравер Израиль Рахумовский, жительствующий в Одессе, по Успенской улице, № 36, категорически заявляет, что он мастер тиары; он говорит, что изготовил ее в 1891 году по заказу какого-то лица, прибывшего из Керчи. Рахумовский предлагает, если ему будет выдано 1 200 франков, явиться в Париж".

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Всѣмъ гг. подписчикамъ на 1906 годъ разсылаются

ДВА БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ,

При Январской книгѣ богато иллюстрированное приложеніе,

переводъ замѣчательной книги АУСТИНА УОДДЕЛЯ

„ЛХАССА и ЕЯ ТАЙНЫ"

Это фундаментальное, популярно-научное произведеніе, появившись въ минувшемъ 1905 году, сразу завоевало себѣ извѣстность и вызвало всеобщее озабоченіе. Книга съ первой и до послѣдней страницы читается съ неослабѣвающимъ, захватывающимъ интересомъ. Авторъ ея, врачъ при индо-британской арміи, АУСТИНЪ УОДДЕЛЬ, знатокъ буддизма и авторъ книгъ „Буддизмъ Тибета" и „Среди Гималаевъ", принималъ участіе въ послѣдней тибетской экспедиціи, снаряженной великобританскимъ правительствомъ. Онъ по справедливости считается первымъ путешественникомъ, который разрѣшилъ загадку, оставленную намъ неразгаданной XIX вѣкомъ, описавъ подробно запретную страну и объяснивъ характеръ, жизнь и нравы дремлющаго народа-отшельника, до сихъ поръ не позволявшаго европейцамъ проникать въ глубь страны и уступавшаго лишь силѣ.

„ЛХАССА и ЕЯ ТАЙНЫ" является цѣннымъ вкладомъ въ сокровищницу знанія и послужитъ украшеніемъ и необходимымъ дополненіемъ библіотеки каждаго интеллигентнаго человѣка.

При Іюльской книгѣ замѣчательное сочиненіе ЭРНЕСТА РЕНАНА

„Жизнь Іисуса".

Это произведеніе давно уже пользуется всемірной славой, какъ одно изъ лучшихъ послѣдованій о жизни Іисуса Христа, но многимъ изъ русской читающей публики извѣстно только по наслышкѣ, такъ какъ находилось до сихъ поръ подъ цензурнымъ запрещеніемъ.

Съ Январской книги 1906 года

печатаются

= ОСОБЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: =

1) ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЯ ЖЕНЩИНЫ

Как эта история дальше разыграется и чем завершится, не знаем и больше пока ничего сообщить о ней не можем. Но по поводу ее мы нашли во французских газетах весьма любопытные исторические справки о поддел-ках и полагаем, что будет любопытно привести здесь кое-что из этой груды исторических воспоминаний. Оказывается, что подделки старины процветали еще в классическом Риме. Так, римляне высекали на греческих статуях свои имена, чтобы легковерное потомство верило, что эти статуи были воздвигнуты признательными гражданами в честь гражданских подвигов тех, чьи имена на них начертаны.

При Людовике XIV была куплена за огромную цену картина Гвидо, оказавшаяся копиею, написанною неизвестным художником, который только и делал, что перерисовывал картины Гвидо.

В Риме в 30—40-х годах существовали специальные скульптурные мастерские, где выделывали обломки фигур, статуй – руки до локтя, полубюсты, головы и т. п.; все это обрабатывалось каким-то составом, который придавал мрамору 1000-летний вид. Англичане-собиратели переплатили миллионы этим фабрикам древностей.

Во Франции до сих пор чрезвычайно бойко практикуется такой прием сбыта древностей, и только что изготовленных. Какая-нибудь почтенная дама, владелица древнего замка, объявляет в газетах, что, впав в бедность, распродает мебель, бронзу, часы и т. п., оставшиеся в замке со времен Генриха IV и Франциска I. Любители всегда найдутся, налетают на добычу и живо развозят разные шкапы Буль, зеркала Помпадур, бюро Жакоб и т. д. Все эти були и помпадуры и в самом деле могли быть в замке, только дошлая сирота, с болью сердца решающаяся продавать эту семейную святыню, начинает с того, что призывает искусного столяра, и тот ей артистически воспроизводит эти старинные вещи, притом в большом числе экземпляров, так что у ней одно и то же бюро Жакоб идет в продажу 5—6 раз и, конечно, каждый раз с хорошим барышом против заготовительной стоимости.

В Аббевиле и Амьене местные мастера чудесно набили руку на изготовлении доисторических предметов чисто научного интереса – каменных топоров, стрел, ножей, грубых украшений и т. п. Самому Кювье какие-то искусники всучили какую-то допотопную кость, которая оказалась сфабрикованною в Париже.

В сен-жерменском музее имеется большая коллекция старинейших стеклянных вещей, сфабрикованных в Кёльне. На севрской фарфоровой фабрике также собрана особая коллекция подделок изделий этой знаменитой фабрики.

Знаменитая мумия египетской фараонши Никотрисы была где-то на выставке и выдала свою поддельность невыносимым тошнотворным запахом.

Лет тридцать тому назад в Париж явился испанский художник Эскусера и выставил на продажу около 40 картин, им самим написанных, но выдаваемых за картины Веласкеса и Мурильо. Тогда на этом попалось немало любителей и, между прочим, Каз, собрание которого потом попало в Лувр; теперь полагают, что и в Лувре есть, быть может, эскусеровские картины, сошедшие за мурильевские.

Таким образом, история с сайтафарновскою тиарою далеко не новость.

№ 4, 1903 г.

Что такое сноб?

Сноб — это крылатое слово еще не получило у нас права гражданства, но его все-таки можно иногда услышать. Пройдет некоторое время, и оно займет у нас такое же полноправное положение, какое занимают теперь слова "флирт", "пшют" и т. п., еще недавно бывшие для нас полною новинкою. Разница, однако, между словом "сноб" и остальными пришедшими к нам из Западной Европы заключается в том, что в то время, как понятия "флирт", "пшют" и т. п. сразу вошли в сознание читающей публики, без всякого труда уразумевшей их смысл и содержание, понятие "сноб" далеко не так легко постигнуть. По крайней мере, до сих пор у нас ему не дали правильного толкования. В виду этого представляет некоторый интерес статья Гуго Ганца (в одном из последних нумеров "Neue Freie Presse"), задавшегося целью установить не только смысл нового понятия, но также и его философско-общественное содержание и историческое происхождение.

Сноб принадлежит к семейству карьеристов, гордецов, фатов или, вернее, он заключает в себе качества всех этих индивидуумов в смешанном виде. Происходит он из Англии, где его изобразил еще Теккерей. Однако при переходе на континент он получил некоторые новые черты, вследствие чего образ, нарисованный английским писателем, далек от современного типа, носящего название "сноб". В Англии первоначально снобом назывался мелкий сапожник. Потом под снобом стали разуметь всякого плебея, изображавшего из себя аристократа или старавшегося во что бы то ни стало втереться в знатное общество. Характерною чертою его было то, что он не умел одеваться, как человек из общества. Любопытно, что черта эта со временем отпала целиком от понятия снобизма, и теперь сноб скорее дэнди, чем человек, плохо одетый. Он обладает чрезмерным самолюбием, только самолюбие его не направлено, как у злого эгоиста, в сторону алчности или жестокости, а к высшим степеням тщеславия. Сноб чувствует потребность наслаждаться своим значением, и так как это для него возможно только в том случае, если он может сравниться с другими, то он и старается быть среди других — черта, свойственная всем ничтожным людям вообще, не переносящим одиночества. У Теккерея сноб — незначительный, в самого себя влюбленный человек, придающий преувеличенное значение разделению людей на классы и принадлежности к высшему слою общества. Очень мило иллюстрирует он это на примере. Полковник Сноблей — человек с крупными умственны-

ми способностями, превосходным сердцем и столь же превосходным образованием. Между ним и автором возникает тесная дружба, но вдруг оказывается, что Сноблей в одно прекрасное время начинает есть зеленый горошек ножом. Что значат все таланты? Где чувство благодарности? Куда девалась дружба? Все сразу рухнет и возобновляется только после того, как полковник Сноблей отучивается от ужасной привычки... Таким образом, друг, отказывающий в дружбе прекрасному человеку за то, что он совершил маленький проступок против условных правил общественного приличия, есть сноб. Однако и принцесса Амалия также ест зеленый горошек ножом, и удивительно: сноб не бледнеет, не теряет своего уважения к принцессе и даже не замечает, что она ест горошек ножом... Итак, человек, не замечающий нарушения обычаев, если его совершает принцесса, — сноб.

Из сказанного видно, что нельзя отказать определению Теккерея в психологической глубине. Сноб — человек, лежащий во прахе перед силными мира, безразлично, обладают ли они внутренними достоинствами или не обладают. Снобом является также человек, совершенно не обращающий внимания на внутренние достоинства, если они связаны с какой-нибудь привычкой, считающейся предосудительной в знатных сферах или свидетельствующей о незнании того, что составляет в настоящее время обыкновение в этих сферах. Из этого как будто можно вывести заключение, что сноб — выскочка. Но сноб все-таки представляет собою нечто другое, чем выскочка, одним из заветных желаний которого является забота о том, как бы скрыть свое низменное происхождение. Сноб не только прислушивается к последнему слову моды, царящему в руководящих кружках, но еще глубоко убежден, что никто другой, кроме него, не понимает столь верно этой моды. Тут выступает второе значение слова "сноб". Это прежде всего человек, необыкновенно нравящийся себе самому, проникнутый глубокой верой в свое совершенство и безусловно убежденный, что он по праву должен занимать известное почетное место. К знатным людям он тяготеет только потому, что сношение с одними лишь людьми этого рода он считает для себя вполне естественным, и он сам играет роль знатного человека потому, что, как он непоколебимо уверен, роль эта составляет безусловный атрибут его личности. Этим отличается он от обыкновенного карьериста, тяготеющего к знатным людям не потому, что он верит в свою собственную знатность, а потому, что это ему полезно, что только с помощью этих людей он может обеспечить себе блестящую карьеру. Карьерист может хорошо понимать и даже презирать себя и тем не менее все-таки стремится вверх, не брезгуя никакими средствами; сноб же более прост и, чтобы сказать правду, глуп. Забота его заключается именно в том, чтобы внушить людям к себе то уважение, в котором он сам убежден, и затем уже извлечь пользу из этого уважения. С другой стороны, сравнить его с фатом тоже нельзя. Цель и стремления фата кроются вне его личности; они сосредоточены только на одежде и внешней красоте. У сноба же цели более возвышенного характера: он должен сам быть убежден, что принадлежит к сливкам общества. Он поклонник самого себя, любуется самим собою и не может жить, если не чувствует фимиама, которым окружает собственную личность.

Таким образом, понятие снобизма более или менее выяснилось. Сноб — это самолюбующийся человек. Он составляет смесь мании величия и преклонения перед всем, что он считает знатным и высоким. Ему присуще самопреувеличение, но самосознание ему чуждо. Идти с массою он не хочет, а хочет быть впереди нее, быть исключением. Тип этот встречается везде и повсюду, и деятельность его обнаруживается во всех областях. Даже в науке и искусстве имеются снобы. В науке, например, снобом является человек, который старается подвести то или другое явление под известную классификацию тотчас, как оно обнаружено; в искусстве он всегда является новатором, причем новые течения, провозвестником которых он выступает с большою горячностью, неясны ему самому. Таких людей много во всякой среде, и они иногда составляют общественное мнение. И это тем более печально, что сноб — прямой продукт современной культуры и что снобизм, таким образом, присущ всякому культурному человеку. Можно сказать, что все общество состоит из снобов с той разницей, что в одном человеке качество это преобладает над другим, в другом — не преобладает. Мы знаем мало, но думаем, что знаем много. В этом альфа и омега современного снобизма.

№ 10, 1902 г.

Исторические новости

Статуя Венеры Милосской во время осады Парижа

В журнале "La Revue Hebdomadaire" в течение нынешнего года печатались отрывки из воспоминаний Крессона, бывшего во время осады Парижа полицейским префектом столицы. В этих записках мы, между прочим, находим подробный рассказ о том, какие меры были приняты к охране знаменитой статуи Венеры Милосской, хранящейся обычно в Лувре и представляющей величайшее художественное сокровище Франции. Статуе угрожали и бомбы пруссаков, и самые пруссаки. Бомбы, производившие страшные опустошения в городе, могли разбить эту драгоценную статую, а пруссаки после взятия города могли забрать статую в качестве военной добычи. Надо было заблаговременно принять охранные меры против того и другого бедствия. И вот 6-го января 1871 г. тогдашний министр искусств Жюль Симон призвал к себе Крессона, уединился с ним в дальний угол комнаты, тщательно осмотрелся кругом и, убедившись, что никто их не услышит, сказал ему:

— Я хочу доверить вам государственную тайну, правда, очень небольшую, но все же не лишенную важности. Я очень смущен, очень испуган и встревожен. Бомбардирование города усиливается, разрастается. Бомбы могут достать и до Лувра. Рано или поздно пруссаки могут овладеть Парижем, и тогда что нас ожидает? Если такое несчастие поразит нас, то что может случиться с французскими чудесами искусства? Некоторые из них, и даже довольно значительное число, я уже припрятал. Но у меня на руках остается еще одна статуя,

самая драгоценнейшая вещь во всем Лувре. Она должна быть охранена от разрушения, и в то же время мы ни за что на свете не можем лишиться ее. Я не скажу вам названия этой статуи, вы не должны даже догадываться о нем; но тем не менее я доверяю вам мою статую. У вас, как у полицейского префекта, должны найтись способы и средства для того, чтобы ее спрятать и скрыть. Вы должны приложить все заботы и усилия к тому, чтобы никто на свете — ни любопытствующие, ни журналисты, ни я сам — не имел никакой возможности узнать, где она находится. Если неприятель приступит ко мне с расспросами, если даже будет взывать к моей чести, я могу по чистой совести клятвенно утверждать, что я не знаю, где находится статуя, о которой он спрашивает. И вы с своей стороны тоже должны так устроиться, чтобы иметь право утверждать, что вам неизвестно, что сталось с таким-то произведением искусства, которое вам назовут. Я знаю его имя, но не буду знать тайного места его сохранения; вы же, наоборот, будете знать это место. но не будете знать названия предмета. Таким образом мы исполним наш общий долг. Ищите, решайте, устраивайте все. Завтра в полночь вы найдете мою кладь, погруженную на фургон, который будет стоять во дворе Лувра, и я самолично передам вам эту кладь.

Крессон выслушал министра, сказал ему, что он все подготовит к назначенному времени, и откланялся. Он, конечно, понял, что дело шло о Венере Милосской, но и не заикнулся об этом перед Симоном, сознавая, что чем глубже будет тайна во всем этом предприятии, тем будет лучше. Он стал обдумывать, каким способом ему лучше всего будет вывезти драгоценную кладь со двора Лувра и куда ее схоронить. Первая мысль, какая ему пришла в голову, была комедия похоронной процессии. Можно было вывезти статую со двора Лувра на катафалке, отвезти ее на одно из кладбищ и там зарыть поглубже, в надежном склепе, заранее приготовленном для этой цели. Но когда он обдумал все подробности, он бросил этот план. В самом деле, похороны, если бы придавать им более или менее секретную обстановку, возбудили бы слишком много праздного любопытства, а такое любопытство в то тревожное время было очень опасно. С другой стороны, если бы производить похороны обычным порядком, то есть совершенно открыто, то предстояла весьма хлопотливая возня с выдумыванием имени покойника, занесением его в разные церковные, полицейские и кладбищенские списки и т. д. Сверх того, совершенно необычайный груз "покойника" и ни с чем не сообразная массивность гроба опять-таки вызвали бы толки, догадки, подозрения, — словом, подняли бы на ноги живое любопытство парижан. А тут как раз именно дело и шло о том, чтобы лишить это назойливое любопытство всякой пищи. Таким образом, этот план был брошен.

Между тем, время шло и надо было предпринять какое-либо решение. Крессон решил отыскать прежде всего надежное временное убежище для статуи. Здесь она должна была оставаться по возможности весьма недолгое время в полной безопасности и в полной тайне до тех пор, пока для нее не будет найдено и приготовлено вполне подходящее место для долговременного хранения. Поразмыслив, Крессон призвал к себе Диэ, архитектора больницы "Hotel-Dieu", находящейся рядом с полицейскою префектурою, и полковника Алавена, командира парижской муниципальной гвар-

дии, казарма которой примыкает к префектуре со стороны здания судебной палаты. Алавену он сказал, что полиция захватила весьма значительное количество взрывчатых веществ и затрудняется, куда бы временно положить на хранение эту опасную кладь. Нет ли, дескать, у вас в казарме какого-нибудь внутреннего двора, который можно было бы со всех сторон запереть и охранять часовыми. Полковник провел его по всему зданию казармы, по всем дворам и закоулкам. Позади конюшен Крессон облюбовал небольшой очень узкий и продолговатый дворик, служивший навозохранилищем. Этот двор имел сообщение с бульваром, тянущимся вдоль фасада судебной палаты. На этом-то дворике Крессон и решился временно поместить ящик с статуею. Он предупредил полковника, что в ту же ночь к этому дворику будет подвезен большой ящик, при приеме которого должны находиться нижние чины и офицеры. Последние должны наблюдать за тем, чтобы фургон с ящиком был вкачен на двор и поставлен на место по возможности без толчков и сотрясений. Такие предосторожности вполне удовлетворительно объяснялись тем, что в ящике были заключены взрывчатые вещества. После приема фургона и его установки на месте ворота дворика должны быть заперты на замки, а ключи от замков доставлены ему, префекту. У ворот же после того должны быть поставлены часовые.

После того Крессон объяснился с архитектором Диэ. Ему он представил дело в другом виде; он сказал ему, что требуется найти очень надежное помещение для временного сохранения чрезвычайно важных и ценных исторических документов. Что это помещение должно быть найдено либо в погребах префектуры, либо в подвалах новых построек больницы "Hotel-Dieu", которые в то время возводились под наблюдением Диэ.

Работа на этих постройках была тогда временно приостановлена и остановилась как раз на возведении подземных частей, служащих для помещения калориферов. Крессон напомнил Диэ о недавних поджогах, произведенных в архиве тайной полиции, о том, что тогда в пламени погибло весьма много многоценных документов и что так как поджог может повториться, то он решил отобрать из архива префектуры самые важные исторические документы, запаковать их в ящики и спрятать. А для этого ему нужно особенное, вполне надежное помещение, по возможности где-нибудь под землею, и защищенное такими сводами, которые могли бы противостоять и прусским бомбам, и самому опустошительному пожару. Крессон поручал Диэ отыскать такое место и показать его для тщательного осмотра ему, Крессону. В случае надобности на избранном месте могли быть возведены какие угодно сооружения, причем Диэ не должен был стесняться в средствах. Главное же, что Крессон особенно рекомендовал архитектору, это была усиленная поспешность работы; время не терпело, и нельзя было терять ни одной минуты.

При наступлении ночи были вытребованы лошади для того, чтобы привезти нужный экипаж во двор Лувра. Здесь лошади были выпряжены и отправлены восвояси вместе с кучерами. После того были вытребованы лошади из другого места. Их конюхи были отпущены назад у ворот Лувра, а лошадей впрягли в экипаж на дворе Лувра свои, надежные люди, на которых можно было положиться. Обязанность проводника при-

нял на себя делопроизводитель префектуры Шоппен, а правил лошадьми надежный городовой. Ровно в полночь Крессон явился во двор Лувра, где его уже дожидался Жюль Симон. Министр передал префекту драгоценную кладь, и она двинулась из Лувра в казарму муниципальной гвардии. Не более как через полчаса статуя уже покоилась на избранном месте во дворе казармы, который был тотчас же замкнут и огражден часовыми. Крессон немедленно дал знать Симону, что все обошлось благополучно.

Между тем архитектор Диэ скоро выбрал подходящее место в подземельях возводимых им построек больницы "Hotel-Dieu". Крессон тотчас же посетил избранное место. Оно представляло собою довольно просторную яму, окруженную весьма основательными стенами. Яма эта предназначалась для лестницы будущего здания. Тут можно было свободно поместить ящик с статуею и наглухо заделать его кирпичною кладкою. Вся эта работа легко могла приобрести внешний вид большого калорифера, предназначенного для отопления возводимого здания. Крессон и Диэ порешили поставить ящик в центр этой ямы и прикрыть его толстейшим сводом из кирпичной кладки, а над этим сводом, несколько отступя от него, вывести новый свод столь же солидной постройки. Таким образом, получились бы две камеры: внутренняя для хранения ящика со статуей и наружная, в которую можно было поместить целую груду разных архивных драгоценностей. Все это так и было исполнено, причем, несмотря на всевозможную поспешность, работы по сооружению камер все же потребовали несколько дней.

Когда все было готово, приступили с соблюдением величайших предосторожностей к водворению статуи на место ее хранения. Лошади для перевозки были взяты из префектуры, и в передвижении драгоценной клади участвовало лишь необходимое количество людей, на верность которых можно было вполне положиться. При малом числе людей все это представляло весьма большие затруднения, и однако же все было выполнено вполне удачно и благополучно. Ящик был спущен во внутреннюю камеру и так ловко заставлен кругом множеством ящиков с архивными документами, что каменщики, которые потом закладывали отверстие, не имели возможности даже составить себе понятия о том, что такое находится в этой таинственной камере.

Когда в конце владычества Коммуны, в мае 1871 года, начались поджоги и разрушения общественных зданий, в публику внезапно откуда-то проник слух, что статуя Венеры Милосской, спрятанная вместе с другими сокровищами Лувра на время осады Парижа, погибла, была разрушена во время одного из этих разгромов. Эти слухи чрезвычайно обеспокоили Крессона. Он в то время уже не был префектом и, подобно большинству административных лиц правительства народной обороны, жил в Версале. Он тотчас выпросил себе пропуск в Париж и поспешил посетить то место, где была замурована статуя. Вся местность вокруг, все окружающие здания были разрушены пожаром; но посреди дымившихся развалин гигантские прочные своды сохраненной камеры, возведенной архитектором Диэ, оставались в совершенно нерушимом виде.

28-го июня 1871 года в присутствии чинов министерства

искусств, представителей управления луврского музея и архитектора Диэ камеры, хранившие сокровище Лувра, были вскрыты. Ящик со статуею оказался совершенно целым и не тронутым, и статуя в том самом виде, в каком она находилась раньше, до заключения в тайник, была вновь водружена на ее луврском пьедестале.

№ 10, 1901 г.

NICE. НИЦЦА.
Вновь выстроенный
Hôtel Rivoir.

Отель Ривуаръ

NICE. НИЦЦА.
Вновь выстроенный
Hôtel Rivoir.

Г-жа Беллэнъ извѣщаетъ своихъ многочисленныхъ глубокоуважаемыхъ кліентовъ, что **„ПАНСІОНЪ РИВУАРЪ"**, которымъ она владѣла и руководила въ продолженіе болѣе 30-ти лѣтъ, съ 1-го Октября 1905 года переведенъ во вновь выстроенное спеціально для отеля зданіе по *„Promenade des Anglais"*, **№ 6**, подъ названіемъ „Отель Ривуаръ". Отель снабженъ всѣмъ современнымъ комфортомъ: подъемной машиной, центральнымъ отопленіемъ, электрическимъ освѣщеніемъ, телефономъ, ваннами и т. д. Кромѣ того, его можно рекомендовать вслѣдствіе его исключительнаго положенія, такъ какъ онъ находится на берегу моря, въ самомъ центрѣ города, на солнечной сторонѣ, но вдали отъ шума и пыли. Г-жа Беллэнъ ручается, что ея уважаемые кліенты, какъ прежніе, такъ и новые, будутъ имѣть первоклассную кухню и всегда свѣжую провизію, хорошія и недорогія вина. Всѣ желанія будутъ по возможности исполняться, попеченія и заботы, которыя владѣлица привыкла оказывать всѣмъ своимъ многочисленнымъ кліентамъ въ прежнемъ помѣщеніи **„ПАНСІОНА РИВУАРЪ"**, будутъ оказываться и впредь. Цѣны на все назначены умѣренныя. Въ Отелѣ говорятъ и ведутъ корреспонденцію на русскомъ, англійскомъ и французскомъ языкахъ.

Князь Бисмарк и Рихард Вагнер

Бисмарк не любил искусства. Человек с железными нервами и стальной волей, он слишком мало был доступен восприятию тонких ощущений, и нет ничего удивительного, что старания многих музыкальных знаменитостей того времени обратить на себя его внимание остались без успеха. Само собою разумеется, что музыка Вагнера должна была особенно мало интересовать Бисмарка. Да он и не скрывал этого, открыто рассказывая, что "музыка будущего" будит в нем только желание выразить против нее протест. И он протестовал, что, впрочем, не мешало Вагнеру употреблять все усилия к тому, чтобы расположить в свою пользу железного канцлера. Вагнеру было недостаточно поддержки, которую ему оказывал баварский король Людвиг. Ему хотелось добиться покровительства более высокого авторитета, и из всех опасений, тревоживших в это время музыкального реформатора, самым серьезным для него была боязнь, как бы со временем не мог кто-нибудь сказать, что творец объединенной Германии остался в XIX веке так же равнодушен к произведениям байретского гения, как за сто лет перед тем

Фридрих Великий – к возрождению германского духа в произведениях великих отечественных поэтов и писателей.

Чтобы завоевать расположение Бисмарка, Вагнер, как видно из опубликованной недавно в "Bayreuther Blättern" переписки между обоими великими людьми, послал ему свою брошюру "Германское искусство и германская политика" с просьбою просмотреть ее. Между строк его письма всякий может прочесть, что, по мнению Вагнера, Бисмарк непременно согласится с ним, если познакомится с его взглядами. Вагнера, однако, ждало грустное разочарование: Бисмарк не только не прочел его брошюры, но даже не ответил на письмо. К удивлению, Вагнера это не смутило, и по приезде в Берлин он завез свою визитную карточку во дворец имперского канцлера. На этот раз железный человек оказался менее суровым и даже пригласил к себе Вагнера на обед.

Исполненный самых светлых надежд, вступил композитор в дом всемогущего министра, с которым до тех пор лично знаком не был. Вагнер уже считал себя у цели своих стремлений. Во всяком случае, ему представлялась возможность изложить Бисмарку свои планы и, выслушав возможные возражения, узнать, готов ли имперский канцлер оказать поддержку его новаторскому делу.

Бисмарк принял Рихарда Вагнера в маленьком семейном кругу с тою же изысканною любезностью, с которою встретил бы министра какого-нибудь союзного государства. Но этой любезностью и ограничилось дело. Вагнер ждал, что Бисмарк хоть сколько-нибудь похвалит его произведения, бывшие предметом похвал во всем цивилизованном мире. Сидя рядом с княгинею Бисмарк и стараясь отвечать общими местами на ее общие вопросы, он то и дело обращал полное томительного ожидания лицо в ту сторону, где сидел железный канцлер. Но Бисмарк не торопился с похвалами. Да и как мог он восторженно отозваться об операх Вагнера, которых никогда не слышал, так как у него не было времени посещать театр? О характере этих произведений он имел, правда, некоторое понятие, но только по отрывкам, которые исполнялись военными оркестрами. К тому же, если бы Бисмарку и нравилась музыка Вагнера, то не в его натуре было курить кому-либо фимиам. Словом, за столом говорили о всевозможных пустяках, но только не о том, что интересовало Вагнера. Творцу "Лоэнгрина", "Парсифаля", "Нибелунгов" было обидно сознавать, что величайший из его соотечественников совершенно игнорирует его как музыканта и если перебрасывается с ним некоторыми словами, то делает это точно так же, как поступил бы со всяким другим гостем. Он хотел было сам заговорить о музыке, о своих идеях, о новаторских планах, но олимпийское спокойствие, которым дышала вся фигура Бисмарка, останавливало слова, готовые сорваться с языка. После обеда дело дошло до того, что Бисмарк и Вагнер даже оказались за разными столами, причем один был окружен мужчинами, а другой – дамами.

Это был роковой день. С тех пор Вагнер значительно охладел к Бисмарку. В самый день обеда, находясь под впечатлением неудачного визита, Вагнер оказался нелюбезен по отношению к своему покровителю, королю баварскому Людвигу, и едва не рассорился со своим другом Ленбахом. В этот день Вагнеру нужно было в первый раз исполнить увертюру к своей новой опере "Парси-

фаль" в мюнхенском придворном театре. В зале могли находиться только жена Вагнера, Козима, и несколько друзей, в том числе Ленбах, да и то так, чтобы их не видел король. К назначенному часу Вагнер уже сидел на своем дирижерском месте, но короля не было. Вагнер, и без того нервный, стал обнаруживать беспокойство, ежеминутно оглядываясь на королевскую ложу. Наконец, через четверть часа после назначенного срока появился король. Вагнер немедленно приступил к увертюре, которая до того понравилась королю, что он потребовал повторения. В другое время это требование было бы только приятно композитору, но в данном случае он исполнил его с явной неохотой. Когда умолкли последние звуки, король, пришедши в еще больший восторг, выразил желание послушать тотчас же увертюру к "Лоэнгрину" для сравнения. Тут у Вагнера окончательно лопнуло терпение, и он, передав дирижерскую палочку капельмейстеру, поспешно ушел.

Было решено, что после концерта несколько друзей, в том числе Ленбах, будут обедать у Вагнера. Когда нужно было идти к столу, Козима Вагнер сказала гостям, что муж ее пришел домой очень сердитый и что придется начать обед без него. Вскоре вошел Вагнер в сильнейшем волнении. Ему хотелось высказаться и на ком-нибудь выместить свое недовольство. Сначала досталось королю, который, по словам Вагнера, думает только о себе, как вообще все сильные мира сего. Затем, бросив недружелюбный взгляд на Ленбаха, он прибавил: "Ну, да что толковать! Король, император, Бисмарк — все они одинаковы". Ленбах взял Бисмарка под свою защиту, и это еще более подлило масла в огонь.

— Оставьте меня с вашим Бисмарком в покое! — кричал Вагнер. — Разве он понимает хоть что-нибудь вне своей профессии? Да и в политических делах он сделал немало ошибок.

Между Вагнером и Ленбахом начался оживленный разговор. Слово за слово — и с уст Ленбаха сорвалась умная шутка: "Музыка Вагнера — товарный поезд, идущий на небо". Вагнер тотчас же встал из-за стола с раскрасневшимся лицом и вышел. Ленбах хотел последовать его примеру и уже было схватил шляпу и палку, но Козима его удержала. Ссора, впрочем, кончилась благополучно. Через некоторое время вышел Вагнер, совершенно спокойный, и подал Ленбаху руку в знак примирения.

Что касается Бисмарка, то он до конца дней своих не изменил холодного отношения к Вагнеру. Как рассказывает Пошингер в венской газете "Neue Freie Presse" (от 23 июля н. с.), он года четыре тому назад напомнил ему о визите Вагнера и спросил, отчего Бисмарк ничего для него не сделал.

— Я, — ответил Бисмарк, — принял знаменитого гостя с тем вниманием, какого он заслуживал. Я только вышел к нему с пустыми руками. Содействие искусству и науке, как вам известно, не относится по имперской конституции к предметам, на которые простирается компетенция империи. Правда, ничего не мешает тому, чтобы и тут ассигновать кое-что из имперских денег. Стоит вспомнить суммы, выданные на раскопки в Олимпии, на германский музей и на отдельные литературные предприятия национального значения. Таким образом, рейхстаг мог бы ассигновать некоторую сумму и на культурное дело, как парадные спектакли в Байрете. Однако тогда, когда Вагнеру хотелось добиться этого, положение

дел не было таково, чтобы его желание могло быть исполнено. Кроме того, неизвестно еще, не нашел ли бы баварский король, что мы, содействуя из Берлина планам Вагнера, вмешиваемся в его планы: меценат для такого дела куда более пригоден, чем сложный аппарат союзного совета и рейхстага.

— Да, — ответил Пошингер, — но нельзя ли было тогда выдать что-нибудь на дело Вагнера из фонда, находящегося в распоряжении императора?

— Фонда этого, — возразил Бисмарк, — не было бы достаточно для указанной цели. Затем вы забываете, что старый император был менее всего пламенным вагнерианцем. Дело тогда не имело никаких шансов на успех. Однако времена и люди меняются, и то, чего я не достиг бы при всех усилиях, легко было достигнуто позднейшим канцлером.

В последних словах уже сквозит немало горечи. Бисмарк видел, как его преемники пошли иной дорогой, совершенно отказавшись от его взглядов и путей в области внешней и внутренней политики, и для него не было, конечно, ничего странного в том, что они оказали также содействие Вагнеру, которого он не понимал и по свойству своей солдатской натуры понимать не мог.

№ 8, 1901 г.

Литература и печать

Детские годы Густава Флобера

Флобер, как известно, при жизни пользовался хотя и значительною, но все же несравненно более скромною славою, чем после смерти. Потомство оценило его гораздо выше, чем современники, и в настоящее время во Франции у него громадный круг почитателей, которые чуть не боготворят его память. Детские годы каждого писателя, те годы, когда формируется его душа, имеют громадное значение для его оценки. Ввиду возрастающего во Франции культа Флобера г-жа Ренэ д'Юльмес решила познакомить публику с детством и юношеством Флобера и посвятила этому предмету интересный очерк, напечатанный в одном из последних нумеров журнала "La Revue".

Густав Флобер был сын доктора Клеофаса Флобера, директора громадной городской больницы в Руане. Человек точной науки, обладавший весьма положительным складом ума, доктор Флобер никак не мог быть поощрителем литературных стремлений своего сына. Но у матери Флобера была подруга детства, г-жа Лепуатвен. Обе дамы были связаны крепчайшею дружбою и даже покумились — крестили одна у другой детей. Густав и Каролина, дети г-жи Флобер, в свою очередь завели тесную дружбу с детьми г-жи Лепуатвен, Альфредом и Лаурою (впоследствии вышедшею замуж за отца Мопассана). Главою и духовным руководителем этой кучки детей был Альфред Лепуатвен как старший из всех. Дети были постоянно вместе, и их близость между собою принесла свои добрые плоды. Девочки, вырастившие в компании мальчиков, избавились от некоторой доли обычной женской пустоты и кокетства; а у мальчиков значитель-

но смягчились нравы — не было обычной мальчишеской грубости и драчливости.

Соседство с громадным госпиталем, несомненно, оказало большое влияние на развитие душ всех этих детей, и в особенности впечатлительного Густава. По должности директора доктор Клеофас Флобер пользовался квартирою в одном из зданий больницы. Из окон директорской квартиры дети могли наблюдать всю больничную жизнь. Играя в саду, они часто приближались к аудитории, в которой читались лекции с демонстрациями на трупах и на больных. Любопытство побуждало малюток взбираться на подоконники и заглядывать внутрь этого зала, они могли свободно рассматривать трупы, разложенные на мраморных столах, следить за вскрытиями, за анатомическими демонстрациями. Таким образом, Густав с самого раннего детства видел человеческие страдания, болезни, смерть, трупы во всей их реальной наготе. Это вечное зрелище болезни и смерти, как водится, внушило детям разные фантастические затеи и игры. Обыкновенно смерть не вызывает у детей никакого точного представления и редко внушает им особенный страх. При том же в самой квартире доктора было множество предметов, напоминавших смерть, например скелеты, и дети до такой степени свыклись с этими страшными вещами, что не только не боялись их, а даже пользовались ими как игрушками. Так, иногда им приходила фантазия одевать скелет и потом забавляться странным видом, какой принимала мертвая физиономия костяка. В другой раз они вставляли свечку внутрь скелета и забавлялись причудливыми тенями, которые отбрасывались на стены и потолок.

Густав получил либеральное воспитание. Когда он подрос, его, по католическому обычаю, повели к причастью, но вслед за тем никто не настаивал на том, чтобы мальчуган соблюдал внешнюю вероисповедную обрядность. Его не обучали вероисповеданию, а просто старались внушить ему общее религиозное чувство, поучая его на живом примере христианской любви, милосердию, преданности.

Еще будучи маленьким мальчиком, Густав, как бы побуждаемый своею пылкою фантазиею отрешиться от окружавшей его мрачной действительности, придумал фантастического героя, которого он прозвал Мальчиком. Он посвятил в эту свою фантазию своих маленьких друзей, и все они начали наперерыв изощряться в придумывании для этого героя разных подвигов, приключений и необыкновенных странствований. Часто, сидя за семейным обедом, маленькая сестренка наклонялась к Густаву и с оживлением говорила ему: “Слушай, я придумала новое путешествие для Мальчика”. Отец ужасно сердился на эти фантазии и часто не шутя печалился о том, что дети у него “растут идиотами”. Суровый и положительный ученый не в силах был войти во вкус этой детской игры воображения.

Флобер не любил обычных избитых буржуазных разговоров, какие часто велись в их доме, где, само собой разумеется, царил провинциальный тон. Однажды, например, слушая разговоры гостей о каком-то преступнике, подвиги которого, конечно, обсуждались с точки зрения самой узкой буржуазной морали, мальчик не вытерпел и вскричал: “Ну а что до меня касается, то я изумляюсь ему, этому человеку, потому что он храбрый и мужественный”. И он, видимо, забавлялся смущением, какое было вызвано у гостей этою выходкою.

Альфред Лепуатвен был настоящим духовным руководите-

лем Густава. Этот талантливый юноша был непрочен здоровьем и умер в молодые годы, оставив после себя лишь несколько стихотворений, дающих понятие о его большом поэтическом таланте. Он вовремя понял и оценил Густава Флобера, и, несомненно, Густав ему обязан тем, что сделался литератором. В первых юношеских произведениях, например в "Романе сумасшедшего", Густав проявляет неумеренный пафос, впадает в излишнюю декламацию и вообще слишком выставляется сам в своем произведении. Альфред Лепуатвен резко осуждал в нем эту черту. "В своих произведениях, — говорил он, — сам артист должен оставаться невидимым, как в Гиньолевом театре; он только движет куклы и говорит за них; но зрителю должны быть видны лишь эти куклы, эти марионетки, а не сам артист, движущий их". Влияние этих внушений духовного руководителя, видимо, отразилось на Флобере. Об этом можно судить по манере, которою написан роман "Г-жа Бовари".

Флобер еще в самой ранней юности принял решение никогда не жениться. К этому его побуждало не эгоистическое чувство, как обычно утверждают его биографы, а скорее особого рода щепетильная деликатность чувства; он сомневался в себе, в своей способности быть добрым мужем и семьянином. Всю нежность своей утонченной души он сосредоточил на своих близких, особенно на своей младшей сестре Каролине и на своей матери. Каролина вышла замуж, и это было едва ли не первое трагическое событие в жизни Густава. Он понял, что с выходом замуж сестры он в ее сердце отступит на задний план. Вторым тяжким ударом была для него смерть этой сестры, которая погибла при первых же родах. Густав был так потрясен ее смертью, что во время похорон он как сноп повалился на землю около могилы и лишился чувств. Теперь вся его привязанность перешла на племянницу, маленькую дочку Каролины, к которой он всю жизнь относился с нежнейшею отеческою заботливостью.

Скоро над ним разразился новый удар: умер его друг и духовный руководитель Альфред Лепуатвен. С его смертью Флобер ощутил словно какое-то разложение своего существа, как будто он пережил сам себя. Густав был стоик, он всегда умел замкнуться в себе и твердо переносить несчастия. Впрочем, не одни только свои несчастия он таил внутри себя; он с такою же ревностью оберегал от посторонних глаз и свои привязанности. Он, например, горячо и трогательно любил свою мать, хотя об этом мы можем судить только по кое-каким намекам и отрывкам в его переписке. Флобер был так много раз обманут и разочарован, что он перестал верить людям и обыкновенно сидел дома один за своим письменным столом, почти не отрываясь от работы. Покинуть свой стол и выйти из дому ради кого бы то и чего бы то ни было — это была жертва свыше его сил. Но для матери он был беспрекословно готов даже на эту жертву. Она не любила и даже боялась путешествовать одна, и когда ей надо было куда-нибудь ехать, Густав был ее неизменным спутником.

Флобер был одно время в связи с одною женщиною-писательницею. Связь эта глубоко утомила его, и он подумывал о разлуке со своею возлюбленною. Но та об этом и слышать не хотела. Дама эта была весьма решительного нрава. Всем было известно, что ее бывший любовник, предшественник Флобера, едва не поплатился жизнью за свои амуры: дама пыталась заколоть его кинжалом. Видя, что Флобер намерен ее покинуть,

она стала грозить ему, но ее угрозы на него нимало не действовали. Тогда она обратилась к его матери и предупредила ее, что если Густав ей изменит, то она сумеет отомстить за себя. Перепуганная г-жа Флобер тотчас бросилась к своему сыну и уговорила его помириться со своею буйною возлюбленною, несмотря на то что очень не жаловала этой особы и, кроме того, была отъявленным врагом всяких незаконных связей.

Биографы обычно представляют Флобера существом сухим, себялюбивым, замкнутым, гордым, жившим, так сказать, вне человечества. Г-жа д'Юльмес не вполне соглашается с таким определением его натуры. Он был замкнут, это правда, но едва ли больше, чем всякий иной крупный ученый или артист. Но гордецом его никак невозможно считать. "Если только человек не глуп, как кретин, — это слова самого Флобера, — то он обыкновенно умирает в полной неизвестности относительно ценности своей личности и своих произведений". Такие слова были бы неуместны в устах гордого человека. Кроме того, заключению о его гордости противится еще и тот факт, что он работал, писал пятнадцать лет подряд и все колебался, все не решался опубликовать свои произведения.

Какую роль в жизни Флобера играла женщина? Любил ли он, способен ли был любить? Для разрешения этого вопроса в нашем распоряжении есть одно средство — его переписка с буйною возлюбленною, о которой мы упоминали выше. Странное впечатление производят эти "любовные" письма Флобера. Их никак нельзя было бы рекомендовать за образец для молодых влюбленных, предпринявших покорение женского сердца. А между тем, первые из этих писем были писаны Флобером, когда ему было всего двадцать пять лет. Это вовсе не письма влюбленного к возлюбленной, а письма писателя к писательнице. Вся эта переписка скорее литературная, чем любовная. В тех местах этих писем, которые посвящены непосредственно любви, Флобер чаще всего рисуется нам каким-то разочарованным скептиком. Так, на жалобы своей возлюбленной, что он не сулит ей в своих письмах вечной и неизменной любви, Флобер отвечает решительными сомнениями в возможности вечной любви! "Ты думаешь, что будешь любить меня без конца, дитя мое, — пишет он. — Как это самонадеянно звучит в человеческих устах! Ведь ты сама уже любила другого до меня. Вспомни, разве ему ты не говорила, так же как и мне, что будешь любить его вечно".

Что касается до других женщин, то они своею красотою и талантами нередко возбуждали в Флобере любопытство, но, кажется, никогда не возбуждали любви. Этот человек, по-видимому, выше всего на свете ставил свою литературную деятельность, и потому прочные связи у него могли быть только с представителями умственного труда, то есть с людьми, которые были способны его понимать. Он чувствовал свое бессилие поднять женщину до своего умственного уровня и сам не хотел опускаться до ее уровня.

Но, недоступный любви, он зато был вполне доступен чувству дружбы. О его нежных чувствах к сестре, к матери и к Альфреду Лепуатвену мы уже упоминали. Упомянем еще об одном из его интимнейших друзей, молодом поэте Луи Булье. Но Флоберу не везло на близких друзей, потому что Булье, как и Лепуатвен, умер в молодых годах. В числе его друзей надо отметить еще Максима Дюкана, автора знаменитого классического многотомного труда о Париже

("Paris, ses organes et ses fonctions"). Эту дружбу довольно мудрено понять. Флобер всею душою витал в сферах чистого искусства, Дюкан же, напротив, был кропотливый и усидчивый ученый, человек чисто практического склада ума, и, однако же, не подлежит сомнению, что эти два человека крепко дружили между собой, несмотря даже на то, что Дюкан относился к литературным трудам Флобера с видимым и нескрываемым пренебрежением, смотрел на них как на праздную трату времени. Флобер знал об этом и жестоко страдал от этого пренебрежения, но терпел его и не прерывал своей дружбы с Дюканом.

Последним другом Флобера был Гюи де-Мопассан. Он приехал в Париж молодым человеком, решившимся со всем пылом юности предаться писательской деятельности. Флобер был дружен с его матерью, подругой его детства, Лаурой Лепуатвен. Он принял молодого писателя под свое покровительство и с отеческою заботливостью руководил его первыми шагами на литературном поприще.

Несмотря на свои связи в светском обществе, сам Флобер никогда не мог сделаться светским человеком. У него нередко вырывались совсем уже не светские выходки. Так, однажды в каком-то салоне, кажется, у г-жи Адан, какой-то господин, видимо не из литературной сферы, очень отважно пустился в пространные и весьма рискованные суждения о литературе. Флобер некоторое время внимательно слушал его и вдруг перебил его разглагольствования резким окриком: "Милостивый государь, когда сапожник говорит о сапогах, я его слушаю; когда бакалейщик рассуждает о своей бакалее, он может меня заинтересовать; но когда буржуа рассуждает о литературе, я ухожу".

Последние годы жизни Флобера были омрачены нуждою. Как мы уже упомянули, современники приняли очень сдержанно его первые произведения. Он вел чрезвычайно скромную жизнь, весь погруженный в свои книги. Большую часть своих доходов он отдавал своей племяннице, дочери своей сестры Каролины. Собственные же потребности он ограничил пределами существенно необходимого. Он не гнался за барышом от своих литературных работ, ему было словно стыдно брать деньги за свои произведения. Литературное творение всегда представлялось ему чем-то высшим, чего нельзя оценивать франками и сантимами. Применение к ним понятия о торговой ценности представлялось ему унизительным. Впрочем, он нимало не тяготился своими стесненными обстоятельствами и всегда готов был стоически переносить какую угодно нужду.

№ 8, 1901 г.

Французский критик о Горьком и Чехове

Русским писателям повезло за границею. Их теперь читают там больше, чем отечественных авторов. И это приходится сказать не только о таких писателях, как Толстой, произведения которого давно уже пользуются правом международного гражданства, но и о таких, как Чехов, Горький, Короленко и даже Потапенко или Альбов. Чем объясняется это странное явление (странное потому, что оно ново и как бы неожиданно), мы указывали уже несколько раз. Россия — страна молодая и, как все, что молодо, спешит сказать свое новое слово. За рубежом тоже говорили когда-то новые сло-

ва, но это было так давно... Теперь, чтобы заинтересовать публику, французский, например, писатель должен непременно выдумать какое-нибудь новое положение (вроде положения мужа, по телефону слушающего, как убивают его жену, о чем у нас рассказано в прошлой книге в заметке "Убийства в Париже"). Новых слов у него уже никто не требует. Но потребность на них все-таки есть, и вот переводятся чужие писатели, изучается чужой быт, раскрываются чужие горизонты. Для многих иностранных литератур это почти непочатый угол. Достаточно сказать, что даже в Германии, где так много читают, для ознакомления публики с писателями других земель существует до сих пор всего один, да и то захудалый, журнальчик: "Aus fremden Zungen", который, конечно, не может дать и тысячной доли того, что дать бы следовало. Остаются поэтому отдельные издания. И вот этот-то род переводной литературы начал в последнее время процветать за границею: появляются в переводе книги за книгами и даже целые собрания сочинений преимущественно русских писателей. И в то время, как еще двадцать лет тому назад во Франции или Германии имели смутное понятие даже о таких корифеях русской письменности, как Достоевский или Гончаров, теперь в любом немецком или французском книжном магазине можно встретить выстроенными в ряд небольшие, знакомого формата книжки с любопытными для русского глаза заголовками: "Tschechow's sämmtliche Werke", "Maxim Horky's sämmtliche Werke" ("Полное собрание сочинений Чехова", "Полное собрание сочинений Максима Горького").

Что одновременно с появлением на иностранных языках наших современных писателей появляются также посвященные им критические опыты, в этом нет ничего удивительного. Критика была всегда спутницею новых литературных течений или новых явлений в области литературы. И теперь нет почти за границею ни одного сколько-нибудь серьезного журнала, который не посвятил бы статьи или нескольких статей молодым литературным силам, явившимся из-за пограничной межи. Говорится при этом, надо сказать правду, много вздору, но иногда проскальзывает и умное слово и, что более всего удивительно, совершенно верное, обнаруживающее в авторе хорошее знакомство не только с нашей литературой, но и с нашим бытом и национальным мировоззрением. К числу статей этого рода нужно отнести появившиеся недавно в журнале "Revue des Deux Mondes" два критических разбора известного французского писателя Мельхиора де-Вогюэ, посвященные Антону Чехову и Максиму Горькому. Статьи — большие (особенно по нынешнему времени во Франции), и автор в них не только знакомит публику с содержанием вышедших в свет новинок, но разбирает их, изучает в связи с жизнью авторов и пытается дать им общее философское освещение. Если принять во внимание, что названный журнал в одном отношении очень напоминает парижскую академию — он чуждается всяких новшеств, и новому писателю уделит внимание только тогда, когда он сделается старым, то придется невольно сказать, что мы вознаграждены за много лет равнодушия и оскорбительного пренебрежения.

Сказал ли Чехов новое слово, об этом можно спорить; но что оно сказано Горьким, тут, думаем, никто возражать не станет. Все-таки он открыл для русской литературы особый класс людей, о которых наши писатели почти не

имели до сих пор понятия или, во всяком случае, касались их слегка, с явным желанием поскорее от них освободиться, как от тяжелого кошмара, или вырваться из их среды, как хочется вырваться на воздух всякому, кто случайно очутился в удушливой атмосфере кабака или на нарах Вяземской лавры. На последнее обстоятельство мимоходом указывает также и Мельхиор де-Вогюэ. "О Горьком, — говорит он, — можно сказать, что он пишет водкою: это особенное человечество буквально купается в алкоголе. Алкоголь течет по страницам, его пары оволакивают все произведение Горького тусклым, мрачным облаком, похожим на то, которое собирается в серых небесах, обыкновенно висящих над его пейзажами. При чтении его так и кажется, что Россия — только обширный кабак в мрачном склепе, воняющем потом, салом, керосином, где босяки в отрепьях предаются лени, жалуются, бранятся, харкают друг другу в лицо своею правдою и утопают в океане водки. Это уже слишком. Читатель, проникнутый отвращением, просит пощады; он с чувством гадливости и усталости закрывает книгу, начатую с удовольствием".

Однако книга все-таки "начата с удовольствием". Это признает сам критик, а раз она начата с удовольствием, то и будет кончена, может быть, с тем же удовольствием. Это общая участь всяких талантливо написанных книг, каково бы ни было их содержание. А затем уже явится остальное — размышление, оценка художественных достоинств, уразумение странностей, замеченных в новом произведении, и оправдание их, потому что, как давно уже сказано, понять — значит простить. И вот читатель прощает. Как справедливо замечает французский критик, говоря о "Фоме Гордееве", роман этот — сплошной "протест против условий существования в его (то есть Горького) стране". Он разоблачает темные стороны этого существования и нарочно пишет так, чтобы письмо его вызвало ужас. "Это — Гоголь, менее радостный, менее уравновешенный, Гоголь озлобленный". Озлоблены, конечно, и его герои, но они озлоблены именно потому, что условия жизни не соответствуют их идеалу. А идеал у них есть, и в нем очень много хорошего, так как они не хитрят, не лукавят и смотрят на вещи так, как могут. Если им кто-нибудь откроет глаза на ненормальности окружающих условий, они приходят в гнев, и протест их сначала выражается в полном отрицании. Герои Горького и отрицают. В этом как будто новое слово, сказанное русским писателем, и косвенно признает это как будто и французский критик; но — представитель более старой культуры — он невольно возвращается мысленно в ту эпоху французской истории, когда были отрицатели и на его родине. Это было давно, и отрицание привело к победе, а победа — к новому ненормальному положению вещей, которое опять надо было отрицать, потому что оно ненормально. И вот он с горечью вспоминает случай, происшедший в 1889 году. Тогда какой-то русский крестьянин выставил в Париже разные аппараты. Они были очень остроумны и свидетельствовали о большом таланте самоучки-изобретателя, но одно было скверно: все это уже было давно известно и даже усовершенствовано. "Точно так же, — прибавляет с сожалением Мельхиор де-Вогюэ, — обстоит дело и с русскими романами и их читателями: в них наивно снова поднимаются все проблемы, которые уже временно решены человечеством, по крайней мере на практике; они вновь приступают к старым исчислениям геометров, искавших квадратуры круга. Сначала мы смеемся;

но когда в дело вмешивается какой-нибудь Толстой, мы в конце концов заинтересовываемся: эти дети заставляют нас вспомнить, что принятые нами решения — только временные. Старик отвечает смехом на детский вопрос, на который он не может ответить; но вопрос заставляет его замечтаться". В этих словах все: и оценка произведений Горького, и параллель между французской литературой, насчитывающей много веков, и русской письменностью, которой всего одно столетие.

Было бы долго останавливаться на характеристике Горького, делаемой французским критиком. Отметим только две черты, им подчеркиваемые: во-первых, героям Горького чужд мистицизм, свойственный героям других русских писателей, и во-вторых, Горький — не романтик и имеет много общего с английским писателем Киплингом и итальянским романистом д'Аннунцио. Первое обстоятельство можно опустить, так как если герои Максима Горького и чужды мистицизма, то чужды его также и герои многих других русских писателей. Но на второй черте мы остановимся. По словам Вогюэ, общим духовным отцом Горького, Киплинга и д'Аннунцио является Ницше, и напоминают они друг друга своим романтизмом, который выражается в том, что все они лирически настроены, все восторгаются природою, страстью к странностям и бродяжничеству, а особенно своими взглядами на человека и судьбу его, своим культом индивидуализма, силы, страсти "и, чтобы сказать все, — прибавляет французский критик, — своею безнравственностью". Лица, которые одинаково дороги русскому писателю и Киплингу, отличаются одинаковыми невоздержными и грубыми инстинктами, одинаковою жаждою не только бродить по свету, но и завоевать его, и одинаковым пренебрежительным отношением ко всяким щепетильностям, составляющим достояние одних старых цивилизационных масс. Менее их демократичен д'Аннунцио, но и он охотно подписался бы под некоторыми описаниями Горького, под протестами его героев против буржуазного общества. Все они — новоромантики, и к ним можно было бы присоединить много других писателей, между прочим Гауптмана и Сенкевича... Последнее имя несколько озадачивает рядом с именем Горького, потому что если у героев русского писателя нет будущего и они не жалеют об этом, то все произведения польского писателя составляют сплошной протест против инертности и бездействия современных поляков. Но если даже оставить в стороне Сенкевича и даже Гауптмана, у которого есть драма "Ткачи" с героями, имеющими определенные идеалы, и пьеса "Потонувший колокол", в которой идеалы поставлены на высоте в виде светящегося маяка, озаряющего путь приближающемуся к нему мореплавателю, то все-таки мысль французского критика будет только повторением того, что им уже сказано выше: отрицание существующего в виде протеста против него не имеет смысла само по себе; оно требует продолжения в виде указания определенной программы, которой можно было бы руководствоваться в будущем. Вспомним, что и романтизм в области литературы явился у западноевропейских народов тогда, когда общество было недовольно условиями жизни. Романтизм вообще можно было бы перевести на русский язык словом "протест", так как оно передает его истинный, внутренний, настоящий смысл. Но протест протесту рознь. Была и у нас пора романтизма, когда мы протестовали; но этот протест не имел ничего обще-

го с тем, который совпал с появлением и расцветом романтизма в Западной Европе. Все зависит от точки зрения.

Мы пройдем мимо статьи французского критика, посвященной Антону Чехову. Что бы ни сказал он о произведениях этого писателя, для нас, в сущности, все равно, потому что Чехов силен талантом в противоположность Горькому, который, кроме таланта, силен еще изображаемым им миром. У Чехова есть определенное мировоззрение, но оно не выделяется над установившимися взглядами, не режет глаз, не кричит о себе. Яркие блестки таланта, как солнечные лучи в переливах морских волн, придают красоту и прелесть всему, что бы он ни изображал, будь то даже неверная, не соответствующая действительности картина провинциальной жизни, которую он нарисовал в "Трех сестрах". Другое дело Горький, который при всем своем таланте никогда не сделался бы Горьким, если бы не открыл читающему миру четвертого сословия русской общественности... И действительно, в то время, когда, говоря об авторе "Фомы Гордеева", Вогюэ мог развить теорию о неоромантиках, выступивших с протестом против современного строя, тот же Вогюэ, остановившись на Чехове, мог только рассыпаться в похвалах по адресу его таланта, в котором никто не сомневался и помимо французского критика.

№ 2, 1902 г.

Сюлли Прюдом

Не много поэтов, даже в счастливой Франции, которая умеет ценить своих поэтов, достигло таких почестей, как Сюлли Прюдом. Его стихи были удостоены награды академией, сам он был в числе "бессмертных", как зовут во Франции академиков, имел орден Почетного легиона и шесть лет тому назад, первый из лириков, получил Нобелевскую премию. Благодаря этому в несколько недель он достиг мировой известности.

Во всяком случае, внешними почестями Прюдом мог быть доволен. Но не это, в конце концов, цель поэта, по крайней мере не одно это, он не только хочет возвыситься, он хочет также и быть читаемым. В этом отношении Прюдом далеко стоит позади других поэтов. Только очень немногие из его стихотворений переведены на другие языки. Его соотечественники оценили его, конечно, лучше, но и в своей стране, несмотря на все отличия, он не принадлежит к числу многочитаемых.

К нему несправедливы в обоих направлениях. Сюлли Прюдом, пожалуй, и не заслужил всех оказанных ему почестей. Например, для получения Нобелевской премии было много других, более достойных по своему культурному значению людей. С другой стороны, было бы полезно уделить ему больше внимания, потому что он пошел по новому пути, который, может быть, привел бы его в высшей степени плодородную страну.

В истории литературы Сюлли Прюдом причисляется к парнасцам, и этим характеризуется его совершенство в обладании формой. Действительно, его стихи — образцы ритмического искусства, строгого порядка и благозвучия. Однако кое-что отличает его от последователей этой школы — это знание современной науки, которое сказывается во всех его поэтических чувствах. Во Франции это первый лирик, который старается собрать плоды на почве нового мировоззрения. Широкая масса

немного о нем знает. Если и знают его, то больше как автора очень распространенного стихотворения, переведенного на многие языки, в том числе и на русский (Апухтиным), "Разбитая ваза":

Ту вазу, где цветок ты
сберегала нежный,
Ударом веера толкнула ты
небрежно,
И трещина едва заметная на ней
Осталась... Но с тех пор прошло
не много дней,
Небрежность детская твоя
давно забыта,
А вазе уж грозит нежданная
беда!
Увял ее цветок, ушла ее вода...
Не тронь ее: она разбита.

Так сердца моего коснулась ты
рукой —
Рукою нежной и любимой,
И с той поры на нем, как от
обиды злой,
Остался след неизгладимый.
Оно как прежде, бьется и живет,
От всех его страданье
скрыто,
Но рана глубока и каждый день
растет...
Не тронь его: оно разбито.

Это одно из его юношеских стихотворений, большая часть которых еще идет по пути романтизма, но оно уже обнаруживает в своем построении исключительную технику, математически верное исчисление данных. Молодой поэт был тогда инженером. Из этой профессии он вынес чувство симметрии в мышлении и искусство и тщательность в соединении элементов стиха.

Когда позже Сюлли Прюдом занялся изучением философии, его лирика приняла другой вид. Пустая сентиментальность юношеского периода исчезла. Игривые любовные песни, преобладавшие в его первом сборнике, отступили на задний план. Ум, созревший в серьезной работе, смотрит на мир испытующими глазами поэта и ищет связи между изменившимся сознанием и прежними настроениями сердца.

Во Франции, в то время империи, считалось неслыханной смелостью, если поэт осмеливался говорить к народу, думать одинаково с Кантом и Гегелем. Прюдому, впрочем, нечего было опасаться за свои смелые взгляды. Угнетение мысли при помощи полиции и прокурора знают только в стране, где каждый по закону имеет право открыто выражать свое мнение — словом, кистью или пером. Но с ним случилось нечто иное: его не поняли.

Народ его не понял. Ученые и литературные критики хорошо понимали, что в стране объявился новый пророк, и многие из них признавали его. Другие стояли в стороне, потому что им казалось неуместным соединять философию со стихами; это были большей частью ученые и некоторые из критиков, которых обуяла догма.

Чувство одиночества толкнуло его в то время, когда еще он не окреп, в руки философского пессимизма, от которого он никогда не мог вполне освободиться и который наложил печать на все его творения.

Удивительно, что Сюлли Прюдом, революционер в поэтическом мышлении, неуклонно придерживается старинных форм французского стиха. В своих первых стихотворениях он следует даже правилам классического стихотворения; впоследствии он принял большую гибкость и свободную грацию парнасской формы рифмы. Протест новых поэтов, символистов и декадентов, против принудительной правильности в стихе и рифме, внушал ему

ужас и отвращение. До известной степени с ним нельзя не согласиться, когда видишь, до каких пределов молодые поэты злоупотребляют свободой стихосложения.

Стихотворения, относящиеся к лучшему творческому периоду Сюлли Прюдома, отличаются тем, что они обогатили французскую лирику не только своим философским содержанием, но как произведения истинного, тонкого поэта.

Однако в ущерб своему творчеству Прюдом не всегда мог сохранить необходимое равновесие между наукой и поэзией. Чем больше он углублялся в изучение философии, тем больше ускользало от него чувство для поэтического выражения, и его рифмы, от которых он не хотел отстать, до тех пор нагружались идеями, пока художественная форма не подкашивалась.

Если высказывалось мнение, что наука — смерть поэзии и что сама философия стремится сделаться высшей поэзией, то Сюлли Прюдом хотел идти обратным путем, он хотел поэзию преобразовать в философию. В конце концов он изнемог в тщетной борьбе с прозой. Эту позднейшую эпоху можно охарактеризовать выражением: Philosophiae aucilla poesia. Поэзия на службе философии!

В конце концов он отказался от того, чтобы уложить в рифму философские теории и физические и химические положения. В последние годы он занимался только философскими проблемами.

№ 10, 1907 г.

Из области науки

Новое животное, достойное приручения, — коати

В одном из своих публицистических произведений, озаглавленном "О назначении науки и искусства", граф Л. Н. Толстой, жестоко нападая на представителей современной науки, между прочим восклицает: "Мы выдумали телеграфы, телефоны, фонографы; а в жизни, в труде народном что мы подвинули? Пересчитали два миллиона букашек! А приручили ли хоть одно животное со времен библейских, когда уже наши животные давно были приручены? А лось, олень, куропатка, тетерев, рябчик все же остаются дикими..." Словно в ответ на эти горькие жалобы нашего мыслителя пришло известие о любопытной попытке приручения нового зоологического вида, родственного с енотом, так называемого коати. Это животное (иначе называемое еще носуха, носуля, полатыни Nasua, за свой длинный нос) водится в Южной Америке, по всей ее тропической области. Впрочем, его встречают и за пределами этой полосы, например около устья Ла-Платы, так что можно думать, что коати мог бы жить даже и во всей южной половине Европы. Nasua rufa попадется всюду от Суринама до Парагвая и в том числе в таких местностях, где бывают чувствительно холодные зимы. На свободе коати живет и в одиночку, но чаще небольшими семьями или даже стадечками. Животное это очень

живое, подвижное, проворное. Оно охотно забирается на деревья и там, видимо, чувствует себя как дома. На человека коати взирает не без недоверия, которое легко оправдывается преследованиями со стороны человека, который зря истребляет это сравнительно безвредное животное. Парагвайцы утверждают, что коати очень нетрудно взять живьем: надо крепко постучать по стволу дерева, на которое животное забралось; оно пугается и либо спускается добровольно, либо срывается. Коати не древесный житель; он обычно живет на земле, в норах, которые сам роет. По нраву он больше полуночник, хотя его часто можно видеть и днем. В плену он даже становится гораздо деятельнее днем, а по ночам охотно спит. Любимая его пища — овощи и плоды, однако он не отказывается и от мяса, сырого и вареного. Он также любит воду, пьет ее много и охотно. В плену коати очень мил и может доставить немало развлечения любителю животных. Некто Джон Лекки долго держал у себя коати, искренно полюбил этого славного зверя и теперь усердно проповедует о том, что это животное должно бы быть в числе прирученных друзей человека. Первый коати, добытый Лекки, был малым, величиною с кошку. Он очень быстро освоился с человеком, расхаживал по всему дому, беспрестанно лез к другим домашним животным, особенно к кошкам, и умел делать это так деликатно и располагающе, что те охотно вступали с ним в дружбу. Особенно привлекательно было в нем отсутствие всякого страха, опасения и стеснения. Он никого и ничего не боялся, хотя никого и не задирал зря и без всякого смысла. Собак он, однако, не жаловал, но и тут поддержал себя — сумел внушить псам почтительнейший страх. Он иногда без околичностей подбегал к ним, когда они ели, запускал когти прямо им в пасти, выдирал оттуда корм и тут же съедал его сам. К людям он никогда не проявлял ни малейшей враждебности. В первое время, впрочем, он был недоволен, если к нему подходили во время еды. Он вообще был прожорлив, и припасы приходилось от него прятать. После еды он обычно свертывался клубочком и спал часа три. Ласки его очень трогали, как кошку: он мурлыкал от явного удовольствия, когда ему гладили и чесали спину. Он пробовал все, что ему предлагали, даже крепкие спиртные напитки; к ним он быстро получал вкус и вообще по этой части проявлял врожденные задатки самого зловещего свойства. Спирт оказывал на него такое же действие, как на человека: он пьянел, начинал всячески колобродить, потом заваливался спать. Хозяина он научился узнавать очень скоро, любил его, видимо, скучал в его отсутствие. Из домашних животных коати угрожает только птице, которую надо от него оберегать. К сожалению, Лекки не сообщает из своих наблюдений, какую собственно пользу можно извлечь из коати: может ли он, например, быть истребителем вредных животных, вроде мышей, чтобы до некоторой степени заменить кошку, или быть хорошим сторожем, охотничьим животным, чтобы заменить собаку? Неизвестно также, годится ли в дело его мех. Вопрос о пользе приручения нового животного можно решить только после его тщательного и разностороннего изучения. Пока можно бы только сказать, что коати стоит такого внимания и изучения.

№ 3, 1902 г.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ХРОНИКА

Литература и война

В настоящее время, когда русско-японская война уже окончилась, мир заключен, в скором времени нужно ожидать появления на книжных рынках всевозможных мемуаров военных корреспондентов, путевых журналов, заметок и пр. Это явится как бы дополнением документальных данных и тех подробностей, которых мы не имели в продолжение кампании. Теперь является вопрос: выиграет ли литература от этих воспоминаний и получим ли мы более ясное представление о только что окончившейся войне? Конечно, для литературы был бы праздник, если бы среди писателей, следовавших издалека за воюющими армиями, находился какой-либо писатель, реалист с красивым выразительным стилем вроде, например, Редиарда Киплинга. Война — варварство, и почти никому не удалось написать прекрасных и звучных страниц по поводу грохота орудий и звона холодного оружия. Столкновения вооруженных людей бывают так быстры и так ожесточенны, что те, кто присутствовал при них, уносят такое же неопределенное впечатление, как и те, которые с записной книжкой в руках посещают места сражения спустя долгое время и восстанавливают в своем уме картину боя. Наиболее великолепные описания сражений изображены Стендалем и Гюго, описавшими Ватерлоо, а также Эмилем Зола, давшим картину сражения при Седане. Наряду с этими описаниями можно поставить рассказ об атаке при Гравелоте Людовика Галеви и Бороди-

Русские и японские солдаты с передовых позиций, берущие воду из одного источника

но Толстого, благодаря точности и живости подробностей. Как общий отличительный признак всех этих огромных фресок можно указать ярость людей, брошенных один на другого. Страницы романа Зола "Debacle" являются самыми подробными описаниями франко-прусской войны, в котором только некоторые подробности напоминают читателю о действующих лицах романа.

По-видимому, дать панораму сражения бесконечно трудно, и хотя каждая битва представляет собою исполнение вполне ясного и определенного плана, ее все-таки легче описать с точки зрения одного человека. Может быть, литератору и не удастся дать полное впечатление сражения, зато его описание выйдет более жизненное и даст читателю возможность надолго сохранить в мозгу полученное впечатление, потому что оно менее сложно.

В хороших описаниях войны, которая закончилась на Дальнем Востоке, должен быть, уже вследствие правдивости описаний событий, несколько иной тон, так как, если проявление человеческого страдания, паника, разгромы и триумфы не изменились, характер войны, новый род вооружения и численность сражавшихся, а также инстинкт любопытства, который проявляется при встречах двух разных рас, должны придать новые оттенки описаниям авторов. Так, например, сказки Поля Адана, в которых действуют ловкие, проворные тонкинские пираты, носят совершенно иной оттенок, чем его же "Тайна толпы". Записные книжки корреспондентов и книги, которые будут написаны на основании беглых заметок, дадут новые драгоценные сведения относительно современной войны, конечно, если они будут написаны без предвзятой идеи, но единственно на основании личных наблюдений, фактов, вырванных из жизни огромного лагеря или подмеченных во время грохота сражения.

Большинство книг, написанных о войне, дают о ней лишь слабое представление, так как освещены общими идеями, теориями "за" и "против" войны.

Мир. Аллегорическая композиция М. Ландини

Число антимилитаристских книг превосходит те сочинения, где война воспевается как возродительница новой жизни. Счастие еще, что подобные книги появились сравнительно недавно.

В прежние времена книга о войне должна была непременно быть написана высоким стилем. Сам Виктор Гюго, такой гуманный человек, придает сражению Ватерлоо характер и значение неизбежной катастрофы. Он обсуждает при этом роль рока, сравнивает Веллингтона с Наполеоном, видя в них проявление темных и фатальных сил и даже перст Божий, и его герои созданы по образцу древних героев, данному в поэмах Гомера. Стендаль главный интерес своего описания переносит на контраст между событием, пользующимся героической репутацией, и актерами драмы. Толстой смотрит на сражение с общечеловеческой точки

зрения, но в то же время углубляется в предмет, как человек сильно и много размышляющий.

Но еще раньше Толстого во Франции появился роман о войне, лишенный лиризма, и авторами его были Эркман и Шатриан. До них же даже Стендаль воспевал войну. В романах о войне говорилось об атаках, отступлениях, об убитых и раненых, но сражающиеся армии были всегда главным сюжетом автора, или же он обращал свое внимание на нескольких лиц, принимавших непосредственное участие в кампании.

Только с Эркман-Шатрианом в военном романе появились рассказы о мирных жителях, бегущих при приближении неприятеля, о солдате, который выставляется не как героическая единица, машинально убивающая себе подобных, но как простой человек, не чувствующий никакой склонности к убийству, не питающий любви к военной карьере и против воли очутившийся в перестрелке.

Этот ужас войны, эта ненависть к войнам, выраженная простым народным языком действующих лиц романов Эркман-Шатриана, — зародыш всего современного антимилитаристского движения. Это казалось неслыханной дерзостью, и в великолепный хор, воспевавший войну, новые идеи вторглись в виде резкого диссонанса.

Героизм волонтеров республики, движение крестьян, взявшихся за оружие, чтобы защитить принципы свободы против врагов революций, — вот примеры, насколько человеческая гордость может быть преступна. Первые романы Эркмана-Шатриана оспаривают мнение, будто война позволительна, если ведется ради шовинизма; затем мало-помалу они перешли к восхвалению мира. В эпоху Второй Империи авторы стали уже открыто провозглашать идеи антимилитаризма. Таким образом, и в этой области Франция явилась первым глашатаем.

Нужно ожидать, что теперь, после эпических описаний Л. Толстого ужасов войны, книги, которые появятся в ближайшем будущем о русско-японской войне, не будут воспевать массовое убийство, но будут стремиться к тому, чтобы показать кровопролитные бои во всей их неприглядности и тем хоть несколько удержать другие державы от агрессивных планов. Будем надеяться также, что произведения иностранцев не будут отличаться предвзятостью, а наши русские отчеты о войне не окажутся излишне шовинистскими.

№ 10, 1905 г.

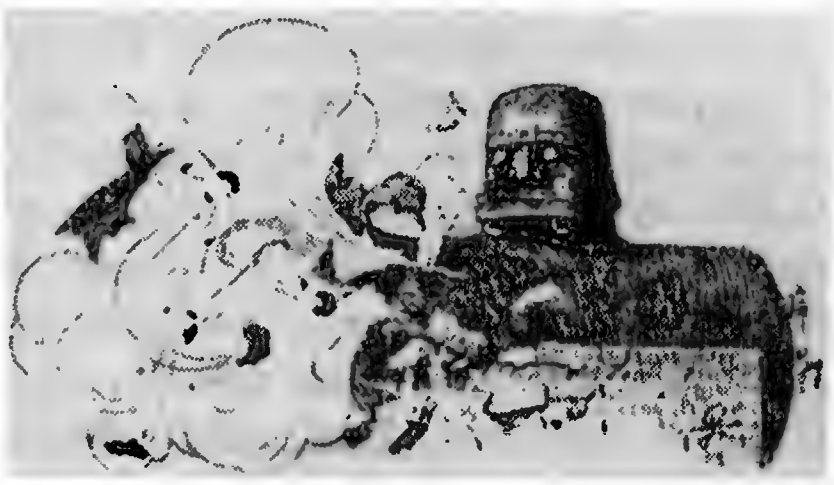
Текущая история в карикатурах

По-прежнему наши внутренние события доставляют богатый материал для сатирических рисунков. После роспуска Думы дела у нас пошли еще хуже, чем прежде. Ожидания правительства не оправдались. Революция пошла полным ходом. То здесь, то там вспыхивают бунты. Роспуск Думы и последовавшие после него воен-

Русская стена далеко превосходит столь известную "Испанскую". Ее ставят лицевой стороной к дающей деньги заграницe, а затем по другую сторону делают, что хотят.
Берлин, Ulk

ные восстания дали повод "Ulk'y" поместить две довольно едкие карикатуры. На одной из них нарисованы ширмы, на которых отпечатаны различные заманчивые обещания, как-то: "Либеральное законодательство", "Новые выборы в Думу", "Фильтрация бюрократии". Перед этими надписями стоят Франция и Германия, готовые ссудить круглую сумму под хорошенький процент, в это же время казаки за ширмами наводят с присущей им энергией порядок.

На другом рисунке котел, изображающий Россию, взрывается, потому что клапан, через который должен был выходить лишний пар, наглухо закрыли; под клапаном разумеется распущенная Государственная Дума.



Русские сперва завинтили наглухо клапан, а затем удивляются, когда котел взрывается. Берлин, Ulk

Чрезвычайно интересна карикатура, помещенная в нью-йоркском сатирическом журнале "Puck". Карикатура носит характер интернациональный. Мир в образе модного парикмахера предлагает пришедшим к нему клиентам-державам остричься или, вернее, разоружиться. Кресло готово, ножницы отточены, парикмахер стоит в ожидании, но ни одна держава, покрытая вместо волос пушками и штыками, не рискует сесть первой на кресло и начать разоружаться. Карикатура эта, так сказать, одним штрихом характеризует все разговоры о разоружении, мирные конференции, воззвания и пр.

По поводу рождения у кронпринца германского сына появилось немало карикатур. Во всех них главную роль, впрочем, играет Вильгельм, нынешний германский император, и один из восприемников — Эдуард VII. Но остроумнее всех, пожалуй, нужно считать карикатуру, появившуюся недавно в

Но державы, головы которых поросли штыками, не спешат. Нью Йорк, Puck

В. II с В. IV. Прелестный ребенок! Совсем как дед – ни на минуту рта не закрывает. Цюрих, Nebelsfalter

"Nebelsfalter" и воспроизводимую нами. Здесь намекается на слабую струнку императора, его злоупотребление устным словом — слабость, известную всему миру.

№ 9, 1906 г.

"Невидимый город" Алессандро Барикко

Алессандро Барикко. *City*. Роман. Перевод с итальянского Е. Дегтярь, В. Петрова. СПб., Симпозиум, 2002

"Иногда писателю удается смешать на столе карты. Создать новые пейзажи. Он не ограничивается написанием хороших книг. Он пишет книги, которые являются заведомо неиздаваемыми. Как будто путешествия по неисследованным местам. Распахивает географию письма..."

Вопреки сказанному, Алессандро Барикко (род. в 1958 г.), автору этих слов, пока не приходится опасаться, что его книги будут "неиздаваемыми". Барикко – один из самых известных современных итальянских писателей за рубежом и необычайно популярная фигура у себя на родине. Его произведения мгновенно становятся бестселлерами. Барикко – литературный символ конца столетия в Италии, романист со своеобразной манерой письма, ведущий нескольких интеллектуальных ток-шоу об искусстве и литературе на итальянском телевидении.

На интернет-сайте, посвященном роману "City", Барикко сетует, что его все чаще обсуждают не как романиста, а как телеперсону, культовую личность. Впрочем, поводов для этого он сам дает предостаточно. На личных виртуальных сайтах он охотно делится с читателями своими замыслами, обсуждает собственные произведения. Однако его частые появления на публике помогли ему заслужить репутацию писателя, который отлично знает потребности современного читателя.

Барикко – не только литератор и журналист, но и пианист и музыковед, автор нескольких книг о музыке ("Бегство гения. О музыкальном театре Россини", "Душа Гегеля и висконсинские коровы"). Факт немаловажный: Барикко пришел в литературу из музыки, в музыку и обращает свои произведения. "Две души Барикко, музыкальная и литературная, связаны 'как сообщающиеся сосуды', чтобы создать бегство от реальности – 'нереальное, более реальное, чем реальное'", – однажды заметила итальянский литературовед Мария Корти. Ноты у Барикко превращаются в слова, партитуры – в тексты, сонаты – в монологи, увертюры – в притчи, симфонии – в романы... Список бесконечен. Создавать "новые пейзажи...". Как для Милорада Павича неисчерпаем набор формальных структур и систем, которые можно было бы положить в основу художественного произведения (будь то кроссворд, карта звездного неба или словарь), так и для Барикко нет таких музыкальных схем, которые бы не нашли удачного воплощения в литературе. Впрочем, в адрес Барикко часто звучат обвинения в том, что он полностью подчиняет внутреннее содержание своих произведений жесткой структуре.

Барикко – автор романов "Замки гнева" (1991; премия Кампьелло), "Море-океан" (1993; премии Виареджо и "Палаццо аль Боско"), "Шелк" (1996), "City" (1999) и повести-монолога "Новеченто" (1994). Последний, "карманный" роман Барикко, еще не переведенный на русский язык, – "Без крови" (2002). Романы-миниатюры "Шелк" и "Море-океан", остающиеся на сегодняшний день луч-

шими произведениями Барикко, были впервые опубликованы на русском языке на страницах журнала "Иностранная литература"[1].

Барикко появляется в литературе в начале 90-х, в эпоху "хрестоматийных" постмодернистов-итальянцев Итало Кальвино и Умберто Эко. А потому сильно искушение навесить и на произведения Барикко "постмодернистские" ярлыки. И хотя его произведения столь самобытны, что оказываются неподотчетными никакому жесткому канону, нельзя отрицать и того, что в романах Барикко узнаются черты постмодернистского мироощущения. Это и эклектичность жанровых форм, и полифония, и стирание границ между "высоким" и "массовым", профанным.

После публикации романа Барикко рассказал читателям о заглавии книги в интерактивном интервью на специально созданном сайте "City": "Под названием "City" я подразумевал не какой-то определенный город, а, скорее всего, отпечаток какого-либо города, остов. Я вынашивал замыслы рассказов-кварталов, а своих персонажей воображал улицами, некоторые брали начало в одном квартале и возвращались в него умирать. Другие пересекали вдоль и поперек весь город, собирая *непохожие* друг на друга кварталы и миры, но *все равно это один и тот же город. City*... Я мечтал написать книгу, внутреннее движение которой напоминало бы движение заблудившегося в городе человека. Когда этот человек вернулся бы домой, его бы спросили, что он видел. И он бы ответил: я видел City".

"Видеть" — очень важное понятие для Барикко. Главная обязанность его героев — "смотреть", и то, что складывается из "увиденного" ими, напоминает хаос современного телевидения (примечательно, что Барикко посвятил многие свои эссе эстетике современного кинематографа). Барикко разрушает традиционные принципы повествования. Он виртуозно "перетасовывает" в своих произведениях мини-сюжеты, бесконечные картинки, сцепляя их не по законам классического монтажа, а по принципу случайности. Писателя интересуют не события, а совпадения, неожиданные сбои, деформация, роковые ошибки. Чтение "City" напоминает непрерывное переключение с одного телевизионного канала на другой. Хотя "City" — формально первый "полноценный", объемный роман писателя, он все же словно соткан из множества зарисовок, метафор, мини-сюжетов.

"...Войти в дверь и немедленно ощутить себя потерянными, словно ОТЛУЧЕННЫМИ от привычной задачи, — видеть ВЫКИНУТЫМИ из обжитого угла зрения и вбРОООООшенными в пространство, начальную точку которого они безуспешно ищут. Начало...". А начало в Городе отсутствует. В нем нет логики, центра, прямолинейности улиц, хотя бы призрачной закономерности построений. Это город-каркас, сцепляющий множество кварталов и витиеватых, бесконечно переплетающихся друг с другом улочек. На первый взгляд в романе Барикко есть фабула и персонажи, у персонажей — прошлое, между ними завязываются отношения. Правда, отношения предельно стерильные, формальные. Кажется, они живут вне времени и пространства. Герои Барикко расчерчивают каждый свой City траекториями собственного криволинейного движения. City можно назвать не городом, а целой городской агломерацией с одним городом-центром (история Гульда, Шатци, профессора Мондриана Килроя), от которого в разные стороны расходятся другие улицы (роман Гульда, вестерн Шатци, эссе Мондриана Килроя). Это американский город с гипертро-

1. Море-океан. "ИЛ", 1998, № 1; Шелк, "ИЛ", 1999, № 6.

фированными, легко узнаваемыми образами – фаст-фудами, комиксами и Диснейлендом. Одновременно, это любой город мира, реальный и одновременно вымышленный. Все его жители – современные пикаро, персонажи плутовского романа, блуждающие по закоулкам собственного воображения.

Центральная "улица" Города Барикко – тринадцатилетний подросток Гульд (очевидная параллель со знаменитым канадским пианистом XX века Гленом Гульдом, который экспериментировал с новыми типами музыкального звучания), вундеркинд, который живет в полном одиночестве, отдельно от родителей – отца-генерала, работающего на секретные правительственные программы, и матери, пациентки психиатрической лечебницы. Запираясь в ватерклозете, он сочиняет радиосериал о боксере Ларри Гормане, мечтающем стать чемпионом мира. В начале романа он знакомится с эгоцентричной Шатци Шелл ("*Ничего общего с бензоколонкой*", – замечает Барикко в одном из интервью), которая становится его новой гувернанткой и другом. Шатци тоже сочиняет произведение: записывает на диктофон главы своего трафаретного романа-вестерна с шерифами, индейцами и стрельбой. Кроме того, Гульда все время сопровождают два его вымышленных друга, словно сошедших с картинок из американских комиксов, – верзила Дизель и немой Пумеранг. Все они донельзя клишированные образы, марионетки, порождение массовой культуры.

В финале романа все "улицы" уходят в никуда: Гульд и парочка его вымышленных друзей пропадают, а Шатци, оказавшись парализованной после автомобильной катастрофы, решает свести счеты с жизнью. Тотальное *ничто* – центральная метафора романа, впервые появляющаяся на страницах трактата "Заметки об интеллектуальной честности" профессора Мондриана Килроя, университетского преподавателя Гульда. Профессор Килрой анализирует во время своей лекции "номер 11" полотно Моне "Нимфеи", многозначительно замечая: "Нимфеи" – это *ничто, обозреваемое никем.* "Нимфеи" изображают не лилии, а созерцающий их взгляд. Они – точный слепок человеческого восприятия, в "Нимфеях" видно отсутствие связности, то есть они возникают, плавая среди неорганизованного пространства, где нет ни ближнего, ни дальнего плана, ни верха, ни низа, ни до, ни после". Жители затерянного в нигде городка Клозинтаун, герои вестерна Шатци, изо всех сил пытаются обрести потерянное Время и попасть внутрь своего мира; боксер Ларри из фантазий Гульда бесконечно борется за обладание призом, который ему так и не суждено получить. У всех персонажей романа "плохо с чувством времени". Каждый из них самостоятельно познает *ничто*, то есть самих себя, в реальности и сновидениях.

В конце романа у читателя и вовсе может возникнуть подозрение, не была ли вся история (истории) плодом шизофренического воображения матери Гульда. Именно от ее лица ведется повествование в последней части романа.

С помощью приемов детализации Барикко добивается создания гипертрофированной реальности. Сотворенный Барикко Город – словно игрушечный городок, о котором размышляет Шатци. Его можно рассмотреть в мельчайших подробностях, но нельзя в нем поселиться: "...когда тебе случается увидеть место, где ты был в *безопасности*, ты всегда оказываешься среди тех, кто смотрит снаружи. И никогда изнутри. Это *твое* место, но тебя там нет никогда". Персонажам Барикко так и не удается понять, что они сами и есть это *место*. Они вынуждены остаться "за скобка-

ми" этого мира, навсегда превратившись в сторонних наблюдателей.

Алиса Романова

...и Африка нам не нужна?

Рышард Капущинский. *Черное дерево.* Перевод с польского Сергея Ларина. М., МИК, 2002

Кого у нас (кроме любителей экзотического туризма и охоты) сейчас всерьез интересует Африка? Кому говорят (и что говорят?!) имена Нкрума, Амин, Окелло, Оботе, Каруме, Секу Туре, Кениата, Мобуту, Ньерере, Чомбе? На слуху лишь Лумумба, да и то потому, что в Москве есть университет, названный в его честь. Между тем, эти люди в конце 50—60-х годах стояли (иногда на позициях, прямо противоположных!) у истоков новой Африки. И вовсе не грех было бы вспомнить о них, чтобы понять, как много повинны и мы, вернее СССР, в нынешних проблемах Африки, которые сегодня боком выходят всему миру, в том числе и нам. Пищу для размышлений на сей счет можно, в частности, найти и в этих живо и с большим знанием дела написанных эссе, связанных любовью их автора к черному континенту.

Рышард Капущинский последний раз побывал там уже в 90-х. В общей же сложности он более четверти века прожил в Африке, которая для него и не континент вовсе, но многообразный и необъятный космос: там иные законы жизни, иное ее восприятие и понимание, иные ценности. К ним, убежден он, надо уметь приспосабливаться, помогая и африканцам приспосабливаться к переменам, без которых им попросту не выжить.

Есть две Африки: европейское представление о ней и она сама по себе, где, скажем, пластмассовая канистра произвела революцию (не менее значимую, чем появление автомата Калашникова) — с ней легче ходить по воду, теперь это могут делать и дети, освобождая женщину! Капущинский пытается помочь европейскому читателю хотя бы чуточку сократить разрыв между этими двумя Африками. Он обрушивает на наши головы десятки подробностей, внимание к которым порой уничтожает грань между журналистикой и писательством. А подробности рождают *образ*, который нередко лучше, чем строгие научные выкладки, позволяет если уж и не понять, то хотя бы приблизиться к неведомому.

Скажем, Африка, исключая ее северную, населенную арабами часть, никогда прежде не знала письменности, так что у нее нет традиционной истории: нет документов, мемуаров, летописей. Все передается из уст в уста, где-нибудь в тени дерева у костра. Здесь история — а в черной Африке это только то, что сохранила память, — обретает свою чистейшую кристальную форму — форму мифа. Но в мифах, замечает Капущинский, "вместо дат и точных временных характеристик — дни, месяцы, годы — фигурируют другие понятия, такие, как "давно", "очень давно", "так давно, что никто уже ничего не помнит". В этих терминах можно все сформулировать и расположить согласно временной иерархии. При этом время не будет развиваться по прямой линии, но, подобно нашей Земле, станет размеренно двигаться по кругу. В такой концепции времени нет понятия "развитие", его заменяет понятие "статичность". Африка — это вечная статика".

Или, напоминает Капущинский, Африка едва ли не до прихода белых, не знала колеса, тут не было дорог в нашем понима-

нии, только тропы, общие для людей и скота. Вот люди и "предпочитают ходить гуськом, даже если они идут сегодня по широкому шоссе, то тоже — гуськом. Поэтому движущаяся масса людей молчит: идя гуськом, трудно переговариваться".

Но эта книга отнюдь не заметки этнографа или обезоруживающе обаятельного аполитичного путешественника. Она — живой очерк истории крушения колониальной системы в Африке. И эта история, по мнению Капущинского, отнюдь не была торжественным маршем в царство прогресса и справедливости. Деколонизация принесла Африке немало проблем, порожденных, в частности, традиционным для всех революционеров нетерпением — и белых, желавших одним махом избавиться от бывших своих рабов, и черных, стремившихся, тоже одним махом, перескочить в земной рай.

За века колониализма Африке вдолбили в голову: белый — хороший, черный — плохой. На этой догме и держалась, развивалась, укреплялась колониальная система. И вот разразилась Вторая мировая война. До нее африканцам выезд в Европу практически был запрещен. А тут перед ними открылся совершенно иной мир, но главное — они увидели, что одни белые убивают других белых. Это расходилось со всеми их прежними представлениями и вызвало настоящий психологический шок. Так, считает Капущинский, было положено начало быстрому процессу разложения веры в основополагающий тезис о безусловном превосходстве и безусловной правоте и безгрешности белого. Оказалось, что и белые могут быть разными.

Это обстоятельство наложило отпечаток и на процессы, приведшие к деколонизации Африки, и на характер начавшегося в Африке в 70-х годах длительного периода смут. "В новых африканских государствах, — отмечает автор, — разгорелась борьба за власть, в которой использовалось все: племенные и этнические конфликты, силы армии, соблазны коррупции, угрозы убийства... И все это произошло в условиях, когда в мире продолжалась холодная война, которую Восток и Запад перенесли на территорию Африки. Одной из характерных черт этой войны было полное игнорирование проблем и интересов слабых и зависимых стран, трактовка трудностей и осложнений исключительно как функций своих великодержавных интересов, отказ обеспечить этим странам какое-либо независимое положение и вес".

Много воды утекло с тех пор, уже и СССР нет, а следы советского присутствия в Африке еще не стерлись, и они ужасны. Вот, к примеру, местечко в Эфиопии, называется оно Дебре Цейт. Всего несколько десятков километров от Аддис-Абебы. Плац на высоком холме, до сих пор строго охраняемый. Капущинский побывал тут в середине 90-х. И записал свои впечатления так:

"Вид с этого холма — единственный в своем роде. Перед нами — насколько хватает глаз, вплоть до зеленого и затуманенного горизонта — тянется плоская безлесная равнина, сплошь заставленная военной техникой. На целые километры простирались поля орудий разного калибра, бесконечные аллеи средних и тяжелых танков, танкеток, передвижных радиостанций и амфибий. А по другую сторону холма протянулись крупные ангары, в которых хранились детали еще не смонтированных "мигов" и склады, забитые ящиками с боеприпасами и минами.

Что больше всего изумляет и ошеломляет — чудовищное количество этого вооружения, неправдоподобное нагромождение сотен тысяч тонн автоматического оружия, горных гаубиц, боевых вертолетов. И все это в качестве дара Брежнева Менгисту годами

доставлялось из Советского Союза в Эфиопию. Да еще в таких масштабах, что в Эфиопии не хватало людей, способных использовать хотя бы десять процентов всей этой техники! Таким количеством танков можно было покорить всю Африку, а огнем этих орудий и "катюш" превратить континент в пепелище! Прохаживаясь по мертвым улицам этого города несокрушимой стали, где отовсюду безмолвно всматривались в меня темные вороненые стволы, а за каждым поворотом щерились массивные металлические зубы танковых гусениц, я думал о том человеке, который вынашивал планы захвата Африки, собираясь устроить показательный Blitzkrieg, и возвел этот военный некрополь — Дебре Цейт. Кто это мог быть? Советский посол в Аддис-Абебе? Маршал Устинов? Брежнев?"

В 60-е годы перевороты стали массовым явлением в "освободившихся африканских государствах". Как правило, дело не обходилось "без рук" Белого дома или Кремля, и советская пропаганда либо привычно клеймила позором "козни империализма", либо превозносила победивших заговорщиков до небес, когда подобного рода перевороты инспирировала и оплачивала Москва. Между тем, коренные причины африканской смуты лежали на поверхности (они, к слову, были сродни тем, которые позднее, в конце 80-х, разрушили Советский Союз и соцлагерь): "Нищета и разочарование внизу, алчность и ненасытность наверху создают отравленную, взрывоопасную атмосферу". Капущинский примерно то же и примерно так же писал и лет сорок назад. У нас тогда подобная постановка вопроса казалась почти революционной, сенсационной, "ревизионистской", не оставлявшей камня на камне от официально пропагандировавшихся романтических представлений о национально-освободительном движении в Африке, служивших „подтверждением" вечной правоты линии партии.

Наверное, именно поэтому книги Капущинского с трудом пробивались к советскому читателю. Они, как тогда говорилось на интеллигентских кухнях, были на грани дозволенного. Иными словами, очень далеки от представлений коммунистической пропаганды: плохие колонизаторы, хорошие африканцы, которые с нашей помощью якобы в несколько десятилетий построят развитые и богатые государства, станут плечом к плечу с нами в борьбе против империализма, судьба которого будто бы именно поэтому и предрешена; а раз так, нет, мол, ничего важнее, чем, не жалея средств, помогать африканцам. У Капущинского картина Африки никак не согласовывалась с подобного рода схемами, была недопустимо реалистичной, недопустимо человечной, недопустимо откровенной. В его книгах рассказывалось о дикости и жестокости повседневной жизни, о коррупции и некомпетентности новых властей, о том, что проблемы Африки во многом порождены самой Африкой, ее своеобразием и непохожестью на другие континенты. Может, и потому *тогда* книги Капущинского пользовались таким спросом и в Польше, и у нас. Они прельщали не только экзотикой. Они манили возможностью заглянуть в иной мир, сравнить его с нашим, даже если это мир казавшейся отсталой Африки. Главное — именно возможностью *сравнить*.

Перемены в России слишком стремительны, и все больше становится людей, особенно молодых, которые плохо представляют себе атмосферу, законы и нормы "советского образа жизни". А между тем судьба книг Капущинского в Советском Союзе весьма и весьма поучительна. Да, они пробивались через цензурные рогатки к читателю с неимоверным трудом. Но и то, что они выходили в свет в социалистическом *лаге-*

ре, и то, что появлялись на книжных прилавках у нас, опровергает миф о том, будто при советской власти (а ведь даже в более мягких ее вариантах, скажем, венгерском и польском, эта власть была тоталитарной и слов боялась не меньше пистолетов!) журналистика вся была сплошной проституцией, а журналисты, все до единого, лакейски этой власти прислуживали. Капущинский диссидентом, пожалуй, и не был. Но он честно, мастерски, профессионально делал свое дело. Он соблюдал основные правила игры (хитрил, приспосабливался, нередко обыгрывал цензуру), в чем-то уступал власти, ограничивая себя, но был поразительно настойчив, ибо оставался *порядочным человеком*, превыше всего ставившим правду (пусть не всегда он мог всю правду сказать вслух, пусть не всегда он и знал ее всю). Он разрушал стереотипы казенной пропаганды, образно говоря, успешно подкапывался под берлинскую стену такого рода стереотипов, с помощью которой власть стремилась отгородить *соцлагерь* от остального мира.

Сейчас этой стены больше нет. Нет и благодаря таким именно журналистам и литераторам, как Рышард Капущинский и Сергей Иванович Ларин, его давний товарищ и знаток польской литературы, много сделавший для того, чтобы произведения современных польских литераторов, в том числе и Рышарда Капущинского, нашли дорогу к российскому читателю (Сергей Ларин, увы, так и не дождался выхода этой последней переведенной им книги, которую Капущинский посвятил светлой памяти своего ушедшего друга). Мы давно свободны и вольны выезжать за рубеж, читать тамошние газеты (уже неинтересно), слушать тамошнее радио (зачем? свое сплетничает не хуже...), так к чему же нам нищая, убогая, темная Африка? К чему нам книги, напоминающие о том, что и мы, пусть не Россия, но Советский Союз, повинны в том, что Африка все еще так далека от боготворимого нами "цивилизованного мира"? Может, затем, что мы многому могли бы научиться на примере и самой Африки, и советского участия в ее трагедии. Но, избавившись от собственной диктатуры, сломав безо всяких сожалений "берлинскую стену" стереотипных представлений о себе и других, не стали ли мы поразительно нелюбопытны и к себе, и к другим? Вот ведь, скажем, объявленный тираж этой яркой и весьма поучительной для нас книги... 1000 экземпляров!..

Андрей Ермонский

Бельгия

Обаяние туши

В Музее изящных искусств города Монс состоялась первая крупная ретроспектива картин Гао Синцзяня — первого китайского писателя, удостоенного в 2000 году Нобелевской премии по литературе (его нобелевская речь "Обоснование литературы" была напечатана в "ИЛ" № 5 за 2001 год).

Картина Гао Синцзяня "Гора души"

Гао Синцзянь, считающийся основоположником современной китайской прозы, известен также как драматург, режиссер, переводчик и одаренный художник, рисующий в традиционном китайском стиле "го-хуа". На выставке было представлено около ста его картин, выполненных черной тушью на рисовой бумаге — уже более двадцати лет нобелевский лауреат пользуется исключительно этой старинной техникой. По словам куратора выставки Мишеля Драге, произведения Гао Синцзяня — размышления "о положении человека перед лицом исторического варварства". Некоторые полотна изображают фигурки людей, которые смотрятся потерянными на фоне величественных гор, но подавляющая часть картин — это абстрактные "видения" и "сны", открывающие перед посетителем внутренний мир художника. По собственным словам Гао Синцзяня, он старается отделить вещи от материальной оболочки, запечатлеть их образы, создать определенное настроение путем игры света и теней.

После Бельгии выставку планируется показать в Япония, а затем в Австралии.

Великобритания

Мадам Тюссо и история восковых фигур

В чем кроется секрет успеха Музея мадам Тюссо, остающегося одной из главных лондонских достопримечательностей на протяжении более ста пятидесяти лет? По мнению Памелы Пилбим, автора книги "Мадам Тюссо и история восковых фигур", изделия из воска издавна обладали для людей тайной притягательностью. Но если в Древнем Египте или Греции восковые изображения имели в основном сакрально-религиозный смысл, то в новые времена выставки восковых фигур воспринимались уже как развлечение для публики с непритязательным вкусом.

В своем исследовании Памела Пилбим кратко излагает историю моделирования из воска от самых ее истоков, однако большая часть книги посвящена Музею мадам Тюссо и биографии его основательницы.

Мари Тюссо была племянницей Филиппа Кюртьюса — владельца самого известного салона восковых фигур в Париже. В период Французской революции она лепила восковые головы жертв террора, в том числе и своих знакомых. Работникам салона приходилось проявлять гибкость и постоянно менять экспозицию: срочно убирать представителей старой гвардии и ставить на их место новых кумиров. Как-то Кюртьюс к своему ужасу заметил посреди салона фигуру маркиза Лафайета, который уже несколько месяцев пребывал в немилости. Тогда он взял куклу в охапку, вынес на улицу и прилюдно отрубил ей голову.

Мари Тюссо обладала не только творческой жилкой, но и деловой смекалкой. В 1802 году, в возрасте сорока одного года, она, бросив транжиру-мужа, прихватила малолетнего сына и лучшие из своих восковых фигур — французскую королевскую семью, Наполеона с Жозефиной, а также Марата в ванне, — и отправилась в Англию. Вместе со своей коллекцией, которая к этому времени пополнилась такими реликвиями, как

нож от гильотины и экипаж Наполеона, она принялась разъезжать по провинции. Во всех городках, куда ее заносила судьба, она нанимала лучшие помещения, приглашала музыкантов, щедро жертвовала деньги на благотворительность, одним словом, старалась придать мероприятию оттенок светскости.

Ранние ее работы, безусловно, были довольно примитивными, если не сказать вульгар-

Обложка книги "Мадам Тюссо и история восковых фигур" Памелы Пилбим

ными, но именно умение потворствовать вкусам толпы обеспечило мадам Тюссо славу, сделав ее одной из самых успешных женщин-предпринимательниц XIX века. Стараясь привлечь средний класс, мадам Тюссо всячески подчеркивала просвещенческий характер своего собрания и его монархический уклон, намекая даже на собственную близость к французскому королевскому двору.

В Лондоне Музей мадам Тюссо первое время располагался на пересечении Бейкер-стрит и Портмен-сквер, поблизости от железной дороги (что обеспечивало постоянный приток посетителей). В 1883 году он переехал в свое нынешнее помещение на Мерилебон-роуд.

С течением лет коллекция пополнилась новыми экспонатами, в том числе двигающимися, среди которых оказался английский публицист Уильям Коббет, постоянно наклоняющий голову и нюхающий табак. Немецкий ученый Роберт Кох был изображен в своей лаборатории — рядом стояла клетка с живыми кроликами.

Одним из самых знаменательных событий в истории Музея было открытие комнаты ужасов, где экспонировались фигуры известных преступников и сцены убийств, причем некоторые модели для нее были изготовлены непосредственно в камере смертников.

Мари Тюссо придавала большую значимость исторической достоверности. Ее Музею дарили свою одежду некоторые члены королевских семей, а также приговоренные к казни. Незадолго до смерти в 1850 году Тюссо вылепила собственную фигуру, изобразив себя в костюме вдовы викторианской эпохи — в черном шелковом платье с высоким воротником, черном чепце с белой отделкой и круглых очках.

Характер экспозиции существенно изменился в 60-е годы XX века, когда в моду вошла попкультура, исторических личностей в музейных залах изрядно потеснили певцы и кинозвезды. Казалось бы, должно было перемениться и отношение к самой восковой фигуре, сильно уступающей по качеству современной фотографии. Однако, согласно приведенным Пилбим цифрам, этот Музей остается самым посещаемым в Британии, уступая лишь некоторым бесплатным мероприятиям.

Архив нобелевского лауреата

Национальная библиотека Норвегии приобрела часть личного архива Кнута Гамсуна (1859—1952), обнаруженного спустя почти полвека после смерти писателя на чердаке дома в Норхольме, городке на южном побережье Норвегии, где какое-то время жил нобелевский лауреат. Архив, занимающий четырнадцать коробок, состоит из четырех с половиной тысяч писем, адресованных Гамсуну и его последней жене, актрисе Марии Андерсен, трех тысяч страниц ее рукописей, деловых бумаг, а также черновых набросков последней книги Гамсуна "На заросших тропинках" (1949), описывающей переживания автора, связанные с арестом и судебным разбирательством, признавшим его виновным в пособничестве нацистам.

Новые материалы не только представляют огромный интерес для литературоведов и всех почитателей таланта классика мировой литературы, но и отчасти дают возможность пересмотреть политическую позицию Гамсуна, которую он занимал после прихода к власти в Германии национал-социалистов.

Как известно, писатель, хотя никогда и не являвшийся членом нацистской партии, в 1934 году открыто заявил о своих симпатиях к Гитлеру, встречался с ним, а в 1940-м поддержал оккупацию Норвегии, поскольку видел в фашистском режиме потенциал, способный вернуть его стране былое величие. Многие исследователи творчества

Гамсуна склоняются к тому, что к нацизму писателя толкнули давняя неприязнь к Великобритании и Америке с их "либерально-демократическими ценностями", ведущими к омертвению духа, распаду и деградации личности, и столь же давняя симпатия к Германии, олицетворяющей для него идеал порядка и дисциплины.

Франция

Дети Гуттенберга. XX век

Известное французское издательство "Ливр де пош" недавно отпраздновало свой полувековой юбилей. Издательство было основано в 1953 году турецким эмигрантом Анри Филипаши, который в 1922 году явился в Марсель с багажом, состоявшим из скрипки и единственной пижамы. Мысль, которая ему пришла в голову, была до гениальности простой: выпускать произведения классических и современных авторов в виде дешевых карманных изданий. По воспоминаниям бывшей секретарши Анри Филипаши Жаклин де Касамажор, идея его осенила, когда как-то в библиотеке он увидел, как читатель раздирает книгу пополам, чтобы спрятать ее в карманы.

9 февраля 1953 года появились на свет первые три книги по 150 франков (в среднем книга стоила тогда 600 франков): "Кенигсмарк" П. Бенуа, "Ключи неба" А. Кронина и "Ночной полет" А. Сент-Экзюпери. Вскоре за ними последовали "Прощай, оружие" Э. Хемингуэя и "Человек-зверь" Э. Золя. Сегодня издательство выпускает 3 500 наименований книг, ежегодно пополняя свой каталог 360 новинками. В 2002 году "Ливр де пош" продало 18 миллионов экземпляров, а всего за полвека своего существования количество проданных издательством книг перевалило за миллиард. Среди книг, пользующихся наибольшим читательским спросом: "Большой Мольн" А. Фурье, "Дневник Анны Франк", "Жерминаль" Э. Золя, однако абсолютный рекорд принадлежит А. Кристи, произведения которой разошлись более чем 40-миллионным тиражом.

Беспрецедентный успех издательства был не в последнюю очередь связан с тем, что подавляющая часть издателей того времени поощряла распространение отдельных классических произведений в бумажных обложках, поскольку они привлекали внимание к другим работам этих авторов, в том числе вышедшим в дорогих изданиях.

По случаю юбилея, в парижском Центре Помпиду открылась выставка, посвященная "самому могучему инструменту культуры современной цивилизации", а в Государственной библиотеке Франции состоялся научный коллоквиум. Помимо этого, почти миллион счастливчиков, принявших участие в конкурсе, который был организован "Ливр де пош" совместно с журналом "Телерама", получили от издательства в подарок специальный юбилейный сборник.

По материалам журнала "Лир" [Франция], газет "Телеграф" [Великобритания], "Паис" [Испания].

Шеймас Хини
Seamus Heaney
[р. 1939]. Ирландский поэт, лауреат многих престижных литературных наград, в т. ч. премии Сомерсета Моэма [1968] и Нобелевской премии [1995].

Стихи Ш. Хини вошли во многие антологии ирландской, британской и европейской поэзии. Автор поэтических сборников *Смерть натуралиста* [*Death of a Naturalist*, 1966], *Дверь во тьму* [*Door into the Dark*, 1969], *Перезимуем* [*Wintering Out*, 1972], *Полевые работы* [*Field Work*, 1979], *Остров покаяния* [*Station Island*, 1984], *Боярышниковый фонарь* [*The Haw Lantern*, 1987]. Литературно-критические работы Ш. Хини составили книги *Пристрастия* [*Preoccupations*, 1980] и *Власть над языком* [*The Government of the Tongue*, 1988]. В русском переводе его стихи печатались в *ИЛ* [1976, № 2; 1982, № 1; 1991, № 4], а также в книгах *Из современной ирландской поэзии* [М., 1983] и *Поэзия Ирландии* [М., 1988]. В *ИЛ* [1996, № 6] публиковалась его *Нобелевская лекция*.
Публикуемые стихотворения взяты из сборников *Electric Light* [London, Faber and Faber, 2001] и *Seeing Things* [London, Faber and Faber, 1991]. Стихотворение *Строки для Валентины* печатается по рукописи.

Видиа С. Найпол
Vidia Surajprasad Naipaul
[р. 1932]. Тринидадский писатель, пишущий на английском языке. Лауреат нескольких литературных премий и Нобелевской премии [2001].

Автор романов *Таинственный массажист* [*The Mystic Masseur*, 1957], *Дом для мистера Бисваса* [*House for Mr. Biswas*, 1961], *Ненастоящие* [*The Mimic Men*, 1967], *Партизаны* [*Guerillas*, 1974] и др., сборника рассказов и очерков *Улица Мигель* [*Miguel Street*, 1959; рус. перев. *Библиотека "ИЛ"*, 1984], сборника повестей и рассказов *Флаг над островом* [*A Flag on the Island*, 1967]. В *ИЛ* были напечатаны повесть *Флаг над островом* [1981, № 4], главы из романа *Дорога в мир* [1996, № 9] и интервью *Невроз обращенных* [2002, № 1].
Роман *Полужизнь* печатается по изданию *Half a Life* [London, Picador, 2001].

Висенте Алейсандре
Vicente Alexandre
[1898–1984]. Испанский поэт, лауреат Нобелевской премии [1977].

Автор книг лирики *Клинки словно губы* [*Espadas como labios*, 1932], *Тень рая* [*Sombra del paraiso*, 1944], *Последнее рождение* [*Nacimiento ultimo*, 1953], *В обширных владениях* [*En un vasto dominio*, 1962], *Заключительные стихи* [*Poemas de consumacion*, 1968] и др.
На русском языке стихи Алейсандре публиковались в *ИЛ* [1979, № 5], а также в сборниках *Западноевропейская поэзия XX века* [1977], *Жемчужины испанской лирики* [1984], *Поэты – лауреаты Нобелевской премии* [1997].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Исаак Башевис Зингер
Isaac Bashevis Singer
[1904–1991]. Еврейский американский писатель. Родился в Польше, с 1935 года жил в США, писал на идише. Лауреат Нобелевской премии [1978].

Автор многих романов – наиболее известны *Семья Мошкат* [1950], *Раб* [1962], *Двор* [1967], *Враги. История одной любви* [Национальная книжная премия 1974 г.; рус. перев., 2000], *Шоша* [1978; рус. перев. 1990], автобиографического повествования *Затерянный в Америке* [1981], сборников рассказов *Сатана из Горая* [1936], *Люблинский штукарь* [1960; рус. перев. 2002], *В суде моего отца* [1962; рус. перев. 1997], *Друг Кафки* [1970], *Страсти* [1970; рус. перев. 2001] и др. В *ИЛ* печатались его рассказы [1989, № 4, 1993, № 12 и 1997, № 7].
Публикуемые рассказы взяты из сборников *The Seance* [New York, Avon Books, 1969] и *The Death of Methuselah* [New York, Farrar, Straus & Giroux, 1988].

Октавио Пас
Octavio Paz
[1914–1998] Мексиканский поэт, эссеист, переводчик, литературный критик. Лауреат Нобелевской премии [1990].

Автор сборников лирики *Свобода под честное слово* [*Libertad bajo palabra*, 1949], *Саламандра* [*Salamandra*, 1962], *Растущее изнутри* [*Arbol adentro*, 1987], книг эссе *Лабиринт одиночества* [*El laberinto de la soledad*, 1950], *Переменный ток* [*La corriente alterna*, 1967], *Людоед-человеколюб* [*El ogro filantrópico*, 1979], *Сестра Хуана* [*Sor Juana Ines de la Cruz*, 1982], *Другой голос* [*La otra voz*, 1990], *Отблески Индии* [*Vislumbres de la India*, 1995]. В русских переводах стихи Октавио Паса печатались в сборниках *Поэты Мексики* [1975], *Перистые молнии* [1988]; лирика и эссе публиковались в *ИЛ* [1991, № 1; 1995, № 1, 1997, № 7]. На русском языке вышла книга *Поэзия. Критика. Эротика* [1996].
Книга *Сыны праха* [*Los hijos del limo*] вышла в Испании в 1974 году [Barcelona, Editorial Seix Barral, S. A].

Имре Кертес
Imre Kertész
[р. 1929]. Венгерский писатель, переводчик. Лауреат Нобелевской премии [2002], премии им. Кошута [1997], премии Гердера [2000], литературной премии газеты *Ди Вельт* [2000] и др.

Автор романов *Без судьбы* [*Sorstalanság*, 1975], *Фиаско* [*A kudarc*, 1988], *Кадиш по нерожденному ребенку* [*Kaddis a meg nem született gyermekért*, 1990]; повестей *По следам* [*A nyomkereso*,1977; рус. перев. 2001], *Детективная история* [*Detektívtörténet*, 1977], *Английский флаг* [*Az angol lobogó*, 1991; рус. перев. 2001], *Протокол* [*Jegyzőkönyv*, 1993; рус. перев. 2001]; мемуарно-публицистических книг *Дневник галерника* [*Gályanapló*, 1992], *Кто-то другой: хроника перемен* [*Valaki más: a változás krónikája*, 1997]; сборников эссе *Холокост как культура. Три лекции* [*A holocaust mint kultúra. Három előadás*, 1993], *Минутное затишье, пока расстрельный отряд перезаряжает оружие. Монологи и диалоги* [*A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. Monológok és dialógok*, 1998], *Язык в изгнании* [*A száműzött nyelv*, 2001].
Переводы эссе публикуются по изданию: *Kertész Imre. A száműzött nyelv* [Budapest, Magvetö, 2001].

Вислава Шимборская
Wisława Szymborska
[р. 1923]. Польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии [1996].

Автор девяти книг стихов, в т. ч. *Большие числа* [*Wielka liczba*, 1976], *Люди на мосту* [*Ludzie na moście*, 1986], *Конец и начало* [*Koniec i początek*, 1993], *Мгновение* [Chwila, 2002; рус. перев. в журнале *Октябрь* 2003, № 2] и др. Стихи В. Шимборской по-русски печатались в сборнике переводов А. Ахматовой *Голоса поэтов* [1965], в антологии *Польские поэты* [1978], в сборниках *Польская поэзия: XX век* [1993], *Польские поэтессы* [2002] и др., в *ИЛ* [1967, № 2; 1974, № 7; 1978, № 8; 1994, № 11; 2000, № 8]. В *ИЛ* опубликованы также речь Вислявы Шимборской *Поэт и мир*, произнесенная на церемонии вручения ей Нобелевской премии [1997, № 5], и фельетоны из сборника *Необязательное чтение* [1999, № 5].
Публикуемые стихотворения взяты из разных сборников.

Тадеуш Конвицкий
Tadeusz Konwicki
[р. 1926]. Польский писатель, сценарист, кинорежиссер.

Лучшие его романы переведены на русский язык: *Современный сонник* [1966, 1973], *Бохинь. Хроника любовных происшествий. Малый апокалипсис* [1995], *Чтиво* [*ИЛ*, 1996, № 1], *Зверочеловекоморок* [1996], *Польский комплекс* [2002]. Конвицкий – автор нескольких эссеистических книг, в т. ч. *Календарь и песочные часы* [*Kalendarz i klepsydra*, 1976], *Восходы и закаты луны* [*Wschody i zachody księżyca*, 1982], *Новый Свят и окрестности* [*Nowy Świat i okolice*, 1986].
Публикация выполнена по изданию *Pamflet na siebie* [Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1995].

Алексей Матвеевич Зверев [р. 1939]. Доктор филологических наук, литературный критик.

Автор книг *Джек Лондон* [1975], *Модернизм в литературе США* [1979], *Американский роман 20-30-х годов* [1982], *Грустный, солнечный мир Сарояна* [1982], *Мир Марка Твена* [1985], *Дворец на острие иглы* [1989], *Набоков* [2001] и многочисленных статей, публиковавшихся в периодических изданиях, в т. ч. в *ИЛ*.

Переводчики

Григорий Михайлович Кружков [р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед.

Автор стихотворных сборников *Бумеранг* [1998] и др., книг переводов: *Джон Донн. Избранное* [1994], *У. Б. Йейтс. Избранные стихотворения* [1993], *Роберт Фрост. Другая дорога* [1999], *Книга нонсенса. Английская поэзия абсурда* [2000], *Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха XIII, Елизаветы Английской и короля Иакова* [2002] и др. В *ИЛ* печатались его переводы стихов Ш. Хини [1991, № 4], Д. Энрайта [1994, № 3], У. Б. Йейтса [1995, № 2], У. Стивенса [1998, № 10], У. Дж. Смита [2002, 10] и др.

Владимир Олегович Бабков [р. 1961]. Переводчик с английского. Лауреат премии *ИЛ* [1991] и премии *Инолиттл* [1995].

В его переводах публиковались отрывки из романа Т. Вулфа *О времени и о реке*, повесть О. Хаксли *Гений и богиня* [ИЛ, 1991, № 5], романы О. Хаксли *Через много лет* [*ИЛ*, 1993, № 4], *История мира в 10 1/2 главах* Дж. Барнса [*ИЛ*, 1994, № 1], *Крутые парни не танцуют* Н. Мейлера [*ИЛ*, 2001, № 3—4]; рассказы В. Найпола, Р. Шекли, Т. Вулфа, Дж. Эйджи и др.

Борис Владимирович Дубин [р. 1946]. Литературовед, переводчик. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Ваксмахера [1998].

Автор сборников статей по социологии культуры и книги *Слово — письмо — литература* [М., 2001]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1].

Дмитрий Юрьевич Веденяпин [р. 1959]. Поэт и переводчик поэзии и прозы.

Автор книги стихов *Покров* [1993]. В его переводах публиковались стихи английских, ирландских, американских, немецких, австрийских и французских поэтов — А. Поупа, Т. Харди, П. Пирса, П. Колума, Д. Макдонаха, К. Кролова, Р. Шаукаля, А. Шенье и др., а также рассказы А. Бирса и сборник рассказов И. Башевиса Зингера *Последняя любовь* [М., 1999]. В *ИЛ* напечатаны его переводы рассказа *Поклонница* И. Башевиса Зингера [1993, № 12], романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8, 9] и *Часы* [2000, № 9], стихов Ч. К. Уильяма [2001, № 12] и Ч. Симика [2003, № 1].

Татьяна Александровна Ильинская
Переводчица с испанского.

В ее переводе выходили *Письма отшельника* Г. А. Беккера, философская проза М. де Унамуно.

Вячеслав Тимофеевич Середа [р. 1951]. Литературовед и переводчик.

Автор статей о современной венгерской литературе. В его переводах издавались повести венгерских писателей Д. Круди, П. Надаша, пьесы Д. Шпиро и А. Гёнца, книга эссе П. Эстерхази *Записки синего чулка и другие тексты* [2001]. В *ИЛ* печатались переводы новелл и эссе А. Э. Геллери [1986, № 4], А. Бодора [1993, № 9], П. Эстерхази [1992, № 4; 1995, № 6; 1996, № 7; 1997, № 8], П. Надаша [1997, № 8], главы из романа П. Эстерхази *Harmonia cælestis* [2002, № 10] и др.

Елена Ивановна Малыхина
Переводчица с венгерского и английского языков.

Автор статей к изданиям произведений венгерских авторов на русском языке. В ее переводе изданы роман Т. Дери *Ответ* и его повести *Милый бо-пер!..* [*ИЛ*, 1979, № 7] и *Ники*, романы *Траур* Л. Немета, *Шандор Петефи* Д. Ийеша, *Загадка Прометея* Л. Мештерхази [*ИЛ*, 1976, № 6, 7], *Конец семейного романа* П. Надаша, документальный роман Б. Саса *Без всякого принуждения* и др. Среди ее переводов с английского *Лесной роман* А. Рэдклифф, рассказы О'Генри и др.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчица с польского, лауреат премии *ИЛ* [1986].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др.
В *ИЛ на*печатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], Т. Конвицкого *Чтиво* [1966, № 1], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], повести Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и др.

ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ?

Романы, занимающие первые места в списке бестселлеров газеты "Телеграф" от 2 апреля 2003 г.

1. WILBUR SMITH
Blue Horizon

2. DANIELLE STEEL
Dating Game

3. JOHN GRISHAM
The King of Torts

4. JOSEPHINE COX
The Beachcomber

5. JANE GREEN
Spellbound

6. JILL MANSELL
Nadia Knows Best

7. YANN MARTEL
Life of Pi

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В формлении обложки
использован фрагмент картины
Питера Брейгеля Старшего
[1525–1569] *Две обезьяны* [1562].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
а также в книжном магазине
"Библио-Глобус" —
ул. Мясницкая, д. 6.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.4.2003
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 4006.
Тираж 9320 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

До конца года в "ИЛ" будут напечатаны:

"Мао II" — роман американца ДОНА ДЕЛИЛЛО, повествующий о судьбе писателя в эпоху, когда террористы начинают активно претендовать на роль властителей дум.

"Маленькое Чудо" — шедевр поэтической прозы знаменитого француза ПАТРИКА МОДИАНО.

"Карандаш плотника" — удостоенный крупнейших литературных премий роман МАНУЭЛЯ РИВАСА, одного из самых заметных испанских писателей поколения сорокалетних.

"На собственной шкуре" — роман немецкой писательницы КРИСТЫ ВОЛЬФ о разрыве времен, о конце ГДР, о конфликте между индивидом и обществом.

"Последний сторож" — повесть польского писателя ЯНУША ГЛОВАЦКОГО, сатирическая антиутопия, в которой живущий в США автор беспощадно высмеивает идиотизм современного мира.

"Тоска по черной магии" — фантастический роман о конце света молодого французского писателя ВЕНСАНА РАВАЛЕКА.

"Исправленное издание (приложение к роману "Harmonia cælestis") — литературная сенсация 2002 года в Венгрии; дневник прозаика ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ, созданный в ходе ознакомления с материалами бывшей службы венгерской госбезопасности, касающимися его отца.

"Мой собственный мир" — последняя книга ГРЭМА ГРИНА, составленная им из записных книжек, которые писатель вел на протяжении всей жизни.

Эссеистика Д. Г. ЛОУРЕНСА, П. БРЮКНЕРА, Р. КАЙУА, Р. КАЛАССО, С. СОНТАГ, А. ТАБУККИ, К. МАГРИСА.

Литературные гиды "Батальное полотно — "он" и "она" в поисках равновесия", "Литература и сновидения" и др.

Новые выпуски постоянных рубрик журнала: "*ИЛ*": истоки и история", "Документальная проза", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "Путешествие по книге", "Трибуна переводчика", "Среди книг", "Комментарий", "Курьер "ИЛ"...

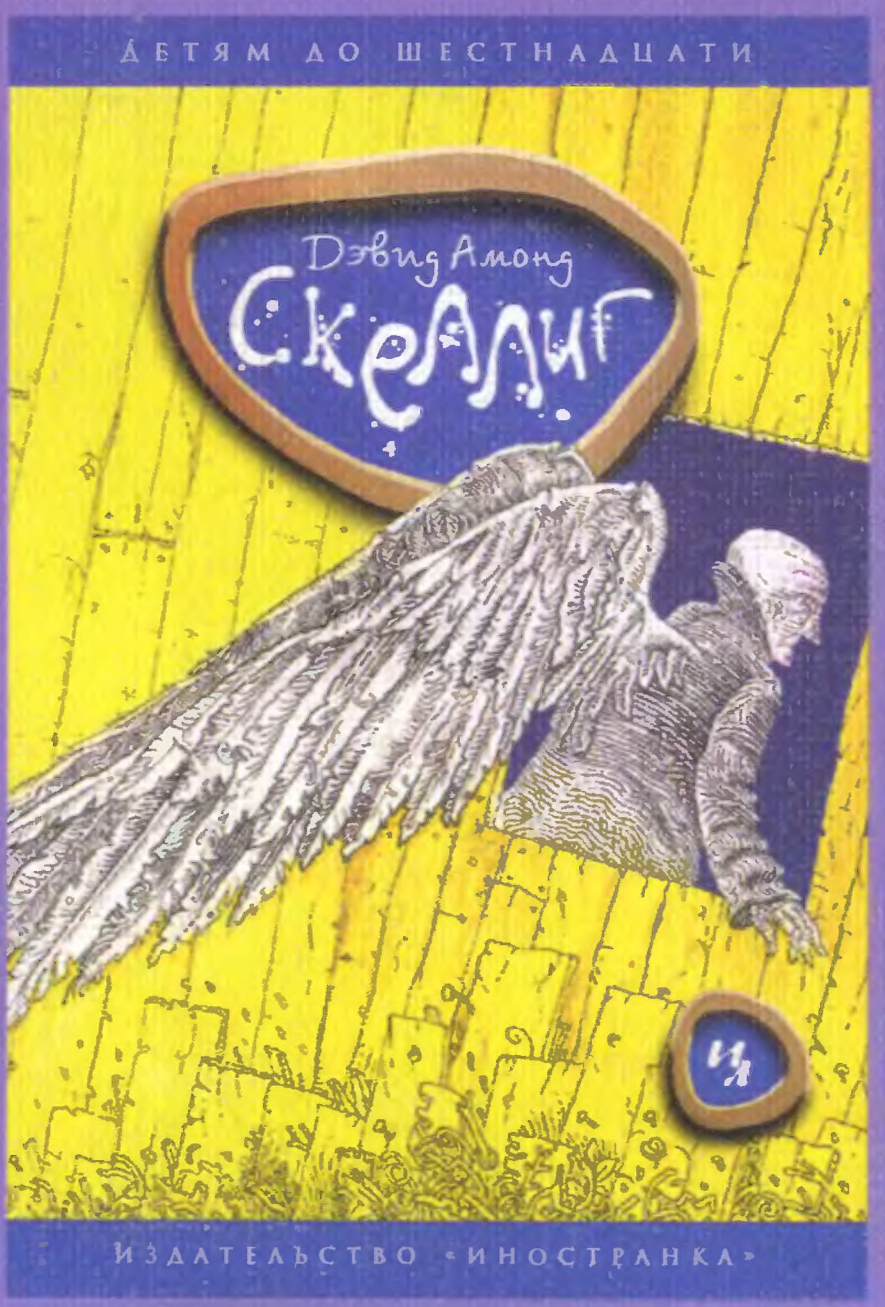
Специальный номер будет посвящен литературе современной Германии.

---

[6] 2003

«ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ»

ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО ЛУЧШЕЕ!



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНОСТРАНКА»

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство “Иностранка”
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2003, №5, 1-288